АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

ЭТИМОЛОГИЯ 1967

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА «ПРОБЛЕМЫ СЛАВЯНСКИХ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СВЯЗИ С ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМАТИКОЙ СОВРЕМЕННОЙ ЭТИМОЛОГИИ»

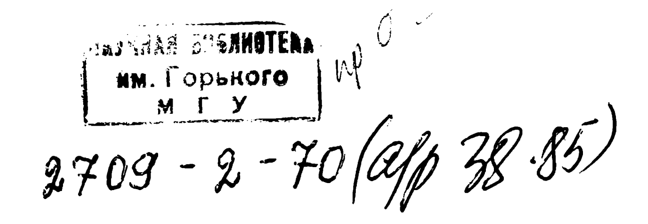
24—31 января 1967 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА 1969

Данный очередной том ежегодника «Этимология» включает бóльшую часть докладов Международного этимологического симпозиума, состоявшегося в Москве в январе 1967 г. Эти доклады, представляющие собой оригинальные работы, рассматривают принципиально важные теоретические и конкретные проблемы современных этимологических исследований (славянских и частично иных языков). Несколько докладов посвящено теории и практике топонимической этимологии.

В критико-библиографическом отделе обозревается новая (по 1967 г.) этимологическая литература.



7-1-1
258-69 (I кат.)

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий том ежегодника «Этимология» содержит доклады Международного симпозиума по этимологическим исследованиям, проходившего в Институте русского языка АН СССР в январе 1967 г. В том вошли не все доклады, прочитанные на симпозиуме. Часть из них публикуется в журнале «Вопросы языкознания» (1967, № 4), где помещены следующие доклады: О. Н. Трубачев. Работа над Этимологическим словарем славянских языков и проблема своеобразия славянского словарного состава; О. Семереньи. Славянская этимология на индоевропейском фоне; Э. А. Макаев. Реконструкция индоевропейского этимона; Ф. Безлай. Опыт работы над словенским этимологическим словарем; Ф. Славский. Из опыта работы над этимологическим словарем польского языка; Г. Барци. Современное состояние исследований лексики венгерского языка; Ж. Ж. Варбот. О словообразовательной структуре этимологических гнезд. В том же номере «Вопросов языкознания» помещена обстоятельная научная хроника заседаний симпозиума, написанная В. А. Меркуловой. Существенно отметить, что в этой хроникальной статье, помимо краткой характеристики прочитанных на симпозиуме докладов, нашли отражение материалы прений, обсуждения докладов, что не представилось возможным включить в данный том «Этимологии». Равным образом заслуживают в этой связи упоминания хроникальные отчеты о работе симпозиума, подготовленные Ж. Ж. Варбот для журнала «Советское славяноведение» и Л. В. Куркиной — для «Вестника АН СССР». Перечень информаций о симпозиуме можно продолжить, назвав сообщение Ф. Копечного, печатающееся в чехословацком журнале «Slovo a slovesnost», статью О. Н. Трубачева «Das internationale Symposion „Probleme der slawischen etymologischen Forschungen im Zusammenhang mit der allgemeinen Problematik der modernen Etymologie“» — в новом западногерманском журнале «Anzeiger für slavische Philologie», О. Семереньи «Das erste etymologische Symposion» (в журнале «Die Welt der Slaven»).

Перечисленные выше хроникальные отчеты и отдельно напечатанные доклады симпозиума существенно дополняют содержание

предлагаемого ежегодника «Этимология». Однако необходимо отметить, что подавляющее большинство докладов и сообщений, все многообразие тем, основное содержание симпозиума заключено в настоящей книге «Этимологии». В кратком редакционном предисловии едва ли необходимо давать подробную характеристику содержания и направления симпозиума. Не предвосхищая содержания публикуемых здесь докладов, мы отсылаем к этим последним, будучи уверены, что факты и концепции, изложенные в них, заинтересуют читателя, следящего за этимологическими исследованиями в области различных языков.

Кроме трех с лишним десятков докладов Международного симпозиума по этимологии, настоящий том ежегодника включает также, в соответствии с установившимся обыкновением, критико-библиографический отдел с краткими рецензиями новых публикаций.

СТАТЬИ

К. Полянский

ПРОБЛЕМЫ ПОЛАБСКОЙ ЭТИМОЛОГИИ

Настоящие заметки возникли в процессе работы над этимологическим словарем полабского языка, первый выпуск которого, охватывающий буквы A—d', вышел из печати в 1962 г.[1] Следующие части находятся в работе. Я собираюсь в скором времени отдать в печать второй выпуск. Всего будет примерно семь выпусков.

Рецензии [2], появившиеся по выходе в свет первого выпуска, в принципе подтверждают правильность концепции, принятой нами, когда мы приступали к работе над словарем. Эта концепция состоит в том, что этимологический словарь полабского языка ограничивается главным образом славянской этимологией. Думается, что такая позиция тем более сейчас оправданна, что существует уже много славянских этимологических словарей, разработанных на индоевропейском фоне, а кроме того, в трех славистических центрах (Москва, Брно, Краков) ведутся работы над общеславянскими этимологическими словарями.

В конце концов, эта концепция вытекает также из специфики полабского языкового материала, сохранившегося до наших времен. Полабский язык засвидетельствован в неполной, фрагментарной форме. В памятниках очень мало связных текстов. Языковый материал представлен главным образом в виде словариков, по большей части — немецко-полабских и одного француз-

---

[1] T. Lehr-Sławiński, K. Polański. Słownik etymologiczny języka Drzewian połabskich. Zeszyt 1 (A—D'ürd). Wrocław—Warszawa—Kraków, 1962.

[2] H. Schuster-Šewc. — «Slavia» XXXIV, seš. 2, 1965, стр. 319—323; B. Szydłowska-Ceglowa. — LP X, 1965, стр. 119—124; О. Н. Трубачев. — «Этимология. 1964». М., 1965, стр. 351—353; А. Е. Супрун. — «Советское славяноведение» 2, 1966, стр. 95—96; A. Vaillant. — BSL LIX, № 2, 1964, стр. 181; Л. И. Ройзензон. — «Wiener Slavistisches Jahrbuch» XI, 1964, стр. 192—195.

ско-полабского. Значения полабских слов или выражений часто даются неточно, иногда немецкие или французские семантические соответствия связаны только на основе каких-то ассоциаций с собственным значением полабского слова. Бывает, что и на основании такого определения легко, опираясь на форму слова, установить собственное значение, ср., например, записи Пфеффингера *Tréemesch* 'Qu'avez vous songé?', *Jaymoi raybói* 'Un pecheur', читай *dremĕš* 'видишь во сне', *jaịmojĕ raịboị* 'ловит рыбу'. Но иногда неясно поданное значение полабского слова может привести к значительным трудностям в решении вопроса, с каким словом мы имеем дело в данном случае. Это имеет место, например, в случае с записью *Léipeina*. Хенниг снабжает это слово толкованием 'Bast'. Ввиду многозначности немецкого соответствия, а также ввиду смешения в графике полабских памятников знаков для звонких и глухих согласных вышеприведенное слово можно читать как *laịpaịnă* либо *laịbaịnă* и производить из **lipina*, **lupina* или **lubina* [3].

Хотя несовершенное написание, в котором дошли остатки полабского языка, приносит временами, действительно, много хлопот, все-таки нельзя согласиться с отношением некоторых языковедов [4], которые в своих исследованиях по полабскому языку доходят до того, что почти совершенно не считаются с этим написанием, полагая, что оно лишено какого бы то ни было порядка. Тогда как если детально ознакомиться с этой графикой, то нетрудно установить, что, при всем своем несовершенстве, она обнаруживает определенную систему, что прежде всего относится к записям Хеннига, а также в несколько меньшей степени — Пфеффингера.

В работе над этимологическим словарем полабского языка много внимания нужно посвятить делу правильного прочтения материала, или филологической стороне. Филологические вопросы здесь связаны с лингвистическими проблемами, прежде всего — фонологическими. Труды Т. Лер-Сплавинского и Н. Трубецкого о звуковой системе полабского языка облегчают сейчас реконструкцию лексического материала этого языка. Но здесь еще не все сделано. В этой ситуации важнейшей задачей этимологического словаря полабского языка является верная реконструкция (на славянском фоне) лексического материала этого языка на базе сохранившихся памятников.

В настоящем докладе я хотел бы обратить внимание на несколько вопросов, связанных с этой реконструкцией. Я имею в виду, с одной стороны, некоторые моменты, затруднявшие до сего

---

[3] Ср.: K. Polański. Polabica III. — «Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze», zesz. 3, 1960, стр. 56—58.

[4] Ср., например, рецензию А. Брюкнера на кн.: T. Lehr-Spławiński. Gramatyka połabska. — ZfslPh VI,

времени работу над полабской этимологией, с другой стороны, я хотел бы высказать свое отношение к одному вопросу, который, как кажется, не получил надлежащего решения в первом выпуске словаря.

Одна из серьезнейших трудностей в работе над полабской этимологией возникла из-за игнорирования диалектных различий в этом языке. Скудный материал, сохранившийся до нашего времени, наряду с тем фактом, что записи его производились в нескольких не слишком удаленных друг от друга пунктах, могли внушить мысль, что он происходит с относительно монолитного языкового пространства, не обнаруживающего диалектных различий. Такое мнение отстаивал Н. Трубецкой [5], близкую позицию занимал также Т. Лер-Сплавинский [6], хотя этот последний в своих работах, посвященных полабскому языку, допускал возможность наличия в нем определенных диалектных различий. Тем временем в свете последних исследований оказывается, что полабский языковой материал обнаруживает весьма существенные диалектные различия и их игнорирование может привести к разным недоразумениям и ошибочным выводам также и в работе над этимологией этого языка. Укажу здесь примеры этого рода. Много работ посвящено истолкованию форм, оканчивающихся на *-aw*, *-af*, *-âf* и т. п., в полабских памятниках. Этой проблемой занимался уже А. Шлейхер в своей «Laut- und Formenlehre der polabischen Sprache», затем Ю. Коблишке, Т. Лер-Сплавинский и др. Записи вроде *Kosaw*, *Kolaw* и т. п. объяснялись как собирательные образования на **-ъvь*, причем их транскрибировали как *kosåv*, *kolåv* и т. д. Еще бо́льшие трудности вызвало написание *Tyimaf* 'кому', в котором большинство лингвистов, занимающихся этой проблемой, признало дат. п. ед. ч., преобразованный под влиянием форм существительных первоначального склонения на **-u*, возводя к исходной форме **komъvi* > *t'ümåv(ě)*. В то же время объяснения этого рода, будучи трудными и искусственными, оказываются излишними, если приглядеться к их диалектному распространению. Формы на *-aw*, *-af* и т. п. фигурируют только в диалекте, представленном текстом Хеннига и письмом г-ну де Бокёр. В прочих памятниках им соответствуют формы на *-ei*, *-ai*, *-äu* и т. п., т. е. формы с дифтонгом, заканчивающимся на *-i̯*. В свете сказанного, а также при учете некоторых других мотивов [7] записи *-aw*, *-af* и под. нужно интерпретировать как неточное воспроизведение дифтонга *-au̯*, который представляет собой диалектный вариант полабского продолжения праславянского гласного **u*. Перечисленные формы, таким обра-

---

[5] N. Trubetzkoy. Polabische Studien. Wien und Leipzig, 1929, стр. 63 сл.

[6] Например: T. Lehr-Spławiński. Gramatyka połabska. Lwów, 1929.

[7] Ср.: K. Polański. — LP VI, стр. 154—167.

зом, следует читать как *kosau̯* ⩽ **kvasu*, *kolau̯* (им. п. ед. ч. *kol*, заимствовано из немецкого), *t'ümau̯* ⩽ **komu* и т. п. Записи *-aw*, *-af* и т. п. встречаются только в конце слова, в остальных позициях дифтонг *au̯* передается регулярно через *au*. Написания *aw* вместо *au* нужно объяснить тем, что второй компонент этого дифтонга носил в полабском языке, очевидно, характер билабиального гласного вроде украинского *u̯*.

Много хлопот доставлял и до сих пор доставляет проблема развития праславянского **o* в полабском языке. В диалекте текста Пфеффингера и «Vocabularium et phraseologicum Vandalicum» полабское продолжение этого гласного, в частности в конце слова, имело тенденцию к дифтонгическому произношению. Этот рефлекс передавался тут с помощью буквенных сочетаний *eu*, *uy*, *ey* и т. п., например *Liuteй* 'лето', *Nebüy* 'небо'. Многие формы, особенно производные, в написании которых есть этот дифтонг в исходе слова, получили ошибочную этимологическую интерпретацию. Например, запись Пфеффингера *Duntzneй* транскрибировали как *tǫco* и возводили к первоначальному **tǫča*, предполагая здесь ошибку, допущенную при записи[8]. Однако в свете вышеизложенных констатаций нетрудно проэтимологизировать приведенную форму как *tǫcnü* из первоначального **tǫčьno* 'туманно, пасмурно', наречное производное от *tǫco* 'туча'.

Много недоразумений возникло по причине неразличения некоторыми авторами в фонологической системе полабского языка двух редуцированных гласных (*ă* низкого подъема и *ĕ* верхнего подъема) в открытых слогах. Как известно, в полабском языке различаются сильные и слабые позиции в развитии праславянских гласных. Разные праславянские гласные по-разному редуцировались в полабском языке: **a*, **e*, **ъ*, **ь* переходили в *ă* низкого подъема, **u*, **y*, **i* развивались в *ĕ* верхнего подъема, в то время как **o*, **e* редуцировались в гласный либо низкого, либо верхнего подъема в зависимости от того, какой за ними следовал согласный. Поскольку это положение вещей было осознано только недавно, весь полабский материал нужно еще проверить под этим углом зрения. Это принесет не только пользу в отношении изучения самого полабского языка, но во многих случаях послужит усовершенствованию славянской этимологии, особенно — в вопросе различения гласных **ě* и **e*. Как известно, в славянских языках эволюция **ě* проходила по-разному и в некоторых случаях трудно установить, имеем ли мы дело с рефлексом первоначального **ě* или **e*. Полабский язык может при этом неоднократно прийти на помощь. Например, записи типа *laa*, *lah* 'только' согласно графическим принципам составителей полабских текстов заставляют транскрибировать эту форму в виде *lă*

---

[8] P. Rost. Die Sprachreste der Draväno-Polaben im Hannöverschen. Leipzig, 1907, стр. 429.

и производить из праславянского **lě*. Эта частица представляет некоторые трудности своим развитием в славянских языках, так как в некоторых из них как будто существуют формы, говорящие в пользу реконструкции первоначального **le*, а в других — в пользу **lě*.

Точно так же в сильной позиции рефлексов первоначальных гласных **ě* и **e* полабская форма может иногда оказать ценную услугу славянской этимологии, давая материал для решения сомнительных вопросов. Возьмем в качестве примера слово, которое до сего времени реконструировалось этимологами-славистами в форме **letęžь*[9] 'стропило, жердь, балка'. Дело в том, что полабская форма *lemąz* вынуждает принять здесь в первом слоге рефлекс первоначального **ě* и тем самым реконструировать первичную форму этого слова как **lětęžь*.

А теперь еще несколько слов по вопросу о славянских соответствиях полабским формам в этимологическом словаре полабского языка, — вопросу, который, как кажется, был не совсем правильно решен в первом выпуске. Приступая к работе над этимологическим словарем полабского языка, мы сначала решили давать в нем только точные лексические соответствия в других языках, поскольку соответствия такого рода имеют наибольшую ценность для этимологии. Мы принципиально придерживались этой концепции в первом выпуске. Тем самым, однако, мы оставили в стороне много неполных соответствий, которые стоило включить в словарь по тем или иным соображениям. Этот недостаток нашего словаря указали почти все его рецензенты. Речь идет здесь прежде всего о случаях такого рода, когда полабское слово находит какие-нибудь семантические параллели в других славянских языках, хотя эти образования в словообразовательном отношении соответствуют полабской форме не полностью.

Исследование параллелизмов, имеющих место в области словарного состава, между полабским языком и другими славянскими, имеет большое значение не только для славянской этимологии, но также и для исследований проблемы родственных отношений славянских языков, потому что вопрос о лексических ареалах играет при этом важную роль. В свете изучений словарного состава полабского языка и его отношения к лексике других славянских языков оказывается, что особенно много лексических изоглосс существует между полабским языком и польским и лужицкими языками, с одной стороны, и словенским — с другой стороны. Поразительно то, что наблюдения из области лексики (ср. особенно работы Б. Шидловской-Цеглевой) совпадают также с фактами грамматики.

Исследование полабско-инославянских лексических параллелизмов имеет тем большее значение, что на почве полабского

---

[9] Например: B e r n e k e r I, стр. 701; V a s m e r II, стр. 29.

языка мы лишены возможности проследить историю слов, которая играет в современной этимологии такую большую роль, в частности при определении изменений значений, которые могли постепенно происходить с данным словом. В отношении полабского языка не сохранилось никаких древних текстов или словарных материалов. Весь материал, дошедший до наших дней, происходит примерно из одной и той же исторической эпохи (конец XVII — начало XVIII в.).

Перевел с польского

О. Н. Трубачев

В. Н. Топоров

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЭТИМОЛОГИЕЙ СЛОВ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Этимологии многих слов мифологического характера (особенно мифологических имен) являются двусмысленными или скользящими — по существу или по видимости, разоблачить которую, однако, часто очень нелегко. Эта особенность коренится, в частности, в большом диапазоне возможностей, который пробегают значения слов такого рода. Помимо обычной типологии семантических переходов или запретов, свойственной естественным языкам, при анализе мифологических имен приходится иметь дело с семантикой неязыковых систем (в данном случае — мифологических), прежде всего с типологией называния элементов мифологической системы. Поэтому существуют основания полагать, что учет семантических особенностей надъязыкового уровня поможет установить ряд новых этимологий (которые не могли бы быть открыты в пределах исключительно языкового уровня), вызвать сомнения относительно, казалось бы, бесспорных этимологий и, наконец, опровергнуть ряд прежних объяснений (случай, когда семантика надъязыковых систем оказывается влиятельнее семантики чисто языкового уровня). Несомненно, что анализ мифологических структур, общих семантических противопоставлений, определяющих принципы организации этих структур, и установление типологических универсалий в мифологических системах должны позволить выделить наиболее правдоподобные критерии называния мифологических объектов.

Далее предлагается ряд этимологических заметок, посвященных (в основном) мифологическим именам.

* * *

Смысл первой заметки — в том, чтобы подчеркнуть роль типологических фактов для переоценки некоторых традиционных этимологий или для выбора наиболее правдоподобного решения.

Этимология имени *Купала* казалась совершенно прозрачной (от *купать*), причем данные внутреннего языкового анализа (*Куп-ала*) подтверждались данными внешнего сравнения (ср. архаический эпитет типологически сходного с Купалой Диониса —

Δύαλος от δύω, δύομαι 'погружаться, опускаться' [1]) и показаниями ритуальных купальских текстов, подчеркивающих внутреннюю форму имени *Купала*, ср.:

Купалинка, ночь малинька!
Купалися две сястрицы, две родниньких,
Купалися, говорили: ўмесьти расли, розна зайшли! [2]

Однако анализ купальского ритуала вскрывает не менее (а скорее всего — более) очевидную связь с огнем — то с земным (костер, на котором сжигают всякую всячину, и прежде всего — чучело Купалы или Мары и колесо, прообразующее солнце), то с небесным (солнце) [3]. Поскольку весь ритуал купальских праздников построен на многократном обыгрывании противопоставления огонь — вода, имеющем далеко идущий смысл [4], причем Купала при соответствующей реконструкции связывается именно с огнем, — было бы ошибочным отказаться от попытки вскрыть в имени Купалы связь с огнем. Поэтому приводившиеся уже данные [5] (ср. блр. *купало* 'костер', *купець* 'тлеть', ср. огонь : вода) сейчас позволяют настаивать на том, что имя *Купалы*, по крайней мере, столь же надежно связано с корнем **kŭp*-, ср. кыпѣти, **koup-ěti* и т. п. в значении 'гореть', 'вскипать' (и далее 'гневаться', 'страстно желать', т. е испытывать сильное чувство; 'гореть' [6]), как и с понятием погружения в воду, купанием. Более того, в свете сказанного не лишне вновь обратиться к дионисийскому Δύαλος. Учитывая, что Дионис должен был погибнуть от огня, охватившего Семелу, когда она рожала сына (отражение темы воды и погружения в нее в связи с Дионисом достаточно хорошо известно), следует обратить внимание, как и в случае с Купалой, на глагол со значением 'зажигать', 'воспламенять', в пассиве 'загораться', 'гореть' — δαίω,

---

[1] См.: H. Grégoire. — «Bulletin de la Classe des Lettres et des sciences morales et politiques de l'Académie Royale de Belgique», 5^{e} série, t. XXXV, стр. 238 сл.; R. Jakobson. — «Word», 11, 1955, стр. 612.

[2] Е. Р. Романов. Белорусский сборник, VIII. Витебск, 1912, стр. 218. — Разумеется, что связь Купалы с водой, с потоплением в воде, — одна из наиболее существенных черт купальского ритуала.

[3] Подробнее см.: В. В. Иванов, В. Н. Топоров. К сравнительному изучению некоторых белорусских обрядов, связанных с Купалой (в печати); Они же. Славянские моделирующие семиотические системы. М., 1965, стр. 125—126, 146—147, 223.

[4] См.: В. В. Иванов, В. Н. Топоров. К сравнительному изучению. . . — Здесь показано, что на основании названия цветка *Иван-да-Марья* и связанных с ним поверий (его происхождение из нарушения брачного запрета между братом и сестрой, ср. другие названия — блр. *братки*, *брат-сястра*) реконструируется пара *Купала—Мара*, олицетворяющая брачный поединок огня с водой.

[5] В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Славянские моделирующие системы, стр. 146—147.

[6] В связи с эротическим аспектом купальских праздников ср. имя бога любви *Cupīdo* при *cupīdo* 'желание', 'влечение'.

известный уже Гомеру (с πῦρ[7], φλόγα, ξύλα и т. п.). Как известно, δαίω образован непосредственно от корня с помощью *-i̯e-/-i̯o-: *δαϝ-i̯ω[8], ср. δε-δαυ-μένος, а также др.-инд. *du-nó-ti* 'горит', 'жжет', *dāvayati*, *dūnáh*, др.-ирл. *dōim*, др.-в.-нем. *zuscen* и др.: таким образом, видимо, восстанавливается корень **du-* (с соответствующими его вариантами — в том, что касается вокализма), омофоничный **du-* в δύομαι, что в точности напоминает соотношение слав. **kup-* 'гореть' и **kup-* 'купаться', 'погружаться в воду'[9]. Не исключено, конечно, что в основе этого формального подобия лежит сходство более глубокого характера.

Соотношение **кыпѣти**, др.-инд. *kúpyati* : *Купала* вызывает ассоциацию с именем *Ярила* (: *яриться*), этимология которого ставит проблемы, отчасти сходные с теми, что встретились при анализе имени *Купала*, но при этом открываются существенно отличные возможности объяснения. В пределах славянских языков и соответствующих мифологических и фольклорных традиций связь имени *Ярила* (отмеченного не только у восточных славян[10]) и близких к нему теофорных имен типа *Jarovit* с названием весны — *jar-*, *jaro*, *jara* не только неопровержима, но и наиболее достоверна; во всяком случае именно так полагали многие специалисты, писавшие об этом имени и связывавшие его с рядом авест. *yār*, гот. *jēr* 'год' (параллельно: авест. *ayar* 'день', др.-греч. *ἆρι 'утро'). И, действительно, Ярила — несомненный образ весны, ее начала, плодородия, снабженный всеми «весенними» атрибутами[11]. Вместе с тем связь с весной и с функцией плодородия, казалось, никак не противоречит сопоставлению имени *Ярила* с таким кругом слов, как *jariti sę*, *jarь*, *jarъ* и т. д. (ср. также **jur-* в польск. *jurzyć się*, *jurky*, *jurność*, блр. *юр*, *юрлівы*, *юрлівасць*, укр. *юрити* и т. п.), обозначающие страсть, похоть, сексуальную мощь. Однако, в отличие от предыдущего случая (*Купала*), имя *Ярила*, видимо, не может (по крайней мере, с исторической точки зрения) свести воедино оба пласта сопоставляемых слов — **jar-* 'весна' и **jar-* 'страсть', поскольку языки, как-то отражающие утраченные ларингальные, позволяют различить оба эти **jar-*; ср. др.-греч. ὥρος 'год' из **H'yōr-*, но др.-греч. ζωρός 'страстный',

---

[7] Ср. частое δήϊον πῦρ.

[8] Ср.: P. Chantraine. Morphologie historique du grec. Paris, 1967, § 268.

[9] Параллель между **kup-* и **du-* может быть продолжена при учете формально и семантически связанных с этими корнями слов, выражающих переносные значения. Ср., с одной стороны, др.-инд. *kúpyati*, лат. *cupio* и т. д., а с другой — др.-инд. *doman*, др.-греч. δύη, алб. *dhunë* со значениями результата действия, обозначаемого глаголом, восходящим к **du-*.

[10] См.: M. Filipović. Jarilo kod Srba u Banatu. — «Zbornik Matice Srpske» VII, 1955, стр. 5 сл.

[11] Ср.: В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Реконструкция белорусского и восточнославянского комплекса представлений, связанных с Ярилой (в печати).

'сильный'» (ср. ζωροτάτη μανίη 'безумная страсть' в Anthologia Palatina) из *$Hy\bar{o}r$-[12]. Поэтому с исторической точки зрения, рассуждая о начальном источнике имени *Ярила*, необходимо сделать выбор между этими двумя *jar-. Нужно полагать, что Р. О. Якобсон и К. Уоткинс правы, сопоставляя *Ярила* с *jar- 'страсть'[13], но для того, чтобы этот выбор не был исключительно теоретическим, нужно доказать, что имя *Ярила* возникло там и тогда, где и когда существовало различие между предшественниками этих двух корней *jar-. Если же имя *Ярила* возникло в эпоху, когда эти различия уже были утрачены, то выбор между *jar- 'весна' и *jar- 'страсть' окажется праздным, каковым он и является уже для той эпохи, от которой известны самые ранние свидетельства о Яриле[14].

* * *

Вторая заметка посвящена этимологии двух мифологических имен, которая основана на анализе соответствующих мифологем и без него едва ли могла быть решена.

Совий известен из вставки, сделанной в 1261 г. западнорусским книжником, переписавшим русский перевод «Хроники» Иоанна Малалы. В этой вставке излагается предание об установлении традиции трупосожжения у народов, «иже совицею наричютсѧ». Совий теснейшим образом связан с огнем (ср.: на оутріе сътворивъ крадоу огненоу велику и връже и на огнь) и с солнцем (Совий поймал вепря, являющегося зооморфным образом солнца в самых разных традициях; у Совия был кузнец Телявель, который сковал для него солнце и поднял его на небо, как можно полагать, по заказу Совия; следовательно, допустимо считать Совия родителем или творцом солнца, а Телявеля — мастером-исполнителем)[15]. Поскольку имеющиеся попытки объяснения слова *Совий* несо-

---

[12] C. Watkins. OCS *jarъ* : Gr. ζωρός. — IJSLP, vol. 5, 1962, стр. 136—137.

[13] R. Jakobson. — IJSLP, vol. 1/2, 1959, стр. 278; C. Watkins. Указ. соч. — Любопытно, что типологически близкий к Яриле персонаж ведийского пантеона *Pūṣan* носит имя, связываемое *с puṣ* (*puṣyati*) 'расцветать', 'распушаться', 'набухать' в значениях, сопоставимых с теми, о которых говорилось в связи с *jar- в *Ярила* (ср. также Πᾶν < **Pauson*), ср. *пышет страстью* и т. п. О связи *Pūṣan*'а с его балтийским соответствием (*Puš(k)aitis*) см. в другой статье автора.

[14] Еще одна типологическая параллель из того же круга образов: *Кострома*, *Кострубонька* так относятся к *костра*, словен. *kostrêba*, укр. *кострубатий*, *кострубань* и т. д., как прусск. *Pergrub(r)ius*, бог весны у пруссов, «der lest wachsen laub vnd gras», к лит. *grub(l)as*, *grublus* и под. (см. об этом подробнее в другом месте).

[15] Ср. также известное дополнение в той же «Хронике» Иоанна Малалы (в Ипатьевской летописи под 1114 г.): . . . сего ради прозваша и богъ Сварогъ. . . и по семь царствова сынъ его именемъ Солнце. . . Солнце царь сынъ Свароговъ еже есть Дажьбогъ. Ср. также девять врат в храме Сварожича-Радгоста в Ретре и девятые врата, которыми Совий снизошел в ад.

стоятельны (в частности, потому, что они лишены каких бы то ни было семантических оснований) и учитывая его очевидные солярные функции, заслуживает внимания мысль о связи с реконструируемым индоевропейским корнем для обозначения солнца — **sau̯e-* (**sū̆-*, **su̯e-*)[16], который в балтийских (как и в некоторых других) языках выступает с (исторически) основообразующим элементом *-l-*, в других — с элементом *-r-* или *-n-* (иногда с их контаминацией, ср. слав. *sъln-*). Разумеется, не исключена и отстаиваемая А. Вайяном (BSL 46, 1950, стр. 48 сл.) связь названия солнца с лит. *svìlti*, лтш. *svilt*, помогающая восстановить единый комплекс, относящийся и к солнцу и к огню. Отсюда можно пойти еще дальше и поставить вопрос о возможности связи названья свиньи (ср. *свинка—золотая щетинка* как устойчивый образ солнца[17] или мотив вепря и солнца в разных традициях) с названьем солнца, учитывая формальные и фольклорно-мифологические основания для сближения этих двух слов[18].

Другой пример — имя *Усыни*, сказочного чудовища-богатыря из русских сказок типа 301 (по классификации Аарне). Усыня, как и Горыня с Дубыней, — спутники героя сказки, предающие его. Они — носители деструктивных, враждебных человеку сил. Основная черта Усыни заключается в том, что он лежит в воде (в реке) и запруживает течение своим усом (ср. Афанасьев № 141, 142, Ончуков № 47, Зеленин. Вятск. № 45, Смирнов. Тобольск. № 361, Коргуев. Беломорск., стр. 221 и т. п.). Змеиная («драконья») природа Усыни особенно ярко выступает в тексте одной (правда, сильно дегенерированной) сказки: . . .прилетела *Усыня*, стала яблоню из корня подрывать; он в нее выстрелил, перо выбил. . . «Это, говорит, птица *Усыня* змей о 12 головах. . . И ты ему старайся в четыре раза все головы отсечь!» Прилетает *Усыня*, сам с ноготь, борода с локоть, усы по земле тащатся, крылья на версту лежат (Худяков № 42). В другом месте[19] было показано, что ситуация сказки типа 301 — герой : Усыня (и его спутники) — соответствует с точностью до деталей ситуации конфликта между

---

[16] Fraenkel, стр. 765—766. Ср. возможность связи имени *Совий* с др.-инд. *Savitar*, если только не окажутся верными ведийские этимологии этого имени (ср. RV I 157, 1 *prāsāvīt*; V 81, 5 *prasavasya*; I 110, 3 *āsuvat*; II 38, 1 *savāya*; III 56, 6 *sosavīti*; V 82, 6 *save* и др.).

[17] Ср.: E. Walter. Byli *Tunna* a *Gommon* z rodu Buziců? — «Scando-Slavica» VIII, 1962, стр. 101—114 (о *sviní hlava*); Он же. Něco literárních drobností. — Там же X, 1964, стр. 87—90 (о *Vrch sviní*) и др. Ср. также *свинец* в связи с нем. *Eberstein*, с одной стороны, и и.-е. **k'u̯ei̯-*, обозначающее сиянье, блеск, с другой стороны.

[18] Подробнее см.: В. Н. Топоров. Об одной «ятвяжской» мифологеме в связи со славянской параллелью. — «Acta Baltico-Slavica» 3, 1966 («Baltica in honorem Johannis Otrębski»), стр. 143—149.

[19] См. статью автора «Several Parallels to the Ancient Indo-Iranian Social and Mythological Concepts». — «Pratidānam. Indian, Iranian and Indo-European.—Stadies Presented to F. B. J. Kuiper». 's-Gravenhage, 1969, стр. 113 сл.

Индрой и Вритрой (и другими демонами), как он описывается, например, в «Ригведе» (I 32). Основным помощником Индры в этой схватке был *Трита* (в компании с *Марутами* или *Вата* — ветрами), атрибуты и действия которого воспроизводятся в образе героя русской сказки (о нем часто сообщается, что он был третьим сыном; иногда он носит даже имя *Иван Третéй*, ср. *Tritá*). Вместе с тем *Трита* генетически связан с авестийским *θraētaona* (*Феридун* у Фердоуси), который, как и герой сказки, отправился в обществе двух братьев, предавших его, на освобождение царевен, вступил в бой с огненным Змием (*Aži Dahāka*), убил его и освободил царевен (ср. Yt. XIX 35—38). Если учесть обмен атрибутами между противниками (например, связь с в о д о й, характерная для Змия или Усыни, переносится на героя, убивающего их, ср. имена *Иван Водович*, *Михаил Водыч* и т. д.; связь с в е т р о м, в и х р е м, характерная для Змия, ср. *Вихорь Вихоревич*, *Ветр*, передается герою, борющемуся с Вихорем, ср. имена героя *Иван-Ветер*, *Иван Ветрович* и под.), то можно, хотя бы в виде догадки, предположить: 1) наличие связи между героем сказки, в и х р е м, налетающим на Змия, и ветром *Vāta*, являющимся в древнеиранской мифологии первым воплощением бога *Vr̥θragna* (этимологически — 'убийца Vr̥θra'), соответствующим Индре как *Vr̥trahan*'у; 2) наличие связи между *Вороном Вороновичем* сказок близкого (к 301) типа (иногда его роль положительна: он приносит герою в подземное царство живую воду, предупреждает об опасности, утешает героя и т. п.) и вторым воплощением бога *Vr̥θragna* — птицей *vāragna* (ср. Yt. XIX 35), объясняющим русскую форму *Ворон Воронович*, подвергшуюся, естественно, народноэтимологическому переосмыслению [20].

Все эти соображения уточняют сферу поиска этимологических решений, относящихся к имени *Усыня*. Прежде всего следует подчеркнуть, что Усыня выделяется среди своих товарищей — Горыни и Дубыни — двумя существенными в данной связи особенностями: во-первых, ходячая этимология его имени (от *ус*) малоубедительна [21] и заставляет видеть в этом слове следы

---

[20] Возможно, с *vāragna-* связано название демонической птицы *Rarog* у западных славян, способной превращаться в разных животных или в гномов (ср. *мужичок с ноготок*, *борода с локоток* в сказках типа 301). Ср.: R. J a k o b s o n. Slavic Mythology. — «Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend», vol. II. New York, 1950, стр. 1025—1028.

[21] Ср. тот же способ этимологического объяснения применительно к латышскому *Ūsiņš*'у: Т. Я. Е л и з а р е н к о в а, В. Н. Т о п о р о в. О древнеиндийской *Ушас* (*Uṣas*) и ее балтийском соответствии (*Ūsiņš*). — «Индия в древности». М., 1964, стр. 79 (ср. перенос мотива усов с Усыни на Змея: *Змей зачал усы разглаживать* — перед схваткой с Светозором в аналогичной сказке. Эрленвейн № 4). Характерно, что в соответствующих литовских сказках выступают Kalnavertis и Ąžuolrovis — эквиваленты Горыни и Дубыни, но персонаж, соответствующий Усыне, отсутствует.

чего-то основательно забытого; во-вторых, *Усыня*, как правило, играет более значительную роль, чем его спутники, и в глубокой реконструкции может быть восстановлен как основной или даже единственный противник героя мифа, легшего в основу сказки. В связи с этим и при учете функционального подобия *Усыни* и *Vṛtra* соблазнительны попытки установить этимологию имени *Усыня* исходя из двух, возможно, дополняющих друг друга, предположений. С одной стороны, можно было бы думать о связи с постоянным эпитетом демона *Vṛtra* — *vyaṁsa* (*vi-aṁsa*), обозначающим скорее 'weitauseinanderstehende Schultern habend'[22], чем 'бесплечий', как полагали прежде. Однако и.-е. **omsos*, отразившееся в др.-инд. *áṁsa-*, др.-греч. ὦμος (ср. эол. ἐπ-ομμάδιος, лат. *umerus*, арм. *us*, гот. *ams*) отсутствует в славянских (как и балтийских) языках, что приводит к ряду трудностей в объяснении, хотя именно др.-инд. *áṁsa-* точно соответствовало бы слав. **ǫs*-(*Us/ynja/*), переосмысленному по-новому (с утратой элемента, сопоставимого с др.-инд. *vi*, также не имеющего аналогий в славянских языках). С другой стороны, имя *Усыня* фонетически довольно близко к индоевропейскому названию змея (выступающему, между прочим, в текстах, сопоставляемых с проанализированными сказочными), ср. др.-инд. *áhi-* (**n̥g̑hi*)[23], авест. *aži-*[24], др.-греч. ὄφις (ср. ἔχις)[25], лат. *anguis*, лит. *angìs*, слав. *ǫžь* и т. п.[26] (различия в деталях могли бы быть объяснены табуированием[27], что и делается обычно применительно к перечисленным словам)[28]. Как бы то ни было, существует весьма много шансов, что прослеженное индо-ирано-славянское сходство не ограничивается исключительно типологической близостью и претендует на генетическое родство. В таком случае появляется возможность реконструкции целого фрагмента индо-ирано-славянского словаря и соответственно мифа (З м и й, В е т е р, и м я п т и ц ы, к а м е н ь, в о д а, б е с с о л н е ч н а я т ь м а и т. п.). Уже сейчас есть основания поставить вопрос о привлечении славянских

---

[22] P. T h i e m e. Untersuchungen zur Wortkunde und Auslegung des Rigveda. Halle, 1949, стр. 54; ср. также: E. B e n v e n i s t e, L. R e n o u. Vṛtra et Vṛϑragna. Étude de mythologie indo-iranienne. Paris, 1934, стр. 158.

[23] *Áhi-* в Ригведе не раз связано именно с Vṛtra. — E. B e n v e n i s t e, L. R e n o u. Указ. соч., стр. 107.

[24] Ср.: *Aži-Dahāka-* при слав. *Zmĭjь Ognьnъ*.

[25] Ср. 'Οφιονέυς в орфических текстах.

[26] Особый вопрос — связь с арм. *ōj* (т. е. *auj*) и тох. В *auk*. См.: V. P i s a n i. Glottica Parerga. — «Rendiconti R. Ist. Lombardo» 75, ser. III, 1941—1942, стр. 181; G. R. S o l t a. Die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermanischen Sprachen. Wien, 1960, стр. 134—135.

[27] См.: W. H a v e r s. Neuere Literatur zum Sprachtabu. Wien, 1946, стр. 44 сл.

[28] Со слав. *ǫs-* 'ус' сравнивалось еще одно слово из употребляющихся в контексте, куда входят Индра и Vṛtra, — *aṁśu* (ср. RV VI 17, 11), см.: E. L i d é n. — IF 19, стр. 348; однако это сравнение едва ли имеет смысл принимать в расчет при этимологическом объяснении имени *Усыня*.

данных к реконструкции того варианта древнего мифа с участием Змйя, который до сих пор был известен лишь в индо-иранской версии.

* * *

Третья заметка посвящена отзвукам митраической терминологии у славян, относящейся как к мифологической, так и к социально-юридической сфере. Выводы, излагаемые здесь, также основаны на анализе известных концепций, надстроенных над семантикой естественного языка (космология, мифология, социальная организация) и отраженных в языке. Специфика анализа заключается в том, что данные одной традиции (индо-иранской) используются для вскрытия сходных черт в пределах другой традиции (славянской). Соответствующий материал подробно изложен в других работах автора [29]; поэтому здесь достаточно остановиться на собственно лингвистической стороне дела, и притом только в связи с одним, правда, наиболее важным, примером митраической терминологии.

Безусловно, самая яркая характеристика Митры в Ригведе — и по сути дела и в языковом плане — дана в отрывках типа: *mitró jánān yātayati bruvāṇó*. RV III 59, 1 (ср. *yātayájjano*. III 59, 5); ... *jánaṃ ca mitró yatati bruvāṇáḥ*. RV VII 36, 2; ... *mitráṃ ná yātayájjanam*. VR VIII 102, 12. Характерно, что подобные действия приписываются Митре по преимуществу, что выделяет его среди других богов. Если же действие, выражаемое глаголом *yat-*, все-таки отнесено к другим богам, то среди них обычно оказывается и Митра, ср. *yātayájjanā*. RV V 72, 2 в связи с Митрой и Варуной или *mitrás táyor váruṇo yātayájjano 'ryamā́ yātayájjanaḥ*. RV I 136, 3 в отнесении к Митре, Варуне и Арьяману (все трое — из класса Адитьев). Сочетание *yat-* с *Miϑra* характерно и для Авесты, ср.: *tūm tā daiŋhāvō nipāhi yā hubərəitīm yātayeiti miϑrahe*. Yt. X 78, ср. Y. 28, 9 и др. Поэтому не случайно Э. Бенвенист назвал *yat-* «un verbe mitraïque» [30]. Как было недавно показано, этот глагол, сохранившийся в ряде живых иранских языков, обозначает помещение (людей) на (их) собственное, соответствующее, естественное, правильное место [31]. Таким

---

[29] Ср.: «Several Parallels» и «Заметки о Митре в связи с реконструкцией некоторых древних представлений» (в печати).

[30] E. Benveniste. La racine *yat-* en indo-iranien. — «Indo-Iranica. Mélanges présentés à Georg Morgenstierne». Wiesbaden, 1964, стр. 26.

[31] См.: E. Benveniste. Указ. соч., стр. 21—27; ср. также: B. Schlerath. Das Königtum im Rig-und Atharvaveda. Wiesbaden, 1960, стр. 37—39; L. Renou. Études sur le vocabulaire du Ṛgveda. Pondichéry, 1958, стр. 44 сл.; Он же. Études védiques et pāṇinéennes, III. Paris, 1963—1964, стр. 60—61, 100; IV, стр. 77; X, стр. 108 и др. Это значение действительно и для авестийского, ср. перевод цитированного отрывка Yt. X 78: «Tu protèges ces pays, pour autant qu'ils mettent en place (rituelle) le bon traitement de Mithra». См.: E. Benveniste. Указ. соч., стр. 23.

образом (это подтверждается, естественно, и другими фактами), Митра выступает как объединитель людей в социальную структуру, в *мир*, как можно было бы сказать, заимствуя термин русской социально-общинной традиции. Возможность такого перевода сама по себе чрезвычайно показательна, учитывая материальную связь индо-иран. *mit(h)ra-* и русск. *mir-*[32].

Вместе с тем следует обратить внимание в связи с митраической терминологией упомянутой выше формулы (*Mit(h)ra-yat-*) на до сих пор остававшееся этимологически неясным *yat-*, *yatati*[33]. Известные попытки найти соответствия *yat-* за пределами индоиранского мира оказались, по странной случайности, безуспешными. Тем не менее такое соответствие, и притом совершенно точное, лежит на поверхности — праслав. **jat-*, **jato-*, **jata*, отраженное в неизменном или слегка модифицированном виде во всех славянских языках. Ср. прежде всего с.-хорв. *jȁtiti (se)*[34] 'sakupļati (se) (kao u jato)' ('собираться'), 'congregare' (по переводу старого словаря Stulić'а); *jȁtovati se*, *jȁtimiti se*: например, *svakova jateći u ńihovu stranu.* I. T. Mrnavić; *vidih orli da se jate.* Đ. Baraković; *šta se vi toliki tu jatite?* Bogdanović; *pokle se za pravdu braniti jatimo.* Mrnavić; *drobni zviri gdi se igraju, gdi se jate.* Ivanišević и др.[35]. Для уточнения значения ср. *jat*, *jȁto* 'agmen, grex' (по определению старых словарей также — 'caterva', 'cohors', 'examen', 'mandra', 'armento', 'greggia', 'frotta', 'quantità d'uomini', 'heerde', 'eine Menge Leute' и т. п., ср. также *na jatu*, *u jatu* 'confertim', 'catervatim', 'manufacta', 'moltitudine' и т. д.)[36]: *jato-bratstvo u kome ima više od pedesat pušaka* (в словаре Вука); *u našoj je općini običaj, da se svak ženi u svomu jatu.* S. Ļubiša, prip. 23; *ženi se u svomu jatu kao ostala paštrovska momčad.* Там же, 35; *i s ńime je otpravio vrlo jato dobrih Turak.* Nar. pjes. Bog. 98; *da muževa jato broje.* Там же, 96b; *danas ima jato sluga.* Там же, 152a; *povelike jato žive zdrave i vesele dece.* M. Đ. Milićević. Zim. več. 32 и др.; ср. также: *jȁtimļêńe*, *jȁtmicê*, *jȁtnîk*, *jatnica*, *jȁtomice*, *jàtoša* и приставочные образования *pȍjata* 'stabulum, conclave, horreum, tugurium' и т. д., *pojatar*,

---

[32] См.: H. Humbach. Skythische Sprachdenkmäler in griechischer Schrift. — «II. Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft». Innsbruck, 1962, стр. 124—125 (слав. *mir-* из др.-иран. *miϑra-* через **mihro-*, **mihiro-*).

[33] См.: Mayrhofer, 18, стр. 5; E. Benveniste. Указ. соч., стр. 27.

[34] Ср. др.-инд. *yātayati* (=*jȁtiti*).

[35] См. подробнее «Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU», dio IV. Zagreb, 1892—1897, стр. 488 сл.; ср. также: dio X. Zagreb, 1931, стр. 475 сл.

[36] Параллелью к *jȁto* 'собрание людей' : *na jatu* 'confertim' может служить соотношение хет. *panku-* 'собрание' : др.-инд. *bahú-*, др.-греч. παχύς (особенно в значении 'густой, плотный', ср. RV VI 10, 4 или гомер. αἷμα παχύ 'густая кровь'), лит. *bingùs*, лтш. *bìezs* и т. п. Об этой группе слов см.: В. В. Иванов. Происхождение и история хеттского термина *panku* 'собрание'. — ВДИ, 1957, № 4, стр. 19 сл.

-ica и, наконец, целый ряд названий населенных пунктов и их частей (*Pǒjata*, *Pǒjate*, *Pojatna*, *-o*, см. Rječnik JAZU X 476)[37]. Из других славянских языков наиболее ценные примеры обнаруживаются в старочешских текстах, где *jatka* (деминутив от *jata*) может, между прочим, обозначать языческое капище, кумирню, храм для молитв, т. е. ритуальное место, ср. *jiné pohanských modl jatki*. Olom. Bibl. 2. Mach. 11, 3 (1417 г.) «cetera delubra gentium» (ср. то же место в Mus. Bibl. 1429 г.); *jatki pohanských model*. Mammotrekt C, 132ª (сер. XV в.); *stanek boží skryl w yatczie hory Sinai*. Litomeř. Bibl. 2. Mach. 2. obs. и др.[38] Примеры, засвидетельствованные другими славянскими языками (ср. ст.-слав. ꙗто, болг. *поята*, словен. *pojata*, слвц. *jatka*, польск. *jata*, в.-луж. *jětka*, н.-луж. *jatka*, укр. *ятка*, русск. *ятка*, ср. диал. *ятво*, *-а*), как правило сузили и, следовательно, специализировали первоначальное значение **jat-* 'собирание воедино, в определенный коллектив, социальную структуру' (применительно к людям)[39], 'собирание в стадо, стаю, рой' (о животных). Приведенные выше примеры обнаруживают известную синонимичность слов *mirъ* и *jato*, *-a: mir*, как и *jato*, — это то, что достигается с помощью действия, обозначаемого через *jatiti*. Отсюда — весьма правдоподобная реконструкция праславянских формул типа **mirъ jatiti* 'собрать (людей в) мир-общину', **mirъ jati(tь/ъ) sę* 'мир собирается', **miro/ъmь jatiti sę* 'миром собираться', точно соответствующих индо-иранским клише, ср. вед. *mitró (jánān) yātayati* или (*jánaṃ*. . .) *mitró yatati* или авест. Yt. X 78. В этой связи поучительны современные формулы того же рода: *сходиться миром*, *идти миром*, *мирская сходка* и т. д.; ср. *мир*, *на миру* как обозначение определенного места в деревне, где происходят мирские сходки. Эта фразеология раскрывает, видимо, внутреннюю форму старых стандартных словосочетаний и позволяет увидеть в конечном счете связь между индо-иран. *yat-* и слав. *jat-*, с одной стороны, и глагольным корнем *yā-* (соотв. *ja-*) со значением движения, с другой стороны[40]. Семантическая типология такого перехода апробирована, ср. праслав. **rěso* 'толпа' : прагерм. **reise-* / **reiza-*, **raisa-*, др.-в.-нем. *reisa* от прагерм. **reisan* 'под-

---

[37] Весьма характерно противопоставление внутри одного и того же населенного пункта двух частей — *selo* (где находится административный центр) : *pojate* (периферия с летними постройками), см.: Milićević. Zim. več. 81—82 (Rječn.).

[38] См.: J. Gebauer. Slovník staročeský, I. Praha, 1903, стр. 604—605.

[39] Нужно думать, что в этом слове был актуален и пространственно социальный аспект — ритуальное место или помещение (ср. *pojatina* 'magna casa' у Stulić'a), куда собирался *mirъ* (ср. старочешские примеры). Ряд авестийских контекстов, кажется, позволяет предположить архаичность обычного теперь в славянских языках значения (*po*)*jat-* как помещения для скота.

[40] К соотношению форм с *-t-* и без *-t-* ср. др.-инд. *ci-* : *cit-*, *nr̥-* : *nr̥t-*, *kr̥-* (ср. также κείρω) : *kr̥t-* и под.

ниматься' и др.[41] Таким образом, сопоставление индо-иран. *yat-* и слав. *jat-* одновременно объясняет этимологию этих двух порознь остававшихся непонятными слов.

Корректурные дополнения

1. К сочетанию значений погружения в воду (*купать,-ся*) и страстного желания (*кипеть*, др.-инд. *kúpyati*, ср. *jariti sę*) ср. типологическую параллель в имени др.-герм. богини *Nerthus* (ср. **ner-* как обозначение жизненной силы, связанной с плодородием, и **ner-* в применении к процессу погружения в воду, схождения вниз). Ср., однако: E. Polomé. A propos de la déesse Nerthus.—«Latomus» 13, 1954, стр. 167 сл.; Он же. Nerthus—Njord.—«Handelingen der Zuidnederlandse Maatschappij vor Taalen Letterkunde en Geschiedenis» V, 1951, стр. 99 сл. (из *$ə_2$nér* 'жизненная сила'). Связь плодородия, жизненной силы (ср. *Купала*, *Ярила*, *Nerthus*, Δύαλος и т. п.) с низом, подземным царством, его водами и т. д. относится к числу наиболее очевидных.

2. К Δύαλος ср. еще иллир. Δευάδαι (ʿοἱ σατ⟨υρ⟩οι ὑπ' Ἰλλυριῶν. Hes.). См.: H. Krahe. Die Sprache der Illyrier. Wiesbaden, 1955, стр. 82 сл.

3. К поединку огня и воды (ср. вариант — лета и зимы) ср. дионисийский миф о борьбе светлого с темным, ср. также прозвище Диониса Μελαν-αιγίς. См.: M. P. Nilsson. Greek Popular Religion. New York, 1940, стр. 36.

4. К связи солнца (или неба) со свиньей в мифе см.: М. Э. Матье. Древнеегипетские мифы. М.—Л., 1956, стр. 17—18, 86; В. Н. Топоров. Несколько параллелей к одной древнеегипетской мифологеме (в печати).

5. О проблеме отражения *vāragna-* в балтийском и славянском, поднятой В. Махеком («Slav. rarogъ 'Würgfalke' und sein mythologischer Zusammenhang». — «Linguistica Slovaca» III, 1941), см. теперь: О. Н. Трубачев. Из славяно-иранских лексических отношений. — «Этимология. 1965». М., 1967, стр. 64 сл. В другом месте будет сделана попытка дальнейших поисков подобных следов. Ср. еще: B. H. Stricker. Varəgna, the Falcon. — IIJ, 17, 1964, стр. 310 сл.

6. Попытка определения кельтских соответствий др.-инд. *yatati*, *-te* предпринята: K. H. Schmidt. — ZfceltPh, Bd 26, 1957, стр. 222 сл.

---

[41] См.: О. Н. Трубачев. О праславянских лексических диалектизмах серболужицких языков. — «Серболужицкий лингвистический сборник». М., 1963, стр. 169 (здесь же о связи **jata* : **jati*).

Ф. Копечный

ПРОБЛЕМЫ ЭТИМОЛОГИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ СЛОВ

Почти все славянские первичные союзы, за исключением *бо*, и так называемые усилительные частицы типа русск. *-ко*, *-то* (*-токо*/*-тко*), прибавляемые к концу местоимений, местоименных наречий и глаголов (*мнека*/*мнекава*, *поди-ка*, *приезжай-токо* и т. п.), связываются этимологически с прономинальными основами [1].

Но если мы занимаемся историей этих союзов, например *a* или *i*, на базе засвидетельствованных материалов, то мы видим, что первоначально они очень часто стоят в функции эмоциональных частиц; наряду с этим они функционируют, правда, также в роли союзов, но далеко не так специализированных, как теперь, а, наоборот, довольно диффузных, в различном употреблении в зависимости от контекста. В некоторых работах говорится о междометном происхождении этих союзов. В первый раз, если считать словари, такое мнение высказывается пожалуй, не во всех отношениях образцовом словаре Голуба и Копечного [2]. К этому решению был очень близок еще Й. Зубатый. Он говорит об *a*, которое содержится в *ano*, как о «частице» [3] (т. е. не как о союзе) и склонен отождествлять это *a* с древнеиндийским междометием *ā* [4]. Но от этого своего обоснованного мнения — а именно, что не следует отделять междометное *a* от союзного, — он не сделал последний шаг: не дошел до правильного заключения о междометном происхождении «обоих» *a* и остается («пока что») при традиционной этимологии славянского *a*, связываемого с др.-инд. *āt*.

---

[1] Исключение составляют: 1) н.-луж. *-r*, например в *hyšćer* 'noch', *tuder* 'dort', *teker* 'auch' (ср.: F. Miklosich. Vergleichende Syntax der slavischen Sprachen. Zweiter Abdruck. Wien, 1883, стр. 123), где *-r*, вероятно, не возникло из *-že* (как это часто встречается в южных языках), и 2) *-mo*, например в ст.-слав. *kamo*, *tamo*, *sěmo* или в русск. диал. *ноньмо* (синонимы *ныньче*, *ноньче*, н.-луж. *njento* и т. п.). Пизани, правда, говорит об указательном индоевропейском местоимении **me*/*mo* (V. Pisani. Allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft-Indogermanistik. Bern, 1953, стр. 62), но ничего достоверного об этом местоимении не известно.

[2] J. Holub, F. Kopečný. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1952, стр. 59 (об *a*) и стр. 146 (об *i*).

[3] J. Zubatý. Studie a články, II. Praha, 1954, стр. 53—106 (особенно стр. 76).

[4] Там же, стр. 100.

Замечательно, правда, то, что и др.-инд. *āt* обнаруживает то же полумеждометное употребление в аподозисе (Nachsatz), как и слав. *a*[5]. Например, др.-русск.: аще забываете... *а* часто прочитаите; аже соколъ к гнѣзду лѣтить *а* вѣ сокола опутаевѣ; или же др.-чеш. ný́nieť li tě léň slyšěti, *a* ti budu vyprávěti, др.-польск. który człowiek to popełni, *a* miłość bożą ten odzierzy — и подобно этому в древнехорватском.

Подробно доказывает междометное происхождение союза *а* Й. Курц[6], его выводы вполне убедительны. И в самом деле: если произвести проверку материалов с исторической точки зрения — и я должен был сделать ее, независимо от Курца, для целей первого тома нашего этимологического словаря славянских языков, — тогда можно проследить постепенный переход от чисто междометной функции, через ее ослабление, к еще неспециализированному и часто еще полумеждометному союзу, затем в полный союз, в известной степени уже специализированный, хотя еще далеко не так, как в позднейшем развитии. Притом эти две функциональные плоскости обусловлены не только стилистически, но и действительно генетически.

При этом надо обратить внимание на мнение Я. Бауера, по которому и чисто копулятивная функция союза *а* не отклоняется от только что упомянутой линии развития[7].

Все, что мы сказали об *а*, имеет силу также для союза *i*; даже о союзах *li* и *le* можно говорить как о первичных эмоциональных частицах[8].

* * *

Но не противоречит ли такое понимание вещей существующему до сих пор и общепринятому мнению об этимологической связи союзов и частиц с местоимениями? Нисколько. Нам только нужно отдавать себе отчет в том, что из дейктических междометий возникают, совершенно естественно, с одной стороны, указательные местоимения, с другой — модальные частицы вроде русск. *да*, ст.-слав. ѥи, нем. *ja*, с третьей же — и союзы, которые на первых этапах своего развития бывают всегда многозначны;

---

[5] См. также: H. Birnbaum. — Scando-Slavica V, 1959, стр. 79.

[6] Ср. в «Slavia» 24, 1955, стр. 144 и особенно в статье: Problematika zkoumání syntaxe stsl. jazyka a nástin rozboru významu částic *i*, *a* apod. v konstrukcích participiálních vazeb s určitými slovesy. Сб. «K historicko-srovnávacímu studiu slovanských jazyků». Praha, 1958, стр. 89—107.

[7] J. Bauer. Vývoj českého souvětí. Praha, 1960, стр. 126—127. — Невозможно поэтому отделять этимологически копулятивное *а* от прочего *а*, как это делает В. Махек в своем этимологическом словаре (V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957, стр. 15; во втором его издании разделение *а* на четыре разных по происхождению слова еще фатальнее и крайне невероятно).

[8] См.: J. Zubatý. Указ. соч. I, 2. Praha, 1949, стр. 52—54.

очень часто стоят они в качестве десигнаторов наступления действия в главном предложении (как упомянутое уже *a* или же, еще чаще, слав. *to*). И из тех же основ — или же, может быть, лучше сказать, из того же междометно-прономинального «мицелия» — возникают также усилительные частицы.

Эти различные течения в развитии эмоциональных частиц-междометий можно богато документировать данными истории отдельных конкретных языков. Достаточно указать на междометные основы романских указательных местоимений (ит. *questo*, рум. *acest*, франц. *ce* и т. д.) или же на связь чешского народного междометия *to* 'вот' с местоимением *ten*; подобно этому и немецкое синонимическое *da* находится в связи с *der*. В ясной связи с междометиями находятся также модальные, прежде всего утвердительные, наречия, начиная со ст.-слав. ей, слвц. *hej*, луж. *haj* (в восточной Моравии мы находим также *ái* 'да, конечно' [9]), нем. *ja*, русск. *да* и переходя к генетически очень молодым примерам восточнославянского народного *ага*! (чешского диалектного *ahà*!), рядом с которым стоят укр. *еге*, русск. *угу* и даже болг. *ъъ* [10]. Старое и новое междометное *a* известно также в этой функции в древнечешском и в польских говорах, и в старославянском, новое *e* в сербохорватском (об этом с.-хорв. *e* ср. еще ниже).

В примитивных, спонтанно, т. е. без контроля и без образца литературного стиля, развивающихся языках, а иногда даже в диалектах литературно разработанных языков мы встречаем это постоянно повторяющееся течение развития междометий в модальные частицы, в союзы, в указательные местоимения, сродный звуковой материал с которыми обнаруживают также усилительные частицы. Это надо постоянно иметь в виду, так как конфронтация с засвидетельствованными современными процессами облегчает нам ориентацию при анализе, при рассмотрении более старых и самых старых отношений и состояний.

Что касается так называемых усилительных частиц, то в народных говорах мы часто можем наблюдать обновление их первоначальной усилительной функции; они удваиваются или же комбинируются, освежая тем самым свою первичную, но ослабевшую усилительную функцию. Из своего родного среднеморавского говора я могу привести следующие примеры: наряду с уже усиленными формами *dneski*/*dneské* 'сегодня' встречаются более аффективные формы *dneskik*/*dneskék*; подобно этому, наряду с *toť* 'тут' или также во временном значении 'недавно', суще-

---

[9] Хотя то же самое междометие в словацких говорах может иметь также отрицательное значение — подобно с.-хорв. *âja* (*ȁja*).

[10] Вероятно, здесь перед вами два так называемых гортанных взрывных (coup de glotte; Kehlkopfverschlußlaut) — следовательно, голосовая формация, которая в разговорном стиле некоторых чешских диалектов значит, наоборот, 'нет'.

ствуют и *toĭkék* / *toĭkik*. Рядом с русскими диалектными формами *тебека*, *мнека* (=с.-хорв. *тебика*, *меника*) существуют еще более усиленные *тебекава*, *мнекава*. Такого рода процессы особенно характерны для лужицких языков, где они все же скоро, кажется, нейтрализуются: относительное *kaž* < *kakž* так же немаркировано, как и более древнее, первоначальное вопросительное *kak*. Я бы хотел здесь обратить внимание на лужицкую частицу *da* (в.-луж.) и н.-луж. *ga*/в.-луж. *ha*. Судя по Эрнсту Муке, обе частицы, *da* и *ga*/*ha*, одного и того же происхождения, а именно из *gda* [11], возникновение которого не так бесспорно. Путем взаимной комбинации возникли формы *dga* (нижнелужицкое; из *da-ga*; спорадическое развитие старого **gda* > *da*, которое происходит как правило в верхнелужицком, надо предполагать также для нижнелужицкого, хотя здесь нормально **gda* > *ga* [12]) и *dha* (верхнелужицкое). Притом обе формы сокращаются сызнова: н.-луж. *dga* > *ga*, в.-луж. *dha* > *da*. В верхнелужицких диалектах представлена также форма *-hada*, которая является, таким образом, в обратном виде, чем предполагаемая исходная форма для *-dha*. Так что мы в этом языке встречаем в итоге в некоторых случаях четыре усиленные формы: *štoda*‖*štoha*, *štodha* и *štohada*. Лужицкое удвоенное *dga*/*-dha* можно, между прочим, сравнить с русск. диал. *-тко* < *-токо* (обе формы засвидетельствованы: *пойдитко ты*; *поезжай-то-ко* [13]). Учитывая целый контекст, вряд ли можно верить дальше соблазнительной параллели верхнелужицкого *štóda* и греч. τίς δή 'wer denn', как бы следовало из толкования в словарях Бернекера и вслед за ним Фасмера.

Из этого состояния вещей вытекает, по моему мнению, ясно, что если мы и в дальнейшем будем говорить о связи так называемых первичных союзов и частиц с индоевропейскими местоименными основами, то не будем видеть в ней прямолинейную генетическую связь. Нельзя будет упускать из виду и игнорировать общий источник всех упомянутых категорий, которым являются дейктические междометия. Эти междометия образуют в течении развития языков п о с т о я н н у ю п и т а т е л ь н у ю с р е д у, из которой возникают в одном направлении модальные частицы, во втором — позднейшие союзы, в третьем — указательные местоимения, и из того же самого звукового материала

---

[11] Это, конечно, не исключает факта, что *da* в значении 'тоже', приводимое Э. Мукой из словаря J. G. Zwahr'a (Э. М у к а. Словарь нижнелужицкого языка I. Пг., 1921, стр. 237), этимологически первично.

[12] Оба пути развития, *gd* > *g* и *gd* > *d*, достаточно засвидетельствованы в славянских языках. Ср. в нашем пробном выпуске «Etymologický slovník slovanských jazyků» (Brno, 1966, стр. 37); можно дополнить словен. диал. *nigi* или, наоборот, *nide*, литературное *nikdar* (*nigdar*). В самом нижнелужицком языке мы имеем, наряду с *niga* (литературное *nigda*/*nigdy*), также *nidy* (это в мужаковском говоре, где в соответствии с в.-луж. *štoda* 'was denn' встречаем, наоборот, *coga* > *ca*).

[13] Ср.: Nina B r o d o w s k a. — LP 3, 1951, стр. 273.

образуются также и так называемые усилительные частицы. Потому хотя мы и знаем случаи возникновения союзов из настоящих местоимений, — равно как из прямых падежей (как русск. *что* и, может быть, также чеш. *že*[14]), так и из косвенных (русск. *чем*, польск. *im*, слвц. *kým*), — но нельзя все-таки искать или видеть такие местоименные «падежи» в исконных союзах типа *a*, *i*, *li* и под.[15] Насколько шаткими являются теории, которые видят в союзе *a* аблатив (Бернекер), в союзе *i* — местный падеж (Бернекер, Фасмер, допускает Славский), наглядно показывает параллелизм развития у более нового союза, сербохорватского *e*, которое сохраняет в говорах ту семантическую диффузию, которую мы находим также у *a* и *i* в древних фазах их развития: оно выступает в роли междометия, в роли русского союзного *и* (идите и ви у мој виноград *е* што право буде даћу вама), в функции изъяснительного союза 'что' (видели *е* их погрдише), в роли причинного союза (хоћаше изгубити љубу, *е* му љуба много закривила), волюнтативного (побудительного) союза (замоли га, *е* би му их свезали) и употребляется также в роли утвердительной частицы (*е*, госпо 'да, сударыня'[16]). Все эти функции можно привести и для общеславянских союзов древнего происхождения *a* и *i*. Но нам никоим образом не удается возвести эту совсем новую «формацию» к какому-либо падежу индоевропейской прономинальной основы, скажем **e*, и мы видим, что этого и не нужно. И, по-моему, вряд ли это нужно — и надежно — и для старинных союзов *a* или *i*.

Есть и другие проблемы. Имеется чередование по звонкости/глухости в союзах типа *da*||*ta* (объясняемых, как и параллельное *ka*, в качестве творительного падежа[17] от двух самостоятельных местоименных корней — *t-* и *d-*). Признаюсь, мне кажется более естественным простое понимание вещей у Гринченко, считающего формы *ta*/*da* вариантами в отношении звонкости. Отремб-

---

[14] Чеш. *že* возникло из *ježe*; в древнечешском засвидетельствован также вариант *ež*; в церковнославянских текстах чешского происхождения, особенно в Беседах Григория Великого, юже 'что' обиходно (ср. также: F. Mareš. «Slavia» 32, 1963, стр. 433 и 448—449). Но из этого еще не следует, что здесь можно говорить в точном смысле о винительном или же именительном падеже, — в виду того, что в той же самой изъяснительной функции мы встречаем также варианты *iže* (ст.-слав., др.-русск., др.-польск.) и *aže* (в древнерусском, древнепольском, спорадически даже в древнечешском; в настоящее время обиходно в нижнелужицком); др.-русск. *оже* представляет вариант *еже*/*юже*.

[15] Й. Зубатый (J. Zubatý. Указ. соч. II. Praha, 1954, стр. 105—106) говорит, что раньше, чем у старых союзов (*a*, *i* . . .) развилась до известной степени союзная значимость, указательные местоимения появились, наверное, в иных формах, чем мы теперь их знаем, — в формах, которые в конце концов происходили, вероятно, от подлинных междометий.

[16] Это последнее можно, однако, по мнению В. Михайловича, считать итальянизмом.

[17] Ср.: Sławski I, стр. 135; II, стр. 8.

ский [18], правда, указал на некоторые уже весьма древние дублеты этого рода, но их сосуществование в одном и том же языке, пусть старинном (как в хеттском) или же новом (как в украинском), показывает скорее постоянно повторяющийся процесс, или, лучше сказать, постоянную возможность повторения процессов сонофизации или десонофизации. Живым мне кажется сосуществование форм *дык* и *тык*; последней пользуется, например, Зощенко, первая напоминает случайно похожее чеш. народное *dyk* < *vždyť*. Есть, между прочим, у тех же союзов — наперекор ученым теориям об их происхождении из творительного — также чередование гласных *ta*/*te*/*ti*. . . (напоминающее ряд союзов: *a*/*e*/*i*) и несколько другого объема и характера южнославянский ряд *da*/*de*/*di*, есть и белорусское *ды* — против русского и украинского *да*. Восточноморавское (валашское) *ťa*, *ťanu* (эмоциональная частица) не имеет, напротив, ничего общего с чередованием *та*/*да*. Возникла она в результате более энергичной артикуляции *j* из общеморавского *ja*, *janu*.

Такие факты предостерегают нас от необоснованного и поспешного проецирования этих форм просто в индоевропейский праязык. Удачно схватывает положение вещей Й. Зубатый, говоря о славянском междометии *na* в значении побудительной частицы: «*На* вполне может принадлежать к числу тех междометных образований, которые еще не представляют слова в полном смысле . . ., которые возникают без всякой этимологической связи. . . Даже глухонемой может издавать звуковые комплексы, похожие на наше *на*, причем никому не придет в голову считаться с возможностью какой-нибудь их „этимологии". . . Междометия чисто спонтанного происхождения . . . становятся иногда равноправными членами словарного состава. Еще отважнее, мне кажется, в словах подобного характера и в „частицах" вообще искать не только определенные „корни" и „основы", но даже их формы, напр. „падежи". Я не вижу никакой пользы для науки в том, если кто-нибудь соберет все возможные частицы, заключающие в себе *-n-*, и отнесет их к тому же местоименному корню или же местоименной основе **-ne* и если скажет, которая из них первичный творительный, которая местный и т. п. . . . Потому только полноты ради я добавляю, что *на* также толковалось и толкуется этимологически» [19].

Вместо *-n-* мы, наверное, можем подставить в этот контекст любой другой «местоименный» материал. Но, с другой стороны, этимолог все-таки не может целиком игнорировать такие слова, так как материальное тождество усилительных частиц и указательных местоимений явно не может быть простой случайностью! Конечно, нам придется иначе понимать характер их связи.

---

[18] «Die Sprache» 6, 1960, стр. 164 сл.
[19] J. Zubatý. Указ. соч. I, 2, стр. 55.

Мы должны отдавать себе отчет в первоначально «элементарном» характере подлинных источников — междометий, которые представляют собой нечто в роде так называемых «Lallwörter». И, наконец, нам нельзя забывать, что предполагаемые нами направления развития, а именно

можно проверить на повторяющихся иногда процессах этого рода, засвидетельствованных (кроме, может быть, последнего этапа) в истории до сих пор живых языков.

Материальное, т. е. звуковое, сходство между упомянутыми категориями, в особенности между усилительными частицами и дейктическими местоимениями, — не простой случай. Но мы должны учитывать также проявляющуюся в определенных рамках переменчивость этих формаций, их звуковой оболочки, что, наконец, совпадает с их семантической диффузностью, обусловливая ее частично, с определенной произвольностью «выбора» соответствующей усилительной частицы. Я здесь имею в виду не такие банальные синонимичные вариации, как *inako*/*inače*, *ako*/*ače*, *nego*/*neže* и под., а более существенные случаи: почти общеславянскому *kъdy*/*-da* или же *kъ-g*(*ъ*)*da* противостоит блр. *калі*, укр. *коли* (русск. союз *коли*) с совсем иной конечной частицей (тип, когда-то, судя по *nikoli*, более распространенный) — частицей, которая в почти той же самой формации, обычно только далее расширенной, в виде *koliko* [20], значит 'сколько'. Болгарское *тука*/*тува* конкурирует таким же образом с синонимическим с.-хорв. *туне*/*туна* (ср. слвц. *tuná*) и *тут(е)*, усиленно *тутена* (ср. русск. *тут*, укр. диал. *тутки*, *туткива*, чеш. диал. *totki*); есть даже еще в том же сербохорватском языке синонимичное *tyj* (усиленно *тујко*), которое, подобно укр. диал. *туй*, значит 'тут' — в отличие от болг. *туй*, указательного местоимения 'вот это'. Украинское *ходи-но*, *куплю-но* я цю книгу=русск. *поди-ка*, *куплю-ка* я эту книгу. Имеет ли смысл смелое проецирование этой изменчивости, проявляющейся даже в одном и том же языке, прямолинейно в индоевропейский праязык или же поиски «родственных» форм (слов) в отдельных индоевропейских языках, далеко отстоящих друг от друга пространственно или

---

[20] Впрочем, эта форма может быть, кажется, только случайно сходной — ср. о ней: O. Szemerényi. — Annali d'Istituto orientale di Napoli, II, 1960, стр. 1—30; мне эта работа известна только из аннотации в RES 39, 1961, стр. 144.

хронологически, зачастую даже без проверки самого близкого контекста в обоих языках? Эта изменчивость иллюстрирует скорее постоянное движение (в рамках определенной области) звукового материала (лишь этот материал является общим в родственных языках) и доказывает параллельность развития в близкородственных языках.

Только в виде исключения усилительные частицы могут приобретать также и грамматическую функцию. Такого рода частицы мы видим в окончаниях *-го/-га* и *-во/-ва* в родительном падеже местоимений и прилагательных.

Родительный падеж первоначально отличался от именительного только положением и главным образом тем, что он нес ударение целого выражения, целого сочетания «именительный+родительный» как такового. Именно поэтому он выступает в полной звуковой форме как casus absolutus в еврейском языке (в сравнении с редуцированным «именительным»=casus constructus) и в полной аблаутовой степени в суффиксе у индоевропейских основ на *-i* и *-u*: ср. генитивы *sunaus* в литовском и готском, *sunoḥ* в древнеиндийском (в именительном здесь окончание *-us*, с соответствующими изменениями в древнеиндийском). Подобно этому родительный *anstais* в готском, *agneḥ* в древнеиндийском, в сравнении с именительным *ansts* или *agniḥ* — вопреки мнению Фр. Шпехта, что здесь обе формы первоначально были одинаковы [21]. Окончание генитива можно считать, согласно Шпехту, той же самой усилительной частицей прономинального происхождения, которая выступает и в именительном, но в ослабленном виде. Шпехт правильно объясняет, таким образом, обе формы индоевропейского родительного — **to-so* и **to-sio* (ср. соответствующие местоимения в др.-инд.: *saḥ* и *syaḥ*). Но могут быть также иные усилительные частицы: Шпехт считает (по-моему, удачно) такой частицей слав. *-go* в *to-go* (с вариантом *-ga* в сербохорватском и словенском *toga/tega*), связывая ее с прономинальной базой *k-/g-* [22]. При этом надо отметить, что это удачное объяснение, к нашему удивлению, не ново. Еще за 60 лет до Шпехта Миклошич писал в своем словаре, что его мнение, согласно которому *-go/-ga* в *его* не является окончанием, а есть та же усилительная частица, которая содержится в *nego* (‖*neže*), и что *jego* представляет усиленное (hervorgehobenes) *jь*, не нашло отклика [23]. Хорошим идеям приходится иногда ждать своего времени.

Что касается якобы загадочного русск.[24] *-во/-ва*, то верно ли утверждение Ильинского, будто *-ва* существует также в неакающих севернорусских говорах? Не подсказывает ли это самое естественное объяснение русских окончаний *-во/-ва* как точно таких же частиц, как и *-го/-га*? [25] Но это только предположение, вероятность которого надо еще проверить.

---

[21] См.: F. Specht. Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Göttingen, 1944, стр. 362.

[22] Ср. лат. *hi-ce*, греч. ἐμέγε и т. п. (опять мы видим сонорные дублеты).

[23] Miklosich, стр. 68 (в статье *go*).

[24] Есть также кашуб. *-wœ*, наряду с *-gœ*; это *-wœ*, по-моему, можно было бы вывести из *-g^{u}e* (вариант упомянутого *-gœ*): *g^{u}e* > *we* × *gœ* → *wœ*.

[25] Сам Г. А. Ильинский выводит из своего утверждения очень неправдоподобное объяснение родительного на *-ва/-во* (IF 5, 1925—1926, стр. 53—68).

* * *

В заключение я бы хотел привести слова А. Брюкнера, которые сообщил мне в своем письме коллега Кноблох: «Fürs Slavische muß zunächst die isolierte, einzelsprachliche, d. h. slavische Forschung einsetzen, soll ein Fortschritt ermöglicht werden»,[26] т. е. «для славянских языков нужно начать изолированное исследование в рамках одного, т. е. славянского, языка, если мы хотим достигнуть здесь научного успеха (прогресса в науке)». Кноблох тем самым одобрительно намекает на мою статью о слове *po* в пробном выпуске нашего брненского словаря [27]. Методически неправильно связывать без проверки ближайшего в географическом и хронологическом отношении контекста такие явления, которые отдалены тысячелетиями времени (например, чешские диалектные с хеттскими), без специального доказательства непрерывности развития в обоих языках. Конечно, и при предлогах достаточно было бы указать на сходный родственный им фонетический материал. В кратком этимологическом словаре было бы, например, возможно перечислить для *po* все предлоги из главных индоевропейских языков, содержащие в себе *-p-* (например, из греческого не только ἀπό и ὑπό, но и ἐπί). Но невозможно считать первым критерием так называемое «сходство в значении». Не только потому, что как индоевропейский архетип **pos*, так и соответствующее ему лит. *pas*, аркадо-кипр. *pos*, между прочим, также и цыг. *paš* и т. п. до такой степени полисемичны, что они кажутся даже внутренне антонимными (со значением 'к' наряду с 'при, у'), но особенно по той простой причине, что и здесь мы наблюдаем постоянное движение по разным направлениям. И если мы сумеем объяснить различные изменения в значении славянского *po* внутренней мотивацией, то какой смысл разрывать единство этого слова и связывать аблативное *po* с греч. ἀπό, а префикс *po-* в чеш. *počerný* — с греч. ὑπό в синонимном ὑπόμελας, прерывисто-дистрибутивное *po* в чеш. chodit *po* lesích, русск. *гулять* по *улицам* — с лит. *par* и т. п.? Из анализа (кстати, вследствие своего объема недостаточно наглядно расчлененного и потому плохо обозримого) заглавного слова *po* видно, что развитие значений и связанная с этим изменчивость значения в некоторых отрезках так сильна, что некоторые обороты становятся непонятными уже спустя одно столетие. Юнгманн, например, приводит из обиходной речи выражение *po dnešní den* в значении 'do dnešního dne', что для нас совершенно невозможно. Но, с другой стороны, какой смысл имело бы искать какой-то подходящий индоевропейский «etymon»

---

[26] Кноблох приводит эти слова из «Die Erforschung der indogermanischen Sprachen» III. Straßburg, 1917, стр. 72; мне эта публикация недоступна.

[27] Здесь я бы хотел поблагодарить проф. О. Семереньи за ценные замечания к этой статье.

для этого теперь единственного значения границы, предела '(вплоть) до' (ср. русск. *по* пояс = до пояса; чеш. *dodnes* = русск. *по* сегодня), если проверка материала показывает, что тип (až) *po* ten les = 'до (самого) леса', вероятно, вообще не древнеславянский?

Итак, в самом деле, надо начать с основательного исследования сперва и прежде всего на славянской почве, причем здесь нужно производить тщательную проверку материала, чтобы не давать этимологических толкований, которые построены на основе случайных сходств, т. е. сходств, не связанных в строгом смысле генетически, но представляющих продукты параллельного развития, обусловленного в каждом языке своими причинами.

Г. Якобссон

ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ЭТИМОЛОГИЗАЦИИ СЛОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ НЕКОТОРЫЕ АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ

(Примером служит понятие «время»)

Эта статья является скорее эскизом программы для этимологического исследования, чем готовым результатом исследований фактического языкового материала. Исходной точкой служат, однако, уже в течение долгого времени предпринимаемые исследования возникновения и развития понятия «время» в индоевропейских, преимущественно славянских, языках.

Как всем этимологам известно, часто встречаются слова, формальная и семантическая изоляция которых как бы противодействует всякой попытке этимологизации. Это обстоятельство нередко характерно для слов, выражающих абстрактные понятия, которые возникли в таком далеком прошлом, что формальная и смысловая связь этих слов с их этимоном совершенно или частично прервана.

Для этимологического исследования — если оно хочет быть динамичным — означало бы признаться в своей некомпетентности, если оно, сомневаясь в своей способности, отказалось бы от попытки объяснить слова этого типа. Наоборот, их этимологическая неприступность должна еще сильнее подстрекать его к поиску новых исходных позиций для новых неиспробованных методов. Даже если не всегда удастся прийти к ясным результатам,большая или меньшая степень правдоподобности этих этимологических разъяснений все же может иметь пользу для этимологического исследования.

Несомненно ясно, что главный интерес следует уделять семантической стороне этимологической проблемы, так как решение этого вопроса часто может устранить формальную изоляцию исследуемого слова, между тем как возможность устранить семантическую изоляцию при помощи решения формальной проблемы большей частью гораздо меньше.

Весьма важен при этом вопрос о возможности конструировать и использовать модели возникновения и развития абстрактных понятий и при помощи этих моделей объяснить этимологию слов для этих понятий, или, выражаясь по-иному, надо найти формальный подход к словам, которые считались этимологически «безнадежными».

При исследовании слов для понятия «время» в славянских языках скоро выяснилось, что невозможно решить эту проблему в слишком узких пределах одной группы языков; оказалось необходимым расширить исследование на глобальное поле, охватывающее все человечество. При этом оказалось, что возможным исходным пунктом для понятия «время» является конкретное значение 'зарубка', которая в своей функции фиксации определенных дискретных моментов мало-помалу привела к абстрактному понятию «время». Таким способом удалось объяснить этимологию славянского слова *časъ*, в связи с этим — также древнепрусск. *kīsman* и алб. *kohë* [1].

При помощи той же модели можно объяснить и лат. *tempus*. Омоним *tempus* 'висок' генетически идентичен, но восходит к общему первоначальному конкретному значению; ср. русск. *тяпать*, исходящее из общеслав. **tęp-*, которое встречается в другом звуковом виде в **tǫp-* (русск. *тупой*, собственно 'отрубленный'), и.-е. **temp-* / **tomp-* 'резать, рубить' [2].

Далее можно по этой модели объяснить греч. καιρός; первоначальная форма которого **kr̥-i̯o-s* имеет прямое формальное соответствие в русск. *корь* 'корень' (в выражении *сидеть на корю*), польское *kierz*, р. п. *krza* 'куст'. Славянские слова стоят ближе к общему первоначальному значению 'что-то отрезанное' из и.-е. **(s)ker-* 'резать'.

Под эту модель подходят и германские слова **tī-þ(đ)-*, **tīman-* (например, нем. *Zeit*, англ. *time*) и арм. *ti*, р. п. *tioy* 'возраст, годы, дни, время', которые все образовались из и.-е. **dī-* 'делить, разрезать, разорвать'.

Весьма вероятно, что эта модель применима и к другим словам для понятия «время» в индоевропейских языках.

На основании результатов этих исследований можно для выяснения этимологии других слов для понятия «время», как и вообще для слов, выражающих абстрактные понятия, поставить себе следующие задачи:

а) Надо установить как горизонтальный, так и вертикальный семантический профиль исследуемых слов. Этимологическую изоляцию, свойственную многим словам, можно в некоторой степени устранить, установив их семантические варианты и инварианты в пределах всего семантического поля, относящегося к понятию «время».

б) По опыту мы знаем, что можно считаться с общечеловеческими константами при возникновении и развитии многих абстрактных понятий, т. е. развитие различных семантических систем может происходить с некоторой закономерностью, независимо

---

[1] «Scando-Slavica» IV, 1958, стр. 286—307.

[2] G. Jacobsson. L'Histoire d'un groupe de mots balto-slaves. — «Slavica Gothoburgensia» 1, 1958.

от языковых групп, к которым они относятся. Исходя из этого следует конструировать модели возникновения и развития понятия «время».

в) Последняя часть исследовательской задачи состоит в том, что следует установить, возможна ли такая этимология исследуемых слов для понятия «время».

При решении поставленных задач можно пользоваться следующими методами:

а) Так как необходимо получить как можно более полную и многостороннюю картину всей семантики исследуемых слов, следует пользоваться как синхроническим, так и диахроническим методами.

При синхроническом методе надо, как операционно, так и аналитически, исследовать различные хронологические слои (из текстов древнейших времен и до современных) поля значения «время», содержащего исследуемые слова. Это исследование является горизонтально-дескриптивным.

С диахронической точки зрения надо сопоставить эти различные хронологические слои поля значения «время», чтобы установить различия, отражающие семантическое изменение. Это исследование производится вертикально-компаративно.

б) Чтобы получить компаративный фон, при помощи которого можно объяснить временные слова в отдельных языках, нужно операционно и аналитически исследовать материал, содержащий слова для понятия «время» или слова, имеющие какую-либо связь с этим понятием, в разных языках и разных культурах всего мира.

Известно, что существуют языки, в которых понятие «время» сравнительно диффузно или едва встречается. Для наших исследований материалы именно из таких языков весьма ценны, так как можно предполагать, что там конкретный базис, из которого «время» образовалось, яснее проявляется.

Этот индуктивный подход к материалу может привести к тому результату, что станет возможным различить определенные главные черты, имевшие влияние на возникновение и развитие изучаемого нами понятия.

в) Опираясь на достигнутые результаты, исследователь будет иметь возможность дедуктивно выдвинуть некоторые априорные (аксиомные) основные принципы, при посредстве которых можно будет сделать выводы относительно возникновения и развития исследуемого понятия, т. е. станет возможным конструировать модель (или модели) для сопоставления с исследуемыми словами для понятия «время». Разумеется, многие слова со значением «время» не подойдут к употреблению модели и поэтому их придется на время отложить в сторону. Кроме того, вероятно, окажется необходимым переделывать модели в связи с их сопоставлением с языковым материалом.

Само собою разумеется, что исследовательская программа, имевшая целью как можно точнее определить синхроническую и диахроническую семантику определенных слов и, кроме того, на глобальном плане собрать максимальный сравнительный материал касательно понятий, выражаемых в исследуемых словах, не может быть проведена одним исследователем. Ясно, что это является задачей для научного коллектива, который, кроме лингвистов, должен включать и других специалистов, например этнографов.

Можно предполагать, что во многих случаях объем материала будет так велик, что придется применять вычислительные машины.

Этимологическое исследование было дополнением историко-компаративного, пока последнее опиралось на ясные и неоспоримые этимологии. Теперь этот период окончен — по крайней мере, что касается индоевропейской лингвистики — этимологическое исследование принуждено заняться проблемами, решение которых не легко достижимо, искать новые, плодотворные пути, иначе говоря, стать самостоятельной дисциплиной. Поэтому можно не преувеличивая сказать, что этимология сегодня стоит перед огромными задачами историко-семантического и ономасиологического рода, успешно решить которые возможно при посредстве новейших методов языкознания.

Е. Гавлова

СЛАВЯНСКИЕ ТЕРМИНЫ 'ВОЗРАСТ' И 'ВЕК' НА ФОНЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭТИХ НАЗВАНИЙ В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Одна из самых злободневных задач этимологии — это изучение слов по семантическим группам. Это, конечно, факт, никем не отрицаемый, и исследования такого рода успешно развиваются. В ниже следующем докладе мы попытаемся показать, что этот прием не только проверяет при помощи параллелей правдоподобность семантических изменений, но и помогает обнаруживать разные слои этих изменений во временно́м плане.

Что касается терминов для понятия 'возраст', то отделить более древние названия от более новых помогает этнография. Определение возраста точно по годам — явление довольно позднее, не встречающееся у первобытных народов. Поэтому названия, восходящие к первоначальному значению 'годы' (например, арм. *tarikh*, алб. *moshë* и подобные названия в славянских языках) или 'время' (арм. *tikh*, южно-слав. *doba*), являются более поздними, чем названия, первоначальное значение которых 'рост', 'сила', так как у примитивов возраст определяется только как известный уровень роста или силы; к последним принадлежат, кроме форм, продолжающих и.-е. **ai̯u-* 'жизненная сила' (авест. *āyu-*, лат. *aetas*, кельт. **aito-*), слав. *věkъ*, обозначающее возраст в зап.-слав. языках, и болг. *пора*, у которого еще хорошо видно первоначальное значение: няма ли някой моя *пора*, с него да се боря? 'нет ли здесь кого-то моего возраста (и поэтому и равной силы), чтоб с ним бороться?' К первоначальному значению 'рост' относятся в славянских языках ц.-слав. **въздрастъ** и ст.-слав. **връста**, ц.-слав. **връсть**, живущее еще в болгарском и македонском языках, тогда как в других славянских языках засвидетельствованы лишь производные слова, как, например, русск. *сверстник* и др.; форма с основой на *-i-*, *vьrstь*, идентична, по моему мнению, с др.-инд. *vr̥ddhi-* 'рост'. От и.-е. корня **al-*, обозначающего у переходных глаголов все виды деятельности, связанные с доведением детеныша до зрелого возраста ('родить', 'вскармливать', 'воспитывать', 'растить'), а у непереходных глаголов — 'расти', образовано, может быть, греч. ἡλικία 'возраст' (детальные проблемы образования этого слова мы оставляем в стороне) и, без всяких сомнений, германские названия, нем. *Alter* и др., развившиеся из и.-е. **al-tro-* (суффиксы *-tro* и *-tlo* встречаются в и.-е. языках не только в именах орудия, но также, хотя менее часто, и в именах действия).

Есть еще несколько названий, а именно (кроме выше приведенного нем. *Alter*) лит. *senũmas*, лтш. *vecums*, чеш. *stáří*, н.-луж. *starstwo*, словен. *starost*, с.-хорв. *године старости*, у которых предполагают переход к значению 'возраст' от первоначального значения 'старость, преклонный возраст'. Но надо ли непременно принимать это семантическое изменение? Нас озадачивает то, что нет параллелей из других языковых семей и что даже в самой славянской семье мы находим такие выражения только в языках, подвергшихся сильному немецкому влиянию. Но немецкое слово первоначально обозначало 'рост', как указано выше. Вторично оно стало обозначать также 'старость', по аналогии к прилагательному *alt* 'старый, пожилой' и 'определенного возраста'. Но эти два значения прилагательного не имеют взаимной связи, оба они являются результатом двух самостоятельных семантических процессов: с одной стороны, первоначальное и.-е. **al-to-s* 'вскармливавшийся, выросший' в германских языках приобрело значение 'определенного возраста' на основании таких оборотов, как (чтобы привести пример из современного языка) нем. *drei Jahre alt* 'вскармливавшийся, росший в течение трех лет', т. е. 'трехлетнего возраста', с другой стороны — из значения 'выросший, взрослый' (отсюда также значение 'высокий' латинского *altus*) развилось значение 'старый, пожилой' таким же образом, как, например, в др.-инд. *vṛddha-* (из **vṛdh-to-s*, от корня **vṛdh-* 'расти') 'выросший, взрослый пожилой, старый'. Поэтому напрашивается вывод, что выше приведенные балтийские и славянские слова, обозначающие возраст, можно считать кальками немецкого слова. Конечно, это немецкое влияние, должно быть, в некоторых языках довольно древнее, например уже др.-чеш. *starý* обозначает, кроме 'старый, пожилой', также 'определенного возраста', но это не расходится с данными истории языка. В домашний обиход эти кальки включились совсем ненасильственно потому, что они вошли в ряд таких названий мер, как чеш. *nejmenší velikosti* 'самые маленькие величины', *teplota pod boden mrazu* 'температура ниже точки замерзания' и т. п.

Что касается обозначений целого периода человеческой жизни от рождения до смерти, то здесь помогает распределить слои разной древности сам языковый материал.

Самыми поздними являются описательные названия — такие, как чеш. *doba života*, в.-луж. *čas žiwjenja*, н.-луж. *cas žywjenja*, словен. *čas* (или *doba*) *življenja*, нем. *Lebenszeit* (в славянских языках опять кальки?), англ. *lifetime* (подобно этому в других германских языках), хинди *džīvankāl* и т. п.

Более древними являются выражения, обозначающие просто 'жизнь': польск. *życie*, в.-луж. *žiwobyće*, англосакс. и др. *līf*, кимр. *bywyd*, часто в романских языках: ит. *vita* и др.

Самыми древними являются те названия, в которых семантическое развитие дошло до значения 'вечность', а именно: или в результате самостоятельного процесса из наречий, возникших

из местных падежей со значением 'навек' ('в течение моей жизни' — это для меня 'навсегда, вечно'), или путем образования калек греч. αἰών, αἰώνιος, возникших во всех языках в самом начале их письменного периода. Одно из них — слово уже индоевропейское, **ai̯u-* (др.-инд. и авест. *āyu-*, греч. αἰών, лат. *aevum*, гот. *aiws*), другие относятся к общему периоду отдельных ветвей (слав. *vĕkъ*, итало-кельт. **sai-tlo-*); только лит. *ámžius* и лтш. *mūžs* — слова отдельных языков, но об их древности свидетельствует, между прочим, их полная деэтимологизация.

По моему мнению, обо всех этих словах можно сказать, что у них значение 'век' развилось из первоначального значения '(жизненная) сила'. Это развитие неоспоримо в и.-е. **ai̯u-*, для которого значение 'жизненная сила' хорошо засвидетельствовано в др.-инд. *āyu-* и в греч. αἰών у Гомера, и далее в слав. *vĕkъ*, где это значение живет до сегодняшнего времени (в производных словах и в определенных оборотах в словенских диалектах). У других слов это первоначальное значение обнаруживается лишь при помощи этимологии.

Этимология слав. *vĕkъ* прозрачна: оно, вместе с лит. *viekà*, *viẽkas*, исл. *vèig*, *vèigr* 'сила', представляет собой имя действия от глаголов с корнем **veik-*, обозначающих разные виды приложения силы: лат. *vincere* 'победить', др.-ирл. *fichid* 'он воюет', гот. *weihan* 'воевать, бороться', др.-в.-нем. *weigen* 'мучить, томить', лит. *veĩkti* 'работать'; этот корень **veik-* является расширением корня **vei-* того же значения, засвидетельствованного, например, в слав. *vojь*, *vojevati*, в лат. *vīs*, др.-инд. *vayas-* 'сила' и др.

Этимология и.-е. **ai̯u-*, наоборот, затруднительна. Однако теоретически можно предполагать, что и и.-е. **ai̯u-* 'сила' — имя действия (с суффиксом *-u-*) от какого-нибудь глагольного корня с подобными значениями. И кажется вероятным, что такой корень существует: это — **ai-* (= *H_2*ei*), засвидетельствованное в др.-инд. *i-no-ti* 'победить, осилить', авест. *aēna he* 'осилить, обидеть' и в прилагательном др.-инд. *i-nā́-* 'сильный', греч. αἰνός 'сильный, мощный, строгий' и т. п.

Этимология лтш. *mūžs* тоже пока была неясной. *Mūžs* соединялось со слав. *mǫžь*, но, помимо затруднений семантического характера, есть производные слова, как, например, лтш. *pusmūdenis*, *pusmūdīts* 'человек, находящийся в половине своего века, средних лет', *d* которых оставалось бы совсем неясным. *Mūžs* поэтому можно объяснить легче всего как продолжение старого **mūd-i̯o-s* или **mund-i̯o-s*. Далее, латышское прилагательное *mūdīgs* 'сильный, мощный' подсказывает, что *mūžs* первоначально должно было обозначать 'сила'. В этом случае можно предполагать, что исконной формой было **mundi̯os*, родственное с алб. *mundjë* 'сила, победа', *mund*, *mundë*, *mundim* 'усилие, напряжение, мучение', *mundues* 'сильный'; в прошлом веке албанский глагол *mund* 'я в силе' стал обозначать 'я могу'.

Относительно другого балтийского слова — лит. *ámžius* — ситуация менее благоприятна. Как и прилагательные, образованные от терминов 'век' в других языках, лит. *ámžinas* является калькой греч. αἰώνιος и обозначает 'вечный'. Кажется, можно соединить литовские слова с албанским прилагательным *amëshuar*, *amshuar* 'вечный' и с существительным *amshim* 'вечность'; оба слова образованы от предполагаемого **amëshë*, которое могло обозначать 'век' (*-shë*, из более древнего **-si̯o-* / *si̯ā*, встречается часто в албанском языке как суффикс названий времени и возраста). Это значит, что в албанском языке засвидетельствован только последний этап семантического развития, начало которого (значение 'сила') отсутствует также и в материалах литовского языка. Но предполагать последнее позволяет сопоставление наших слов с др.-инд. *ama-vant-* 'сильный, могучий, стремительный', греч. ὁμοίιος 'стремительный, приносящий страдание, мучение', исл. *amstr* 'напряженная работа, напряжение, усилие'. Затруднительным остается словообразовательный анализ литовского слова.

Последнее примечание, касающееся лат. *saeculum*, надо принимать только с определенными оговорками, так как предлагаемая этимология не обладает большой правдоподобностью. Все-таки надо ее здесь привести, так как общепринятое толкование этого слова не лишено затруднений. Как показывают кельтские языки, итало-кельт. **sai-tlo-* обозначало 'век как время человеческой жизни'. В латинском языке это слово засвидетельствовано уже только как термин культа, который обозначал период, совпадающий с веком человека, рожденного во время основания города (т. е. Рима); после смерти этого человека состоялись ludi saeculares, и с жизнью человека, родившегося во время этих ludi saeculares, началось новое saeculum; таким образом развилось, с одной стороны, значение 'поколение', с другой стороны — 'столетие', так как выше описанное saeculum naturale было со временем заменено столетним периодом, saeculum civile. *Saeculum* объясняется большинством авторов как имя с суффиксом *-tlo-*, образованное от и.-е. корня **sēi-* 'сеять' (в этом случае, конечно, должно было бы быть первоначальным значение 'поколение'). Надо было бы, однако, ожидать, что перед согласной второй компонент долгого дифтонга исчезнет: имеется лит. *sėklà* 'посев', и по примеру лат. *pōculum*, образованного от корня **pōi-*, мы бы ожидали итало-кельт. **sē-tlo-m*; кстати, дифтонг предполагается в этом корне со значением 'сеять' только из-за реконструкции **sai-tlo-m*, все остальные формы во всех языках можно объяснить из простого **sē-*. Поэтому можно, по моему мнению, принять во внимание другое сопоставление, а именно — с корнем **sei-*, к которому принадлежат слав. *sila*, др.-прусск. *seilin* (вин. п.) 'усилие, напряжение', кельт. **si-tro-* (ср.-ирл. *sethar*, кимр. *hydr* и др.) 'сильный, храбрый', др.-исл. *seilast* и др.-ирл. *sīnim* 'напряженно работать'.

Вяч. Вс. Иванов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЧЕТАНИЙ ОДНОКОРЕННЫХ СЛОВ В ПОЭЗИИ НА ДРЕВНИХ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Для задач этимологического исследования могут быть полезными некоторые выводы из возобновившихся в последнее время работ по сравнительной индоевропейской и славянской поэтике. Одним из таких выводов является то, что слова, образованные от одного корня, в поэзии на древних индоевропейских языках часто соединяются в пределах одной строки или, во всяком случае, одной ритмико-синтаксической единицы. Использование таких этимологических фигур в качестве особого приема в славянской народной эпической поэзии было установлено еще в замечательной статье Миклошича [1] и далее изучалось в недавнее время всеми теми учеными, которые стремились реконструировать общеславянские или праславянские способы построения поэтических текстов [2].

Исследование этого приема облегчается тем, что в славянских народных поэтических и языковых традициях такие сочетания, как русск. *сказка сказывается*, *дело делается*, *пир пировать*, *думу думать*, *горе горевать*, *век вековать*, оказываются живучими вплоть до наших дней (например, в современной прозе в речи действующих лиц встречаются такие сочетания, как *шутку шуткую* у Залыгина). Поэтому они заново воскресают в стихах больших

---

[1] Ф. Миклошич. Изобразительные средства славянского эпоса. М., 1895.

[2] Ср.: R. Jakobson. The kernel of comparative Slavic literature. — «Harvard Slavic Studies» I. Cambridge, Mass. 1953, стр. 10—13 (с большим числом примеров из различных славянских поэтов кончая Хлебниковым, Есениным и Тувимом); K. Moszyński. Kultura ludowa Słowian. Część II. Kultura duchowa, Zesz. 2. rodz. 18, Literatura ustna. Kraków, 1939. Особый интерес представляет пушкинское сочетание *воют воем* в строках, написанных тем же размером, что и пушкинские переложения сербо-хорватских песен (являющиеся в некотором смысле опытом воссоздания общеславянского стиха):

«Так и ходят сердитые волны,
Так и *воют воем* зловещим»

(«Стихи о Римской папе», из черновиков «Сказки о рыбаке и рыбке»; ср. у Пушкина этимологическую фигуру «*Грозой грозится* высота» в стихах другого жанра — «Когда владыка Ассирийский»). В том же отношении примечательно сочетание «се *дило дилат*» у Крижанича («Грамматично изказанје» VI).

поэтов. См., например, у Ахматовой: За такой Чингис *послал посла* («Надпись на портрете»). Особенно показательны строки Мандельштама из стихотворения «Нет, никогда ничей я не был современник»:

> Ну что же, если нам не *выковать* другого,
> Давайте *с веком вековать* [3].

Здесь в стихах одного из крупных русских поэтов XX в. возрождено (при замене архаичного «внутреннего винительного» предложной конструкцией с творительным падежом) сочетание, которое можно восстановить и для праславянского. В праславянском ему было противопоставлено такого же рода сочетание (по-видимому, с творительным падежом, как в цитированной строке Мандельштама): **umьrěti svojǫ sъmьrtьjǫ* 'умереть своей смертью' [4], восстанавливаемое на основании сравнения с.-хорв. *умрети својом смрти*, польск. *swą śmiercią umrzeć*, чеш. *umřiti svou smrtí*, русск. *умереть своей смертью*, с одной стороны, лит. *jis mirė savo mirtimi* 'он умер своей смертью', др.-перс. *uvāmr̥šiyuš amariyatā* 'своей смертью умер' (о Камбизе в Бехистунской надписи), с другой стороны [5]. Согласие балто-славянского с иранским позволяет счи-

---

[3] При истолковании этого стихотворения (и, в частности, цитированных его строк) следует иметь в виду, что оно соотносится с другими стихами о веке и времени, написанными Мандельштамом либо одновременно с ним («1 января 1924 года», где ряд строк почти дословно совпадает с цитированным стихотворением), либо несколько раньше («Век», «Нашедший подкову», «Я не знаю, с каких пор», «Холодок щекочет темя»). В книге О. Мандельштама (Стихотворения. М.—Л., 1928) все эти стихи следуют друг за другом (№ 131—141 полного собрания стихотворений).

Использование в стихах Мандельштама того же времени («Сумерки свободы») этимологической фигуры *мужайтесь, мужи* изучено в связи с историей этой последней в русском поэтическом языке в недавней работе: N. Å. Nilsson. «Мужайтесь, мужи!» On the history of a poetism. — «Scando-slavica», t. XII, 1966, стр. 11—12. Ср. также оживление внутренней формы слова *окно* в строках: И *оком* оловянным Уставилось *окно* в капель и темноту (Н. Клюев. Песнеслов, кн. 2. Пг., 1919, стр. 8).

[4] Относительно типологических параллелей этому последнему сочетанию в новейшей литературе см.: В. В. Иванов, В. Н. Топоров. К реконструкции праславянского текста. — «V Международный съезд славистов. Славянское языкознание. Доклады советской делегации». М., 1963, стр. 146—147, где к приведенным цитатам из Рильке следует еще прибавить *jener eigne Tod* в «Requiem für Wolf Graf von Kalckreuth».

[5] M. Niedermann. Litauische Miszellen. — KZ LI, 1923, стр. 31 сл. (перепечатано в «Balto-Slavica» II, 1956, стр. 117 сл.); W. Schulze. Der Tod des Kambyses. — SBPAW, 1912, стр. 685 сл.; SBPAW, 1918, стр. 331 сл. (перепечатано в «Kleine Schriften». Göttingen, 1933); М. А. Дандамаев. Иран при Ахеменидах. М., 1963, стр. 160 сл.; В. В. Иванов, В. Н. Топоров. К реконструкции праславянского текста, стр. 143—147; В. В. Иванов и В. Н. Топоров. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965, стр. 223. — Специфичность древнеперсидского выражения подчеркивается тем, что в аккадской и эламской версиях Бехистунской надписи используются этимологические фигуры, являющиеся каль-

тать это выражение восходящим, во всяком случае, ко времени диалектных связей всех трех групп.

Параллельное употребление винительного падежа «внутреннего объекта» типа *век вековать* и сходной figura etymologica в творительном падеже типа **umьrěti sъmьrtjǫ* отмечается в таком балтийском языке, как латышский, ср. в латышских народных песнях, с одной стороны, *duomas duomājam* (параллельное русскому *думу думать*), *bę̂dā bę̂du* (ср. '*горе горевать*'), *kaunies kaunu* 'стыдиться стыдом', *zied ziedus* 'цвести цветом', *guļu gulêt* 'лежать влежку', *kāsējiet kāsus*, *sauci saukumiņus* 'зову зовом', *teciņus tecēju* 'бегу бегом (рысью)', с другой стороны, *saukumiem sauca*, *teciņiem tecēju*[6] и т. д. В этимологических фигурах латышских народных песен отражаются как исторически реальные словообразовательные связи, так и народно-этимологические, например: *lagzdas . . . lagzdigala* (народная этимология *lakstīgala* 'соловей')[7].

В некоторых из приведенных латышских примеров можно видеть позднейшее славянское влияние, но самый тип является обще-балто-славянским. В других случаях при сопоставлении славянских и балтийских текстов, построенных сходным образом, обнаруживается наличие внутреннего винительного хотя бы в одной из традиций, видимо, в данном случае оказывающейся более архаичной, ср., например, русск. *мосты мостить* **в текстах, имеющих в других отношениях полные аналоги в прочих славянских и балтийских языках [8]. Архаичность этимологических фигур, в этих языках встречающихся главным образом в народной поэзии, вслед за Миклошичем подчеркивал Потебня, ссылавшийся, в частности, на литовские конструкции [9] типа** *sapną*

кой древнеперсидской: аккад. *mi-tu-tu ra-man-ni-šu mi-i-ti*, эламск. *hal-pi-pa* [. . .] *-e-ma hal-pi-ik* (см.: М. А. Дандамаев. Uvāmr̥šiyuš amariyatā Бехистунской надписи. — «Древний мир». М., 1962, стр. 371 сл.). Индоевропейская формула *умереть своей смертью*, ее исходное значение, отражение в древнеперсидском и хеттские данные, подтверждающие реконструкцию этой формулы, детально исследуются в новой статье: J. Puhvel. The death of Cambyses: a reappraisal. — «Terminologia indica», II. Tartu, 1969.

[6] J. Endzelīns. Latviešu valodas gramatika. Rīgā, 1951, § 428, стр. 577 и § 441, стр. 582.

[7] L. Bērziņš. Ievads latviešu tautas dzejā, daļa 1. Metrika un stilistika. Rīgā, 1940, стр. 393.

[8] В. Н. Топоров. Из области балто-славянских фольклорных связей. — «Lietuvių kalbotyros klausimai», VI. Vilnius, 1963, стр. 172; ср.: А. А. Потебня. Объяснения малорусских и сродных народных песен I. Варшава, 1883, стр. 127 сл.; В. В. Иванов и В. Н. Топоров. Славянские языковые моделирующие семиотические системы, стр. 167—168 и 234 (реконструкция 287).

[9] А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, III. Харьков, 1899, стр. 423 сл. — Заслугой Потебни является четкое установление связи между винительным внутреннего объекта и соответствующей конструкцией с именительным падежом. Первое собрание литовских примеров употребления внутреннего винительного см.: A. Schleicher. Handbuch der litauischen Sprache, I. Prag, 1856, стр. 263. В некотором смысле с figura etymologica связаны и такие эмфатические конструкции с инфинитивом (т. е. более древ-

sapnuoti 'видеть сон', *miegą miegoti* (в народной песне) 'спать сном', *dainélę dainuoti* 'спеть песенку', *giesmę giedoti* 'спеть песню' и т. п.

Конструкция σχῆμα ἐτυμολογικόν, при которой глагол связывается с существительным, образованным от того же корня, хорошо засвидетельствована в таких древних индоевропейских языках, как греческий, ср. известные примеры винительного падежа внутреннего объекта: (F)εἶπες ... (F)ἔπος 'слово ты сказал' (A 108), λόγους λέγωσι 'слова ты говоришь' (Soph. Ant. 1045), ἥδομαι ... ἡδονάς 'я наслаждаюсь ... удовольствием' (Plat. Phileb. 21A), εὐεργετεῖν εὐεργεσίαν 'оказывать благодеяние' (Plat. Apol. 36c) и т. п., сохранение этого приема (хотя и не в качестве особенно продуктивного средства) в древнеиндийском[10]: *ṛddhim ṛdh-* 'процветать процветанием' (в брахманической прозе), *jitim ji-* 'одержать победу' (Vādhūla Sūtra VI, 100; ср. в λ 544 однотипное греческое выражение, образованное от другого корня), *vṛṣṭim vṛṣ-* 'дождить дождем' (ср. *varṣam varṣati* в том же значении), *udānam udānay-*, *kārim kṛ-*, эпическое *tapas taptam*, *buddhe ... bodhim* 'пробужденный в пробуждении' в буддийском гибридном санскрите и т. п.

Общеиндоевропейский характер внутреннего винительного, предположенный уже в классическом сравнительном языковедении, в настоящее время может быть подтвержден данными вновь открытых древних индоевропейских языков. В таком языке, во многих отношениях архаичном, как хеттский, этимологические фигуры широко представлены в автобиографии Хаттусилиса III[11]. Хотя этот литературный памятник относится к новохетт-

---

ней именной, позднее неличной, формой), встречающиеся в литовском, как *aš nī myslyt nemìslyju tavū įpèsti* '*я думать не думал* тебя хватать' (пример из текста, опубликованного: A. L e s k i e n. Litauisches Lesebuch. Heidelberg, 1919, стр. 2). Курилович, специально исследующий внутренний винительный типа др.-инд. *tapas tapyate*, отмечает, что основу этой общеиндоевропейской конструкции составляют «синтаксические структуры с отглагольными отвлеченными именами, п р о и з в о д н ы м и по отношению к соединяющимся с ним глаголом»: J. K u r y ł o w i c z. The inflexional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964, стр. 182.

[10] L. R e n o u. Grammaire sanscrite II. Paris, 1930, стр. 289, § 218; ср. там же I, стр. 230, § 188, об использовании производных имен на *-i* в конструкциях этого типа.

[11] F. S o m m e r und A. F a l k e n s t e i n. Die hethitisch-akkadische Bilingue des Hattušili I (Labarna II). München, 1938, стр. 41; И. Ф р и д р и х. Краткая грамматика хеттского языка. М., 1952, стр. 129, § 214 б. В качестве более отдаленной аналогии подобным конструкциям можно указать на употребление однокоренных образований — существительного *ụeši-* 'пастбище' и глагола *ụešešk-* 'пастись' в смежных предложениях одного и того же хеттского ритуального текста (Вяч. Вс. И в а н о в. Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы. М., 1965, стр. 183). В приводимой ниже хеттской этимологической фигуре *ḫaneššar ḫanna-* 'судить суд' Кронассер видел кальку аккад. *dīnam dānu* (H. K r o n a s s e r. Etymologie der hethitischen Sprache. Wiesbaden, 1966, стр. 561). Однако, согласно Уот-

скому времени, его близость к разговорному языку в данном случае позволяет предположить возможное отражение традиции, близкой к фольклорной. Явное стилистическое обыгрывание этого повторно применяющегося приема видно в тех местах этого текста, где существительное в винительном падеже, участвующее в этимологической фигуре, благодаря инверсии выносится на первое место в предложении (перед группой энклитик), а глагол получает суффикс (*-šk-* итератива), начало которого фонетически сходно с суффиксом этого существительного (*-eššar*): *up-pí-eš-šar* ḪI.A*-ma-mu up-pí-iš-ki-u-ṷa-an ti-i-e-ir up-pí-eš-šar*ḪI.A*-ma-mu ku-i-e up-pi-íš-ki-ir na-at A.NA AB.BA* ḪI.A*-I̭A Ú A.NA AB.BA AB.BA* ḪI.A*-I̭A Ú. UL ku-e-da-ni-ik-ki up-pí-ir* 'подарки (*букв.* посылки) же мне они готовились послать, и подарки, которые мне послали, их (= такие подарки) никому из моих отцов и моих предков не посылали' (IV, 52—55). Этой кульминационной точки употребления данного приема в автобиографии Хаттусилиса III предшествуют два предложения, в которых существительное в винительном падеже внутреннего объекта непосредственно предшествует глаголу (занимающему по обычным синтаксическим нормам последнее место в предложении): *ma-a-an-kán da-ma-a-in ku-pí-i̭a-ti-in ku-up-ta* 'он было иной замысел замыслил' (IV, 33—34); *nu-ṷa-an-na-aš* *d**IŠTAR* URU*Ša-mu-ḫa* *d**U* URU*Ne-ri-iq-qa-i̭a* [*ḫa-*]*an-ni-eš-šar ḫa-an-na-an-zi* 'и нас-де судом рассудят богиня Иштар города Самуха и бог грозы города Нерикка' (III, 72—73); в виде аккадограммы то же сочетание, по-видимому, использовано в десятилетних анналах Мурсилиса II: *nu-ṷa-an-na-aš* *d**UBE.LI-I̭A DI.NAM ḫa-an-na-a-ú* 'и пусть-де нас судом рассудит мой господин, бог грозы' (II, 14). К древним индоевропейским единицам хеттского словаря восходят составные части этимологической фигуры *ḫukmaiš ḫu(e)k-* 'заклинания заклинать', встречающейся в том же новохеттском тексте (автобиография Хаттусилиса VII, 53; II, 6), но могущей быть пережитком архаичной ритуальной фразеологии (так как эта формула употребляется в таких ритуальных текстах, как ритуал Туннави I, 57: *nu* SAL.ŠU.GI *še-ir ap-pa-an-na-aš ḫu-uk-ma-in ḫu-uk-zi* 'и жрица — «старая женщина» — произносит заклинание поднятия'); ср. *meni̭an* ... *memai* 'слово ... скажет' (Alakšanduš III, 26).

Этимологические фигуры этого типа (в конструкции с винительным падежом внутреннего объекта) широко используются в тохарском[12], ср. тох. A *nawem̥ nu-* (в кучанском — тохарском B *newe nu-*) 'рыком рычать': *śtwarātsām̥ wartsyam̥ śiśkin̥ nawem̥*

кинсу, речь может идти о собственно хеттском сочетании, сходном с древнеирландским *berid breth* (с тем же значением): C. W a t k i n s. A history of Indo-European verb inflexion. «Indo-European grammar», vol. III. Morphology, part one (English-language version). Stanford, California, 1967, гл. V, § 11.

[12] W. K r a u s e, W. T h o m a s. Tocharisches Elementarbuch, I. Heidelberg, 1960, стр. 80, § 73, 3.

nuṣt 'четырежды в (своих) последователях львиным рыком рычишь' (244b)[13], тох. А *wles wles-* 'дело делать', 'работу работать' (кучан. *lāṃs lāṃs-*), например *wles wleṣe* 'дело я сделал' (270b 2), *wles wleṣāt* 'дело он делал' (255a 3, 4), *wunyo wlesant wleṣitär* 'двумя (частями накопленного богатства) да делает он дела' (3a 4)[14], *cämpäl te nasam ānand śtwarāk päñ pi puklākaṃ salu (puttiśpa)rṣṣām wles wlessi* 'В состоянии ли я, Ананда, в 45 лет все буддийское дело сделать'[15] (313a 5—6); кучан. *prāśśäṃ prek-* 'вопросы спрашивать', «тох. А» *śol so-* 'жизнь жить' (*śol śoṣ* 'он живет жизнь', 234b 4), кучан. *śaul śau-*, ср. лат. *vitam vivere*, русск. *жизнь прожить* (в том числе в пословице *жизнь прожить — не поле перейти*, использованной в последней строке стихотворения Б. Пастернака «Гамлет»). В нескольких случаях тохарские этимологические фигуры выглядят как кальки санскритских: кучан. *swese su-* 'дождить дождем', ср. санскр. *vṛṣti vṛṣ-*, *varṣam varṣati*; тох. А *ytar i-* 'идти путем', кучан. *ytari i-*[16], ср. в буддийском гибридном санскрите *gati(ṃ) gacchayāmi* 'иду ... путем'[17]. Последний пример представляет особый интерес, так как можно думать, что в обоих тохарских языках живая словообразовательная связь между глаголом *i-* 'идти' и архаичным производным на **-tōr(yo)* была разорвана, ср. лат. *iter* 'путь', хет. *itar*, встречающееся только в одном тексте, которые удостоверяют древность этого образования, восходящего к эпохе латино-хетто-тохарских диалектных связей[18]. Но в приведенной этимологической фигуре (в тохарских языках, возможно, ожившей под влиянием буддийского гибридного санскрита) эта связь сохранялась довольно явно.

Конструкции с винительным внутреннего объекта и другие грамматические конструкции, связывающие родственные слова, засвидетельствованы в большинстве индоевропейских языков,

---

[13] Здесь и далее в скобках указываются номера цитируемых «тохарских А» текстов по изд.: E. Sieg, W. S. Siegling. Tocharische Sprachreste. Berlin, 1921.

[14] Для целей настоящего исследования существенно то, что в данном месте эта фигура используется в поэтическом метрическом отрывке, несущем явные следы аллитерации: ... *w̲aṣtaṃ w̲ärpitär w̲unyo w̲lesant w̲leṣitär*.

[15] О синтаксисе этого предложения см.: W. Thomas. Die tocharische Verbaladjektive auf *-l*. Eine syntaktische Untersuchung. Berlin, 1952, стр. 36; Он же. Die Infinitive im Tocharischen. — «Asiatica». Leipzig, 1954, стр. 741. Та же инфинитивная конструкция *wlem wlessi* встречается в испорченном контексте в тексте 338a 2 (см. там же, стр. 733), ср. также восстановление *mā āsāṃ naṣt tāṃ wle[s wlessi]* 'ты не достоин [делать д]ело это', 111b 2, см. там же, стр. 743, прим. 209.

[16] См. примеры сочетания *ytari yätsi*. 'идти путем': W. Thomas. Die Infinitive im Tocharischen, стр. 735, прим. 181.

[17] См.: F. Edgerton. A Grammar of Buddhist Hybrid Sanscrit. New Haven, 1953. Ср. также в позднем санскрите: *gacchāmi gantavyāṃ gatiṃ* (Daçakumaracarita 80, 7).

[18] Вяч. Вс. Иванов. Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы, стр. 130.

но в части случаев они могут быть объяснены позднейшими влияниями, например, греческого языка, как в древнеармянских переводах Евангелия (ср. такие характерные примеры, как арм. *or mkrteçan i mkrtowtʿiwn Yohannow* ʻкрестившись крещением Иоанновым', при греч. βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάννου — Евангелие от Луки VII, 29), в латинской классической прозе (у Цицерона и др.), где распространение винительного внутреннего объекта может быть связано и с общей тенденцией к развитию аккузативного управления [19]. Иноязычные влияния или позднейшее использование книжных приемов ученой поэзии давно уже предполагается [20] и при объяснении многочисленных этимологических фигур в поэзии на древних германских языках, хотя в некоторых случаях несомненна близость древнегерманских сочетаний к сходным конструкциям в других индоевропейских языках, ср., например, др.-исл. *sofa svefn sinn* ʻспать своим сном', лит. *sapną sapnoti* и т. п. (но ср. чисто типологическое сходство с русск. *спать* — крепким, сладким и т. п. — *сном* и т. п.). В ряде случаев бывает трудно отличить унаследованные от общеиндоевропейского конструкции от позднейших новообразований, которые, в частности, могут объясняться типологическими особенностями поэтического языка как такового.

Сочетания глагола с однокоренным существительным в некоторых новых языках не только сохранились в качестве пережитка (как в славянских языках), но и стали вновь продуктивными, как в современном английском (где роль таких конструкций усилилась благодаря возникновению так называемой «конверсионной омонимии»), прежде всего в поэтической речи, ср. уже у Шекспира *grace me no grace, nor uncle me no uncle*; *diamond me no diamonds* у Теннисона [21]. Разумеется, в последнем случае речь идет не о генетическом продолжении индоевропейской поэтической традиции, а лишь о типологическом сходстве с ней.

С точки зрения сравнительной индоевропейской поэтики в рассматриваемом приеме можно видеть одно из проявлений предопределенности звукового (и смыслового) строения строки (или всего стихотворения) звучанием ключевого слова. Этот далеко идущий параллелизм между звучанием ключевого слова и построением всего стихотворения был открыт по отношению к нескольким индоевропейским поэтическим традициям (древнеиндийской, старо-

---

[19] Ср.: И. М. Тронский. Очерки из истории латинского языка. М.—Л., 1953, стр. 207.

[20] Ср., например: E. M. Meyer. Die altgermanische Poesie nach ihren formelhaften Elementen beschrieben. Berlin, 1889, стр. 234 сл.

[21] O. Jespersen. Growth and structure of the English language. 9 ed. Oxford, 1956, стр. 155. Параллель к конструкции у Теннисона представляет приведенный там же, стр. 155, отрывок из Троллопа, где в двух смежных предложениях следуют друг за другом существительное *diamond(s)* и глагол *diamond*. Ср. *I feel a feeling* (Samuel Beckett. Watt. Paris, 1958, стр. 54).

латинской, греческой, германской) Ф. де Соссюром в его записях об анаграммах [22]; эти мысли были развиты Р. О. Якобсоном на славянском материале [23]. С точки зрения общего языкознания здесь существенно то, что обычное избыточное выражение смысла в поэтическом тексте осуществляется посредством слов, сходных в звуковом отношении, в частности посредством слов одного корня, связанных как члены трансформации. Для этимологического исследования существенно то, что в таких строках можно обнаружить этимологические фигуры, подтверждающие принадлежность двух слов к одному корню. В качестве примера можно привести этимологические фигуры, в которых в наиболее ранних образцах древнеармянской и древнегреческой поэзии сочетаются производные от индоевропейской основы **dwei-* 'два'.

Моисей Хоренский (Мовсес Хоренаци) сохранил текст раннего армянского стихотворения (песни, посвященной Вахагну), две первые строки которого представляют исключительный интерес как для сравнительно-исторической индоевропейской поэтики, так и для компаративистики:

Erknēr erkin ew erkir,
Erknēr ew cirani cov . . .
(вариант: *Erknēr erkin, erknēr erkir.*
Erknēr ew covn cirani)

'В муках рождения находились Небо и Земля;
В муках рождения лежало и пурпуровое Море' [24].

Сочетание существительных *erkin* 'небо' и *erkir* 'земля' и глагола *erknēr* в первой строке, безусловно, следует признать архаизмом, восходящим к периоду греческо-армянских диалектных связей. Как давно уже предположил Мейе — и вслед за ним

---

[22] «Les anagrammes de Ferdinand de Saussure». — «Mercure de France», 1964, II.

[23] R. Jakobson. Selected writings, IV. Slavic Epic Studies. The Hague — Paris, 1966, стр. 606—607, 680—686. Ср. о древнеиндийском: В. Н. Топоров. К описанию некоторых структур, характеризующих преимущественно низшие уровни в нескольких поэтических текстах. — «Уч. зап. Тартуского гос. ун-та», вып. 181. Труды по знаковым системам II. Тарту, 1966, стр. 318—319; Т. Я. Елизаренкова. Из ведийской поэтики. — «III Летняя школа по вторичным моделирующим системам. Тезисы. Доклады». Тарту, 1968, стр. 177—178 (см. там же о рядах однокорневых слов).

[24] См. перевод в кн.: М. Абегян. История древнеармянской литературы, т. I. Ереван, 1948, стр. 31, ср. там же, стр. 34, объяснение этих мифологических представлений, отраженных в этих строках: «если во время рождения Вах'агна в муках родов находятся Небо и Земля, этим самым Вах'агн выступает перед нами как божество грозы. Сын неба и земли Вах'агн одновременно является и сыном Пурпурового моря. Это *пурпуровое море* не земное, не находящееся на земле море, а небесное море. . . Такое же понимание . . . сущности неба имеется до последнего времени и в армянском народе, который в своих молитвах взывает: „Небо, море пурпуровое"».

Пизани [25], арм. *erkin* 'небо' и *erker* 'земля' образованы от основы числительного *erki-* 'два' (из и.-е. **du̯-*) [26]: в *erkir* можно видеть древнее образование со значением 'женская (или пассивная) половина', в *erkin* — форму с древним значением 'мужская' (или активная) половина'; ср. формы жен. рода на *-r-* типа др.-инд. *pīva-r-ī* при муж. роде *pīva-n*, греч. πίειρα при πίων [27], доказывающее наличие этого противопоставления в той греческо-арийской диалектной группе, к которой близок армянский. Эта гипотеза хорошо согласуется с противопоставлением неба как мужского начала земле как женскому началу в той же греческо-арийской диалектной группе. Из этой гипотезы следует, что образование этих армянских названий земли и неба следует отнести к тому времени, когда в армянском сохранилось еще различение мужского рода и женского (или еще более архаичное противопоставление активных форм на *-n-* и пассивных на *-r*) [28].

---

[25] A. Meillet. — «Mélanges Emile Boisacq», I. Bruxelles, 1937, стр. 1 сл.; V. Pisani. *Uxor*. Ricerche di morfologia indeuropea. — «Miscellanea Giovanni Galbiati», III. Mailand, 1951, стр. 6. См. также изложение этих гипотез в статье: J. Knobloch. Zu armenisch *erkin* 'Himmel', *erkir* 'Erde'. — «Handes Amsorya». Vienne, 1961, № 10—12, стр. 541—542 (теорию самого Кноблоха не представляется возможным принять ввиду того, что армянские факты находят более простое объяснение в свете теории Мейе и Пизани, см. ниже).

[26] Относительно этого фонетического развития см. также: G. R. Solta. Die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermanischen Sprachen. Wien, 1960, стр. 222; Г. А. Капанцян. История армянского языка (древний период) [На арм. яз.]. Ереван, 1961, стр. 249.

[27] Ср. работы В. Пизани и И. Кноблоха, указанные выше. См. о соотношении греч. δάμαρ 'супруга' : лат. *dominus* 'господин', лат. *uxor* : др.-инд. *ukṣan* 'бык': В. Пизани. Общее и индоевропейское языкознание. М., 1956, стр. 155. Ср. также: Э. Бенвенист. Индоевропейское именное словообразование. М., 1955, стр. 141, 143.

[28] К последнему (более древнему) различию склонны возводить армянские формы Пизани и Кноблох в указанных выше статьях. Высказанная Кноблохом гипотеза о связи *erkin* и *erkir* с глагольной основой подтверждается приведенными ниже фактами. Следует, однако, заметить, что с *-n* в *erkin* можно было бы сопоставить и *n* в *krkin*, если правильно его возведение к редуцированной форме, образованной от числительного, ср.: L. Mariès. Arménien *krkin* 'double'. — REIE I, 2—4, 1938, стр. 445—446. Ср., однако, возведение *kr-* < **kir-k* < **dvis-* в докладе В. Винтера в ИЯАН в октябре 1963 г.; Семереньи вслед за Пизани возводит *krkin* к **kru-kin*, где *kru* - < *ku-* < *dwō-* (O. Szemerényi. Studies in the Indo-European system of numerals. Heidelberg, 1960, стр. 96), но вся эта реконструкция с фонетической стороны не кажется убедительной. Тогда это *-n-* можно сравнить с рядом других аналогичных форм на *-n-*, образованных от числительного 'два' в индоевропейских языках: лат. *bīnī* 'двое', др.-англ. *getwinne* 'близнецы', др.-исл. *tvennr* 'двое', др.-в-нем. *zwirnēn* 'скручивать вдвойне' (В. Порциг. Членение индоевропейской языковой области. М., 1964, стр. 163); ср. также ст.-сл. дъвонъ, русск. *двойной*. Со всеми этими производными на *-n* от числительного **dwei-* целесообразно сравнить и хет. *duu̯ana-*, см. о нем: E. Benveniste. Hittite et indo-européen. Paris, 1962, стр. 82—83 (ср. также возражения в рец.: O. Szemerényi. — «Bulletin of the School of Oriental and African Studies», vol. 27, 1. 1964, стр. 6—7; C. Watkins. — «Inter-

О достаточной древности образования этих слов говорит и само гетероклитическое чередование, встречающееся в армянских существительных (кроме типа на *-u-*) лишь в таких отдельных изолированных формах, как *damban* и *dambar-an* 'могила' [29] и т. п.

Связь названий земли и неба со значением 'два' может быть подкреплена данными ведийского языка, где в значении 'земля' и 'небо' часто выступает форма двойственного числа *dyávā-pṛthivī*, воспринимающаяся как единое целое, ср. диалектное араратское *jerkink-getink* 'небо-земля' [30]. Существенным представляется также и то, что средневековые армянские авторы связывали *erkin* и *erkir* с числительным *erku* 'два' [31].

Представляется возможным высказать гипотезу, по которой древнеармянский глагол *erknel* 'мучиться при родах' (от которого образована форма *erknēr* в цитированном стихотворении) связан с тем же корнем. В словарях древнеармянского языка часто с большим вероятием предполагается, что глагол *erknel* и существительное *erkn* 'мучение при родах; страдание' в конечном счете связаны с группой древнеармянских глаголов и существительных, где основа *erk-n-* имеет значение 'бояться; ожидать в глубокой печали, глубоком волнении' (*erkṇčim* 'боюсь' и т. п., ср., например, характерную конструкцию с винительным внутреннего объекта, в древнеармянском переводе Евангелия передающую сходную греческую конструкцию: др.-арм. *erkeàn erkiwl mec* 'убоялись страхом великим', греч. ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν [32], Марк IV, 41).

---

national Journal of Slavic Linguistics and Poetics» IV, 1961, стр. 7 сл.); ср. также *-n* в хет. *dan* в *dan peda-* 'второго разряда', *danḫašti* 'двойная кость' (Вяч. Вс. Иванов. Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы, стр. 279—280, 287).

[29] Э. Бенвенист. Указ. соч., стр. 36, см. там же об арм. *kolr*, *ap'n*, *tur*; о типе на *-n-* в существительных и особенно прилагательных см.: там же, стр. 61; Г. Б. Джаукян. Система склонения в древнеармянском языке и ее происхождение (на армянском языке). Ереван, 1959, стр. 261.

[30] Араратское выражение было сопоставлено с приведенным началом древнеармянского стихотворения в книгах: Г. А. Капанцян. Историко-лингвистические работы. Ереван, 1956, стр. 216, прим. 1; Он же. История армянского языка, стр. 135; предлагаемая в этих книгах этимология арм. *erkir* (из урартского) не выдерживает критики, ср., однако, попытку ее исправления: V. Bănățeanu. Problema lexicului urartic din limba armeană. — «Studi şi cercetări lingvistice», anul XIII, 1962, № 2, стр. 275—276.

[31] См.: Гр. Ачарян. Корневой словарь армянского языка (на арм. яз.). Ереван, 1928—1930, s. v. *erkin*, *erkir*. — Указанием на это обстоятельство и рядом других ценных советов, касающихся анализа данного древнеармянского текста, автор обязан своему покойному учителю древнеармянского языка И. К. Кусикьяну.

[32] Мейе видел в армянском тексте кальку с греческого: A. Meillet. Altarmenisches Elementarbuch. Heidelberg, 1913, стр. 77, § 91.

Связь глагола *erknel* и существительного *erkn* с глаголом *erkṇčim* должна быть принята во внимание и при обсуждении предложенного Х. Фриском и принятого О. Семереньи сравнения *erkn* с греч. ὀδύνη 'страдание': H. Frisk. Etyma armeniaca. — «Göteborgs högskolas årsskrift», Bd 50. Göteborg, 1944, стр. 11 и сл.; H. Frisk. Griechisches etymologisches Wör-

В. Пизани давно уже высказывал предположение, по которому арм. *erknčim* «представляется производным от *erku*, как нем. *zweifeln* от *zwei*, и так же, как δείδω (*δε-δFoi̯-α), содержит основу *du̯i-, отраженную в δίς, и т. п. (ср. δοιή 'сомнение' : δοιός 'двойной', лат. *dubius* : *dūo* . . .)» [33]. Независимо от Пизани к сходному заключению пришел Бенвенист, обнаруживший, что окончательное подтверждение гипотезы о родстве индоевропейской глагольной основы *du̯ei- 'бояться' и основы числительного *du̯ei- 'два' можно найти в «Илиаде» IX, 229 [34]: λίην μέγα πῆμα . . . εἰσορόωντες δείδιμεν, ἐν δοιῇ δὲ σαοσέμεν ἢ ἀπολέσθαι νῆας.

В русском переводе Минского:

Горе большое . . . мы в страхе предвидим.

Ибо сомнительным стало, удастся ль суда отстоять нам [35].

Как подчеркивает Бенвенист, гомеровский текст позволяет окончательно установить связь между δείδιμεν ('мы боимся') и ἐν δοιῇ 'в сомнении' (букв. 'в двойственности'). Но с точки зрения современных сравнительно-исторических исследований индоевропейского стиха гомеровский текст интересен еще и в другом отношении: звуковые связи с нем параллельны смысловым. Та «смежность этимологически родственных слов» [36], которую Р. О. Якобсон в славянском фольклоре и древнерусской литературе сопоставляет с древним индоевропейским способом составления стихов как анаграмм, открытым Соссюром, оказывается главным принципом построения как этих гомеровских строк, так и первой строки цитированного армянского стихотворения.

К этим поэтическим текстам оказываются применимыми слова Якобсона о тех древнерусских поэтических фрагментах, где «звукообразная фактура . . . отнюдь не сводится к аллитерации. Соответствие начальных фонем здесь лишь частный случай пароно-

---

terbuch, Bd 2, Lief. 14. Heidelberg, 1963, стр. 351 (где нельзя считать семантически оправданным возведение к корню *ed- 'есть'; сравнение с суффиксом в греч. εἶδαρ 'еда, корм' отпадает ввиду тождества последнего слова с хет. *edri* 'еда, корм для скота', см.: Вяч. Вс. Иванов. Общеиндоевропейская. . . , стр. 47); O. Szemerényi. Bericht über das etymologische Symposion in Moskau. — «Die Welt der Slaven», Jg. XII, 1967, H. 2, стр. 223 (в связи с критикой гипотезы, излагаемой в настоящей статье).

[33] V. Pisani. Mytho-etymologica. — REIE I, 2-4, 1938, стр. 222, прим. 1. В качестве параллели к нем. *zwei* : *zweifeln* ср. словен. *dvojiti* 'двоить; 'сомневаться', *dvoùm* 'двусмысленность, сомнение'.

[34] E. Benveniste. Problèmes sémantiques de la reconstruction (перепечатано в сб.: E. Benveniste. Problèmes de linguistique générale. Paris, 1966, стр. 294—295). — При написании этой статьи, напечатанной впервые в 1954 г., Бенвенист не был знаком с работой Пизани, указанной в прим. 33.

[35] «Илиада», пер. П. М. Минского. М., 1935, стр. 130.

[36] R. Jakobson. Slavic Epic Studies, стр. 607 (ср. стр. 680 и 685). Ср. выше, прим. 2, 22—23.

мазии. . .» [37]. Соответствие гомеровского текста и древнеармянского стихотворения, где сходным образом соединяются именные и глагольные производные от индоевропейской основы *du̯ei- 'два' : 'быть в раздвоении=сомневаться, бояться, мучиться (в том числе родовыми муками)' [38], позволяет предположить, что самый этот прием был унаследован, во всяком случае, от периода греческо-армянской общности [39], если не от общеиндоевропейского периода (к которому могут восходить и сходные приемы в поэзии на других индоевропейских языках, в том числе славянских).

Поскольку в первой строке этого древнеармянского стихотворения соединены три (или — в варианте — четыре) слова, начинающиеся сочетанием фонем *erk-*, которое повторяется и в начале следующей строки, с синхронной (не индоевропейской, а древнеармянской) точки зрения это можно было бы интерпретировать как аллитерационный стих [40]; эта гипотеза могла бы быть

---

[37] Там же, стр. 606. Согласно Соссюру, к анаграммам восходит и германский аллитерационный стих (что согласуется с гипотезой У. Лемана о его индоевропейском происхождении: W. P. Lehmann. Development of Germanic Verse form. Austin, 1956).

[38] Ср. русск. *двойчатеть* 'беременеть' (Даль [2] I, стр. 418). Применительно к армянскому стихотворению о рождении чудесного существа нельзя считать исключенным и специфическое мифологическое (и потому архаичное) значение 'рождаться (= раздваиваться) с помощью двух, — по отношению к земле и небу', ср. в «Ригведе» идею порождения земного и небесного огня с помощью двух камней (*áśmanoḥ*, этимологически связано с авест. *asman* 'небо') и т. п. Ср. мотив раздваивания земли в связи с появлением чудесного существа или героя в эпосе, в том числе восточнославянском. Возможно, что для интерпретации связи значения 'два', 'рождаться', 'земля' и 'небо' в древнеармянском существенны следы близнечного космогонического мифа в армянских преданиях, выявленные А. М. Золотаревым. Исследуя архаичную часть «Санасар и Багдасар» эпоса «Давид Салунский», Золотарев отмечал: «подлинное древнее начало следует искать в строфе, повествующей о том, что Цовинар подходит к воде. . . Чудесным зачатием близнецов начинаются многие близнечно-космогонические мифы» (А. М. Золотарев. Дуальная организация первобытных народов и происхождение дуалистических космогоний, гл. XIV. Дуалистические мотивы в кавказских легендах; цит. по рукописи, хранящейся в архиве Института этнографии АН СССР; см. также: А. М. Золотарев. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964). Самое имя Цовинар и рассказ о том, как она зачала от двух горстей воды, напоминает о разбираемом древнеармянском тексте, где собственно армянские мотивы могли сочетаться с переосмысленным иранским именем Вахагна (иранского *$V\underset{\circ}{r}\vartheta ragna$-). В той же работе Золотарев отмечает, что «космогонические мифы, поскольку они вообще сохранились на Кавказе», построены «на дуалистически-близнечных сюжетах». Не исключено, что одним из таких сюжетов мог быть миф, где Небо и Земля выступают как пара близнецов (см. многочисленные типологические параллели в той же работе Золотарева).

[39] Более спорным остается происхождение метрической формы армянского стихотворения, где нельзя считать исключенными иранские влияния.

[40] См. в этой связи замечания об этих строках в статьях автора: «Лингвистические вопросы стихотворного перевода». — «Машинный перевод. Труды Института точной механики и вычислительной техники АН СССР», вып. 2.

подтверждена и явной аллитерацией в начале последних слов второй строки: *cirani cov*. С точки зрения сравнительно-исторических индоевропейских сопоставлений последнее сочетание не может быть использовано для глубокой реконструкции, так как оба образующие его слова являются заимствованиями. Армянское *cov* 'море, большое озеро (Севан или Ванское), большой водный бассейн', безусловно, заимствовано из урартского *ṣue* 'озеро'[41]. Согласно любезному разъяснению И. М. Дьяконова, «урартское *ṣue*, вероятно, означает 'вода' и потом уже 'озеро'; не только 'большое' — например, маленькое озеро Гельджик у истоков Тигра тоже означалось этим термином. Семантика — как норв. *vatn* 'вода; озеро'. Ср. *sjø* 'озеро, море' (в ср. р. 'волна'). Урартское слово реконструируется как [*ç*ovə*] < [*ç*ovi*-]» (из письма И. М. Дьяконова автору от 15 ноября 1966 г.). Указанное И. М. Дьяконовым значение урарт. *ṣue* 'озеро (любое)' можно проиллюстрировать следующими урартскими текстами. В надписи на стеле, найденной около искусственного озера Кешишгёль[42], *ṣue* относится к этому озеру: [*t*]*e-ru-bi ti-ni* *ᴵru-*[*s*]*a-a-i ṣu-* ⌜e⌝ 'установил для него имя — Озеро Руса' (строка 4); *i-ú i-ni ṣu-e ta-nu-*[*bi*] 'когда это озеро я соорудил (?)' (строка 10); *e-'a i-nu-s*[*i*] [*ṣ*]*u-i-ni-i e-si* 'а также такое озерное место' (строки 14—15); *i-na-ni su-*⌜e⌝ [*ᴵr*]*u-sa-hi-na-ú-e ḫu-ri-iš-*[*ḫi*] 'это озеро да будет оросителем (?) (города) Русахинили' (строка 21—22); *ṣu-i-ni ši-e-di-ú-*[*e*] 'из озера вытекающей' (строка 26). К разным озерам относятся такие случаи употребления слова *ṣue* и его производных, как *za-du-ú-bi* [*ṣ*]*u-e a-su-a-hi-i-na* 'создал я озеро *asuaḫina*' (надпись на стеле Аргишти II[43], лицевая сторона, строка 45, ср. там же,

---

М., 1961, стр. 379—380; «Об исследовании древнеармянской фонологической системы в ее отношении к индоевропейской». — ВЯ 1962, № 1, стр. 41, прим. 24. Изложенное выше служит диахроническим коррективом к указанным статьям, см. также статью автора «Заметки по сравнительно-исторической индоевропейской поэтике». 2. Индоевропейская поэтическая формула в древнейшем армянском стихотворении. — «To honor Roman Jakobson». The Hague. — Paris, 1967, стр. 981—984 (содержание этой части указанной статьи частично пересекается со второй половиной настоящей работы).

[41] Г. А. Капанцян. Историко-лингвистические работы, стр. 216; Г. А. Капанцян. История армянского языка (древний период), стр. 73 и 137; Г. Б. Джаукян. Урартский и индоевропейский языки. Ереван, 1963, стр. 134 (упоминаемое там же, прим. 248, **g'obho-* не представляется удачной индоевропейской этимологией для *cov*); V. Bănăţeanu. Указ. соч., стр. 267 (где указано, что урартское слово отвечает армянскому и по семантике, и по звучанию, так как *ṣ* = [*t͡s*]) и 265 (урарт. *u̯* = арм. *v*); И. М. Дьяконов. Сравнительно-грамматический обзор хурритского и урартского языков. — «Переднеазиатский сборник». М., 1961, стр. 376, прим. 23; Г. Б. Джаукян. Взаимоотношение индоевропейских, хуррито-урартских и кавказских языков. Ереван, 1967, стр. 186, прим. 79.

[42] Цит. по изд.: Г. А. Меликишвили. Урартские клинообразные надписи. М., 1960, стр. 331 (№ 268). О значении и употреблении этого слова и его производных см. там же, стр. 405—406, а также: И. М. Дьяконов. Урартские письма и документы. М.—Л., 1963, стр. 90.

[43] Цит. по изд.: Г. А. Меликишвили. Указ. соч., стр. 337.

оборотная сторона, строка 13, где в поврежденном контексте встречается сочетание двух стандартных выражений, связанных с *ṣue*, которые уже приводились выше из другой надписи), [^{U}]^{RU}*qi-ḫu-ni* KUR *si-lu-ni-ni ṣu-i* (?) *-ni-a bi-di-e* 'страну Кихуни, расположенную на берегу озера' (стела, являющаяся дубликатом Хорхорской летописи [44], А 2 11), ср. прилагательное *ṣuini-sini* 'озерный' в контексте ^{URU}*ḫa-al-pa-ni* URU LUGÁL-*nu-si ṣu-i-ni-i-šì-ni ma-nu ha-u-b*[*i*] 'Город Халпа, царский город в озерной местности я завоевал' (Летопись царя Сардури II [45], E, строки 50—51). Общее значение слова отражено в производном ^{D}*ṣuininaue* 'бог озер' в ритуальной надписи, согласно которой этому богу приносится в жертву бык и две овцы [46] (строки 19 и 64). Наконец, контекст, где значение урарт. *ṣue* пересекается со значением арм. *cov* в его специальном употреблении по отношению к Севану, засвидетельствован в двух надписях у Севана — в надписи у села Цовинар [47], где употребляются симметричные конструкции *i-na-ni ap-ti-ni ṣu-i-ni-a-ni* 'с этой стороны озера' (строка 5) и *i-sá-ni ap-ti-ni ṣu-i-ni-a-ni* 'с той стороны озера' (строка 12), и в надписи у Лчашена [48], где употреблен, скорее всего, некий вариант второй конструкции (*ša-na ap-ti-ni ṣu-ú-ni-e* с неясной формой *šana*).

Представляется вероятным (и хорошо согласующимся с приведенным выше суждением И. М. Дьяконова о семантике урарт. *ṣue*), что с этим урартским словом связано не только арм. *cov*, но и груз. *ṭba-* 'озеро', закономерно соотносящееся с мегрельским *ṭoba-*, *ṭobo-* 'глубокий (о водах)', чан. *ṭoba-*, *ṭiba-* 'озеро, пруд', сван. *ṭub*(*a*)- 'овраг, озеро' [49] (с фонетической стороны, однако, может

---

[44] Там же, стр. 236.

[45] Там же, стр. 284.

[46] Там же, стр. 144, 146.

[47] Там же, стр. 328—329.

[48] Там же, стр. 261. — И. М. Дьяконов в письме к автору от 22 февраля 1967 г. предполагает в данном месте чтение без словоделения: [*i-*]*šá-na-ap-ti-nê ṣu-ú-ni-e*.

Согласующееся с двумя последними урартскими контекстами использование арм. *cov* 'море' в значении 'большое внутреннее озеро' (например, Севан) сходно с аналогичным употреблением хет. *aruna-* 'море'. Попутно можно заметить, что аналогия между арм. *cov* в сочетании *cirani cov* и хет. и палайск. *aruna-* может быть расширена, так как *aruna-* в анатолийских языках употребляется в архаичных текстах, где *aruna-* 'море' связано с восходом (в хеттском и палайском гимнах богу солнца, ср. также хеттский миф о дочери Океана и боге Телепинусе, где Бог солнца упоминается в том же контексте, что и *aruna-*). Последние контексты можно было бы использовать для гипотетического сравнения *aruna-* с др.-инд. *aruṇaḥ* 'reddish' (другой возможной индийской параллелью является имя Варуны, связанного с солнцем и с морем, см.: В. В. Иванов. О языковой принадлежности арийских элементов в ближневосточных текстах 2-го тысячелетия до н. э. — «Языки Индии, Пакистана, Непала и Цейлона». М., 1968, стр. 389—390).

[49] Об этой группе слов в картвельском см.: Г. А. Климов. Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964, стр. 179; согласно В. М. Иллич-Свитычу, картв. **ṭ(u)ba* 'глубокий, озеро' родственно и.-е.

представить затруднения соответствие урарт. *ṣ* < *c̣* или *t͡s* и картв. **ṭ*). Армянское *cov* естественно связать с огласовкой корня типа **ṭoba-*; по реконструкции И. М. Дьяконова урарт. **c̣ovə* < **c̣ovi* можно связать с той же огласовкой (тогда вероятно заимствование из урартского в армянский), хотя нельзя считать совсем исключенным отражение в *ṣue* огласовки типа груз. *ṭba* (в послед-

---

**dheub-/dheup-*, дравидийск. **tuvʌ* 'окунать', уральск. **tuwʌ* 'озеро', алтайск. *t'uba* 'омут', см.: В. М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков (семито-хамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). I. Введение, сравнительный словарь (в печати); Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани. Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Типология общекартвельской структуры. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.), стр. 114—116, 119, 148, 315. В письме к автору от 25 февраля 1967 г. Т. В. Гамкрелидзе пишет по поводу предлагаемого сближения: «Написание *ṣu-e* указывает скорее на чтение *c̮u/c̣u̮-*. Это близко к картвельской огласовке **ṭb-* 'озеро' . . . Тем не менее, сближение и увязка этих форм мне представляются сомнительной. Дело в том, что мне неизвестны другие случаи соотношения урартской фонемы, передаваемой знаками для *ṣ*, с картв. **ṭ*. Урартскую фонему, передаваемую знаками для *ṣ*, можно скорее сопоставить с картв. **c̣* или **c* (ср. урарт. *ar-ṣi-bi-ni* 'имя коня Менуи (?)' и груз. *arc̣iv-* 'орел', арм. id). Фонема **ṭ* в картвельском глоттализованная переднеязычная смычная (судя по историческим картвельским языкам), противопоставляемая в одном локальном ряду фонемам **d* и **t*; фонемы **c̣* и **c* — соответственно глоттализованная и неглоттализованная глухие свистящие (диффузные) аффрикаты, по-видимому, близкие к урартской фонеме, передаваемой знаками для эмфатического ассир. /*ṣ*/. Для передачи урартской фонемы, близкой к картв. **ṭ*, были применены скорее знаки для ассир. /*t*/ или эмфатического /*ṭ*/. Что касается огласовки картв. формы **ṭb-*, то огласовка *o* в полной ступени не исключена. В картвельском засвидетельствована только форма с нулевой огласовкой, ввиду наличия полногласного суффикса *-a*: **ṭb-a*. Для более ранней ступени общекартвельского не исключена одна из возможных форм в полной ступени — **ṭeb-* || **ṭab-* || **ṭob-* → **ṭb-a*». Сходные сомнения относительно соответствия между урартским и картвельскими словами высказал И. М. Дьяконов в письме к автору от 22 февраля 1967 г.: по его словам, ответить на вопрос о соотношении урарт. *ṣue* «с картв. **ṭob-* пока нельзя, по той причине, что соответствия между хуррито-урартским и картвельским (если они есть) совершенно неясны. . . Если же думать об ареальном слове или о лексическом заимствовании, то трудно представить себе соотношение, в котором урартская аффриката *ṣ* отражалась бы как картв. *ṭ*». Действительно, предлагаемое сопоставление едва ли может относиться к тому же периоду, что соответствие между упомянутым Т. В. Гамкрелидзе *Arṣibini*, напоминающим гибридные коневодческие термины, где за арийской основой (ср. вед. *ṛji-pya-*) следовал хурритский суффикс *-ni*, и армянским *arciv* 'орел' (ср. гипотезу В. Порцига о происхождении этого слова из арийских языков: В. Порциг. Членение индоевропейской языковой области. М., 1964, стр. 239—240, но см. об урартск. *Arṣibini*, имени бога *Arṣibedini* и армянском соответствии: Г. Б. Джаукян. Взаимоотношение индоевропейских, хурритских и кавказских языков, стр. 53); груз. *arc̣iv-*. Что же касается урартско-картвельских соответствий более раннего времени, здесь отсутствует пока что необходимый материал для проверки. Сама по себе возможность соответствия смычного типа *t* и спиранта или аффрикаты типа *t͡s*, *s* доказывается, например, отражениями индоевропейских палатальных в иранских, кафирских и индоарийских языках. Пользуюсь случаем принести благодарность Т. В. Гамкрелидзе и И. М. Дьяконову за сообщенные ими соображения.

нем случае армянское слово пришлось бы считать древним картвельским, а не урартским заимствованием).

С другими языками Кавказа связано и второе армянское слово, участвующее в аллитерации с *cov* в цитированной строке. Армянское *cirani* 'пурпуровый; абрикосовый, абрикосный' образовано (во всяком случае, с синхронной точки зрения) от *ciran* 'абрикос', которое совпадает с груз. *çerami*, абхаз. *аҷарáм* 'абрикос'[50]. По гипотезе Бэйли, на Кавказе этот термин распространялся из армянского, где он может быть иранским заимствованием, поскольку с ним можно связать памирские названия абрикоса или персика (*čerī*, *čirë*, *čirai*, *cira*, *cirə*, *čirō*, *cer*)[51]. Во всяком случае, *cirani* (которое в согласии с хронологией упоминаний в армянских текстах Бейли считает более древним, чем *ciran*), вероятно, следует считать миграционным термином.

Таким образом, хотя прием аллитерации в древнеармянском стихе (как и в древнегерманском стихе, по гипотезам Соссюра и Лемана, отметившего элементы аллитерации уже и в древнеиндийском) можно объяснить из норм индоевропейской поэтики, по которым соединялись этимологически сходные слова или строились анаграммы, тем не менее сами аллитерирующие слова в таком сочетании, как *cirani cov*, не следует возводить к индоевропейскому. Прием аллитерации, отделившийся от вызвавших его древних способов построения текста, приобрел самостоятельную значимость.

Процесс превращения аллитерации в самостоятельный прием в раннем армянском (как и в древнегерманском) можно связать с собственно фонетическими факторами — стабилизацией ударения. При ударении на предпоследнем слоге в протоармянском начальные слоги двухсложных или односложных слов — как *erkin*, *erkir*, *erknēr*, *cov* (но не *cirani*, где, может быть, можно ждать следов подвижности ударения)[52] — оказывались фонологически выделенными, в силу чего согласно известной закономерности, в свое время выявленной еще Е. Д. Поливановым[53], начала слов связывались аллитерацией.

---

[50] См.: Гр. Ачарян. Указ. соч., s. v. *ciran*.

[51] H. W. Bailey. Ambages Indoiranicae. — «Annali dell' istituto Universitario Orientale di Milano». Sezione linguistica, I, 2, 1959, стр. 124—125, 140; ср.: V. Bănăţeanu. Указ. соч., стр. 277 (где, однако, предлагается обратный путь заимствования и маловероятное сближение с гипотетическим хурритским и шумерским термином для радуги, восстанавливаемым на основании хурритского имени божества ^{d}*Tiranna*, ср. груз. *čirano* 'сияние вокруг лунного диска'). Относительно древности культуры абрикоса в Армении и Закавказье ср. в связи с данным термином: H. Vogt. Arménien et caucasique du sud. — «Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap», IX, 1938, стр. 333.

[52] Относительно ударения в протоармянском ср.: Г. Б. Джаукян. Система склонения в древнеармянском языке и ее происхождение. Ереван, 1959, стр. 390 сл.

[53] Ср.: Е. Д. Поливанов. Общий фонетический принцип всякой поэтической техники. — ВЯ 1963, № 1, стр. 102, прим. 5: «аллитерация

На этом этапе (предшествовавшем древнеармянскому) прием аллитерации, отделившийся от вызвавших его древних способов построения текста, приобрел самостоятельную значимость; поэтому для этимологических исследований он не оказывается полезным в отличие от рассмотренных выше случаев использования этимологических фигур в поэзии.

Корректурное дополнение

Этимологические фигуры в индо-иранских, греческом и италийских языках изучаются в качестве свидетельства индоевропейской древности этого приема в исследовании: R. Schmitt. Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit. Wiesbaden, 1967, 264, § 545—548, см. там же об индо-иранских параллелях к греч. ἔπος εἰπεῖν и об архаичных по семантике выражениях типа др.-инд. Yajñam yaj- 'совершать жертвенный обряд', *karṣ(i)- karṣ-* 'борозды бороздить (плугом)', *rayim rā-* 'одарить богатством' (там же дальнейшая литература вопроса).

фигурирует в качестве канонизированного приема в тех языках, где ударение бывает или может быть на первом слоге слова»; Е. Д. Поливанов. О приеме аллитерации в киргизской поэзии в связи с поэтической техникой и языковыми фактами других «алтайских» народностей (часть работы «Лингвистические мелочи», рукопись которой хранится в архиве АН Киргизской ССР во Фрунзе). Другие работы Е. Д. Поливанова на эту тему указаны в статье автора «Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова». — ВЯ, 1957, № 3, стр. 64—65. Для подтверждения этого тезиса значительный интерес представляет латышский язык, см. об аллитерации в латышской народной поэзии: L. Bērziņš. Ievads latviešu tautas dzejā, daļa I, стр. 218—224; ср. о германской аллитерации в той же связи: R. Jakobson. On the so-called vowel alternation in Germanic verse. — «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», Bd 16, 1963, H. 1—3, стр. 91. Обсуждаемое там же, стр. 87, функционирование в германском стихе начальных *sk-*, *st-*, *sp-* в качестве единых фонем могло бы рассматриваться как архаизм в свете ностратических параллелей, так как индоевропейские сочетания фонем *sk-*, *st-*, *sp-*, согласно В. М. Иллич-Свитычу, восходят к ностратическим единым фонемам *sk-* < **c-ć* (например, **skel-* 'расщеплять' < **calu-*), *st-* < **ç̌-*, **č-*, **ǯ-* (например, **ster-* 'беда, забота' < **çirʌ-*), *sp-* < **p̣* (В. М. Иллич-Свитыч. Указ. соч.). По В. М. Иллич-Свитычу, архаичными являются и другие особенности германского (и анатолийского) консонантизма, ранее описывавшиеся как передвижение согласных. Таким образом, в свете ностратических исследований подтверждается тезис о консервативном характере германской системы фонем, давно высказывающийся Леманом.

А. С. Мельничук

ОБ ОДНОМ ИЗ ВАЖНЫХ ВИДОВ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наблюдающееся в послевоенный период значительное оживление этимологических исследований лексики индоевропейских, и в частности славянских, языков выдвинуло на передний план необходимость рассмотрения общих вопросов о принципах, методах и приемах этимологического анализа применительно к современному состоянию языкознания. Одна из относящихся сюда задач заключается в определении возможных в настоящее время основных видов этимологических работ как форм или способов этимологического исследования, в установлении места и роли каждого из этих видов в общем процессе развития современной этимологии и в выяснении степени их эффективности для дальнейшего прогресса сравнительно-исторического языкознания.

Вопрос о видах этимологических работ уже стал предметом обсуждения. В частности, этому вопросу была посвящена значительная часть доклада О. Н. Трубачева на Всесоюзном координационном совещании славистов в 1961 г.[1] В качестве основных видов этимологических работ автор выделил этимологические словари, этимологические исследования тематических групп лексики и исследования по этимологии отдельного слова, а также рассмотрел специфику каждого вида. При этом вполне обоснованно была подчеркнута важность этимологических исследований целых тематических групп, обеспечивающих, в частности, возможность учета системных связей между словами, входящими в состав одной группы [2].

Совершенно очевидно, что при всех объективных трудностях, которые приходится преодолевать в процессе этимологизации многих слов, учет системных отношений между лексическими элементами языка имеет для научной этимологии первостепенное значение [3]. По существу, все здание научной этимологии с са-

[1] О. Н. Трубачев. Задачи этимологического исследования в области славянских языков. — «Актуальные проблемы славяноведения» (КСИС 33—34). М., 1961.

[2] Там же, стр. 204.

[3] Ср.: В. И. Абаев. О принципах этимологического исследования. — «Вопросы методики сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков». М., 1956, стр. 293.

мого начала представляет собой сложную модель своеобразных системных отношений между лексическими элементами родственных языков. Своеобразие и сложность этимологической модели лексического состава заключается в том, что она является результатом научной абстракции не только от синхронических отношений между языковыми единицами, как это бывает обычно для других системных построений в языкознании, но и (в значительно большей степени) от диахронических и территориальных видоизменений тождественных в прошлом единиц при их вхождении в различные синхронные системы. В этой модели системные отношения между словами внутри отдельных тематических групп, как и между целыми тематическими группами в пределах всего словарного состава, занимают значительное место. Но основу этимологической модели словарного состава образуют фонетические и семантические отношения между словами внутри отдельных этимологических гнезд и между целыми этимологическими гнездами, восходящими к различным корням праязыка. Именно непрерывное уточнение состава этимологических гнезд и углубление понимания системных отношений внутри гнезд и между гнездами составляют основную и непосредственную задачу всей научной этимологии в целом. При таком понимании основной задачи этимологии и при учете имеющегося опыта исследователей представляется целесообразным выделение еще одного вида этимологических работ — исследования этимологических гнезд, восходящих к одному нераспространенному корню, на лексическом материале целой группы или семьи родственных языков [4].

Можно предположить, что подробное рассмотрение целых этимологических гнезд составляло важный аспект исследовательской практики большинства крупных этимологов, авторов наиболее самостоятельных этимологических словарей. Такое рассмотрение стало необходимым сразу же после научного установления индоевропейских корней и с тех пор представляет собой одну из двух взаимосвязанных сторон этимологизирования наряду с возведением отдельных слов к определенным корням. При этом могут преследоваться две разные цели: с одной стороны, подробное рассмотрение всей совокупности слов родственных языков, возводившихся когда-либо к данному корню, и сопоставление сомнительных в этом отношении слов с другими этимологическими гнездами, к которым эти слова могут быть отнесены, является одним из наиболее эффективных способов проверки уже предложенных этимологий; с другой стороны, поиск и рассмотрение новых слов, которые могут быть возведены к данному корню, обеспечивают возможность установления новых этимологий, основывающихся на совокупности этимологических связей в рамках

---

[4] Ср. аналогичное положение в докладе Г. Барци. — ВЯ 1967, № 4.

целого данного гнезда. Специфика этого вида исследования, заключающаяся в направлении исследовательской процедуры — не от данного слова к искомому этимологическому гнезду, а от данного гнезда к искомым отдельным словам, — является важным, пока что полностью не используемым, источником дополнительных возможностей этимологизирования.

Эффективность этимологического исследования, охватывающего целые гнезда слов родственных языков, отчетливо видна во всех тех случаях, когда результаты исследования оформляются в виде статей или монографий, как, например, у П. Персона [5], а не распределяются между разными статьями этимологического словаря. На современном этапе развития этимологии индоевропейских языков этот вид этимологического исследования может быть особенно эффективным в применении к лексическому материалу таких языковых групп, которые сравнительно редко служили основой для разработки этимологии целой языковой семьи. В значительной степени к таким языкам принадлежат славянские. Наиболее существенные результаты могут быть достигнуты при сочетании этого вида этимологических исследований с работой по составлению этимологического словаря, что дает возможность предварительно выявить этимологические гнезда, заслуживающие исследования в первую очередь.

Высказываемые здесь положения основываются главным образом на результатах непосредственного исследования двух этимологических гнезд, восходящих к и.-е. корню **kes-* со всеми его древними разновидностями и к и.-е. корню **bhā-*/**bhə-*, на материале славянских и других индоевропейских языков. В обоих случаях исследование строилось в виде подробного обзора лексического материала различных групп индоевропейских языков, который возводится или с фонетической точки зрения может быть возведен к данному корню, причем особое внимание было уделено материалу славянских и балтийских языков. Привлекались также казавшиеся несомненными соответствия из семито-хамитских языков — главным образом по данным Г. Меллера и А. Кюни.

Проведенные исследования показали, что отыскание и сопоставление возможно большего количества слов из родственных языков, которые в фонетическом отношении могут быть возведены к данному корню, делает возможным установление неожиданных семантических переходов и генетических связей между сопоставляемыми словами. Вследствие этого слова, оставшиеся в прошлом

---

[5] P. Persson. Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. Uppsala—Leipzig, 1912, особенно главы, посвященные анализу основы *peu-*, *pou-*, *pū-* (стр. 241—274), лат. *spissus* и родственных форм (стр. 386—422), основы *ster-* (стр. 428—446) и др. В последнее время несколько аналогичных исследований отдельных этимологических гнезд опубликовали А. С. Львов, Г. Шустер-Швец и др.

без удовлетворительной этимологии, занимают определенное место в уже разработанном этимологическом гнезде. Вместе с тем сопоставление соответствующих данных из всех групп родственных языков способствует уточнению и конкретизации первоначальной семантики индоевропейского корня.

В частности, при исследовании этимологического гнезда, восходящего к корню *$bh\bar{a}$- 'говорить, рассказывать', более древнее состояние которого восстанавливается в виде *$bhə'ə$ (ср. евр. *bē'ēr* 'объяснять, разъяснять'; иврит. 'толковать, комментировать', *nibbā'* 'прорицать', *nābī'* 'пророк', араб. *nabba'a* 'он сообщил', *naba'u*^{n} 'сообщение, известие'), к различным широко представленным в славянских языках производным основам от этого корня, в основном рассмотренным уже в сравнительном словаре Л. Садник и Р. Айтцетмюллера [6], удалось возвести еще несколько славянских лексических образований, этимология которых до настоящего времени оставалась неразработанной или спорной. При этом особенно заметно пополнилось количество образований от основы *bar-*, содержащейся в диалектных русских образованиях *барабáрить* 'тараторить', *барáбара* 'вздор, чепуха', *тáры-бáры* (обозначение беспечной болтовни), укр. *тáри-бáри* то же, словен. *bârati* 'спрашивать', *bárli* 'шутка', болг. диал. *барам* 'спрашиваю', польск. *baraszki* 'шутки, проделки', *barłożyc* 'болтать' и др. К этой группе образований легко присоединился объяснявшийся до сих пор по-разному укр. глагол *бари́тися* 'задерживаться, мешкать', русск. диал. *бари́ться* то же, *бари́ть*, блр. диал. *барыцца* то же [7]. Этот глагол проще всего объясняется как результат развития обычной и в настоящее время префиксальной формы *забари́тися* 'задержаться, замешкать' с первоначальным значением 'заговориться, заболтаться', т. е. увлечься разговором на слишком долгое время (ср. русск. *заигрáться*, *засидéться* и т. п.). Абсолютную параллель к этому образованию составляет укр. диал. *загуря́тися* 'задерживаться, замешкиваться, развлекаться', *загýритися* 'задержаться и т. д.', *загуря́ти*, *загýрити* 'занимать, развлекать разговорами' от глагола **гурити* 'говорить' (ср. русск. диал. *гуркать*, а также *бала-гур*, *говорить*). Первичность префиксальной формы с *за-* в укр. *забаритися* 'задержаться' подтверждается еще и тем, что в украинском языке имеется только производное прилагательное *забарни́й* 'медлительный, требующий много времени', но нигде не зафиксирована беспрефиксная форма **барний*.

---

[6] L. Sadnik, R. Aitzetmüller. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen, 2. Wiesbaden, 1964, стр. 114—121.

[7] См.: Miklosich, стр. 26; Г. А. Ильинский. Славянские этимологии. — РФВ 62, вып. 1-2, 1909, стр. 251—253; O. N. Trubačev. Slawische Etymologien. — ZfSl. III, H. 5. Berlin, 1958, стр. 670—671; Rudnyćkyj 1, стр. 81.

Дальше, к этому же гнезду присоединяется охарактеризованное М. Фасмером как темное слово русск. диал. *бартѐ* 'пожалуйста, прошу тебя' [8], являющееся аллегроформой прежнего **барю тебя* или **барю тя*, а также рассматриваемое В. Махеком в отрыве от этого русского соответствия и неубедительно объясняемое им чеш. *bařtipán* 'заносчивый толстяк' [9]. Наконец, к общеславянской глагольной основе *bar-* 'говорить' может быть отнесен ряд частиц типа слвц. *bárs* 'хотя бы', *bárs by* 'если бы' (вероятно, из *bar si* 'скажи себе, попроси' и т. д.), ср. русск. *хотя́*, укр. *хоч* 'хотя' < *хочешь*, *bársčo* 'что угодно' (из *bar si čo* 'что бы ты ни сказал', букв. 'скажи себе что'), *bárskedy* 'когда-либо' (из *bar si kedy* 'когда бы ты ни сказал', букв. 'скажи себе когда'), *bár kdo* (*bárzgdo*) 'кто-нибудь', *bárjaký* 'какой-нибудь' и т. п., болг. *баре́м* 'по крайней мере, хотя бы', *бари́м*, *ба́ре*, *бар* то же, диал. *не́баре* 'будто, словно', ср. укр. *немов* то же, *при́баре* 'почти', макед. *барем*, *баре*, *бар* 'по крайней мере, хотя бы', с.-хорв. *бȁр*, *бâр*, *бȁрем*, *бâрем*, диал. *bâren*, *bâri*, стар. *bâre* то же, словен. *bâr* 'по крайней мере'. Попытка выведения этих распространенных в нескольких славянских языках и этимологически явно связанных частиц от тур. *bari* (*barim*) 'по крайней мере' или венг. *bár* 'по крайней мере, если бы' [10] мало убедительна прежде всего с точки зрения количества и географического распространения соответствующих языков [11]. К тому же рассматриваемое слово в турецком языке не имеет никаких этимологических связей [12], что же касается венг. *bár*, восходящего к *bátor* 'храбрый, смелый' [13], то в развитии его значения не исключена возможность параллелизма к словен. *bâr* при длительном взаимодействии словенского и венгерского языков. Указанные обстоятельства, а также разнообразие южнославянских вариантов этой частицы, которые могут быть отождествлены с несколькими личными формами глагола *bariti*, делают значительно более вероятным предположение о происхождении тур. *bari* (*barim*) и рум. *barem* от рассматриваемых форм славянских слов, чем об иноязычном происхождении всех этих славянских форм.

Среди различных славянских производных от и.-е. **bhā-* значительное место принадлежит глагольной основе *bav-*, отраженной

---

[8] Фасмер I, М., 1964.

[9] Machek, стр. 26.

[10] Miklosich, стр. 7; Berneker I, стр. 44; Machek, стр. 25.

[11] Еще менее убедительной кажется мысль о происхождении болгарских вариантов частицы *баре́м* и т. д. от болг. *бо́жем* 'будто', *ба́же* то же (В. Георгиев, И. Гълъбов, И. Заимов, С. Илчев. Български етимологичен речник, св. 1. София, 1962, стр. 33, 62). Но эта мысль является вместе с тем одним из свидетельств неудовлетворенности традиционным объяснением.

[12] См.: В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, т. IV, ч. 2. СПб., 1911, стр. 1482.

[13] G. Barczi. Magyar szófejtő szotár. Budapest, 1941, стр. 16.

в ст.-слав. **обавати** 'заговаривать, заклинать', **обавьникъ** 'колдун, заклинатель', русск.-ц.-слав. также 'врач', серб.-ц.-слав. **забавати** 'заговаривать, заклинать', чеш. *baviti se o čem* 'рассказывать друг другу о чем-н.', с.-хорв. *зȁбавити* 'осудить, опозорить', словен. *zabavljati* 'приставать, ругаться, высказывать неудовольствие', вероятно, также русск. диал. *баŷтка* 'поговорка' (< **ба-вŷтка*, с конечной частью, вызванной влиянием слова *шутка*), *прибаŷтка* то же, *баŷтчик* 'краснобай, рассказчик' и, возможно, русск. диал. *баусень* 'припев в песнях' как результат контаминации *баŷтка* и *песнь* или диал. *авсéнь* 'шуточная песня'[14]. Эта основа находит себе соответствие и в балтийских языках, которые, в отличие от славянских, сохранили от и.-е. **bhā-* лишь единичные образования. Сюда могут быть отнесены лтш. *bauma* (*baũme*) 'слухи, злые разговоры', *bauzt* 'болтать; лаять', *bauzêt* 'медленно говорить, выделяя каждое слово', *baũzis* 'медленно говорящий', *baũzis* 'лгун, болтун', *bauzinat* 'говорить чепуху', *baũslis* 'приказ; заповедь; болтун', *baũslība* 'закон' (библ.) и, вероятно, лит. *baũsti* (< **baudti*) 'наказывать, побуждать', *bausmẽ* 'наказание' и др. — все с дифтонгом в основе *bau-* перед последующим согласным соответственно славянскому разносложному *-av-* перед последующим гласным. Эти латышские и литовские слова значительно теснее связаны со славянской основой *bav-* 'говорить', чем с лтш. *bust* 'просыпаться', лит. *bùsti* то же, *budĕti* 'бодрствовать', ст.-слав. **бъдѣти** то же, с которыми они обычно сопоставляются[15], хотя в более глубокой исторической перспективе может быть принята и эта связь. Многочисленные материалы славянских языков убедительно свидетельствуют о том, что к этой же славянской основе *bav-* 'говорить, разговаривать' принадлежат и обычные для всех славянских языков такие глаголы, как русск. *забавля́ться* 'развлекаться', укр. *бáвити* 'няньчить, развлекать', блр. *забáвіць* 'развлечь', диал. *бáвіць*, польск. *bawić*, чеш. *baviti*, слвц. *bavit'*, в.-луж. *zabawieć* то же, болг. *бáвя* 'няньчу, развлекаю', макед. *забави* 'развлечь', с.-хорв. *зȁбављати*, словен. *zabavati* 'то же' вместе с многими производными, возникшие на основе праславянского значения глагола *baviti* 'говорить, занимать разговором'. Но праслав. *zabaviti sę*, наряду со значением 'заняться разговором', могло, по-видимому, означать и 'увлечься разговором, заболтаться, забыться в разговоре, задержаться в разговоре дольше, чем следовало' (ср. аналогичное более позднее значение в блр. диал. *забáвіцца* 'увлечься игрой, забыться в игре', от глагола *бáвіцца* 'играть', или упомянутые уже укр. *забари́тися*, *загŷритися*). Отсюда, вероятно, уже в конце праславянского пе-

---

[14] Иначе Фасмер I, стр. 59, 136.

[15] K. Mühlenbach, J. Endzelin. Lettisch-deutsches Wörterbuch I. Rīga, 1923—1925, стр. 266—269; Fraenkel I, стр. 62.

риода развилось унаследованное всеми славянскими языками употребление глагола *zabaviti sę* в более общем значении 'задержаться, замешкаться', после чего, возможно, уже в отдельных языках возникла и беспрефиксная форма *baviti sę* со значением 'задерживаться'. Обе глагольные формы с этим значением дали в славянских языках ряд производных. Установленная таким образом связь глаголов *забавлять* 'развлекать' и *забáвиться* 'задержаться' с основой *bav-* 'разговаривать' делает совершенно излишним обычное до настоящего времени сопоставление этих славянских образований с глаголом *быть*, т. е. смешение их с образованиями типа *убáвить*, *избáвить*, *добáвить*, *прибáвить*[16].

Предлагаемое понимание развития значения 'задержаться' в глаголах *забáвиться*, укр. *забари́тися* открывает возможность более простой и убедительной этимологии глагола *забы́ть*, *забывáть*, чем те, которые предлагались до сих пор, иногда в связи с *забáвиться*[17]. В действительности глагол *забыть*, сравнительно позднее славянское образование от *byti*, обнаруживает такую же связь с глаголом *быть* через промежуточное образование *забы́ться*, как и укр. *бáвити*, *бáвитися* 'задерживаться' через ступень *забáвитися* с глаголом *бáвити* 'разговаривать' или как русск. *засидéться* с глаголом *сидéть*: первоначально *забы́ться* означало 'увлечься пребыванием где-либо, пробыть дольше, чем следовало, и поэтому не заняться другим важным делом', после чего на передний план в этом значении выдвинулось именно то важное дело, которое оставалось невыполненным из-за слишком долгого пребывания в другом месте, и, наконец, глагол *забы́ться*, уже в этом новом значении 'не вспомнить', будучи полностью диэтимологизирован, получил по образцу других возвратных глаголов невозвратную параллель *забы́ть*.

Из особенно многочисленных в славянских языках образований от основы *bal-* 'разговаривать' (ср. русск. диал. *бáлить* 'шутить', *бали́ть* 'болтать', *бáлы* 'лясы, шутки', укр. *бáли* 'лясы' — в выражении *б. точити*, *балáкати* 'разговаривать', с.-хорв. *ба̏лити* 'говорить вздор' и т. д.) можно было бы отметить русск. *баля́сы* 'лясы, россказни', *баля́сник*, *баля́сничать*, укр. *баля́си*, *баля́сник*, *балясувáти* 'балагурить, шуметь, шалить', блр. *баля́снік*. Слово *баля́сы* до сих пор обычно отождествляется с русск. *баля́сина* 'резной или точеный столбик', укр. *баля́си* 'перила', заимствованными из польского языка, в котором *balas* 'вал, круглый столбик,

---

[16] Berneker I, стр. 47; Фасмер I, стр. 101; Rudnyćkyj. 1, стр. 46; L. Sadnik, K. Aitzetmüller. Указ. соч., Lief. 2, стр. 101—103 и др.

[17] См., например: L. Sadnik, R. Aitzetmüller. Указ. соч., 2, стр. 90 (*забыть* первоначально якобы означало 'быть за чем-либо'); Machek, стр. 580 (первоначальное значение 'выйти из состояния душевной свежести', якобы от того же корня, что и слав. *bъdeti*, *buditi*) и др.

стояк' происходит от итал. *balustro* 'столбик в перилах[18]. Между тем наличие в славянских языках таких образований, как укр. диал. *бáляс* 'шум', русск. диал. *балúзник* 'болтун', чеш. диал. *balásat* 'уговаривать', с.-хорв. *бал̏езгати* 'нести вздор' и др., делает отождествление слов *балясы* 'россказни' и *баля́сина* 'столбик' в высшей степени сомнительным. Ничего не говорит в пользу такого отождествления и выражение *точить балясы* (якобы первоначально 'точить уже точеные столбики'), так как это выражение находится в одном ряду с несомненно давними выражениями типа *точить лясы*, *точить балы*, укр. *точити ляси*, *точити теревені* (ср. укр. *розмова точиться* 'разговор идет, ведется'). Таким образом, становится очевидной непосредственная связь русск. *балясы* 'россказни' и родственных ему образований с общеславянской основой *bal-* 'разговаривать'.

Оставляя в стороне многие другие славянские образования от и.-е. корня **bhā-* 'говорить, объяснять', следует отметить, что сопоставление этих образований с соответствующим материалом других индоевропейских и семитских языков дает возможность по-новому подойти к вопросу о генезисе самого корня **bhā-* 'говорить', по-видимому, тождественного корню **bhē-* 'сиять, блестеть, быть ясным'[19], в праиндоевропейский и доиндоевропейский период и о генетических связях этого корня с другими индоевропейскими корнями. Оказалось возможным не только реконструировать более древнюю звуковую форму этого корня в виде **bhə'ə-*, но и установить его древнейшее родство с такими индоевропейскими корнями, как **bhəl-* (**bhel-*, **bhol-*, **bhl̥-*) 'быть светлым, белым', **bhər-* (**bher-*, **bhor-*, **bhr̥-*) 'быть светлым, ясным'; 'говорить, указывать', **bhəi-* (**bhei-*, **bhoi-*, **bhĭ-*) 'говорить, убеждать', **bhəu-* (**bheu-*, **bhou-*, **bhŭ-*) 'говорить, указывать'. Эти связи являются еще одним доказательством принципиальной возможности сведения индоевропейских корней к простым силлабемам с одним согласным и одним неопределенным гласным. Дальнейшие сопоставления ведут к обнаружению тождества корневого элемента **bhə-* не только в перечисленных корнях, но и в корне **bhəi-* (**bhei-*) 'бить, ударять'. Это приводит к предположению о том, что первоначальной функцией корневого элемента **bhə-* (**b̥ə-*) в доиндоевропейскую (ностратическую) эпоху было обозначение удара грома, сопровождавшегося блеском молнии.

Значительное количество новых этимологических сближений возникает и при рассмотрении лексического материала индоевропейских языков, фонетически возводимого к корню **kes-/*kos-*,

---

[18] См.: Преображенский I, стр. 15; Фасмер I, стр. 119; Н. М. Шанский. Этимологический словарь русского языка, т. I, вып. 2. М., 1965, стр. 29—30; Rudnyćkyj 1, стр. 68.

[19] См.: Wadle—Hofmann, I, стр. 438; P. Persson. Указ. соч., стр. 117, 569; H. Möller. Vergleichendes indogermanisch-semitisches Wörterbuch. Göttingen, 1911, стр. 23 и др.

**ks-*, для которого при этом в индоевропейском праязыке устанавливается круг значений 'бить—трогать—чесать—царапать—скрести—рыть—копать—втыкать—колоть—резать—рубить (и умерщвлять)—раскалывать—бить (и умерщвлять)'. В частности, оказывается возможным возвести к данному корню такие до сих пор рассматривавшиеся вне этой связи слова, как слав. *xajati* (с тремя значениями — 'трогать', 'чистить' и 'хулить, поносить'), *xoliti* (польск. *pachołek*), *šibati*, *xovati*, *xudъ*, **xvorstъ*, *šestь* (со всеми его индоевропейскими соответствиями), *kostьrъ*, *kostra*, *kostь*, *pakostь*, *kostiti*, русск. *кощу́н*, *касть*, *косты́ль*, др.-инд. *kṣāláyati* 'моет, чистит', *kṣipáti* 'бросает, швыряет', *kṣódati* 'растаптывает', *kṣudraḥ* 'малый, низкий, незначительный', *kṣupaḥ* 'куст', авест. *kasu-* 'малый', *xšviwrō* 'быстрый', лит. *skaláuti* 'полоскать белье', *šukúoti* 'чесать', *šùkas* 'гребень', *šukė́* 'черепок, щербина', лтш. *sukât* 'чесать, чистить скребницей', *suka* 'щетка, скребница', *sukums* 'щербина, зазубрина, щель', греч. ξέστης 'кружка', и.-е. основу *sek-* 'рубить, сечь' и др., представить новые доказательства в пользу некоторых уже выдвигавшихся этимологий, а также поставить вопрос о принадлежности к этому же гнезду ряда других образований различных индоевропейских языков, особенно славянских и балтийских [20].

Анализ и сравнение фонетических разновидностей значительного количества этимологически родственных слов обеспечивает возможность внесения уточнений в понимание и определение таких фонетических законов, которые остаются пока еще недостаточно четкими, а в отдельных случаях и установления новых фонетических законов. Эта возможность увеличивается в случае параллельного исследования нескольких этимологических гнезд, обнаруживающих аналогичные звуковые особенности. Так, например, в свете большого количества фактов, представляющих образования от корневых разновидностей **ks-* и **sk-* в славянских, балтийских и других индоевропейских языках, не оказывается оснований для предположения о том, будто слав. *x* (*ch*) в части случаев фонетически восходит к и.-е. *sk* или *sg(h)* [21]. Эти факты показывают, что в ряде индоевропейских языков, в том числе и в славянских, имеет место параллелизм корневых разновидностей **ks-* и **sk-* и что все славянские образования с начальным *x-*, параллельные образованиям с начальным *sk-* в славянских же и в других индоевропейских языках, свободно возводятся к и.-е. корневой разновидности **ks-* (ср. русск. *скала́*, *щель*<**skel-*, лит. *skélti* 'раскалывать', др.-

[20] Подробнее этот материал освещается в моей статье («Этимология. 1966». М., 1968).

[21] A. Brückner. Slawisches *ch*. — KZ 51. Göttingen, 1923, стр. 221 сл.; В. М. Иллич-Свитыч. Один из источников начального *ch* в праславянском. — ВЯ, 1951, № 4; H. Schuster-Šewc. Fragen der etymologischen Forschung im Slawischen. — ZfSl VIII, 6. Berlin, 1963, стр. 862—863, 869.

сканд. *skilja*, *skila* 'разделять', греч. σκάλλω < **skl̥-i̯o* 'копаю, рою', лат. *scalpō* 'царапаю, скребу, чешу, вырезываю, долблю' — русск. *хóлить*, *холýй* 'отруби; слуга, раб', *холудúна*, *хлуд* 'жердь', н.-луж. *chóluj*, *choloj*, *chołyj* 'плуг', др.-инд. *kṣālāyati* 'моет, чистит' и др.). Параллельно с метатезой начального корневого *ks-* в *sk-* в ряде индоевропейских языков фиксируется и выпадение *s* из редуцированной корневой разновидности **ks-* (ср. русск. *скопúть*, *скопéц*, лит. *skapóti* 'скоблить', *skõpti* 'выдалбливать, вырезать', греч. σκάπτω 'вскапываю', σκαπάνη 'мотыга, заступ', н.-перс. *škāfad* 'раскалывает' — русск. *копáть*, лит. *kapóti* 'рубить, сечь, колоть', *kãpas* 'могила', греч. κόπτω 'ударяю, отсекаю', κάπετος 'ров, окоп, могила', н.-перс. *kāfad* 'копает' и др.).

Параллелизм корневых разновидностей с согласным *s* типа **kes-*, **ks-*, **sk-*, **k-* прослеживается и в образованиях от других аналогичных по своей звуковой структуре корней. При этом соответствия в образованиях от других корней не просто подтверждают правильность изложенного понимания разновидностей **ks-*, **sk-*, **k-*, но и сами получают объяснение, в котором они до сих пор нуждались. Так, например, на основании многочисленных фактов индоевропейских языков, в прошлом с этой точки зрения не рассматривавшихся, представляется возможным восстановить индоевропейский корень **tes-/*tos-/*ts-* (>**s-*) с общим значением 'обволакивать, покрывать, прикрывать, защищать, беречь' и, учитывая возможность метатезы *ts*>*st* и отпадения *s*, отнести к его гнезду такие образования, как алб. *tésha* (*téshë*) 'белье, одежда', русск. диал. *тáшá* 'большое веретье для сушки зерна', *сень*, *сéни*, *засенять*, *стень*, *зáстить*, *зáстовать*, *застенять*, *тень*, *стелúть*, *потолóк*, *тло*, *сторонá*, *стерéчь*, *сорóчка*, *таúть*, укр. *таш* (*ташá*) 'балаган, палатка; род брезента для накрывания возов; полотно, которым обтянут балаган', *ташнúй* 'покрытый парусиной' (о повозке), *ташувáтись* 'располагаться', *стéля* 'потолок', возможно, *осéля* 'жилище', польск. устар. *tasz* 'палатка', мазов. *tas* то же, стар. *taszować kolasy*, чеш. *taška* 'тес для крыш; черепица'; ст.-слав. **село** 'поле', лит. *salà*, 'село', *sergėti* 'стеречь', *sagis* 'дорожное женское платье', *stógas* 'крыша, жилище', лтш. *stâgs* 'крыша', *segt* 'покрывать, укутывать', *sega* 'одеяло', *sagša* 'шерстяной платок, накидка; покрывало; хижина на плоту, покрытая соломой или корой', прусск. *stogis* 'крыша', греч. στέργω 'люблю', στέγω 'прикрываю, охраняю, прячу', στέγη 'крыша, кров, жилье', στέγος то же, στέλλω 'одеваю, наряжаю', στολίς 'одежда, платье, шкура', στολή то же, στορέννυμι, στόρνῡμι, στρώννῡμι, στρώννῡω 'расстилаю, мощу', τέγος 'крыша, жилище', στέρφος 'кожа со спины животного', τέρφος то же, лат. *tegō* 'покрываю, охраняю, опутываю', *toga* 'верхняя одежда', *sagum* 'вид плаща', *solum* 'почва', *sternō* 'расстилаю, покрываю, мощу', *tellus* 'земля', *tergum* 'шкура, кожа, слой, лист, поверхность, спина', *storea* 'плетеное одеяло', *torus* 'покрытое войлоком ложе', др.-в.-н. *strewen* 'посыпать', *dah*

'крыша', *sal* 'здание', др.-сканд. *serkr* 'сорочка, военная куртка, брюки', лангоб. *sala* 'двор, дом, здание', гот. *saliþwos* 'приют, жилище', др.-инд. *sthágati*, *sthagáyati* 'окутывает, прячет', *stṛṇā́ti* 'посыпает, роняет' и др.

Реальность корня **tes-*/**tos-*/**ts-* и намеченный здесь в наиболее общем виде состав его этимологического гнезда нуждается еще в более тщательной проверке. Но и такая проверка может быть достаточно основательной и объективной только при учете, наряду с другими возможными связями отдельных из этих слов, всей совокупности указанного лексического материала со всеми отношениями, обнаруживающимися внутри его состава. Во всяком случае, обстоятельный анализ больших этимологических гнезд на материале целых групп или целой семьи родственных языков таит в себе широкие возможности не только для установления новых этимологий, но и для самой строгой проверки уже предложенных или вновь предлагаемых сопоставлений.

Л. Киш

О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ ЭТИМОЛОГИЗИРОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ

Ф. де Соссюр [1] упрекал этимологию в том, что «для достижения своей цели она использует все те средства, которые в ее распоряжение предоставляет лингвистика, но при этом она не задерживает своего внимания на выяснении характера тех операций, которые ей приходится производить». Иными словами: опыты этимологических исследований в теоретическом плане не подытожены, методика этимологии не разработана.

Возможно, Ф. де Соссюр был несколько строг в своем суждении об этимологической практике начала XX в. Но если даже признать, что он был в свое время совершенно справедлив, к характеристике нынешних этимологических исследований его слова никак не применимы. Этимологи наших дней усердно занимаются обобщением своих опытов, систематизацией приемов исследования. Часто предлагаются принципы, призванные служить руководством к дальнейшей работе. Й. Малкил [2] ввел в этимологию понятие «ареальной нормы». Сущность ареальной нормы заключается в том, что при исследовании слова с невыясненным происхождением надо обратить внимание на похожие слова смежных языков; если они являются заимствованиями из какого-то языка, то и наше слово восходит, возможно, к тому же источнику. Б. Э. Видош [3] выдвинул принцип «органической этимологии». Согласно этому принципу в случае неизвестности происхождения какого-то технического термина необходимо учесть и остальные элементы данной технической терминологии. Все они могут иметь общий источник, особенно при условии совпадения дат первого их появления в памятниках. О. Семереньи [4] свел важнейшие результаты индоевропейской этимологической науки к шести основным принципам, подчеркивая значение фонетической, словообразовательной и семантической сторон этимологического решения и указывая на необходимость идентификации параллельных образований, лексических соответствий в смежных районах или на всей индоевропейской территории. О. Н. Трубачев в ряде монографий успешно

[1] «Курс общей лингвистики». М., 1933, стр. 173.
[2] «Romance Philology» VIII, 1955, стр. 200.
[3] «Revue de linguistique romane» XXI, 1957, стр. 93—105.
[4] «II. Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft». Innsbruck, 1962, стр. 175—212.

осуществляет групповую реконструкцию и выводит общие организующие принципы ремесленной и иной терминологии [5]. Кроме названных ученых, в создании методики этимологических исследований участвуют и многие другие.

В своем предельно кратком сообщении я желаю остановиться на трех принципах этимологизирования заимствованных слов. Ни один из них не претендует на новизну, но заостренная формулировка, вероятно, все-таки придает им известную пользу. Предлагаемые принципы опираются на опыт, который был приобретен в ходе составления и редактирования нового этимологического словаря венгерского языка. Этот словарь готовится группой сотрудников Института языкознания АН Венгрии. Рукопись первого тома, содержащего буквы от A до Gy включительно, т. е. первую треть всего венгерского алфавита, уже отдана нами в печать. Первый том словаря должен появиться в свет к осени текущего года [6]; остальные тома следуют за первым с промежутком в три года.

1. Принцип самобытности. Им выражается убеждение, что независимое развитие какого-либо языка, определенное присущими ему закономерностями, представляет собой как правило более обычное, более «нормальное» явление, чем воздействие чужих языков. В этимологической плоскости принцип самобытности обязывает исследователя искать этимологическое объяснение прежде всего из собственных ресурсов данного языка, учитывая и наследственные элементы, и возможные инновации. Если какое-то слово может быть проэтимологизировано и как исконное, и как заимствованное, причем ни то, ни другое объяснение не имеет превосходства, этимолог поступает правильно, отдавая предпочтение первому объяснению, не умалчивая и о втором. Строгое соблюдение принципа самобытности особенно настойчиво рекомендуется при этимологизировании экспрессивных, ономатопоэтических слов и в сложных вопросах вроде германо-славянского лексического взаимодействия.

2. Принцип конечного источника. В смежных языках нередко наблюдается наличие общих, но этимологически изолированных слов. Судить о направлении распространения этих слов мы можем лишь по выяснении конечного источника. До тех пор все гипотезы о роли передатчика языка A по отношению к языку B являются преждевременными и висят в воздухе. В качестве примеров можно ссылаться на ряд лексических параллелей венгерского и соседящих с ним славянских языков, как венг. *dereglye* 'баржа' ~ с.-хорв. *dȅreglija* то же; венг. *drusza* 'тезка' ~ слвц. *drusa* то же; венг. *harcsa* 'сом' ~ слвц. *hrča* то же и др.

---

[5] О. Н. Трубачев. Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966, стр. 3—4.

[6] См.: «A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára». Főszerkesztő Benkő L., szerkesztők Kiss L., Papp L. I. kötet (A—Gy). Budapest, 1967 (*прим. ред.*).

3. Принцип неединичности заимствующего языка. Турцизмы балканских языков, германизмы и венгеризмы языков Средней и Восточной Европы, итальянизмы приадриатических языков, русизмы языков Советского союза и т. д. свидетельствуют о том, что заимствование какого-либо слова чаще всего производится не только одним единственным языком, а целой группой языков, находящихся в сходных условиях. Из этого вытекает необходимость быть осторожным в том случае, если какое-то слово, считающееся заимствованием, не имеет подобных себе соответствий-заимствований в языках соответствующего ареала. Именно по такой причине мы можем сомневаться, например, в правильности возведения венг. *furfang* 'хитрость' к ит. *furfante* 'жулик, мошенник': в словенском и сербохорватском языках (при всей многочисленности итальянизмов) подобного слова нет.

Представленные принципы нуждаются, естественно, в дальнейшем уточнении и шлифовании. Они, возможно, могут найти себе место в общей методике этимологических исследований, но и эта будущая методика не может быть панацеей, помогающей во всех затруднительных случаях и освобождающей исследователя от долга всестороннего анализа фактов и самостоятельного суждения.

Х. Шустер-Шевц

МЕСТО И ПРОБЛЕМАТИКА ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

(По материалам славянских языков)

В качестве главного направления в современном развитии науки можно рассматривать стремление отдельных дисциплин к новому определению их сферы в рамках общей науки, а также более сильное подчеркивание общетеоретических и методологических вопросов в научной работе. Если мы, исходя из этих соображений, попытаемся подойти к поставленным вопросам, то мы сначала должны точно определить как место, которое занимает этимологическое исследование в рамках общей науки, так и отношение этимологии к теории языка вообще. Ведь не секрет, что значение этимологии за последние 50—70 лет постоянно уменьшалось и что она сегодня занимает в рамках различных отдельных разделов языкознания менее центральное положение.

Современное положение этимологии не может изменить и тот факт, что, например, в области славистики за последние годы отмечается появление большого числа этимологических словарей. Но только в немногочисленных случаях работа над этимологическими словарями сопровождалась общеметодологическими и теоретическими соображениями. Масштабом и в наши дни являются часто еще разработанные Э. Бернекером принципы. Чем же объяснить такого рода ситуацию в этимологической науке? В первую очередь такое состояние этимологической науки является логическим следствием развития языкознания в целом, которое, начиная со второй половины XIX в., все сильнее отходит от такой дисциплины, которая прежде всего являлась ретроспективно-исторической дисциплиной с чертами вспомогательной науки, и вступает на путь своей собственной задачи — описания и изучения языка как инструмента коммуникации человеческого общества.

Современное языкознание работает главным образом синхронными методами. Фонология, грамматика и лексикология анализирует функцию отдельных языковых элементов в рамках более крупных общих систем. Результаты этимологического исследования имеют более или менее свободное отношение к собственно коммуникативной функции языка. Вскрывая первоначальное значение или форму слова, мы ведь получаем дополнительную информацию,

однако она не обязательная для функции по своему существу немотивированного языкового знака [1].

Но значение науки можно определять также и по тому, как она относится к господствующей и характерной для данной эпохи общей научной теории и насколько она в состоянии использовать для себя результаты этой теории. Не может быть сомнения в том, что наиболее распространенную в настоящее время лингвистическую теорию представляет структурализм. Согласно структуралистической концепции общность явлений одной или другой области рассматривается как единая структура, как замкнутая в себе конструкция, в которой целое преобладает над интегрированными отдельными фактами.

Если мы попытаемся дать ответ на этот вопрос относительно этимологии, то следует подчеркнуть, что этимология, как говорит Ф. де Соссюр, «не является ни особой наукой, ни частью исторического языкознания, она является лишь особым применением принципов, имеющих силу для синхронических и диахронических фактов. Она изучает предысторию слов до тех пор, пока не наткнется на то, что может послужить их объяснению». Такое исследование предполагает, однако, ряд рабочих методов. Для того чтобы с достаточной надежностью показать исходное значение слова и его развитие в последующее время, необходимо знать самую историю вещей и располагать достаточным количеством надежных аналогов о существующих в языках связях и переходах значений, на которые можно было бы опираться; далее важно по возможности знать источники, непосредственно доказывающие семантические и формальные изменения, затем мы должны, кроме того, с помощью так называемых «фонетических законов» (т. е. с помощью господствующих в эпоху рассматриваемого языка закономерностей фонетики) проверить принятые для истории звукового развития слов переходы и изменения (это в итоге и есть реконструкция первоначальной формы слова), при этом практика до сих пор проводила семантические и формальные операции очень часто в отрыве друг от друга.

Однако неоспоримым фактом является и то, что реализация, по крайней мере, первых двух постулатов связана с несколькими принципиальными трудностями, которые необходимо сначала преодолеть. До сих пор не существует ни единой, ни общепринятой семасиологии. При этом элемент случайности и индивидуальности далеко не всегда исключен. Вдобавок исследователь совсем не может при определении отношения между предметом и вещью опираться на какие-либо действующие закономерности. На работу исследователя здесь поневоле и сильнее, чем в других областях науки, будет влиять субъективная оценка и интуиция. В то время

---

[1] Ср. также: В. Н. Топоров. О некоторых теоретических основаниях этимологического анализа. — ВЯ, 1960, № 3, стр. 44—59.

как для романских и, по существу, и для германских языков сегодня уже имеется достаточное количество исторических словарей и диалектологических атласов, славянская этимология именно в этом отношении сталкивается с большими трудностями. Обширные работы над историческими словарями и изучение диалектологической лексики для большинства славянских языков были начаты только после окончания второй мировой войны. Степень трудностей становится очевидной, если принять во внимание, что, например, для такого большого славянского языка, каким является русский язык, не существует ни общего исторического словаря, ни полного словаря диалектов. В таком случае исследователь вынужден часто либо самостоятельно собрать в многолетней кропотливой работе нужную историческую и диалектологическую лексику, или же он должен довольствоваться работой над более или менее достоверной этимологией под звездочками. И наконец, методически недостаточным нужно назвать также этимологический способ, который при формальной реконструкции слова опирается только на соответствие рассматриваемых в отрыве друг от друга законов фонетики.

Только в последнее время стали понимать, что реконструкция слова как морфологической единицы должна опираться прежде всего на морфологический анализ. Но как раз здесь — если исходить из индоевропейского — все еще мало изучены такие важные предпосылки, как структура индоевропейского корня или функция и значение так называемых детерминативов или первичных суффиксов.

Возьмем хотя бы славянское название для икры ноги. По польски это *łydka*, диал. также *głydka*, *łyta* и *łyst(a)*, чеш. *lýtko*, подобные формы имеются также и в других славянских языках. Как нами уже доказано в специальной работе, это слово родственно русским словам *глуда*, *глыба*, *клыза*, болг. *глуза* 'узел, сучок в доске', словен. *gluta* 'шишка' и т. д.[2] Икры ноги имеют, как это доказывают многочисленные семантические параллели, в качестве мотивации признак опухшего, пузатости, округлости. Более точный морфологический анализ основы слова *глуд-*, *глут-*, *глуз-*, *глуст-* при современном уровне исследования нельзя дать. Мы только устанавливаем, что корень **glu-/gloй-* (ср. ирл. *glōs-náthe* 'вид намотанной проволоки') расширен несколькими различными детерминативами. Однако первоначальная функция этих морфологических элементов остается невыясненной.

О трудностях, с которыми сталкивается этимологическое исследование на современном этапе развития исторически-сравнительного метода, говорит и следующий пример. Латинскому названию для пятки *calx*, *-cis* соответствует в балто-славянских языках в семантическом и фонологическом отношении ряд выра-

---

[2] Ср.: «Slavia», XXXII, 2, 1963, стр. 176—179.

жений, содержащих в себе в большинстве случаев обозначение сустава, ср. ст.-слав. *kъlka* 'бедро', первоначально 'тазобедренный сустав', с.-хорв. *kûk* то же ⩽ **kъlkъ*, в.-луж. *kŭlka* 'щиколотка', польск. диал. *kŭlka* 'тазобедренная кость, ляжка у животных', лит. *kul̃nas* 'пятка', *kulkšnìs* 'щиколотка'. Чередование гласных *ъ(й)* : *и(ой)* : *а*, однако, не отвечает известным правилам фонетики. В то время как *ъ* на основании работы X. Вальде («Reduktionsvokale in Indogermanischen») и работ Р. Траутмана («Slavia» II) без всяких затруднений может быть понят как рефлекс и.-е. краткого гласного *о*, соответствующего и.-е. *о* или *а* в полной ступени (ср. также русск. *звать*<**zъvati* : *zovu*; ст.-слав. **тъnogъ* : гот. *manags*; ст.-слав. *гръбъ*, русск. *горб* : прусск. *garbis* 'горб, гора'), связь же между *и* (*ой*) и *а* в славянском в этом отношении неясна. При строгом соблюдении известных нам законов фонетики нужно было бы исключить из названной группы слов луж. *kulka* 'щиколотка' и польск. *kulka* 'тазобедренный сустав у животных', что опять-таки трудно, если принять во внимание значительное семантическое соответствие. Тем более, что, анализируя подробнее славянский материал, можно привести еще больше примеров с такими же чередованиями гласных. Например: 1. польск. *tani*, диал. *tuni* 'дешево', в.-луж. *tuni* то же, русск. диал. *туне* 'попусту, напрасно', словен. *zastônj* 'напрасно', русск. *тонкий*<**tъnъkъ* 'тонкий, худой, слабый' [3]; 2. русск. *нырять*, укр. *нуряти* то же, польск. *nurkować*, в.-луж. *nurić so* 'нырять', русск. *нора* 'дыра', ст.-слав. *iznьrjǫ*, *iznrěti*. Неполнота фонетических законов ведет здесь к неправильным этимологическим выводам. Так, по нашему мнению, Фасмер в своем этимологическом словаре без всяких оснований отделяет русское слов *тонкий* от приведенного семейства слов (польск. *tani* || *tuni* 'дешево'). Относительно связи между *нырять* и *нора* он ограничивается лишь следующим указанием: «Формы с аблаутом *е/о* сосуществуют с формами *и*-ряда». Верхнелужицкое название щиколотки *kulka* рассматривалось до сих пор народно-этимологически как деминутив к слову *kula* 'шар'. Как мне кажется, эти отклонения могут быть объяснены, если дополнить существующие законы фонетики и принять второстепенное дополнение чередования гласных по примеру обычного *и*-аблаута *й*, *ū*, *ой*: сперва только *ъ* : *ŏ*, а потом и *ъ* : *и* (*ой*).

Можно сказать, что достоверность результатов этимологического исследования сегодня все еще отчасти зависит от ряда объективных факторов, обусловленных общим развитием языкознания. Именно эти факторы служат причиной того, что понятие вероятности в этимологии играет большую роль и по сегодняшний день. Поэтому неотложная задача этимологических исследова-

---

[3] О существующих — но по-нашему мнению, ошибочных — толкованиях польск. слова *tani* см.: W. Boryś. Śląskie *tûni* i ogólnopolskie *tani*. — JP XLIII, 3, стр. 145—148.

ний — свести до минимума степень ненадежности, которую и в будущем, вероятно, невозможно будет исключить полностью, и разработать такие методы, которые позволяли бы более объективный контроль результатов исследований, носящих все еще в основном индивидуальный характер. Однако это будет возможно только в том случае, если и этимологическое исследование сильнее, чем до сих пор, будет обращаться к современным структуральным методам. И не в последнюю очередь будущее значение этой области науки будет зависеть от решения этой задачи, которая для этимологии из-за ее различных и крайне сложных связей с другими разделами лингвистики является особенно трудной. Сегодня этимология не может больше довольствоваться традиционным требованием выявления корня, она должна в большей мере, чем до сих пор, стать и историей, и географией, т. е. действительной биографией слов, должна стараться объяснить их образование из связей данных общих или частных лексических систем. Цель исследования современной этимологии — это уже не просто отдельный изолированный этимон (корень слова), а сложное определение координат, которые определяют, где слово, понимаемое как единство формы и значения, включается в соответствующие семантические и формальные системы или подсистемы.

В качестве важного приема, позволяющего проверить конструированные и частично гипотетические семантические деривационные модели и структуры, исследователи в последнее время указывают на типологическое сравнение [4]. При этом вопрос заключается в том, что в результате исследования нескольких не обязательно родственных языков или различных исторических стадий того же самого языка могут быть распознаны общие семасиологические закономерности и использованы для этимологического исследования. Ясные семантические связи между значениями A, B, C. . . в одном или нескольких языках могут служить методическим вспомогательным средством для точного отождествления значений A, B, C. . . в другом языке, в котором семантические связи затушевались вследствие формального исторического развития. Соответствие основных признаков такой производной формулы исследователь уже может рассматривать как важное доказательство предпринятой этимологии.

В этой связи следует указать на уже отмеченное этимологическое объяснение славянского названия икры ноги типа польск. *łydka*. Объясняя его, можно опираться на известный во многих индоевропейских и неиндоевропейских языках факт, что название икры ноги часто стоит в полисемантической связи с названием для пред-

---

[4] Š. Ondruš. Zur Theorie der Semasiologie und Etymologie. Publicationes instituti philologiae slavicae universitatis Debreceniensis. Debrecen, 1961, стр. 3—13; V. Kiparsky. Über etymologische Wörterbücher. Neuphilologische Mitteilungen, LX, 3. Helsinki, 1959.

метов круглой или выпуклой формы. На основании этого, но и, конечно, из-за существования диалектной формы с начальным *гл-* в польском, можно восстановить потерянную в славянском связь с названиями типа русск. *глуда*, *глыба*, *глыза* и т. д. В качестве другого простого примера для производных назовем известную омонимию 'сосуд' и 'череп'. И здесь можно, зная эту семасиологическую аналогию, выяснить в этимологическом отношении до сих пор еще неясное славянское название чашки **lъbъ*, чеш., др.-польск. *łeb* (в русском с переносным значением *лоб*). Исходя из нар.-лат. *testa* 1. 'череп', 2. 'сосуд', можно слав. **лъбъ* связывать со встречающимся сегодня в польских диалектах словом *łub-* 1. 'кора', 2. 'сосуд в виде глубокого моечного чана', 3. 'деревянный обруч сита, мельничного камня', ср. также полаб. *lai̯b* 'род корзиночки' (апофония *ъ*||*ы*||*и* (*ой*)).

Раньше сосуды изготовлялись из коры дерева или луба (плетение). Ср. также лат. *testa*, сопоставляемое с лат. *texo* 'плести, ткать'.

Но семантические производные модели могут носить и более сложные формы. В качестве примера хочу обратить ваше внимание на разработанную мною в связи с этимологическим анализом славянского названия крестьянина **cholpъ*, **kъmetъ* семантическую производную модель [5].

Эта модель является дополнением и специализацией восстановленных ранее моделей с производными 'кусок дерева—плуг—растение—человек' и т. д.[6] Параллели к названной производной модели можно указать в финском, эстонском и литовском.

Недостаток в современном исследовании по семасеологическим моделям заключается еще в том, что до сих пор не проводилось значительных работ ни над частичными, ни над синтетическими сравнительными семасиологическими проблемами.

В приводимой модели проверка морфологических и фонологических закономерностей выполняет для нас роль контролера поставленных семантических правил. И только если семантика и формальная фонетическая сторона находятся в соответствии, этимология слова может считаться действительно выясненной.

Одна из наиболее сложных проблем формального анализа индоевропейского слова заключается в настоящее время, как уже было отмечено, в определении и моделировании корня индоевропейского слова. Это относится прежде всего к морфологически и семантически изолированным словам. Здесь перед этимолого-историческим исследованием языка стоит задача разработать методы, с помощью которых могут быть описаны морфологическая и фонологическая структура корня и форманта и их взаимное разграни-

---

[5] Ср. мою работу «Zur Bezeichnung des Bauern im Slawischen: **cholpъ*, **kъmetъ*, **smŕdъ*». — ZfSl IX, 2, 1964, стр. 241—255.

[6] Ср. мою работу «Fragen der etymologischen Forschung im Slawischen». — ZfSl VIII, 6, 1963, стр. 860—874.

чение. Важной предпосылкой для такого анализа следует считать требование П. Персона [7], по которому слово может разделяться на корень и формант лишь тогда, когда наличие соответствующего корня доказывается и в других лексемах, а формант встречается и в ряде других слов. Ценную информацию мы получаем уже сегодня благодаря работам над ларингальной теорией, над индоевропейской апофонией, а также благодаря исследованиям в области индоевропейской гетероклизы.

Что касается морфологии, то здесь исключительно большое значение имеет известная теория Э. Бенвениста о двух разновидностях индоевропейского корня. Бенвенист доказывает, что индоевропейский корень в зависимости от характера расширения корня может иметь различную ступень гласных (полную или нулевую). Полной ступени отвечает расширение корня без гласного элемента, нулевой ступени — расширение корня с гласным элементом. Применение этой теории позволяет нам воссоединить до сих пор часто еще произвольно разделявшиеся семейства слов и получить таким образом подтверждение родственным семантическим структурам. Если применить теорию корней Бенвениста к славянскому, то славянское название хлева (укр. диал. *холів*), которое считалось наукой до сих пор заимствованным из готского (*hlaiw* 'пещера, могила'), можно без больших затруднений объяснить как исконно славянское. Оно принадлежит к так называемому семейству славянских слов с корнем *хол-* || *кол-* 'колышек, кусочек дерева'. Да и вообще трудно понять, почему славяне, народ, занимающийся преимущественно земледелием, должны были заимствовать название для хлева у готов [8].

Несомненно является правильным при допущении достаточных аналогичных деривационных моделей признание идентичности словоморфем доказанной и в том случае, если между звеньями А—В наряду с регулярными фонетическими переходами встречаются еще и нерегулярные спорадические фонетические явления, которые не отвечают фонетическим законам. Принятие такого особого развития разрешается главным образом в тех случаях, если сравниваемые звенья состояли друг с другом в полисемантических отношениях. И все же нам кажется необходимым, чтобы исследователь в каждом случае относился к этим так называемым «спорадическим» фонетическим переходам очень критически.

Если, например, В. Махек из-за отсутствия более достоверного этимологического объяснения чеш. *řap* 'черенок ложки', диал. также *řapka* 'кость хвоста' объясняет на основании семантического сходства как родственное с нем. *Rippe-* 'ребра', а др.-слав. носовой гласный *$\d{l}$ — как результат якобы экспрессивного удвоения

---

[7] P. Persson. Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. Uppsala—Leipzig, 1912.

[8] См. мою работу в ZfSl VIII, 6, стр. 869.

р с последующей диссимиляцией *рр* → *тр*, то это уже не имеет ничего общего с научной этимологией. Совсем ясно, что это слово родственно лит. *rémbėti* 'покрыться рубцами'. То же относится и к многим этимологиям, которые Махек сводит к так называемой вертикальной субституции, например слав. *болѣти* — лат. *dolēre*; слав. *grǫdъ* 'грудь, возвышение в болоте' — лит. *krūtis* 'грудь'.

Экспрессивное фонетическое развитие можно принять только в том случае, если данное слово в рассматриваемую эпоху, или в одну из ранних эпох, действительно относилось к аффектной языковой сфере и может мотивироваться как таковое.

Необходимость равного учета как семантики, так и формы слова вытекает из типичного для языка единства формы и содержания. Однако человеческий язык отличается еще и другой характерной чертой. Он тесно связан с мышлением человека, которое отражает объективную действительность. Для применяемого в этимологии метода это значит, что этимология должна одновременно заниматься и вопросами, связанными с различными формами человеческого мышления и его развития, как и проблемами своего рода построения, структурирования самого объективного мира. Ведь значения слов, в сущности, являются не чем иным, как созданными человеческим умом отображениями объективной действительности. Таким образом, мы сталкиваемся с общей для всего развития науки проблемой, а именно с совершенно не решенным до сих пор вопросом моделирования и формирования самого процесса человеческого мышления и, в более широком смысле, конечно, с проблемой более точного описания рассматриваемого общественными науками предмета. Мы думаем, что здесь и перед этимологией открывается новое, широкое поле деятельности. Подобно тому, как этимология путем изучения первоначального значения слов вносит свой важный вклад в исторические и социологические науки, она может, восстанавливая семантические структуры, в известной мере содействовать описанию постоянно повторяющихся моделей мышления. Это, однако, не следует понимать так, как будто мы ставим знак равенства между языком и мышлением.

Конечно, этим вопросам уделялось внимание и раньше, что нашло свое отражение в основанном в начале этого столетия учеными Р. Мерингером и Х. Шухардтом научно-исследовательском направлении «Слова и вещи», которое сегодня находит свое продолжение и усовершенствование главным образом в ономасиологически направленных работах. Но значительный недостаток многих таких работ заключается еще в том, что они обычно чрезмерно подчеркивают экстралингвистический аспект, т. е. исследование самого предмета, и слишком мало уделяют внимания самим языковым системным связям. В разработанной нами конспективно системе этимологического исследования включение так называемой науки о реалиях рядом с формальным и семантическим соответ-

ствием выполняет функцию второго «контролера». Выяснение истории значения требует одновременно и знаний истории предметов, знаний в области материальной культуры, обычаев, нравов, права, религии и т. д.

Если мы в заключение вернемся еще раз к поставленному в начале доклада вопросу о положении этимологии в общих рамках языкознания, то теперь мы можем сказать, что этимологическое исследование представляет собой метод, с помощью которого языкознание изучает возникновение и происхождение слов и их значение, причем внимание исследователя направлено меньше на выявление самого этимона, а больше на определение различных координат, в которых отдельное слово соприкасается с отдельными семантическими, морфологическими и фонологическими подсистемами. Кроме этого, этимологическое исследование применяет и экстралингвистические рабочие приемы, сравнивая восстановленные им семантические модели с общими закономерностями в развитии человеческого мышления и с явлениями конкретного материального мира.

Ю. В. Откупщиков

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ЭТИМОЛОГИЯ

Одна из наиболее характерных особенностей современного языкознания — это стремление найти подход к языку как к явлению системного порядка. Системный характер фонетических изменений был вскрыт еще основоположниками сравнительно-исторического языкознания. Именно фонетический аспект исследования занимал центральное место в этимологических исследованиях младограмматиков. Это увлечение фонетикой и абсолютизация «фонетических законов» в работах по индоевропейской этимологии вызвали отрицательную реакцию со стороны ряда ученых. Например, Г. Шухардт в серии своих полемических работ, объединенных позднее в статью «Etymologie und Wortforschung» [1], резко выступил против засилия фонетики и против пренебрежительного отношения к анализу смысловых связей. О. Есперсен в своей книге «Язык» писал об определенных успехах этимологии в фонетической и отчасти в семантической области [2]. Но ни Шухардт, ни Есперсен в указанных работах даже не упоминали о словообразовательном аспекте этимологического анализа.

Фонетические соответствия в корне и более или менее правдоподобно установленные семантические связи между сопоставляемыми словами — вот основная база так называемой «корнеотсылочной» этимологии, получившей довольно широкое распространение в индоевропейском, и в частности в славянском, языкознании. Разумеется, словообразовательная сторона этимологии при этом также принималась во внимание, но ей обычно отводилась лишь второстепенная, подчиненная роль в этимологических исследованиях этого типа.

Последние десятилетия в развитии этимологии характеризуются неуклонным возрастанием роли словообразовательного анализа в процессе этимологического исследования. Этимологизируемые слова все более и более обрастали плотью словообразовательных формантов, на анализе которых было сосредоточено основное внимание многих этимологов. В работах последних лет часто (и обычно — справедливо) критиковали «корнеотсылочную» этимоло-

[1] См. русский перевод в кн.: Г. Шухардт. Избранные статьи по языкознанию. М., 1950, стр. 210 сл.

[2] O. Jespersen. Language. London—New York, 1925, стр. 305.

гию. Само слово «корнеотсылочный» стало чуть ли не бранным эпитетом. В результате этого очень часто стала проявляться тенденция ограничить словообразовательный анализ одним только суффиксальным словообразованием, тенденция к противопоставлению суффиксов и основ (корней) в словообразовательно-этимологическом исследовании. Наиболее отчетливо это противопоставление было сформулировано в интересной статье В. А. Никонова с весьма знаменательным названием «Поиски системы».

«Этимологические исследования, — пишет автор этой статьи, — преимущественно занимались основами, а часто и ограничивались ими, пренебрегая формой, тогда как в действительности этимология слова чаще всего обязана именно формальным изменениям, которые несут не меньше информации, чем основа. Как можно обойтись только этимологией основы в словах *белый*, *белка*, *белье*, *белуга*, *белесый*, *белизна*, *беляк*, *беловой*, *беляна*, *бельмо*, *белила* и мн. др.?» [3]

Из приведенного отрывка совершенно ясно, что В. А. Никонов ищет систему только в области суффиксального словообразования. Для автора статьи основа (а тем более — корень) явно не обладает формой. Эту «аморфную» основу он противопоставляет формализующим суффиксам. Между тем форма, а отсюда — и системность, присуща не только суффиксам, но также корням и основам. Более того, сама регулярность суффиксов во многом определялась регулярностью основ, которая в свою очередь находилась в тесной связи со структурой корня.

Не менее спорным в приведенном отрывке является и освещение вопроса о том, основа (корень) или суффиксы несут бо́льшую информацию. Прежде всего о какой именно информации здесь идет речь? О стилистической (*белый—беленький—белесый*), о реальной (заяц-*беляк*, несомненно, отличается от *белуги*) или об этимологической? Речь, по-видимому, должна идти об этимологической информации. А в этом плане *белый*, *беляк* и *белуга* различаются между собой меньше, чем *белый*, *черный* и *красный*. Иными словами, основную этимологическую информацию несут здесь не суффиксы, а корень.

Сколько бы мы ни приводили суффиксальных производных, например, от прилагательного *кривъ*, *кривой* (*кривда*, *кривизна*, *кривуля*, *кривляка* и т. п.), этимология первого слова не прояснится до тех пор, пока мы не определим, каков был его корень. Это — сложная этимологическая проблема. А вопрос об этимологии слов *кривда*, *кривизна* и т. д., хотя здесь тоже можно встретиться с большими трудностями, — это вопрос о «ближней» этимологии, где речь будет идти уже о вторичных словообразовательных и семантических процессах. Таким образом, словообразовательный

---

[3] В. А. Никонов. Поиски системы. — «Этимология». М., 1963, стр. 224—225.

аспект этимологического анализа не может и не должен ограничиваться анализом суффиксальной структуры слова. Не менее важное значение для этимолога имеет также словообразовательная структура корня и основы.

Возьмем в качестве примера следующий словообразовательный ряд, в котором отражается обычное индоевропейское чередование в огласовке корня (**ei*/**oi*):

гнити	— *гной*	— *гноити*
(по)чити	— *(по)кой*	— *(по)коити*
пити	— *(за)пой*	— *поити*
жити	— *(из)гой*	— *гоити* 'давать жить'
x	— *(по)крой*	— *кроити.*

Рассмотренный ряд позволяет реконструировать утраченный в славянских языках простой глагол **кри(ти)*, который может быть соотнесен также со следующим рядом:

	(за)пой	— *пити* —	*пи-в-о*
	(на)вой	— *вити* —	*(на)ви-в-ъ*
русск. диал.	*(на)лой* 'ливень'	— *лити* —	*(на)ли-в-ъ*
	(из)гой	— *жити* —	*жи-в-ъ*
	(по)крой	— **крити* —	*кри-в-ъ.*

Предлагаемая этимология слова *кривъ* опирается на анализ словообразовательных моделей, в которых лишь одна форма дается под звездочкой, т. е. является реконструированной. Хорошо известно, что количество словообразовательных возможностей у языковых моделей очень велико, но не все эти возможности реализуются или же сохраняются в языке. Помимо полного ряда *гноити—гной—гнити*, в русском языке имеется несколько примеров с утраченным простым глаголом: *строити—строй*, *доити—(на)дой*, *роити—рой*, *кроити—(по)крой* (но нет глаголов **стрити*, **дити*, **рити*, **крити*). Может быть, этих слов никогда и не было в языке? Едва ли это так, ибо в ряде случаев от них сохранились надежные следы в виде производных. Так, например, для глагола **рити* 'течь' можно сослаться на производные с суффиксом *-ну-*: укр. *ринути* '(сильно) потечь, хлынуть', чеш. *řinouti se* 'литься, струиться'.

Словообразовательный ряд

*кроити — (по)крой — *крити — кри-в-ъ*

полностью совпадает не только с рядом

гоити — (из)гой — жити — жи-в-ъ,

но и с таким примером, как

*роити — рой — *рити* 'течь' — лат. *rī-v-us* 'ручей'.

В семантическом плане слово *кривъ*, как производное от глагола **крити* 'резать', должно было иметь исходное значение 'срезанный, скошенный'→'косой, кривой'. Подобный путь развития значений слова от конкретного к абстрактному был наиболее типичен для древнеиндоевропейской и праславянской лексики. В качестве аналогичного примера можно сослаться хотя бы на такие производные от и.-е. корня **skei-* 'резать', как др.-исл. *sceifr*, др.-англ. *scāf*, нем. *schief*, лтш. *šķībs* 'косой, кривой' (Pokorny, стр. 922), а также на исл. *sneida* 'резать' и 'делать косым' (ср. также швед. *sned* 'косой').

Приведенный выше анализ праславянских словообразовательных рядов позволил, совсем не прибегая к данным родственных индоевропейских языков, с помощью внутренней реконструкции восстановить словообразовательную историю слова *кривъ*. Причем анализ этот был предельно формализован и опирался не на изолированные единичные случаи, а на систему словообразовательных явлений, отраженную в самой структуре праславянского корня. Отсюда следует вывод, что п о и с к и с и с т е м ы в словообразовательном аспекте этимологического анализа не должны ограничиваться рамками одного лишь суффиксального словообразования. В ряде случаев призыв Козьмы Пруткова *смотреть в корень*, по-видимому, может быть не без успеха использован и в этимологических исследованиях.

Впрочем, в плане суффиксального словообразования многие из продуктивных в древности моделей также до сих пор недостаточно изучены в работах по славянскому языкознанию. Взять хотя бы древнерусские образования на *-ędь*, *-ědь*, *-jadь* и сербохорватские существительные на *-āд*. Соотношения между ними остаются все еще не вполне ясными. В то же время при этимологизации некоторых слов этого типа иногда полностью игнорируются основные особенности соответствующих словообразовательных моделей.

Так, например, в книге выдающегося итальянского лингвиста В. Пизани «Этимология» (русский перевод вышел в издательстве «Иностранная литература». М., 1956) в качестве примера конкретного этимологического анализа рассматривается вопрос о происхождении слова *площадь* (стр. 167—170). В. Пизани считает возможным объяснять слово *площадь* как результат заимствования через старославянский из н.-греч. *πλατειάδες, отвергая в то же время традиционную этимологию этого слова, связывающую его с др.-русск. *плоскъ*.

Не говоря уже о том, что в греческих церковных текстах (откуда скорее всего могло бы произойти предполагаемое заимствование) не сохранилось никаких следов слова *πλατειάδες (Nom. pl. от πλατεῖα 'улица'), этимология, предложенная Пизани, не может объяснить многих фактов, относящихся к словообразованию и лексике древнерусского языка и диалектов современного русского языка.

Рассмотрим следующий словообразовательный ряд:

плоский	— *площь* 'плоскость, ширина'	— *площадь*
черный	— *чернь*	— *чернядь*
синий	— *синь*	— *синядь*
рослый	— *(по)росль*	— *роследь*
пухлый	— *(о)пухоль*	— *(о)пухлядь*
гнилой	— *гниль*	— *гниледь*
старый	— блр. *старь* 'старье'	— *старядь* [4]

Легко заметить, что если мы попытаемся включить в этот славянский словообразовательный ряд такие явно заимствованные слова, как *стерлядь* (ср. нем. *Störling* 'маленький осетр') или *лошадь* (тюрк. *лоша*), мы сразу же потерпим неудачу. То же самое можно сказать и о ряде *плоский* — укр. *площа* 'площадь'—*площадь*=*рохлый*—*рохля*—*рохлядь*=*ровный*—*ровня*—*ровнядь*. Эти примеры говорят о том, что суффикс *-ędь* был сложным по своему составу (**-en-*+**-dь*).

В семантическом аспекте слова́ *площь* 'плоскость, ширина' и *площадь* относятся к прилагательному *плоский* так же, как *ширь* и (диалектное) *ширедь* относятся к *широкий*. Следовательно, др.-русск. *площь*, укр. *площа* и русск. *площадь* — это слова, означающие 'плоскость' или 'плоское, широкое место'.

Интересно отметить, что исследователи, занимавшиеся этимологией слова *площадь*, не обратили внимания на одно очень важное лексическое совпадение в древнерусском языке: 1) *площадъка* 'небольшая площадь, небольшой участок' и 2) *площадъка* 'плошка, плоский сосуд' (Срезневский II, 970). Этот пример окончательно ставит все точки над i и заставляет решительно отвергнуть гипотезу о заимствовании слова *площадь* из греческого языка.

Всякое реконструирование словообразовательных рядов требует от этимолога всестороннего и осторожного подхода к анализируемому материалу. Один ряд сам по себе еще не составляет системы. Кроме того, механическая реконструкция словообразовательного ряда может оказаться (и нередко оказывается) ошибочной. Совершенно очевидно, например, что к ряду *писать*—*писец*, *читать*—*чтец*, *играть*—*игрец*, *лгать*—*лжец* мы не можем отнести слова *спать* и *спец*. Каждому известно, что слово *спец* — это сокращение от заимствованного слова *специалист* и никакого отношения к глаголу *спать* оно не имеет. Но этот нарочито нелепый пример показывает, что ошибки подобного рода принципиально возможны.

В случаях не столь очевидных, как в примере со словом *спец*, проверка правильности предлагаемой реконструкции может быть

---

[4] Другие примеры образований на *-дь* (с соответствующими ссылками) см.: Ю. В. Откупщиков. Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1967, стр. 149—150. Там же (стр. 120) вкратце излагается рассматриваемая ниже этимология слова *дылда*.

осуществлена путем анализа целой системы словообразовательных рядов. Допустим, что при этимологизации слова *рамень*(*е*) мы выделяем в нем суффикс *-мен-* и сопоставляем это слово с глаголом (*о*)*рати* 'пахать'. Данная этимология [5] может быть подтверждена следующей серией словообразовательных рядов (для краткости привожу в каждом случае всего один-два примера):

1) (*о*)*рати—ра-тай*, *ра-тва*, *ра-ль*, *ра-мень*;
2) *(о)рати—рамень(е)*, *полѣти—пламень*, *знати—знаменье*;
3) *рамень—раменье*, *камень—каменье*, *знамя—знаменье*;
4) *рамень—Раменское*, *камень—Каменское*, *знамя—Знаменское*;
5) *рамень—раменный*, *пламень—пламенный*, *камень—каменный*;
6) (*о*)*рати — рамень*, лит. *árti* 'пахать' — armuõ 'пашня'.

К этим шести рядам можно присоединить еще седьмой ряд суффиксальных чередований (**-men-*/**-u̯-*):

ра-мень — лат. *ar-v-um* 'пашня, поле'
др.-прусск. *kēr-men-s* 'чрево' — ст.-слав. **чрѣ-в-о**
лит. *stuo-muõ* — лтш. *stà-v-s* 'стан, фигура'
лат. *cul-men* 'вершина' — лит. *kal-v-à* 'холм' и мн. др.[6]

Таким образом, анализ словообразовательной модели в данном случае не сводится к реконструкции какого-то единичного ряда. Слово *рамень* и его производные входят в целую серию рядов, совокупность которых и составляет словообразовательную систему, типичную для славянских образований с суффиксальным **-men-*.

Одной из наиболее архаичных особенностей праславянского словообразования было чередование суффиксов, исторически тесно связанное с гетероклизой. И если в индоевропейском масштабе эта особенность была довольно подробно проанализирована в работах Э. Бенвениста, Ф. Шпехта и других исследователей, то в рамках славянского словообразования и этимологии чередования суффиксов до сих пор почти совсем не изучены.

Как в индоевропейском, так и в праславянском языке суффиксы чередовались между собой не хаотически, а по определенной системе. В одних случаях слова́, образованные с помощью чередующихся суффиксов, выступали в качестве синонимов, в других — разные варианты сло́ва использовались в целях лексических противопоставлений.

В виде примера можно сослаться на распространенное в индоевропейских языках чередование суффиксов **-men-*/**-n-*: лит. *srau-muõ*/*srau-nà* 'течение, поток', др.-инд. *áç-man-* / *áç-na-* 'камень', лат. *lū-men* 'свет' / *lū-na* 'луна, месяц'. То же самое чередование

[5] См.: Ю. В. Откупщиков. О происхождении слов *рамень* и *раменье*. — «Вопросы общего языкознания». Л., 1965, стр. 88—96.

[6] Наиболее детально это чередование было исследовано Ф. Шпехтом (F. Specht. Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Göttingen, 1947, стр. 179—183).

засвидетельствовано в др.-русск. *ти-мѧ*, *ти-мен-ие* 'грязь, тина' / *ти-на*; русск. *яс-мен* (*ясме́н сокол* в русских народных песнях), *яс-мен-ник* Asperula/*яс-н-ый*; *яч-мень* / *яч-н-ый* и др. Иногда это чередование может быть обнаружено при сравнении с родственными языками: русск. *ста-н* / лит. *stuo-mũ* 'стан, фигура', русск. *вы-мя* (< **ūdh-men*) / др.-инд. *ū́dh-n-aḥ* (Gen. sing. гетероклитического склонения).

Но наиболее интересными являются случаи, когда в чередовании участвуют не два, а три суффикса (и даже более):

словен. *droz-g* / чеш. *droz-d* / др.-чеш. *droz-n* 'дрозд' [7]

русск. диал. *пеле-г-а́* 'часть луба' / *пеле-д-а́* 'стреха' / *пеле-н-а́* 'стреха' [8]

русск. диал. *пеле́-ж-ить* / *пеле́-д-ить* / *пеле́-н-ить* 'покрывать, ухичать (избу на зиму)' [9]

др.-русск. *дрѧз-г-а* / *дрѧз-д-а* / *дрѧз-н-а* 'лес'

Во всех рассмотренных примерах чередуются одни и те же суффиксы: *g*/*d*/*n*. Древность этого явления подтверждается наличием точно такого же чередования в балтийских языках: лтш. *skabar̂-g-a* / *skabar̂-d-a* / *skabar̂-n-a* 'щепка'. Еще показательнее случай, когда в чередовании участвуют те же самые элементы, выступающие не только как именные суффиксы, но и как детерминативы корня: лит. *ei-g-à* 'ход' (именной суффикс) / ст.-слав. **и-д-ѫ** (< **ei-d-ǫ*) / лит. *ei-n-ù* 'иду' (детерминативы корня; ср. простые глаголы: лат. *e-ō*, др.-греч. εἶ-μι 'иду').

Иногда этот же тип тройных суффиксальных чередований реализуется в языке лишь частично: др.-русск. *гроз-д-ъ* / *гроз-н-ъ* 'гроздь' (*d*/*n*), польск. *żoł-g-a* / *żoł-n-a* 'желна, дятел' (*g*/*n*).

Анализ суффиксальных чередований *g*/*d*/*n* позволяет предложить новую этимологию слова *дылда*, не получившего до сих пор единого этимологического истолкования. Связь с польск. *dyl* 'доска, бревно', предложенная А. И. Соболевским, была отвергнута А. Г. Преображенским и М. Фасмером, так как это слово представляет собой заимствование из немецкого [10]. Ссылки на диалектные формы *дыль* 'колода, бревно', 'нога', *дыли* (мн. ч.) 'ходули' также не могут считаться убедительными, ибо эти слова засвидетельствованы в западных диалектах русского языка и, возможно, связаны с польск. *dyl*.

В то же время наличие в славянских языках чередования суффиксов *g*/*d* позволяет сопоставить слово *дылда* с др.-русск. *дългыи* 'длинный' и *дългъ* 'высокий', 'великан'. Формы с нулевой ступенью огласовки корня дают, с одной стороны, **dl̥-gos* >

---

[7] Ср. также ст.-слав. дрозгъ / болг. *дроз-д* / в.-луж. и н.-луж. *droz-n* 'дрозд'.

[8] Буквальное значение во всех трех случаях — 'покров'.

[9] Д а л ь [2] III, стр. 28.

[10] П р е о б р а ж е н с к и й I, стр. 205; V a s m e r I, стр. 385.

> **dul-gu* > *дъл-гъ*, а с другой — **dḷ-dā* > **dul-dā* > (экспрессивное удлинение?) **dūl-dā* > *дыл-да*.

Долгий гласный *ū* (*дылда*), в отличие от краткого *u* (*дългъ*), встречается не только у анализируемого слова. С тем же гласным засвидетельствовано, например, такое слово, как др.-русск. *дылѣя* 'вид длинной одежды'. Вероятно, к общему источнику восходят и более отдаленные формы без суффиксальных *g/d*: русск. диал. *дыль* 'даль', *дыльный*, др.-инд. *dūráḥ* 'далекий, дальний' и др.

Из двух типов слов с чередующимися суффиксами *g/d* западные и южные славянские языки, в отличие от русского, отразили форму с суффиксальным *g*: чеш. *dlouhán*, с.-хорв. *ду̏гоња* 'дылда'. Но, видимо, и здесь можно обнаружить следы древнего слова с суффиксальным *d*, ср. такие производные, как русск. диал. *дылдить* 'слоняться, шататься' и синонимичный сербохорватский глагол *ду̏дати*, позволяющий гипотетически реконструировать слово **ду̏да* (=*дылда*).

Итак, др.-русск. *дъл-г-ъ* 'длинный' / русск. *дыл-д-а* отражают то же самое чередование суффиксов *g/d*, которое мы наблюдали в случае со словен. *droz-g* / чеш. *droz-d* и в других рассмотренных выше примерах.

* * *

Изложенные лишь в самых общих чертах этимологии слов *кривъ*, *площадь*, *рамень* и *дылда* представляют собой попытку нащупать те элементы системы в словообразовательном аспекте этимологического анализа, которые пока еще недостаточно разработаны в славистике (особенности структуры корня, суффиксальные чередования). Разумеется, затронутые выше вопросы отнюдь не исчерпывают всей совокупности сложных проблем, связанных с анализом словообразовательных моделей в этимологическом исследовании.

А. Е. Супрун

СИСТЕМНОСТЬ ЛЕКСИКИ И ЭТИМОЛОГИЯ

Несколько лет тому назад, разбирая задачи этимологии, В. Н. Топоров отмечал, что ее функцией является «определение координат разных систем (фонологической, словообразовательной, лексической, семантической, поэтической и т. п.), пересечение которых порождает данное слово, и определение последующей траектории слова»[1].

В этом определении хорошо отражена сущность системного этимологического исследования, хотя и лучше было бы, вероятно, сказать бессубъектно «на пересечении которых порождается. . .», ибо в процессе появления новых слов, видимо, не всегда активно участвуют все языковые системы, хотя появляющееся новое слово и оказывается так или иначе размещенным в этих системах, а реконструирующий возникновение слова этимолог должен раскрыть и действительные пружины слововозникновения, т. е. установить системы, участвующие в порождении слова, и непротиворечивость предполагаемого процесса по отношению к другим (в данном случае пассивным) системам, на пересечении которых порождается слово.

Поскольку этимология занимается изучением порождения и последующей траектории слов, вполне естественно рассмотреть некоторые аспекты пересечения лексической системы языка с другими системами, связанного с порождением и дальнейшей траекторией слов.

В этом смысле определенный интерес представляет собой этимология славянских числительных. Дело в том, что числительные — довольно древняя консолидированная лексико-семантическая микросистема, причем ее лексическая компактность и семантическое своеобразие столь значительны, что ведут в славянских языках к грамматической специализации, к превращению числительных в особую часть речи.

Славянские числительные ставят перед этимологами ряд проблем. Среди них — возникновение (образование или проникновение) некоторых отдельных слов, вошедших в вертикальный ряд

[1] В. Н. Топоров. О некоторых теоретических основаниях этимологического анализа. — ВЯ, 1960, № 3, стр. 49.

числительных, соответствующих натуральному ряду чисел. Надо сказать, что, решая вопрос и об этих отдельных словах, полезно учитывать вертикальную системность числительных. Мне приходилось уже отмечать, что «инородные» тела в вертикальном ряду числительных (такие, как восточнославянское *сорок*, слвц. диал. *meru* '40', полаб. *pöl t'upě* '30', вариантные в.-луж. и н.-луж. *połsta*, а также н.-луж. *połhunderta* '50') появляются на «изгибах» и «переломах» вертикального ряда числительных. С другой стороны, участие русского *сорок* в специфическом счете «сороками», его специфическая роль в фольклоре, в известной мере аналогичная «магической» роли числа 40 у алтайских народов, позволяют говорить о возможности восточных связей этого слова [2].

Но, разумеется, в наибольшей мере лексическая системность числительных существенна при объяснении не отдельных слов, а некоторых рядов числительных. Так, соображения о системном характере обозначений чисел легли в основу построений О. Семереньи, выяснявшего этимологию индоевропейских, и в том числе славянских, числительных.

О. Семереньи совершенно справедливо отмечал невыводимость славянских обозначений чисел первого десятка из индоевропейского ряда количественных числительных; он показал, как могли происходить и происходили влияния внутри вертикальных рядов порядковых и количественных числительных, а также между этими рядами при возникновении славянских числительных количественных [3]. Можно вести дискуссию по поводу этимологий отдельных славянских числительных или по поводу деталей этих этимологий, но трудно отрицать правомерность системного подхода к этимологии числительных, ярко проявившегося в труде Семереньи.

Вместе с тем представляется, что системные отношения в вертикальном ряду числительных могут дать удовлетворительное объяснение, например, форме славянского числительного **devętь* по аналогии с **desętь*. Само **desętь*, первоначально относившееся, вероятно, к основам на *-*ęt*- и принадлежавшее, видимо, к мужскому роду, испытывало влияние слов **pętь*, **šestь*, чем

---

[2] Ср.: чуваш. *хĕрĕх*, хакас. *хырых*, тат., шорск. *кырык*, уйгур. *қириқ*, туркм., гагауз., ногайск., караим., кирг. *кырк* (так же, но в иной орфографии: казах., узб., каракалпак., башк., крым.-тат., азерб. *гырх*). К возможности объяснения пересечения с фонетической системой ср. вполне вероятную гипотезу О. Н. Трубачева о проникновении восточнославянского *собака* из тюрк. *köbäk* (О. Н. Трубачев. Происхождение названий домашних животных в славянских языках. М., 1960, стр. 32—33). Разумеется, сопоставление восточнославянского *сорок* с алтайскими фактами дается сугубо предположительно с целью лишь привлечь внимание к этой возможности.

[3] O. Szemerényi. Studies in the Indo-European System of Numerals. Heidelberg, 1960, стр. 110—111.

и объясняются фиксируемые уже в старославянских памятниках факты склонения **десѧть** как слова женского рода на *-ĭ, что тем более естественно, если учесть влияние основ на *-ĭ на слова с основами на согласный. С другой стороны, если начальный согласный в **devętь* (*d* вместо *n*) вполне вероятно объясняется аналогией со следующим **desętь*, можно допустить и влияние **desętь* на конец слова **devętь*, тем более что древнейшие памятники не дают образцов склонения последнего, а в образованиях типа русск. *девясил*, с.-хорв. *невесиљ*, а возможно, и русск. *девяносто* и *Девягорск* еще А. И. Соболевский не без оснований усматривал архаичную форму числительного '9' [4].

Более существенные недоумения возникают в связи с поиском семантического основания для действия аналогии в том ее виде, который представлен в исследовании Семереньи. Вообще большой интерес представляет семантика индоевропейских числительных, — как древнейшая, связанная с самым их возникновением, следы которой, возможно, отразились в какой-то мере в приведенных В. В. Ивановым древнеармянских примерах производных от индоевропейской основы **dwei-* '2' [5] (ср. и русск. *двоить* 'вспахивать' и под.), так и более поздняя, которая была присуща индоевропейским неизменяемым числительным, непосредственно предшествовавшим славянским. Степень абстрактности числового значения этих индоевропейских образований еще не вполне выяснена.

О. Семереньи, отрицая образование славянских количественных числительных **pętь* и **šestь* как отвлеченных существительных от порядковых **pętъ* и **šestъ*, считает, что дело тут не в образовании отадъективных существительных типа *рябь*, *новь*, *твердь*, *бель*, *цвель*, *прель*, *гниль*, *голь*, *озимь*, *зелень*, *синь*, *чернь*, *хворь*, *сырь*, *дичь*, *глушь*, *сушь* и под., а в образовании по образцу, по аналогии. Если принимать эту точку зрения, то нужно выяснить, каким образом взаимодействовали порядковые и количественные числительные, имевшие разную семантику, а также почему славянские обозначения чисел стали на первых порах все же существительными (а, скажем, не наречиями).

Едва ли бесспорно мнение о том, что собирательное значение было первичным у этих слов, как иногда допускают [6]. Разумеется,

[4] «Slavia», т. 5, вып. 3, 1927. — Кстати, не следует ли допустить, что в числительных типа чеш. *šedesát*, по крайней мере в некоторых случаях, сохраняется архаичное числительное **še* '6', а понимание подобных форм как сокращений верно лишь для большинства, но не для всех случаев?

[5] Вяч. Вс. Иванов. Использование в этимологических исследованиях сочетаний однокоренных слов в поэзии на древних индоевропейских языках. — Международный симпозиум «Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии. Тезисы. Программа». М., 1966, стр. 52.

[6] Т. Б. Лукінова. Із спостережень над словотвором числівників в слов'янських мовах. — Сб. «Тези доповідей V міжвузівської республіканської славістичної конференції». Ужгород, 1962, стр. 34—35.

собирательное значение было у праславянских, а затем и старославянских существительных *pętь, *šestь и т. д. Однако это значение целесообразно рассматривать как вторичное. Первичным значением существительных, образовавшихся от порядковых при помощи суффикса *-ь, было общее значение опредмечения, отвлечения признака. А. Мейе верно характеризовал рассматриваемые числительные-существительные, назвав эти существительные абстрактными[7]. Собирательное значение в словах типа *pętь, как и в некоторых из слов типа *чернь*[8], развилось позже. А сначала, подобно тому как слово *новь* обозначало нечто новое, *твердь* — нечто твердое, *бель* — нечто белое, так и *пять* обозначало нечто пятое, а именно — пятый предмет, являющийся в данном подсчете завершающим. Надо сказать, что абстрактность названных существительных вначале была довольно относительной, в том смысле, что нечто новое, твердое или белое было вполне конкретным: по словарю И. И. Срезневского, *новь* — это 'новые плоды' или 'новолуние', *твьрдь* — 'небесный свод', 'укрепленное место, тюрьма' и лишь потом — 'прочность, твердость, осторожность', *бѣль* — 'белило', 'белое поле ткани', 'белка (?)'. Может быть, будущие числительные тоже стояли на грани таких конкретных значений.

Надо сказать, что в индоевропейских языках известны и другие обозначения количеств при помощи отпорядковых образований. Речь идет о выражениях типа русск. *сам-пят*. Выражения этого типа, отмеченные еще в санскрите и встречающиеся в древнегреческом языке, получили наибольшее распространение в славянских и германских языках (немногочисленные балтийские примеры рассматриваются как кальки славянских или немецких выражений[9]). Основное значение этих выражений состоит в том, что они обозначают количество (преимущественно людей) посредством указания номера считающего (который, очевидно, считает себя последним, завершает счет на себе): 'сам — пятый' (т. е. Иван — первый, Петр — второй, Андрей — третий, Семен — четвертый, а (я)сам — пятый) как номера, завершающего счет. Словообразовательная структура этих завершающих числительных в славянских, как и в других индоевропейских языках, достаточно прозрачна. Но лексическое добавление к слову, обозначающему номер последнего считаемого предмета, снижало универсальность такого счета, ограничивало семантику завершающих числительных приложимостью их главным образом к группам

---

[7] A. Meillet. Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave, 2. Paris, 1961, стр. 280.

[8] Об этих словах и их первичной семантике см.: Ю. С. Азарх. Из истории русского словообразования. — «Уч. зап.» [Елабужского гос. пед. ин-та], т. XIII, серия истории и филологии. Елабуга, 1962, стр. 160.

[9] P. Zwoliński. Liczebniki zespołowe typu *samotrzeć* w języku polskim na tle słowiańskim i indoeuropejskim. Wrocław, 1954.

людей. Решение проблемы использования слова, обозначающего порядковый номер предмета, на котором завершается счет, для обозначения количества предметов лежало на пути образования от порядковых уже названных отвлеченных существительных на -ь.

Роль порядковых числительных в генезисе обозначений числа в ряде языков уже отмечалась [10]. Это и понятно, поскольку, как известно, в основе логического определения понятия числа [11], так же как и в основе становления этого понятия в генетическом плане [12], лежит счет, соотнесение элементов двух множеств, перечисление. Но для того чтобы число явилось «полным отчетом» об операции перечисления [13], надо, чтобы обозначение этого «полного отчета» отличалось от слова, которое употребляется для обозначения порядкового номера предмета.

Слова типа **pętь*, по-видимому, и обозначали число как опредмеченное свойство носить некоторый порядковый номер, например 'быть пятым'.

Некоторое время, вероятно, индоевропейские количественные числительные е щ е существовали в праславянском языке [14], а отвлеченные количественные имена типа **pętь* у ж е появились. По некоторым своим особенностям эти имена, очевидно, оказались более удобными, чем старые индоевропейские числительные. К числу таких удобств, видимо, прежде всего относится их большая грамматическая определенность — склоняемость и ярко выраженная способность выступать в качестве подлежащего (ср. замечание А. Мейе о том, что индоевропейские числительные 5—10 «напоминают первые части сложений» [15]; ср. также склоняемость числительных в санскрите [16]).

Процесс вытеснения старых неизменяемых числительных количественными именами сопровождался, возможно, семантической контаминацией, совмещением в новых числительных-существительных именных значений с количественными значениями индоевропейских количественных числительных. Слова типа **pętь* стали обозначать количество, понимаемое как некий предмет,

---

[10] См., например: С. Д. К а ц н е л ь с о н. Историко-грамматические исследования, I. М.—Л., 1949, стр. 137—138 и др.

[11] К логическому определению понятия числа см., например: Д. Г и л ь б е р т и В. А к к е р м а н. Основы теоретической логики. М., 1947, стр. 172 сл., в частности стр. 174—175; С. К. К л и н и. Введение в метаматематику. М., 1957, стр. 11 сл.

[12] Ср.: В. В. И в а н о в. Язык в сопоставлении с другими средствами передачи и хранения информации. — «Прикладная лингвистика и машинный перевод». [Киев], 1962, стр. 83—84.

[13] А. Л е б е г. Об измерении величин. М., 1960, стр. 19.

[14] A. V a i l l a n t. Grammaire comparée des langues slaves, t. II, pt. 2. Paris, 1958, стр. 632.

[15] А. М е й е. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.—Л., 1938, стр. 411.

[16] Ср.: P. S g a l l. Vývoj flexe v indoevropských jazycích, zejména v češtině a v angličtině. — «Rozpravy ČSAV», r. 68, s. 5, 1958, стр. 50.

как некоторое опредмеченное свойство, но теперь уже не свойство 'быть пятым, завершающим счет', но свойство 'быть в количестве пяти'. Нетрудно увидеть, что при таком значении происходило сближение числительных-существительных типа **pętь* с числительными-прилагательными типа **tri*, обозначавшими свойство расчлененно понимаемого множества состоять из нескольких элементов. Разница состояла в том, что числительное-существительное обозначало о п р е д м е ч е н н о е свойство, а числительное-прилагательное — свойство как п р и з н а к. С другой стороны, происходило и известное сближение семантики слов типа **pętь* и слов типа **kopa*, основанием которого было понимание количества как предмета.

Таким образом, подводится некоторая семантическая база под взаимные влияния различных числительных, отсутствие которой мешает принять тезис Семереньи в полной мере, ибо нет слов без значения. Быть может, именно синтез блестящих фонетических построений Семереньи с представлениями о семантическом развитии системы славянских числительных может привести к окончательному решению вопроса об этимологии славянских числительных от 5 до 10, которое и должно находиться на пересечении координат фонетической и лексико-семантической систем и которое потребует еще детального рассмотрения с всесторонним учетом сделанного в этой области.

Семантика вертикального ряда числительных в отношениях одного члена этого ряда к другому представляет столь совершенную и ярко выраженную систему, что создает предпосылки сравнительно легкого воздействия одних членов системы на другие.

Элемент *-r-* в собирательно-разделительных числительных был, очевидно, отвлечен в праславянском языке от вариантной основы числительного **četyr-/četъver-* (ср. порядковое **četъver-*). Это *-r-* стало присоединяться к основам следующих числительных; если в качестве такой основы выступала основа порядкового, то получались слова типа **pętor-*, под влиянием которых в дальнейшем вместо **četъver-* появилась основа **četъvor-*; если же от **četъver-* отвлекалось не *-r-*, а *-er-*, то его соединение с основой количественного числительного давало образования типа **pęter-*. Последние могли появиться и из **pętor-* под влиянием **četъver-*. Этому объяснению происхождения собирательно-разделительных числительных от '5' не противоречат и данные литовского языка; редкие диалектные формы типа *penkeli* вместо *penkeri* Ян Отрембский совершенно основательно объясняет как результат влияния неопределенно-количественного числительного *keli*[17]. Другое объяснение образования собирательно-разделительных числительных, которое недавно было вновь выдвинуто Т. Б. Лукино-

[17] J. O t r ę b s k i. Gramatyka języka litewskiego. Warszawa, 1956, стр. 173.

вой[18], предполагает, что «в *pętėr*-—*desętėr*- выступает древний индоевропейский суффикс *-er-* (*-or-*), синонимичный *ter*/*tor*, выражавший противопоставление». Собирательно-разделительные числительные в этом случае по суффиксу сопоставляются со словами **kotorъ*, **eterъ*, **vъtorъ*. Аргументы в пользу указанной этимологии не представляются достаточными. Так, дистрибутивность значения собирательно-разделительных числительных отнюдь не означает, что этими словами обозначалось «число предметов различных, неоднородных», но, скорее, разделение единого предмета на несколько частей. Семантика собирательно-разделительных числительных может быть охарактеризована как обозначение количества как свойства, приписанного предмету. Такое свойство понималось, видимо, как п р и з н а к данного (сложного) предмета, который состоит из нескольких составных частей. Не признак нескольких предметов, составляющих некоторую совокупность, а признак совокупности, понимаемой как (более или менее единый) предмет. В дальнейшем семантика этих слов претерпела значительные изменения: форма множественного числа собирательно-разделительных числительных, прилагавшаяся к существительным pluralia tantum, стала обозначать уже не только, а затем и не столько состав совокупности, называемой существительным, сколько количество самих совокупностей. Очевидно, именно старая семантика собирательно-разделительных числительных легла в основу образования глаголов типа *двоить(ся)* и под., обозначавших первоначально процесс деления предмета на части; эта же старая семантика послужила и основой для образования прилагательных типа русск. *двойной*, *двоякий* и под., позднее вытеснивших разделительно-собирательные числительные-прилагательные в их старом значении. Так или иначе, трудно усмотреть в семантике собирательно-разделительных числительных сходство с тем противопоставительным значением, которое было присуще суффиксу **-tor-/-ter-*. Вариантность *e/o* в рассматриваемых образованиях легко поддается объяснению и при понимании их как аналогических образований, параллельных с **četъver-*, а их древность не противоречит такому объяснению. Что касается до семантической связи этих образований со словами типа **eterъ* или **kotorъ*, то, если она и существует действительно, объяснить ее можно, вслед за А. Вайаном[19], как явление вторичное. Едва ли можно считать достаточно веским свидетельством в пользу указанной этимологии собирательно-разделительных числительных как образований с суффиксом **-tor-/-ter-* и уже приведенные литовские формы с *l*, отмечавшиеся Лескином в восточнолитовских говорах,

---

[18] Т. Б. Л у к и н о в а. Словообразование некоторых славянских имен с корнями числительных. — «Всесоюзная конференция по славянской филологии». Л., 1962, стр. 102.

[19] A. V a i l l a n t. Указ. соч., стр. 667.

так как пересказанное объяснение Отрембского вполне приемлемо; наличие же *r* в основном (количественном) обозначении '4' вполне могло поддержать *r* в этом собирательно-разделительном числительном, мешая его замене на *l*. Вот почему автор настоящих строк (как и Фасмер [20], а также Семериньи [21]) предпочитает бругмановское объяснение форм типа **pęter-* как аналогичных **četъver-*, принятое и Мейе [22], высказанному рядом осторожному предположению последнего, что здесь, может быть, приходится иметь дело с каким-то суффиксом на *-r-*. Лексическая группировка числительных вполне могла обусловить и обусловливала в ряде случаев появление аналогических образований; нет достаточных оснований отказываться от такого объяснения и в данном случае.

Отнесение слова к той или иной лексической подсистеме может влиять при прочтении древних текстов не только на этимологизирование слова, но и на понимание самого текста. Бывают случаи, когда другие подсистемы языка допускают двоякое понимание этимологии слова и приходится на основании тех или иных данных производить выбор между двумя возможными лексическими системами, а тем самым и между двумя этимологиями слова. По традиционному чтению в пассаже «Слова о полку Игореве» «обѣсися синѣ мьглѣ» слово *обѣсися* понималось как возникшее из *обвѣсися* и считалось, что Всеслав, субъект этого высказывания, подвесился к синему облаку, удирая в ночь накануне решающего боя из лагеря киевлян, своих сторонников, в родной Полоцк. Но есть и другая возможность, о которой забывали: предположить, что *обѣсися* имеет корень *бѣс-* 'мифическое существо, бес' и означает 'обесился, испытал приступ бешения, подвергся влиянию, воздействию бесов', а возможно, и 'испытал лунатический приступ'. Анализ текста «Слова», фольклорного и летописного образов Всеслава позволяет считать отнесение слова *обѣсися* к лексической группировке, связанной с действиями под влиянием бесов и под., по крайней мере, столь же вероятным, как и традиционное чтение [23]. Таким образом, отнесение слова к той или иной лексической системе влияет на его этимологизирование и на понимание одного из мест замечательного древнерусского памятника.

Однако лексико-семантическая систематика отнюдь не всегда оказывается ключом для выяснения этимологии слов. Ибо, во-первых, лексическая система, как и любая языковая система, складывается исторически, а потому подчас в задачу этимологов как раз и входит разыскание лексической системы, которая была

---

[20] V a s m e r II, стр. 478.

[21] O. S z e m e r é n y i. Указ. соч., стр. 98.

[22] A. M e i l l e t. Études..., стр. 231.

[23] Подробнее см.: А. Е. С у п р у н, А. А. Б р у д н ы й. *Обѣсися синѣ мьглѣ*. — «Труды Отдела древнерусской литературы» XXIV, 1969 (в печати).

живой в момент порождения слова, особенности которой и запечатлены в слове.

В этом смысле показательно, что одна из психолингвистически вычленяемых в русском языке группировок слов — семантическая микросистема временны́х существительных (*миг*, *момент*, *секунда*, *минута*, *час*, *день*, *сутки*, *месяц*, *квартал*, *год*, *пятилетка*, *век*, *тысячелетие*, *эра* и под.), или еще более тесно связанная семантическая группа слов, обозначающих в русском языке дни недели, или группа слов, обозначающих в польском языке месяцы, в этимологическом отношении весьма пестры (что видно, например, из исследований Г. Якобссона), хотя и имеются аналогии между семантическими связями временны́х слов в синхронии и в диахронии.

Но даже и тогда, когда, казалось бы, само возникновение лексической группы «этимологично», может оказаться, что ее ближайшее рассмотрение покажет несоответствие лексической группировки с этимологической характеристикой слов. Определенный интерес в этом отношении представляет, к примеру, «среднеазиатская лексика» в русском языке. Эта серия слов, являющаяся одной из частей так называемой «экзотической лексики», включает в себя такие слова, как *арык*, *аул*, *бархан*, *басмач*, *дехканин*, *ишак*, *кишлак*, *кок-чай*, *мираб*, *пиала*, *саксаул*, *чайхана* и др.[24] Хотя все эти слова в произведениях о Средней Азии и Казахстане и в переводах с соответствующих языков в той или иной мере придают couleur locale, хотя все они в большей или в меньшей мере являются элементами русского языка в Средней Азии и Казахстане, не все «среднеазиатские слова» имеют одинаковое происхождение. Так, несмотря на относительную новизну этих слов — в соответствии с замечанием О. Н. Трубачева о том, что «степень забвения этимологических связей не обязательно стоит в прямой зависимости от возраста слов»[25], — возникают вопросы времени появления их в русском языке, требуют подчас нелегкого решения и вопросы о языке-источнике тех или иных экзотизмов, ибо среднеазиатская лексика полигенетична. Для такого решения приходится привлекать языковые и внеязыковые данные.

Так, например, историко-хозяйственными соображениями приходится руководствоваться, решая вопрос о непосредственном источнике фиксируемого в русских словарях с 1874 г. слова *арык*. Этот термин, связанный с поливным земледелием, скорее всего был заимствован из узбекского языка, поскольку, например,

---

[24] В дополнение к литературе, указанной в статье автора «Среднеазиатская лексика в русском языке» (в сб. «Этимологические исследования по русскому языку», 4. М., 1963), см. ряд статей Э. Н. Кушлиной и автореферат ее кандидатской диссертации «Среднеазиатская лексика в русском языке (на материале газет Узбекистана и Таджикистана)». Душанбе, 1964.

[25] О. Н. Трубачев. [Рец. на кн.] «Szótörténeti és szófejtő tanulmányok». — «Этимология. 1964». М., 1965, стр. 381.

казахи и киргизы в ту пору занимались в основном скотоводством, а не земледелием.

Иногда уточнить источник слова помогает рассмотрение пересечений языковых подсистем. Так, одно из экзотических слов, относящихся к кулинарии, *беш-бармак*, обозначает распространенное у киргизов, казахов и башкир (а возможно, также у некоторых других народов) мясное кушанье, состоящее, например, у киргизов «из мелко нарезанных кусков мяса и теста, политых бульоном» («Киргизско-русский словарь» К. К. Юдахина под словом *бармак* 'палец'). В словаре Даля, раскрывающем этимологию слова как 'пятипалое блюдо', наряду с формой *бешбармак* приведено и вариантное *бишбармак*. В тюркских языках это слово легко разделяется на два элемента: первый означает '5', а второй — 'палец'. Поскольку в казахском '5' *бес*, казахский язык едва ли может считаться источником слова. Башк. и тат. *биш* '5' дают основание считать башкирский (а может быть, и татарский) источником приведенной у Даля вариантной формы. Источником же основной формы, видимо, является киргизский язык, где '5' — *беш*[26].

Среднеазиатские слова, образующие в русском языке относительно единую лексическую группировку, в этимологическом отношении разбиваются на несколько подгрупп: узбекскую, казахскую, киргизскую, туркменскую, таджикскую, каждая из которых в свою очередь может быть расчленена на хронологические подгруппы. И системно-этимологическое изучение среднеазиатской лексики предполагает нахождение целого ряда пересечений языковых подсистем, определяющих этимологию каждого слова и некоторых совокупностей слов.

Таким образом, учитывая данные о лексической систематике, вместе с тем приходится обращать внимание и на временнỳю обусловленность лексических подсистем, способность их перестраиваться, способность лексем перераспределяться из одной подсистемы в другую и т. д. Вполне возможно и несовпадение лексической группировки слов с этимологической группировкой уже в самом начале, при возникновении соответствующей группы слов в данном языке.

Необходимо подчеркнуть динамизм и процессуальность пересечения языковых систем, на котором порождается новое слово; полезно учитывать и возможные сдвиги координат в ходе дальнейшего движения слова по его траектории. Изменяется система порождения новых слов, изменяется и естественная классификация, систематика функционирующих в языке слов, включаемых с самого своего появления в сложную и изменчивую систему языка.

---

[26] У Фасмера (I, стр. 163; в переводе на русский язык сокращение kirg. дано как «казахский» — ср.: V a s m e r I, стр. 83) источник слова не уточняется и тюркский материал дан без необходимой для такого уточнения дифференциации (ср. форму числительного '5': *беш*, *бес*, *биш* — в очерках второго тома серии «Языки народов СССР». М., 1966, стр. 144, 181, 306, 326, 492).

В. А. Никонов

РУССКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Русское словообразование привлекало многих исследователей. В минувшем десятилетии оно получило признание в качестве самостоятельного раздела языкознания в ряду с лексикой и грамматикой [1]. За одни послевоенные годы опубликованы сотни работ по русскому словообразованию. Накоплен огромный материал, позволяющий и требующий подойти к обобщениям. Еще шире фронт словообразовательных исследований в других славянских и иных языках. В двух выпусках библиографического указателя польской литературы по словообразованию зарегистрировано 951 заглавие [2], а с тех пор количество их круто возросло. Это дает возможность и обязывает не ограничиться замкнутым описанием фактов одного языка, а рассматривать их в плане сравнительно-историческом и шире — в плане сравнительно-типологическом.

Но прежде необходимо выяснить серьезное недоразумение, чреватое тяжелыми последствиями для словообразования как отрасли лингвистической науки.

Еще Н. В. Крушевский, И. А. Бодуэн, В. А. Богородицкий, Ф. Ф. Фортунатов предостерегали, что недопустимо смешивать словообразовательный анализ с морфологическим и подменять один другим. Два десятилетия назад Г. О. Винокур вынужден был повторить требование различать анализ словообразовательный и анализ морфологический:

«Однако, признавая силу этого требования в теории, ученые до сих пор плохо считаются с ним в практической работе» [3]. На беду, положение сегодня не улучшилось, а еще ухудшилось. В чем суть различия?

Слово *догадлив* отчетливо членится на морфемы *до/гад/лив*. Но разве оно образовано так? Конечно, оно сложено не из таких кусочков, как и не из *до/гадлив*, а, несомненно, из основы *догад-*

---

[1] В. В. Виноградов. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии. — «Вопросы теории и истории языка». М., 1952.

[2] Materiały do bibliografii słowotwórstwa języków słowiańskich. Pod redakcją W. Doroszewskiego, I—II. Warszawa, 1953—1959.

[3] Г. О. Винокур. Заметки по русскому словообразованию. — ИОЛЯ, 1946, № 4, стр. 316.

(*догадаться*, *догадка*) и суффикса *-лив*, т. е. *до-* тут не префикс, а часть основы. Примеры на каждом шагу: в существительном *надстройка* нет префикса *над-*, префиксально не оно, а его «предок» — глагол *надстроить*, из которого суффиксом *-ка* образовано *надстройка*. Это совершенно различные и разновременные процессы, как напоминал Г. О. Винокур: «Внутренняя зависимость между производящими и производимыми основами разных степеней обнаруживается в последовательном, а не одновременном присоединении морфем, составляющих основу каждой новой степени по сравнению с предшествующей. Одной из очень важных задач учения о русском словообразовании, несомненно, следует признать указание точных приемов такого расчленения производных основ выше первой степени, которое отражало бы эту последовательность в присоединении новой морфемы к уже существующим их сочленениям» [4].

Игнорирующий «этажность» строения слова не раскрывает этого строения, а искажает его.

К сожалению, в той же статье Г. О. Винокур непоследовательно согласился признать *уныть* и *перестать* непрефиксальными, так как их компоненты сейчас «незначимы» [5]. Но это и есть смешенье времен. Разве эти слова образованы сейчас?

Уступка оказалась роковой. Подмена словообразовательного анализа (т. е. выяснения, как слово образовано) морфологическим (как оно членится на морфемы сегодня) в последующих работах становится почти привычной.

В своем «Школьном словообразовательном словаре» (изд. 2. М., 1964) З. А. Потиха членит слова так: *при/бы/тие*, *у/бы/тие* и пр. Это членение морфемное, а не словообразовательное. Процессы словообразования протекали:

Шаткость принципиальной позиции привела к противоречиям: *восхищ/а/ть*, но *по/хищ/а/ть* и т. п.

Другая работа [6] ошибочно приписывает префиксальное образование словам *выкуп*, *перевал* и т. п., которые в действительности образованы не префиксацией, а из глаголов, уже включивших

---

[4] Там же, стр. 331.
[5] Там же, стр. 317—318.
[6] Е. Н. Шипова. О способах словообразования имен существительных в русском и казахском языках. — «Вопросы изучения русского языка». Алма-Ата, 1955, стр. 315.

префиксы. Но и заметивший, что префиксальность этих образований мнима, напрасно назвал их «безаффиксальными» [7]. Эти образования, незаслуженно лишенные монографического исследования, обильны в русском языке (в диалоге 3% всех случаев существительных в тексте, а в публицистике даже 8%), чрезвычайно разнообразны и устойчивы: *разбег*, *побег*, *распад*, *закат*, *обман*, *передел*, *ответ*, *совет*, *съезд*, *уход* и т. д. Образование их не «нулевое», а «минусовое» — апокопа (усечение) глаголов, аналогично многочисленным составным — *мясоед*, *злодей*, *рыболов*, *листопад*, *верхогляд* и проч.

Ярчайший пример «минусового» образования — *зонт* из *зонтик*, которое, вопреки кажущемуся наличию деминутивного суффикса *-ик*, заимствовано из голландского *zondeck* (*zon* 'солнце', *deck* 'крыша'). Случай далеко не исключительный (*трусы* из *трусики*, а не наоборот).

Как образована сама производящая основа — это другой вопрос. Путать их — значит принимать деда за отца. Иначе — почему же останавливаться на генеалогии только до второго или третьего колена, а не перебирать все поколения предков, доискиваясь до «самого первого слова»?!

Совершенно неприемлем отказ признать слово образованным аффиксально, если основа теперь уж не существует самостоятельно: *ужас*, *доблесть*, *обескуражить* и пр., приводимые Н. М. Шанским, который, признавая и удачно показывая «этажное» строение слова, однако отказывается от подлинного анализа его ради того, каким слово представляется, если бы оно возникло сегодня. Он объявляет беспрефиксными и *приду*, *обмануть*, относя их к иванам, не помнящим родства [8]. Он прямо декларирует: «Словообразовательный анализ устанавливает лишь, на какие морфемы можно разбить слово сегодня, а не то, как данное слово возникло в действительности» [9]. Но в таком случае зачем же называть это словообразованием? Такой анализ словообразователен только в отношении тех слов, которые образованы сегодня, а их меньшинство. Хотя из русского языка давно выпала та основа, от которой некогда образованы глаголы *забавить*, *добавить*, *прибавить*, *сбавить*, *убавить*, *отбавить*, *подбавить*, *набавить*, *надбавить*, *избавить*, *разбавить*, но префиксальность их словообразования настолько отчетлива, что по строгости и полноте не уступает парадигме спряжения любого из этих глаголов. Позиция

---

[7] А. И. Васильев. Образование бессуффиксных существительных в русском языке. — «Вопросы лексики и грамматики русского языка», II. Фрунзе, 1964, стр. 3.

[8] Н. М. Шанский. Основы словообразовательного анализа. М., 1953, стр. 19; Он же. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. М., 1959, стр. 11—12.

[9] Н. М. Шанский. О принципах словообразовательного анализа. — «Русский язык в национальной школе», 1958, № 4, стр. 41.

Н. М. Шанского полностью исключает историческое словообразование, а оно должно занять свое место в лингвистике, как историческая лексика, историческая грамматика, историческая фонетика. Может быть, Н. М. Шанский, который, конечно, знает, как в действительности образовались глаголы *уйти*, *обескураживать*, лишь неудачно использует термин «словообразовательный» для обозначения иного метода анализа? Так, заявив, что недопустим и невозможен словообразовательный анализ прилагательных *крохотный* и *мохнатый*, он тотчас осуществляет именно словообразовательный их анализ [10]. Видимо, историческое словообразование он не желает назвать словообразованием, полностью отождествляя его с этимологией.

Словообразование может совсем никак не отразиться материально, такова, например, адъективация причастий (превращение в прилагательное — *горелый*) или субстантивация прилагательных (превращение в существительное — *столовая*). Раз слово — единство формы и значения, то и смена значения без каких-либо формальных изменений образует другое слово (*столовая* 'комната, где едят' и *столовая* 'предприятие общественного питания').

Ясно, что словообразовательный анализ несравнимо трудней членения слова на ощутимые сегодня морфемы. В нередких случаях длится нерешенный спор — образовано ли слово *грешник* от *грех* суффиксом *-ник* [11] или суффиксом *-ик* от прилагательного *грешный* [12].

Давление упростительства вытеснило словообразовательный анализ из школы, заменив его современным членением на морфемы. Не обсуждая здесь целесообразность замены, нельзя промолчать, что давать это под видом словообразовательного анализа — значит прививать всем обучаемым совершенно искаженное представление о развитии языка. В Польше даже педагогическая печать забила тревогу — журнал «Polonistyka» недавно опубликовал статью, показывающую вредность выдавать морфемное членение за словообразовательный анализ [13].

А для этимологии, понятно, необходим именно словообразовательный анализ. Элементарно, что без знания исторической фонетики, лексикологии, семасиологии и без понимания их закономерностей нет научной этимологии. Необходимо усвоить, что ее нет и без знания исторического словообразования, его способов

---

[10] Н. М. Шанский. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии, стр. 14—15.

[11] W. Doroszewski. Monografie słowotwórcze. — PF XIII, 1928, § 88.

[12] А. А. Дементьев. Суффикс *-ик* и его производные в современном русском языке. — «Уч. зап. Куйбышевского пед. ин-та», вып. 5, 1942, стр. 50.

[13] Z. Kurzowa. O przedmiocie i metodzie słowotwórstwa. — «Polonistyka», 1965, № 1.

и средств, без понимания его закономерностей. Одинаково ненадежны — и этимология, не опирающаяся на строгие данные исторической фонетики, и этимология, рассматриваемая вне словообразовательных рядов!

* * *

Русское словообразование унаследовало и развило основные свойства словообразования общеславянского, в котором уже четко определилась такая самая характерная черта, как абсолютное господство аффиксации, в противоположность, например, максимальной активности различных видов словосложения в германских языках (особенно в немецком), хотя аффиксация сильна и в них. В любых текстах русской речи аффиксальны от 50 до 71% всех глаголов, от 73 до 75% всех прилагательных, а словосложение составляет всего 1—3%.

Почти все русские аффиксы возникли еще до распада славянской общности, а некоторые даже раньше ее обособления — так, суффикс *-r-* образует nomina agentis во многих индоевропейских языках, например широко представлен в романских и германских (в английском *-er-* — главный суффикс nomina agentis); по-видимому, общему источнику обязаны славянские *-ар-* (русск. *столяр*, *гончар* и пр.).

Из общеславянского унаследовал русский язык и резкое различие между преимущественной префиксацией глаголов и преимущественной суффиксацией имен, наметившееся еще до выделения славянских языков. По словообразовательному составу (не смешивать с морфологическим!) в русском тексте разговорном[14] и публицистическом[15] приходится на 100 случаев данной части речи:

	Глагол		Существительное		Прилагательное	
	разгов.	публ.	разгов.	публ.	разгов.	публ.
Префиксация (и *не-*) . . .	48	65	3	5	9	7
Суффиксация	2*	8*	37	55	70	81

* Не включены *-ся*, *-сь*, чаще служащие словоизменению, чем словообразованию.

Для любого вида речи, несмотря на их различия, остается неизменным главное: глаголы образованы предпочтительно префиксально, а имена — суффиксально (преобладанье суффиксации еще резче в прилагательных, чем в существительных). Сходное отношение во всех славянских языках.

Это связано с различием самих источников образования слов по частям речи. Почти половина всех случаев прилагательных

---

[14] Пьесы: А. Н. Островский «Волки и овцы», А. П. Чехов «Вишневый сад», А. М. Горький «Егор Булычов и другие»; в каждой взят 2-й акт (полностью).

[15] Передовые «Правды», январь 1967 г.

в русской речи — образованные из существительных, некоторая часть — из глаголов, единичные — из наречий, из словосочетаний; только от 3 до 6% — из прилагательных (например, уменьшительные — *-еньк-*). Напротив, почти половина всех случаев глаголов в русском тексте образованы из глаголов же (*разбить*, *отдать*). А префиксы служат преимущественно словообразованию внутри той же части речи, тогда как суффиксация очень часто переводит в другую часть речи.

Многие архаичные префиксально образованные имена позволяют предположить, что некогда префиксация была в славянском именном словообразовании обычней, чем теперь. Но, видимо, ее частота была обязана не тем приставкам, которые генетически возникли из предлогов, первоначально имевших пространственные значения, из которых так широко развились вторичные значения, абстрактные. Эти префиксы еще в очень раннее время стали главным средством образования глаголов (где, например, значение направленности в глаголах движения получало такое семантическое развитие, как выражение завершенности для *за-*, усилительной степени для *раз-* и т. д.). В образовании имен пространственные префиксы тоже принимали участие, но меньше и не все; общи с балтийскими языками префиксы *по-* (с одновременной суффиксацией — *поречье*), соответственно литовскому и латышскому *pa-*; *с-*, в архаичной форме *су-* (*суводь*). Но сильней в образовании имен выступали в качестве префиксов форманты, выражавшие иные значения, особенно отрицание: *без-*, соответственно лит. *be*, лтш. *bez*, сюда же надо отнести и *не-*, также общее для славянского и балтийского именного словообразования.

Наряду с генетически унаследованными способами и средствами словообразования русский язык в многовековых контактах вобрал и освоил иноязычные словообразовательные черты, нередко перерабатывая их.

В отличие от слова аффикс не заимствуется непосредственно, а извлекается из заимствованных слов.

В славянских языках широко привились интернациональные суффиксы существительных *-изм*, *-ист*, *-ия*, *-ана* и др., давно и часто присоединяемые к основам и русского происхождения, не вызывая ни малейшего ощущения противоестественности (*царизм*, *связист*), осложненные суффиксы *-ация*, *-изация* (*яровизация*). Темп освоения иноязычных аффиксов быстро возрастает, как показал В. Костомаров на примере субстантивного суффикса *-ист*: ранее XVIII в. известно только *евангелист*, при Петре I вошли еще 13, а теперь их более тысячи [16]. Впервые появясь в русском языке на рубеже XVIII—XIX вв., суффикс *-аж* (франц. *-age*)

---

[16] В. Костомаров. К вопросу об интернациональных суффиксах в русском языке. — РЯШ 1956, № 6.

в *багаж*, зафиксированном в 1801 г.[17], накопился за полтора столетия в обильных заимствованиях (*этаж*, *экипаж*, *фураж*, *монтаж*, *тираж*, *ажиотаж* и пр.), но только теперь становится средством русского словообразования, и то при нерусских основах (*метраж*, *типаж*), а к основам русским присоединяется пока подчеркнуто каламбурно (*подхалимаж*, *холуяж*, *строкаж*), но за этим начинает завоевывать и серьезные позиции (*листаж*). Из именных префиксов энергично освоен *анти-*, слабей *ультра-* (*ультразвук*). Обилие в русском языке заимствованных глаголов с префиксами *де-*, *дис-*, *ре-* допускает, что и эти форманты станут на русской почве продуктивными (сначала при иноязычных основах).

В отношении некоторых аффиксов не так легко решить, каким путем пришли они в русский язык: унаследованы ли генетически или приобретены в междуязыковом общении, развились ли на русской почве или унаследованы генетически. Так, префикс *па-* в значении неполноты (может быть, семантически близко к *полу-*) представлен рядом примеров и в русском литературном языке, и особенно в диалектах: *пáдчерица*, *пáсынок* (укр. *нéсын*) 'родные дети только одного из супругов', *пасмурно*, *пáклен* 'полевой клен' (в говорах *нéклен*), *пáужинок* 'еда между обедом и ужином', *пáтрубок*, *пáголенки* и др., ср. лит. *patotė* 'мачеха', *patėvis* 'отчим' из *motina* 'мать', *tėvas* 'отец', лтш. *pamāte* 'мачеха', *patēvs* 'отчим', лит. *pabrolis* 'дружка, шафер' из *brolis* 'брат', лтш. *pabāls* 'беловатый', *pasolas* 'сладковатый'. Некоторая ограниченность такого образования в каждом из языков заставляет допустить, что *па-* в русских именах — скорей след не древней языковой общности, а более позднего контакта.

Как примеры превращения в префиксы приводят *полу-*, *само-*. Действительно, процесс префиксализации этих элементов активно происходит в современном русском языке. Однако такие факты, как *полдень* и др., допускают, что *полу-*, *само-* могли быть унаследованы русским языком генетически.

Начало нашего столетия принесло в русский язык прилагательные, обозначающие цвет, заимствованные без оформления русскими суффиксами: *беж*, *электри́к*, *маренго* и др., но одни из них не удержались, другие приобрели русский суффикс, например, *бежевый*. Возможно, в дальнейшем заимствования без русской аффиксации станут на русской почве обычными, какими уже стали в именах собственных (учащающееся бессуфиксное называние населенных мест от личных имен нерусского происхождения — города *Торез*, *Тольятти*).

Одновременно протекало в русском языке и самостоятельное развитие средств и способов словообразования. Но процесс этот

[17] Р. А Будагов. Некоторые спорные вопросы теории словообразования в романских языках. — «Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР» 1, 1952.

выражался не в создании материально-новых формантов. Трудно найти русский аффикс, которого не было бы ни в одном из других славянских языков, если не брать различий чисто фонетических (как полногласие *пере-* из общеславянского *пре-*). Зато собственно русские процессы мощно изменяли значения и частотность словообразующих средств.

Субстантивный формант *-ка* хорошо известен славянским языкам, но максимальное развитие он получил в русском. Тщетны попытки очертить круг его значений, даже самых общих, как уменьшительность (*ножка*), презрительность (*девка*), не говоря уж об узких, — все они не в силах объять хотя бы большинство существительных женского рода, образуемых этим формантом. Хотя продуктивность *-ка* во всем объеме современного русского словообразования несколько снижается, но и сегодня еще очень активна, — постоянно возникают новообразования, которых не втиснешь ни в какие рамки зарегистрированных ранее значений *-ка*: *электричка* 'поезд с электрической тягой', синекдоха — 'пригородный поезд', *большевичка* 'женщина — член большевистской партии', *Ленинка* 'Библиотека им. В. И. Ленина'. При образовании большинства их формант *-ка* уже не имел никаких значений, кроме грамматических: субстантивация и феминизация одновременно, т. е. образование имен существительных женского рода.

В некоторых случаях общность двух языков не означает сохранения исконной общеславянской черты, а обусловлена параллельным развитием: например, в русском языке агентивный суффикс существительных *-ник* с обозначения лиц (*плотник*) все чаще переключается на обозначение механизмов (*холодильник*) и тот же процесс метонимии по тождеству функций совершается в польском. В меньшей мере это распространяется на другие суффиксы nomina agentis.

В современном русском языке переживает новый подъем старый славянский способ образования существительных от существительных префиксом без суффикса: к немногим (как *заграница*) теперь присоединились многочисленные *подотдел*, *подпункт*, *подстанция* и т. п., однако в этом не принимают участия другие префиксы.

Наше время ввело в русский язык множество аббревиатур, весьма различных видов. Так как в основе всех их — всегда словосочетание, то их можно рассматривать как следующую за словосложением ступень соединения слов, которой, очевидно, предстоят новые завоевания. Однако сейчас общая доля аббревиатур еще не слишком велика даже в тех видах речи, где они особенно часты: например, в передовых «Правды» (январь 1967 г.) по отношению ко всем случаям существительных они не достигли 4%.

* * *

В результате всех этих процессов русское словообразование одновременно и близко к другим славянским языкам, и значительно отличается от них.

Возьмем для примера некоторые адъективные суффиксы.

В переводах художественной прозы И. С. Тургенева на каждую тысячу прилагательных тот же суффикс, как и в русском подлиннике, повторен: болг. — 619, с.-хорв. — 444, чеш. — 491, польск. — 477 [18]. При этом основы нередко различны: русск. *заботливый* = болг. *грижлив* = с.-хорв. *пажљив* = чеш. *pečlivý* = польск. *troskliwy* — основы в пяти языках разные, а суффикс один.

У каждого форманта своя судьба. Обычно ограничивались констатацией, что такой-то суффикс знаком всем или многим славянским языкам. Но не интересовались тем, что употребительность его в них различна. А сравнение частотностей, различие которых при равенстве внеязыковых условий зависит от различия значений, показало бы, насколько близки между собой родственные языки. Иными словами — как далеко успели они разойтись.

Среди суффиксов прилагательных, кроме господствующей весьма ранней группы суффиксов *-н-*, всего устойчивей очень «нейтральный» суффикс *-ск-*. Если брать только нарицательные (не привлекать фамилий и топонимов), то из всех случаев прилагательных со *-ск-* русского текста художественной прозы 70% имеют тот же суффикс и в польском переводе; таков процент соответствия и во встречном направлении (а подобное совпадение не часто). Оба языка удержали одинаковость употребления этого суффикса больше чем на $^2/_3$ каждый. Конечно, только немногие из этих прилагательных возникли еще в общеславянский период. Но развитие шло в одинаковом направлении, «заданном» еще в общеславянское время, и темпы его в различных славянских языках оказались довольно сходны. В основе этого — сохраненное постоянство значения, еще общеславянского, которое обычно формулируют неудачно как «коллективную принадлежность» для *царский*, *морской*, где, конечно, речь идет не о «коллективе царей» или «коллективе морей»! В моих работах значение его сформулировано как неличная принадлежность [19]. Это полней охватывает значения *-ск-* в большинстве славянских случаев и не встретило возражений, но, к сожалению, не помешало и выражающим согласие повторять заученное неудачное определение [20]. Может быть, именно наимень-

---

[18] В. А. Никонов. Метод исследования суффиксов прилагательных. — «Структурно-типологические исследования». М., 1962.

[19] В. А. Никонов. Славянский топонимический тип. — «Географические названия». М., 1962, стр. 27; Он же. Методы исследования суффиксов прилагательных, стр. 112; Он же. Введение в топонимику. М., 1965, стр. 71.

[20] А. Д. Зверев. О некоторых особенностях образования прилага-

шей связанности с эмоционально-оценочными функциями обязан этот суффикс своей устойчивостью, так как, по замечанию Л. А. Булаховского об эмоционально окрашенных словообразовательных средствах, их «число и частость употребления все более сокращается» [21].

Заметно разошлись славянские языки в отношении суффикса *-ов-*. В русском языке на тысячу прилагательных у Тургенева 88 образованы этим суффиксом, а в польских переводах тех же текстов — 219. При этом русским прилагательным на *-ов-* в 75% соответствуют польские с тем же суффиксом, тогда как из польских *-ow-* только 30% совпали с русскими *-ов-*. В русском языке этот суффикс не расширил своей употребительности, а начиная с XVII в. даже понес значительные потери, в польском же языке удержал и усилил свои позиции; хотя и там он тоже убывает, но в массе случаев, где русские прилагательные имеют иные суффиксы, их польские соответствия образованы с *-ow-*: *базарный* — *bazarowy*, *бетонный*—*betonowy* и пр.

Оба языка разошлись и в отношении суффикса *-ат-* (*-at-*), но тут его судьба противоположна: в русском он вдвое употребительней, чем в польском.

Еще дальше зашли расхождения в отношении суффикса *-аст-* (*-ast-*). Развился ли он из *-ат-* еще в общеславянском или позже в каждом славянском языке, знаком он далеким друг от друга славянским языкам, но в совершенно разной мере. Всего сильней он в словенском, где им образованы 500 самых разнородных прилагательных [22], которым соответствуют русские *бронзовый*, *шутливый*, *угловой*, *дымчатый*, *красочный*, *глупый*, *дурацкий*, *мечевидный*, *меченосный* и пр. Очень част он и в сербско-хорватском, выступая там 31 раз на тысячу прилагательных (переводы из Тургенева) и занимая пятое место среди адъективных суффиксов, особенно в значении цветовых оттенков. В польском его доля мизерна, как и в русском литературном, несколько чаще в русских диалектах (*пятнастый*, *цветастый* при литературных *пятнистый*, *цветистый*). В обширном подсчитанном материале ни один случай русского *-аст-* не передан тем же суффиксом по-польски. И обратно — каждый случай польского *-ast-* соответствует другим суффиксам русского текста (словарно соответствия есть, но, следовательно, они слишком редки).

Одни форманты связывают русский язык с южнославянскими, отсутствуя в западнославянских (адъективные *-ческ-*, *-ствен-*), другие, напротив, общи для русского и польского, но неизвестны южнославянским (*-еват*).

тельных. — «Научные доклады высшей школы. Филологические науки», 1966, № 1, стр. 84.

[21] Л. А. Булаховский. Введение в языкознание, ч. 2. Изд. 2. М., 1954, стр. 92.

[22] A. Bajec. Besedotvorje slovenskega jezika, II. Ljubljana, 1952.

* * *

Арсенал средств русского словообразования богат. Особенно разнообразен ассортимент аффиксов. В образовании глаголов участвуют более 20 префиксов; чаще других *по-*, за ним *с-* (*со-*), *у-*, *о-* (в различных видах речи порядок частотности несколько различен). Прилагательные в основном образованы 26 суффиксами, среди них абсолютно преобладает *-н-*, часты *-ск-*, *-к-*, *-ов-* (*-ев-*), *-тельн-*. Наиболее обширен список субстантивных суффиксов — их более 70, не считая употребленных реже одного раза на тысячу существительных в тексте.

Значительны различия по видам речи. Так, префиксом *пред-* из тысячи случаев глагола в разговорной речи образованы от 2 до 5, а в передовых «Правды» — больше 16. Форма возвратности глагола *-ся*, *-сь* в разговорной речи охватывает около 12% всех случаев глаголов, а в передовых «Правды» — 21%. Вот употребительность некоторых субстантивных суффиксов (на тысячу существительных по данному виду речи; увеличение объема подсчетов может несколько изменить показатели, но не изменит их соотношения, — настолько резки различия):

	-ение *-ание*	*-изация*	*-ица* *-ница*
Разговорная речь (классическая драматургия) .	30	—	11
Публицистика (передовые «Правды»)	113	78	—

Еще нет широких исследований притяжения и отталкивания компонентов (основы и аффиксы; соединяемые основы), хотя попытки в этом направлении не были единичными. Из недавних работ интересно по избранному пути исследование П. В. Булина, независимо от полученных зыбких и спорных результатов [23]. До сих пор не выяснено, почему от *хитрый*, *подлый* — *хитрюга*, *подлюга*, а от *милый*, *бедный* — *миляга*, *бедняга*; такого вопроса даже не ставит специальное исследование об этом русском суффиксе [24].

Набор суффиксов почти индивидуален для каждой лексической основы, строже по глаголам, но и там *бить* допускает 19 префиксов, *пить* — 17, *спать* — 12.

Выбор суффиксов обусловлен и значением, и формой: при различном происхождении *-ов-* и *-ин-* тождественно притяжательное значение их, но форма основы не допускает замещать один другим (прилагательное *отцов*, но *папин*, как *мамин*).

План значения и план формы не изоморфны — их невозможно наложить один на другой однозначно. Одна словообразовательная

---

[23] П. В. Булин. Словообразовательные связи парных имен на *-ние*, *-ка* с глаголами совершенного и несовершенного вида. — «Уч. зап. [Горьковск. Унив-т]», вып. 68, 1964.

[24] D. S. Worth. The Suffix *-aga* in Russian. — «Scando-Slavica» X, 1964.

форма способна нести различные значения: *-ец* образовал не только nomina agentis (*кузнец*, *швец*), но и уменьшительные (*ларец* < *ларь*). А nomina agentis образованы не только суффиксом *-ец*, но и многими другими (*-ар*, *-арь*, *-тель*, *-ик*, *-ник*, *-чик-*, *ак*, *-ач* и пр.) или даже совсем иными способами словообразования (*дровосек*).

Система русского словообразования сложилась исторически, как и в каждом естественном языке. Поэтому она пестра, логически противоречива. Даже одновременно возникшие два существительных *электровоз* и *бомбовоз* при общей основе и внешней тождественности образования на самом деле словообразовательно противоположны: бомбовоз возит бомбы (ср. *водовоз*), электровоз не возит электричества, напротив, электричество движет его (ср. *тепловоз*), при одной и той же второй основе оказались в одной и той же позиции первого компонента субъект действия и объект действия.

Наименования воинов по родам войск возникали в русском языке разновременно, из разных источников и в разной связи. Это отразилось в их словообразовательной форме: *стрелец*, *пушкарь*, *казак*, позже *кавалерист*, *артиллерист* открыли ряд *танкист*, *связист*, еще позже образовался ряд *разведчик*, *летчик*, *ракетчик*.

Чем длительней и сложней складывался семантический отряд слов (лексико-семантическая группа), тем он словообразовательно разнородней (наоборот, морфологически тяготеет к выравниванию — члены одной лексико-семантической группы постепенно приобретают сходные черты в результате фонетических изменений, переосмысления и т. п.). Если из 900 наименований минералов 448 образованы суффиксом *-ит-*, то наименования растений или птиц несравнимо пестрей и семантически, и формально [25]. Разнобой или богатство? Пожелать системе русского словообразования быть экономней и логичней?

Да, избыточность ее огромна, велики накладные расходы на непригнанность ее элементов. Но в этом и неисчерпаемые резервы для непрерывного пополнения словаря по требованиям быстро изменяющейся действительности.

Корректурное примечание к стр. 100—101. После сдачи нашего сборника вышла книга Н. М. Шанского «Очерки по русскому словообразованию». М., 1968. В ней нет многих формулировок, оспариваемых этой статьей, но осталось основное, разделяющее наши позиции. Он оставляет за словообразованием лишь вопрос, как членятся слова сегодня, а «как они в действительности образованы — вопрос иной и относится уже к ведению этимологии» (стр. 25, см. и стр. 9, 17).

---

[25] Здесь можно упомянуть об этом тезисно, адресовав интересующихся к моей работе «Поиски системы». — «Этимология». М., 1963 (см. стр. 225, 230).

В. К. Журавлев

О ВНУТРЕННИХ ПРИЧИНАХ ПОЯВЛЕНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ ДУБЛЕТОВ

Этимология, по меткому выражению Кипарского, — альфа и омега лингвистики. Ее зарождение и развитие тесно связано с возникновением и постоянным совершенствованием сравнительно-исторического языкознания. Я бы сказал, что отношения между этимологией и сравнительно-исторической грамматикой в какой-то степени напоминают отношения между Изидой и Озирисом древнеегипетской мифологии. Только на этимологическом материале строятся сравнительные грамматики, конечной целью которых является реконструкция праязыка и его истории. Однако лишь данные этих наук являются критерием научности, надежности, вероятности этимологических решений. Каким бы изящным ни был самый микроскопический анализ семантических связей, без строгого соблюдения методов сравнительно-исторического исследования этимологическое решение не будет достаточно надежным.

Но вот уже более ста лет тому назад обнаружены все регулярные соотношения (типа *мать—mater*), выявлены все «прозрачные» этимологии, установлены основные «фонетические законы». И на долю этимологов поколения Ильинского остались лишь «непрозрачные», «темные» этимологии, нерегулярные соответствия. Казалось, что в этимологических исследованиях стал проявляться субъективизм и произвол, все больше и больше стало появляться равновероятных и спорных этимологических решений. Уже сейчас некоторые слова имеют до десяти, остающихся спорными, решений. Давно заговорили об опасности снижения уровня этимологических исследований, об опасности «этимологической анархии», о необходимости совершенствования методов, о необходимости поиска новых критериев надежности этимологий.

С другой стороны, дальнейшее развитие сравнительной грамматики и науки о праязыке, в частности праславянском, все более и более испытывает нужду в надежных этимологиях. Когда пытаешься проверить установленные «фонетические законы», то с удивлением убеждаешься, что случаев регулярных соответствий, надежных этимологий на многие, самые очевидные, вошедшие в плоть и кровь нашей науки явления и процессы, — очень мало, буквально единицы. Нередко, наоборот, целая серия соответствий

не вполне регулярных, но уже относительно многочисленных, казалось бы, должна свидетельствовать о том или ином процессе или явлении, но за нерегулярностью соответствий и ненадежностью этимологий такое явление не находит места в сравнительной грамматике. С другой стороны, не получив посвящение сравнительной грамматикой в титул «фонетического закона», соответствия, отражающие такое явление, не могут считаться надежными этимологиями.

Попытки найти выход из такого замкнутого круга особенно характерны для этимологических и сравнительно-исторических работ Махка, но Махек искал выход в рамках сравнительно-исторического метода.

Надо заметить, что сам по себе сравнительно-исторический метод вообще нередко дает несколько равновероятных решений, зачастую резко противоречащих друг другу, иногда просто противоположных, но ни на йоту не противоречащих принципам этого метода. Пожалуй, Эндзелин впервые обратил внимание на это. Еще в «Балто-славянских этюдах», подводя итог спорам о качестве праслав. *ă*/*ŏ* (< **ă* и **ŏ*), он подчеркнул, что с точки зрения сравнительно-исторической грамматики как сторонники *ă*, так и *ŏ* в одинаковой мере правы. Решение равновероятно. Очевидно, равновероятно решение вопроса о качестве праслав. *ě* (широкое или узкое, монофтонг или дифтонг). Равновероятны, с точки зрения сравнительно-исторического метода, решения проблемы гуттуральных (три или два ряда, лабиальный или палатальный второй ряд) и многих других проблем. Выбор одного из равновероятных решений следует искать за рамками сравнительно-исторического метода. В частности, в данном случае может оказать серьезную услугу младшая дочь сравнительно-исторической лингвистики, родившаяся от ее брака со структурализмом, — диахроническая фонология.

Диахроническая фонология систематизирует инвентарь фонем, добытый сравнительной грамматикой, и строит фонологическую систему праязыка на разных этапах его развития, корректируя свои построения данными типологии, фактическим материалом живых языков, и не только родственных. Таким образом, диахроническая фонология может свидетельствовать в пользу одного из нескольких равновероятных решений, предлагаемых сравнительно-историческим методом.

Думается, что диахроническая фонология сможет сослужить добрую службу не только сравнительной грамматике, но и этимологии.

Прежде всего уже сейчас можно поставить, хотя предварительно, вопрос о закономерностях появления фонетических дублетов внутри одной языковой системы.

Нередко при этимологизировании приходится считаться с фактом фонетических дублетов типа русск. *корова—серна*, диал.

озород—огород, общеслав. **gnǫs*—**gnus*, **klikati*—**klicati* и т. п. Как решить эту этимологическую задачу, не поступаясь постулатом сравнительно-исторического метода о безысключительности «фонетических законов»? Поиски особой позиции, обусловившей нарушение действия фонетического закона, нередко приводят к множеству равновероятных и спорных решений, а в данном случае сам факт наличия дублетов в одной и той же языковой системе снимает вопрос об особой позиции, так как разные рефлексы отмечаются в одном и том же слове, в одной и той же позиции (тип **gnǫs*—**gnus*). Одно время отступления от последовательности того или иного «фонетического закона» было модно объяснять различием в интонационных условиях. Позже, когда было показано, что такого рода объяснения сводятся к решению неизвестного путем отсылки к неизвестному (ср. соответствующее высказывание Бубриха), ларингалы стали тем ключом, которым пытались открыть все двери. При всем уважении к ларингальной теории, следует признаться, что ларингалы не стали волшебной лампой Алладина.

Иногда отступления от «фонетических законов», и в частности наличие дублетов, удается объяснить действием морфологического фактора (тип **klikati*—**klicati*), но в большинстве случаев и это не удается.

Тогда остается прибегнуть к факторам внешней лингвистики или вообще к экстралингвистическим факторам (субстрат, передвижение и скрещивание племен, заимствование, проникновение и т. п.). Безусловно, действие такого рода факторов имеет и имело место в действительности, но здесь, особенно при решении вопросов глубокой древности, приходится за решением неизвестного обращаться к еще более неизвестному, выходя за пределы не только фонологии, но и лингвистики вообще.

Иногда сам характер фактического материала полностью исключает даже минимальную вероятность заимствования. Ср., например, соответствующие рассуждения о польских и славянских дублетах с *ą*/*u* покойного Лер-Сплавинского, вообще-то легко оперировавшего действием экстралингвистических факторов. Действительно, едва ли польск. *nuda*, *gruby*, топоним *Paluki* можно считать восточнославянским дублетом к собственно польским *nędza*, *grębow*, *łąka* при ст.-слав. дублетах **нѫдити** и **ноудити**.

А между тем наука собирает все большее и большее количество случаев отступления от «фонетических законов» внутри одной языковой системы. И вот, вслед за Шухардтом, впервые поставившим под сомнение постулат о непреложности «фонетических законов», начинаются разносторонние попытки обойти этот краеугольный камень сравнительно-исторического метода. Появляется множество спорных этимологических сближений, ad hoc выдвигаются законы, необходимые для сближения нескольких сомнительных параллелей.

Попытка создания какой-либо общей теории, объясняющей отклонения от «фонетических законов», принадлежит Махку, согласно которому экспрессивные и ономато-поэтические выражения легко поддаются многочисленным изменениям, которые и приводят в конце концов к отступлениям от «фонетических законов» внутри одной и той же языковой системы. Безусловно, зерно истины в принципиальных рассуждениях Махка есть, но уж слишком широки возможности изменений, их фактически невозможно систематизировать, предсказать, они почти безграничны, почти все может трансформироваться во все. Кроме того, каждый раз этимолог должен доказать, что исследуемое слово когда-либо могло принадлежать к экспрессивному слою лексики. Для большинства слов, приводимых в известной книге и этимологическом словаре Махка, доказать это невозможно (ср. аналогичные замечания Трубачева в рецензии на словарь Махка).

Почти одновременно с выходом книги Махка начинает развиваться диахроническая фонология как наука. Может быть, она сможет ответить на вопрос: а действительно ли непреложны «фонетические законы»? Если они непреложны, то как объяснить отступления от них?

С точки зрения диахронической фонологии фонетические законы можно свести к двум различным по своему характеру процессам:

1) трансфонологизация дифференциальных признаков;

2) трансфонологизация фонем и аллофонов.

В первом случае героем фонологических процессов является дифференциальный признак: он может трансфонологизироваться, т. е. перейти (термин введен Р. Якобсоном) в другой признак, или дефонологизироваться, т. е. утратиться, уйти из системы совсем. Такое фонологическое изменение охватывает всю фонологическую систему целиком, здесь утрачивается старый и появляется новый признак, следовательно, такое изменение непосредственно касается всех фонем, противопоставляющихся по данному признаку. Здесь ожидается последовательность фонологического процесса не только в рамках фонологической системы, но и в языковой системе целиком; здесь можно не ожидать отступлений от «фонетических законов», не ожидать фонетических дублетов, здесь можно искать регулярные соответствия.

Из примеров, имеющих отношение к праславянскому материалу, следует привести дефонологизацию («утрату») признака придыхательности в системе консонантизма с последующей конвергенцией («совпадением», термин введен Поливановым) рядов придыхательный—непридыхательный в одном ряду.

Хорошим примером на трансфонологизацию дифференциальных признаков может послужить «переход» прежнего признака долготы прежних сонантов и первой части дифтонгов в признак интонации: акут—циркумфлекс.

Сюда же можно отнести и переразложение дифференциальных признаков внутри сегмента, на стыке фонем. Это своего рода изоморфизм Бодуэновского переразложения основ в пользу окончаний. Если на морфологическом уровне на стыке морфем оказывается подвижной меньшая единица — фонема, то на стыке фонем подвижен дифференциальный признак. Происходит сдвиг границы между фонемами. Дифференциальный признак, ранее относившийся к одной фонеме, на последующем этапе становится принадлежностью другой, соседней. Такое явление наблюдается, между прочим, и при синхронном положении двух фонологических систем, при билингвизме. Между прочим, в работах, посвященных поискам изоморфизма, о такого рода изоморфизме не говорят. Однако есть основание полагать, что явление, подмеченное Бодуэном де Куртене, характерно для всех ярусов языка: постоянный сдвиг границы между элементами языка происходит не только на фонологическом и морфологическом уровне, но и на синтаксическом и лексико-семантическом, что может, как кажется, вызвать интерес и этимологов.

К случаям передвижки границы между соседними фонемами путем переразложения дифференциальных признаков относится процесс монофтонгизации дифтонгов (сдвиг признака слоговости со слогового элемента на прежний неслоговый сонант V̥S → V̯S̥). Сюда же относится процесс йотации согласных как процесс объединения признаков двух соседних фонем.

В этих и им подобных случаях дублетные формы не ожидаются, если на древние процессы не наложились «шумы» последующих, более поздних процессов, связанных как с трансфонологизацией фонем и поисками новой мотивации их функционирования, так и с действием фактора морфологического и прочего выравнивания. Почтенная у младограмматиков госпожа Аналогия должна уважаться и здесь, она, к некоторому неудобству этимологов, хорошо «работает» в языке.

Совсем иное дело — второй тип фонологических изменений — трансфонологизация фонем. Сюда же входит и трансфонологизация аллофонов, т. е. превращение вариантов фонем в самостоятельные фонемы. Здесь система дифференциальных признаков остается прежней, лишь одна или несколько фонем, ранее слабо включенных в систему, получают новый лишь для них, но старый для всей системы признак.

Вот здесь-то, наряду со случаями последовательного проведения фонологических процессов, через всю толщу морфемного и лексического материала может проявиться и непоследовательность, могут остаться фонетические дублеты, нарушающие чистоту соответствий.

Наиболее продуктивные «производители» фонетических дублетов — те фонологические процессы, которые идут под действием так называемого давления системы (понятие, введенное Мартине).

Для большей наглядности специфики и характера такого рода фонологических процессов можно привести пример из современного русского языка. Здесь под давлением системы, имеющей корреляцию твердых и мягких согласных, происходит фонологизация мягких аллофонов задненебных, появляются диалектные *Ва́н'к'а*, *чайк'у́*, появляются дублеты *пек'ёш* и *печёш*, а вот *тчёш* уж, пожалуй, никто и не скажет. Процесс этот длительный, с трудом преодолевающий толщу лексического материала и территории, появляются дублеты, которые могут сохраняться на весьма длительное время, ведь целиком мягкие аллофоны задненебных фонологизоваться не могут, ибо должна же остаться позиционная мягкость, как и в других случаях. С другой стороны, для фонологической системы безразлично, где, в какой морфеме или лексеме фонологизируется мягкий аллофон, а в какой он останется вариантом твердой фонемы, для фонологической системы важно вывести мягкие и твердые из состояния дополнительного распределения, побольше набрать случаев, где бы мягкость задненебного не была обусловлена последующим мягким гласным.

На праславянском материале примером такого процесса может послужить процесс дивергенции («расщепления», термин введен Поливановым) прежних слоговых сонантов на диезный—недиезный, смягченный—несмягченный, что проявляется как двойное отражение праиндоевропейских слоговых сонантов в праславянском, как и в балтийском, что отражается в реконструируемых соответствиях и.-е. $*\mathring{R} \rightarrow *iR/uR$ балто-славян. Этот процесс может трактоваться именно как процесс, вызванный давлением системы, в которой уже сложилось сингармоническое противопоставление смягченных—несмягченных групп, смягченных—несмягченных согласных и следующих за ними гласных переднего—непереднего ряда (ну как тут можно обойтись без термина «диезных—недиезных группофонем»?). Однако прежние слоговые сонанты не противопоставлялись по этому признаку. Под давлением системы этот признак должен был распространиться и на них (ср. схожую гипотезу Куриловича). Для фонологической системы безразлично, в каком слове, в какой морфеме будет смягченный, а где — несмягченный сонант, лишь бы эти фонемы вошли в тот или иной ряд, получая ранее отсутствовавший у них признак. Здесь и могут появляться фонетические дублеты в одной и той же системе, здесь ожидаются случаи нерегулярных соответствий. Примеров нерегулярного соответствия между балтийским и праславянским, как и внутри балтийских и между славянскими языками, так и внутри любой славянской языковой системы достаточно много, они собраны Траутманом и опубликованы в специальной статье в журнале «Slavia». Сошлюсь хотя бы на примеры из русского: *горло—жерло*, *скорбь—щербина* (< **gurdl-*∼*girdl-*, *skurb-*∼*skirb-*) и т. п. Поиски мотивации употребления смягченного—несмягченного сонорного, конечно, могли происходить не без влияния аблаутных форм, не

без предпочтительности той или иной позиции (между велярными ~ после дентальных) и, в конце концов, так или иначе упорядочиться за счет одного из дублетов, но могут сохраниться и дублетные формы.

Другой случай, когда под давлением системы прежний **s*, слабо включенный в систему, расщепился на аллофоны *s*, *z*, *x* с последующей их фонологизацией. Для фонологизации аллофона *z* необходимо вывести *z* из состояния дополнительного распределения с *s* (позиция рядом со звонким согласным). Наиболее вероятный путь фонологизации *z* — конвергенция, совпадение с аллофоном другой фонемы; такой фонемой могла быть **g*, которая расщепилась, дивергировала (по Поливанову, дивергенция обычно сопровождается конвергенцией), какая-то часть ее, какой-то аллофон «переходит» в *z*, другая ее часть, другой аллофон остается как *g*. Последний должен был конвергировать с *g^{u}, ибо на новом синхронном срезе оставался лишь один ряд задненебных и признак лабиализации задненебных стал избыточным:

g^{u} *g*   *s*
↘ ↙ ↘ ↙ ↓ ↘
g   *z* *s* *x*

Это и проявилось в том, что этимологический материал с гуттуральными языков kentum и satəm не накладывается друг на друга полностью, что и породило гипотезу о трех рядах гуттуральных. Но нерегулярные соответствия наблюдаются внутри языков обеих групп, как и внутри языковой семьи или одного языка. Здесь-то и проявляются дублеты типа *огород*~диал. *озород*, *golen*~*zelen*, приведенные Ф. Безлаем из словенского. Более подробный список нерегулярных соответствий гуттуральных можно найти в работах В. Георгиева.

Аналогичный случай с так называемой бодуэновской палатализацией. С одной стороны, необходимость фонологизации аффрикат *s*, *z* путем их выхода из состояния дополнительного распределения с *k*, *g* (позиция перед гласным переднего—непереднего ряда), с другой стороны, начавшаяся тенденция распада слогового сингармонизма привели к взаимодействию соседних согласных и гласных через границу слога и дивергенции, расщеплению все еще перегруженных фонем *k* и *g*; какая-то их часть, в каких-то морфемах пошла на укрепление, фонологизацию *s*, *z*. Такой процесс и не может быть последовательным. Результаты этого процесса непоследовательны между отдельными славянскими языками: на сто возможных случаев третьей палатализации представлено 74% в сербохорватском (больше всего) и в белорусском — 19% (всего меньше). Результаты этого процесса непоследовательны и внутри одного и того же языка: словен. *zrcálo* и *zrkálo*, укр. *яга* и *яза*, польск. *olcha* и *olsza*, общеслав. *klikati* и *klicati* и т. д.

Иногда по причинам фонологического характера происходит конвергенция фонем, совпадение двух фонем в одной из них. Такое совпадение, естественно, не происходит мгновенно, а постепенно, путем «нащупывающего выбора», по меткому выражению Ф. Фрея, совпадение происходит то в одной, то в другой из них. Лишь позже возьмет перевес один из возможных путей совпадения. Он и генерализуется, но где-то на периферии языковой системы, в каких-то морфемах и словах могут остаться и следы поиска, следы начального развития по иному пути. Если же при этом появится возможность совпасть с третьей фонемой, то при ее реализации возникнут нерегулярные соответствия, дублетные формы.

Примером на такое явление может послужить конвергенция *ä* (< **ē*) и *ê* (< **oi*), ср. русск. *прямой*, *всякий*, *деревянный*, где *'a* на месте общеслав. *ě* — не что иное, как след возможного совпадения в широком *ä* (как в болгарском и польском) с последующей дивергенцией *ä* (< *ę*).

Аналогичный след «нащупывающего выбора» представляют польские и болгарские дублеты типа ст.-слав. **нѫдити** и **ноудити**, **гнѫсъ** и **гноусъ**.

Трансфонологизация фонем не происходит мгновенно, процесс «нащупывающего выбора» весьма длителен и идет он обычно через этап сосуществующих систем. В конце концов одна из сосуществующих фонологических систем генерализуется, но следы прежней фонологической системы в том или ином реликте могут сохраниться. Это и будет основным внутренним источником появления дублетных форм, проявления непоследовательности, нерегулярности соответствий.

Может быть, не стоит увеличивать количество примеров, не стоит здесь перечислять все возможные фонологические процессы, все случаи, когда возможны непоследовательные, «частичные» процессы; не стоит перечислять все собственно праславянские процессы и явления, где, с точки зрения диахронической фонологии, допустимы нерегулярные соответствия, дублетные формы. Увеличивая количество примеров на нерегулярные соответствия, в данном случае рискуешь быть неправильно понятым: не хочу, чтобы меня сочли сторонником тех, кто ставит под сомнение краеугольный камень сравнительно-исторического метода — постулат о непреложности фонетических законов, внося произвол и субъективизм в сравнительно-исторические и этимологические исследования. Мне хотелось лишь показать, что диахроническая фонология, существующая как особая наука лингвистического цикла уже более четверти века, дает возможность предсказать, где следует ожидать, где следует искать регулярные соответствия, а где вероятны и допустимы фонетические дублеты и каков их возможный фонетический облик.

С точки зрения диахронической фонологии «фонетические процессы» могут иметь принципиально различное фонологическое

содержание: трансфонологизация дифференциальных признаков и трансфонологизация фонем. В первом случае фонологический процесс проходит через всю языковую систему последовательно. Здесь в принципе следует искать регулярные соответствия, если на результаты данного процесса не наложились «шумы» последдующих, более поздних процессов. Во втором случае возможны отступления, возможна непоследовательность процесса, возможны нерегулярные соответствия и дублетные формы.

Можно надеяться, что тесное содружество этимологии и диахронической фонологии пойдет на пользу обеим наукам. Данные диахронической фонологии смогут быть критерием надежности этимологических решений. Лишь на фундаменте надежных этимологий можно построить историю фонологической системы праязыка.

И еще одно небольшое замечание относительно принципа гомогенности в научных исследованиях. С точки зрения этого принципа изучение того или иного факта должно быть исследовано первоначально методами той науки, к предмету которой относится данный факт. Только исчерпав все возможности данной науки, «неразрешенный остаток» можно перенести за пределы компетенции данной науки. Здесь не случайно много места уделено вопросу о месте этимологических исследований по отношению к сравнительно-историческому языкознанию. Думается, что обращение этимолога к диахронической фонологии будет законным только в том случае, если уже будут исчерпаны все возможности сравнительно-исторического метода, включая филологический анализ, филологическую критику текста, откуда берется исследуемое слово.

С другой стороны, исследуя фонетический аспект изучаемого слова и исчерпав всю «разрешающую способность» фонетики, следует обратиться к соседнему уровню, передать «неразрешенный остаток» последовательно фонологии, морфологии и т. д. И только исчерпав «разрешающую способность» внутренней лингвистики, можно обратиться к внешней лингвистике, искать влияние внелингвистических факторов.

А. И. Попов

О ВОЗМОЖНОСТЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИЕМОВ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Нет никакой надобности подробно обосновывать утверждение, что приемы этимологических исследований до наших дней остаются весьма несовершенными; об этом свидетельствует большое число слабо обоснованных и частью явно неверных этимологий в литературе даже самых последних лет, как и нередкое разнообразие мнений, высказываемых по поводу одного и того же слова. Это с особенной яркостью отражено, между прочим, в последнем по времени этимологическом словаре русского языка М. Фасмера, откуда мы и будем черпать наши иллюстративные примеры, показывающие причины недостаточности современных приемов этимологизации во многих отношениях. Причины эти в основном следующие: неполнота охвата фактического материала лексики изучаемых языков и языков, связанных с ними отношениями заимствований, слабый учет социальной стороны явлений, отрыв от реалий в соединении с чрезмерной отвлеченностью построений и со слабостью исторической канвы, чересчур прямолинейное понимание внутреннего развития лексики языка и т. п. Говорить обо всех этих явлениях, часто предопределяющих и объединяющих как объективные, так и субъективные элементы мышления этимолога, без надлежащих образцов почти бесполезно, почему мы и переходим к конкретным примерам из «Russisches Etymologisches Wörterbuch» М. Фасмера, привлекая также и первый выпуск русского перевода.

Предварительно отметим только, что частично относящиеся сюда предварительные теоретические соображения — с соответствующими комментариями и примерами — можно найти в нашей работе «Из истории лексики языков Восточной Европы» (Л., 1957).

Здесь мы займемся дальнейшим развитием и уточнением содержащихся там общих положений. Начнем с кажущегося почти тривиальным примера: «*густерá* — рыба 'Cyprinus vimba, вымба'. По Горяеву (ЭС 85), заимств. из нем. диал. *Güster*» (Фасмер, русск. перев., I 478).

Эта краткая справка неверна, так как слово *густера* чисто славянское и образовано так же, как *детвора*, *мошкара*, *кожура*, *деньжура* и прочие собирательные этого рода.

Как говорит крупнейший русский ихтиолог Л. П. Сабанеев [1], «весной и осенью густера держится чрезвычайно густыми стаями, откуда и произошло ее общеупотребительное название».

Можем добавить, что густота хода этой рыбы (Abramis blicca, Blicca björcna) представляет явление совершенно исключительное: рыболовный сачок можно «воткнуть» в середину стаи и он будет стоять вертикально.

Заметим, что в русском языке существует другое (диалектное) значение слова *густера*: 'густой молодой лес', 'лесная чаща'. Все эти обстоятельства позволяют категорически утверждать, что немецкие диалектные формы *Guster*, *Güster*, *Geuster* взяты из славянских данных, соответствующих русскому *густера*, — вопреки утверждению Н. В. Горяева, принятому М. Фасмером. Заметим, кстати, что вообще многие немецкие названия рыб произошли из лексического запаса славянских языков — в связи с германизацией многих групп западных славян, как показывают многочисленные немецкие грамоты IX—XIV вв.[2]

Итак, чему учит нас этот первый элементарный пример? Во-первых, отсюда можно заключить, что Фасмер в некоторых случаях безоговорочно доверяет мало надежным этимологическим справкам, некогда выставленным без достаточного основания этимологами-начинателями (Горяев, 1896 г.). Подробное изучение словаря Фасмера в целом позволяет с полной определенностью утверждать, что большая часть статей этого словаря представляет только повторение мнений других авторов, причем эти мнения в большинстве случаев требуют пересмотра, как это имеет место в примере *густера*.

Во-вторых, уже на этом примере мы видим недостаточное знакомство с теми реалиями, которые определяют действительное происхождение слова, — и это не исключение, а почти правило.

Наконец, следует обратить особенное внимание на отсутствие учета того, что заимствование в р у с с к и й язык названия широко распространенной рыбы из немецких диалектных данных является совершенно невероятным, не соответствуя никаким действительным историческим обстоятельствам, определяющим источник и направление заимствований в данном случае.

Это отсутствие внимания к историческим возможностям вызывает неправильные выводы этимологов во многих аналогичных примерах.

Перейдем теперь к другому примеру.

В словаре Фасмера нередко обнаруживается малое знакомство с русскими диалектными данными. В качестве типичного примера можно обратить внимание на рядом стоящие статьи *выскидь*, *выскирь*, *выскорь*, представляющие смешение верного и неверного:

---

[1] «Рыбы России», т. II, Изд. 2. М., 1892, стр 206.

[2] См.: А. И. П о п о в. Из истории лексики языков Восточной Европы. Л., 1957, стр. 72 и прим. 1, 2.

сначала правильно определяется этимология первых двух слов, а потом начинается привлечение материала, не имеющего сюда никакого отношения, — в связи со словом *выскорь*, представляющим лишь диалектный вариант того же самого *выскидь*. Впрочем, обширное предприятие по систематическому изданию русской диалектной лексики только начато Ф. П. Филиным, так что ошибки Фасмера имеют некоторое оправдание; таких ошибок в общем в словаре много.

Иногда они поражают; таково, например, толкование слова *бахмур* 'тошнота, головокружение', нижегород.-макарьевск. (Даль). М. Фасмер говорит здесь: «Я понимаю как словосложение с *хмýрá* 'темнота, туча'. Первая часть, вероятно, междометие *ба*, следовательно, первонач.: „что за темнота". Ср. аналогично *калуга*, *калужа* от *лужа*».

Между тем *бахмýр* есть правильная русская передача тюрко-арабского *mahmur* — ср. татар. *махмыр* 'похмелье', тур. *mahmur* 'пьяный, похмельный', чуваш. *мухмăр* 'похмелье' и т. д., причем это арабское по происхождению слово попало во все финно-угорские языки Поволжья, венгерский (*mámor*), афганский и др. Л. З. Будагов в своем «Сравнительном словаре турецко-татарских наречий» (т. II. СПб., 1891, стр. 218) переводит: тюрко-араб. *махмуръ* «находящийся в пьянстве (не совсем вытрезвившийся от пьянства)». Напомним еще, что акад. Н. Я. Марр в свое время считал это слово образцом настоящего, типичного заимствования. Это еще раз показывает, как важно рассматривать все окружение диалектного слова, чтобы определить его подлинное происхождение.

Заметим, наконец, что *бахмур* или *бохмур* отражено и в топонимике в достаточно раннюю пору; так, например, в писцовых книгах XVI в. по тогдашнему Тверскому уезду упомянуто селение *Бохмуровка*.

Совершенно не видно в словаре и влияния материалов этнографии. Особенно ясно это на примере статьи *голбец* (русск. перев., т. I, стр. 427). Здесь проводится очень давно высказанное, но совершенно невероятное мнение о заимствовании русских слов *голбец*—*голубец* из древнескандинавских данных (др.-сканд. *golf* 'пол, отделение'/швед. *golf*). Древнерусские данные показывают с несомненностью, что голубцы, или голбцы, были п р и ц е р к в а х (в Киеве, Новгороде Великом, Полоцке и других местах), служа частью для погребения, а позже — для хранения товаров, а иногда и для жилья. Так или иначе, эти устройства связаны были тогда исключительно с церквами, — и эта традиция продолжается и ныне в том смысле, что имеется много местностей, где словом *голбец* или, чаще, *голубец* обозначается 'надгробный памятник' особого устройства (из камней или из дерева), со стенами и крышей, на вершине которой утверждался крест; внутри голубца ставили икону, а около стен — скамьи (Донск., Орловск. и др. места). Этнографический материал, сюда относящийся, весьма обширен,

что и дает повод высказать предположение о связи *голбца—голубца* с римским *колумбарием* (впервые, по-видимому, Д. К. Зеленин). Разумеется, здесь понимается не первоначальный смысл лат. *columbarium* ('голубятня'), а более поздний: 'ниша в склепе, в которой помещаются урны с прахом умерших', а также 'здание (подземное обычно), в котором были ниши с урнами', 'склеп'.

Русское *голубец* есть, таким образом, книжная калька с латинского (или греко-византийского): по образцу пары *columba—columbarium* христианским духовенством построено русское соответствие *голубь—голубец*. От духовенства это слово (*голубец*) проникло во многие русские говоры, как и в целый ряд других языков (финский, удмуртский и др.) — на севере часто с переменой ударения и последующим изменением фонетического облика (*гóлбец*). Отвергать это предположение нет оснований, так как дальнейшая эволюция семантики является вполне понятной.

Заметим, что область распространения слов *голбец—голубец* слишком широка для возможности допущения мысли о скандинавском заимствовании; также невероятна и допускаемая здесь эволюция семантики от общего понятия ('пол, подполье') к весьма специальному ('надгробный памятник').

Словом, имеются серьезные основания для отрицания старой скандинавской этимологии слов *голбец—голубец* и, во всяком случае, для полного пересмотра всего относящегося сюда материала.

Надо заметить здесь, что в только что появившейся статье А. С. Львова, специально посвященной слову *голбец* [3], подобран значительный материал, свидетельствующий в пользу высказанного нами мнения. А. С. Львов совершенно справедливо говорит, как когда-то И. А. Шляпкин, о неприемлемости скандинавской этимологии; особенно ценным является его вывод о церковном (собственно, вообще культовом) происхождении голбцов—голубцов. Однако материалы и соображения И. А. Шляпкина [4] и Д. К. Зеленина остались ему неизвестными (во всяком случае, он о них не упоминает).

А. С. Львов ищет здесь решения в праславянской древности, хотя, по-видимому, хронологически оно ближе к нам, если считать форму *голубец* основной и прямо сближать пару *голубь—голубец* с *columba—columbarium*, относя возникновение подобной кальки примерно к начальному времени христианства на Руси [5]. Конечно, очень соблазнительно было бы возводить этимологию слова *голубец* к обстоятельствам древнеславянского языческого

---

[3] «Этимологические исследования по русскому языку», вып. V. МГУ, 1966, стр. 60 сл.

[4] «Зап. Русск. Слав. отд. Археол. Общ.» 7, 51. СПб., 1907.

[5] Или несколько позже. Первое упоминание о голубце относится к XII в., когда князь Ярополк Владимирович был похоронен (1139 г.) «в голубце у церкви св. Андрея» (Н. М. Карамзин. ИГР, т. II, гл. IX, прим. 269. СПб., 1842).

обряда трупосожжения (ср. римские колумбарии), но это весьма гадательно. Вероятнее всего все-таки церковное происхождение термина *голубец—голбец*. Подчеркнем еще раз, что древнейшие упоминаемые в источниках голубцы XII—XV вв. всегда связаны с церквами [6].

Следует отметить, что в словаре Фасмера мысль о сближении голубца с колумбарием ошибочно приписывается И. А. Шляпкину и Д. К. Зеленину; в действительности только второй из них защищал это сближение, тогда как Шляпкин отвергал его — по-видимому, на том же основании, что сам Фасмер, т. е. вследствие недостаточного знакомства с историей колумбария как места захоронения, склепа.

Подобного рода сомнительных этимологий, некритически воспринятых чужих мнений, прямых — часто совершенно элементарных — промахов у Фасмера множество.

Заметим попутно, что особенно слаба в словаре ономастическая часть, где находим почти повсюду фантастические этимологии: *Свинорт* (*Свинорд*) — будто-бы из *Свиной рот* (отметим, что Фасмер неверно помещает его на Ловати — вместо Шелони), *Ворскла* (древний *Вороскол*) — от *ворчать* (!?), *Галич* от *галка* и т. д., и т. п. Даже фамилию *Евлахов*, происходящую от *Евлах(а)—Евлампий*, Фасмер выводит из племенного имени *валах*. И в тех случаях, когда он в общем правильно передает основу данной другими этимологии, эта передача оставляет обычно желать лучшего.

Возьмем, например, статью *Арзамас* (русск. перев., I, стр. 86), где сказано: «По мнению Паасонена (JSFOu. 21, 6 и сл.), город называется на морд. м. языке *Eŕźamas* от *eŕźa* 'эрзя'. . .»

Однако здесь нет ни слова о том, что *Арзамас*, или *Арземас*, есть бывшее в ходу еще 300 лет назад мордовское личное имя — в длинном ряду аналогичных имен: *Вечкомас (Вешкомас)*, *Инемас*, *Полдомас* и т. п., хорошо нам известных по памятникам XVII в. (писцовые книги, десятни, различные акты). Географические названия типа *Арзамас* произошли все от соответствующих личных имен. Без этого указания статья *Арзамас* остается неполной и неясной.

Еще раз подчеркнем крайнюю слабость топонимического и вообще ономастического отдела словаря Фасмера. Вместо тщательного изучения относящегося сюда огромного исторического материала топонимики—этнонимики—антропонимики этот автор повторяет совершенно неоправданные мнения, часто весьма странного характера. Например, в подавляющем большинстве случаев названиям рек приписываются значения: 'влага' (отсюда будто бы *Волга*!), 'мокрота', 'течение', что на самом деле бывает только в виде редчайших исключений — единицы на тысячи названий.

---

[6] Полоцкая княжна Ефросиния (1101—1173) жила в голубце при Софийской церкви (Н. М. Карамзин. ИГР, т. II, гл. VIII, прим. 251).

Перейдем к другим примерам. *Табанить, таванить.* Мы указываем этот пример, который имеется у Фасмера, только для того, чтобы подчеркнуть проявляемую им иногда разумную осторожность в суждениях, возникающую ввиду несоответствия предполагаемых возможностей заимствования и территориальным распространением изучаемого слова.

Действительно, Фасмер пишет: «*табанить, таванить*. . . das Boot wenden, indem man nur auf einer Seite rudert, Arch. (Podv.), Kolyma (Bogor.). Die Verbreitung des Wortes macht die Herleitung aus wogul. touam, touantam „rudern" . . . zweifelhaft». И в самом деле, если рассмотреть распространение этого областного слова, то окажется, что оно встречается на Юге, как и на Севере, всюду имея тот же смысл: 'грести веслами в обратную сторону', 'приставать к берегу', 'давать задний ход лодке', 'грести веслами взадпят' и т. п.

Известный *Таванский перевоз* на Нижнем Днепре существовал уже в XV в., будучи, несомненно, еще раньше устроен здесь монголо-татарами для удобства торговых сообщений, как и перевозы на Дону и Волге.

Поэтому, естественно, отпадает всякая возможность объяснять слово *табанить, таванить* из мансийских (или соответствующих селькупских) данных. Гораздо вероятнее тюркское происхождение этого термина — из слов, обозначающих подошву, иногда пятку (ср. 'грести взадпят'=*табанить, таванить*: общетюркск. *табан* 'подошва' (и *таба(н)* 'в направлении к чему либо' (!))[7]. Русские перевозчики на крупных реках южных степей были поселены еще в XIII в. монголо-татарскими завоевателями, о чем имеются документальные свидетельства современников.

Известно также, что господствующим языком Золотой Орды был не монгольский, а тюркский (кыпчакский) язык.

Покойный Н. К. Дмитриев неоднократно указывал на неизбежность возникновения при тесных тюрко-русских контактах особого рода жаргонных выражений, объяснимых лишь при учете и русских и тюркских данных вместе, — часто в очень своеобразном сплетении. По-видимому, это и имеет место в данном случае; мы считали необходимым напомнить это; у Фасмера учтена лишь одна сторона вопроса: территориальное распространение слова *табанить, таванить*, не позволяющее приписать этому элементу русской лексики мансийское происхождение. Заметим, что в настоящее время термин *табанить* широко распространен среди моряков (см., например, П. С. Новиков-Прибой, Цусима).

Необходимо добавить здесь еще одно указание: финно-угорские заимствования (точнее — субстратные включения) вообще (за

---

[7] См.: В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, т. III, ч. 1. СПб., 1905, стр. 963—964; А. И. Попов. Из истории славяно-финноугорских лексических отношений. — «Acta Linguistica». Budapest, 1952, fasc. 1, 2—4, стр. 249—272.

редчайшими исключениями) имеют тенденцию распространяться только к востоку и северо-востоку — вместе с передвижением соответствующих групп русского или обрусевшего населения, но не к югу и не к западу; в противоположность этому тюрко-татарские заимствования свободно распространялись в русских говорах, — без принятия особого преимущественного направления.

Не рассматривая здесь исторические причины этого рода явлений, мы можем перейти теперь к другому примеру — *сопец* (*сапец*), русское диалектное слово, обозначающее в разных говорах 'руль', 'часть руля, находящуюся в воде', 'рукоятку руля', 'черпак, которым отливают воду из лодки' и т. п. вплоть до значения 'короткая часть цепа' (лужск.) [8].

М. Фасмер, которому были известны эти материалы только частично, говорит о данном термине довольно осторожно — со ссылками на Калима, Паасонена и Кеттунена, — определяя свое отношение к делу словами: «Wird gewöhnlich erklärt aus estn. *saps* G. *sapsu* dass. ('Steuerruder'), liv. *saps* dass., die zu finn. *sapsa*, *sapso* 'Vorderbug' (т. е. передняя лопатка животного) gestellt werden». С колебанием учитываются и саамские возможности. Между тем в действительности только ливское слово *saps* 'Steuerruder' и соответствующее диалектное эстонское (на Чудском озере) имеют сюда более или менее прямое отношение.

Вообще же говоря, эст. *saps* (gen. *sapsu*) означает переднюю лопатку животного (например, лошади) и вряд ли может служить очень надежным оригиналом русского *сопец—сапец* 'руль'.

Имеется, однако, другая возможность (как и в случае со словом *табанить—таванить*) — тюркское происхождение термина *сопец—сапец*, из общетюрк. *sap* (тур., туркмен., алтайск., хакас. и проч.) 'ручка', 'рукоятка', 'древко', 'держалка' и т. п., *saptak* (тур.) 'поворачивать', 'сворачивать' (и много других материалов этого рода).

Известно, что в прошлом (XVII в.) термин *сопец—сапец* был распространен не только на Севере, встречаясь (по астраханским и донским актам) на Волге и на Дону, хотя ныне там он и не зарегистрирован.

Таким образом, весьма возможно, что этот термин (как и *табанить—таванить*) явился с Юга, оставшись на Севере только при поддержке эстонского *saps*, случайно созвучного слову *сапец—сопец* и имевшего первоначально совершенно другое значение. Как бы то ни было, вопрос здесь решается далеко не так просто, как это думал решить Яло Калима и др. в свое время. Мы не можем здесь развивать подробно соответствующие аргументы и только подтвердим основную мысль о том, что необходимо учитывать не только теперешний ареал распространения диалект-

---

[8] Б. Л. Богородицкий. О термине *сопец, сапец* — руль. — «Псковские говоры». Псков, 1962, стр. 179.

ного слова, но и направление движения потоков носителей данного диалекта, а также возможности образования жаргонных слов смешанного происхождения и других обстоятельств, определенных различными историческими причинами.

* * *

Весьма нередко причиной ошибок современного этимолога является незнакомство с древними источниками, содержащими то или другое слово, следы которого в письменности и в разговорном языке впоследствии пропали. Это относится и к Фасмеру, который знаком с летописями и многими древними актами лишь из вторых рук. При этом, естественно, соответствующие толкования не являются плодом новых соображений, а основываются на чужих мнениях, из которых выбирается что-то, кажущееся наиболее подходящим.

Типичный пример представляет слово *толковин*, попадающееся в древнерусской письменности только дважды: один раз в Начальной летописи и однажды в «Слове о полку Игореве». Это слово означает 'помощник', 'союзник', что в свое время показал В. И. Григорович, найдя в одном древнем именнике глоссу: «Александр—толковин, сиречь помощник. . .» Как в летописи, так и в «Слове» *толковин* только и может означать 'помощник', 'союзник' (от *толока* 'общее дело, общая помощь'), — и это бесспорно правильное мнение было принято многими [9]. Между тем Фасмер пытается, вслед за другими, понять это слово как 'толмач' исходя из того, что будто бы существовало печенежское племенное имя Τουλμάτζοι, указанное Константином Порфирогенетом. В действительности ничего подобного нет, — в подлиннике сочинения Константина стоят имена Ταλματ и Βοροταλματ, причем русская летописная традиция имеет также *Печенеги Долматы*, а *Толмачи* — это только домысел ученых комментаторов нашего времени, основанный на совершенно невероятных предположениях (с ними можно познакомиться, например, по работе К. Менгеса) [10].

Не менее удивительна судьба толкования одного тюркского термина, несколько раз встречающегося на страницах южнорусской летописи домонгольского времени: *сайгат*. Фасмер поясняет: 'Beute', 'Kriegsbeute', что совершенно не соответствует истине. В действительности *сайгат* означает 'дар вельможе, высокопоставленному лицу (хану, князю, боярину), старшим родственникам', — обычно из военной добычи; это последнее обстоятельство и явилось основанием ошибки, повторенной Фас-

---

[9] См., например: А. Я. Ефименко. История украинского народа, вып. 1. СПб., 1906, стр. 42.

[10] K. Menges. The oriental elements in the vocabulary of the oldes Russian Epos, the Jgor'Tale. New York, 1951.

мером. Слово *сайгат* было правильно объяснено Н. Г. Чернышевским, что отметил в свое время П. М. Мелиоранский в статье «Заимствованные восточнославянские слова в русской письменности домонгольского времени» [11]. Поэтому ошибка Фасмера, как и многих других этимологов, объяснима только тем, что ему остались мало известны работы русских тюркологов (П. М. Мелиоранский, Ф. Е. Корш) по этому поводу [12] и он воспользовался известными «Материалами. . .» И. И. Срезневского, где стоит неправильное объяснение: «сайгат. . . военная добыча, трофеи». Еще определенней выступает малая осведомленность Фасмера в статье *Кощей*.

По мнению Фасмера, это 'Gefangener, Sklave, Diener, Knecht', что не может быть принято — ни по древнерусским, ни по тюркским материалам (последних очень много). Эти материалы показывают, что тюркское *кошчи* имело несколько значений, и главное из них: 'воин, имеющий поводную лошадь, на которой увозили знатных пленников и наиболее ценную добычу'. Поэтому князь Игорь и «выседе из седла злата, а в седло кощиево».

В этом смысле слово *кощий*, *кощей* применялось и среди русских дружинников, так что совместно упоминаются «седельники и кощеи» (Ипат. 1170 г.).

Однако на русской почве — среди народа оседлого, занимающегося земледелием, слово *кощей* приобрело еще особое значение, соответствующее тому, которое выражено фразой: «была бы чага по ногате, а кощей по резане». Об этом втором смысле нетрудно догадаться по соответствующим лексическим данным оседлых тюркских народов (например, узбеков) и их соседей (таджиков), — там *кошчи* значит 'пахарь, имеющий упряжку с парой (кош) животных'.

Наконец, применялось слово *кощей* в домонгольской Руси и в смысле 'походный слуга', 'казачок' (как и в тюркской среде) [13].

* * *

Из рассмотренных примеров достаточно ясно, что важнейшими причинами недостаточности современных приемов этимологизации являются, как и указывалось в начале сообщения, неполнота привлекаемого лексического материала, недостаточный учет разного рода соответствующих реалий, слабость исторической подосновы, в частности непонимание неравноценности различных слоев лексики языка и отсутствия — в этом плане — единой системы развития слов; многие из этих слоев сильнейшим образом от-

---

[11] ИОРЯС X (1905), кн. 4, стр. 125—127.

[12] И действительно, в списке использованной литературы у Фасмера нет упоминания о статьях Мелиоранского и Корша (в ИОРЯС).

[13] Подробнее см.: А. И. Попов. Кыпчаки и Русь. — «Уч. зап. ЛГУ», № 112, серия исторических наук, вып. 14, 1949.

клоняются от тех правильностей и норм, которые твердо установлены для других разделов лексики.

Так, например, в уже упоминавшейся работе «Из истории лексики языков Восточной Европы» мы старались показать, что технические и профессиональные термины (разных эпох), а также и вообще слова, употребляемые не всеми слоями общества, а только определенными социальными группами, изменяются и развиваются в течение своей истории по особым путям. На деле все это надо учитывать, и притом с большой тщательностью.

Весьма важно то обстоятельство что этимология значительного числа слов принципиально не может быть определена, — ввиду чрезвычайной сложности их истории, на протяжении которой возникло множество влияний и сближений с другими элементами лексики (своими и чужими), в результате чего слово нередко изменяется до неузнаваемости — с полной потерей прежнего звукового состава и с возникновением многих побочных форм. В таких случаях мы получаем вместо надежной прямолинейной этимологической цепи целую паутину схождений и расхождений, распутать которую, повторяем, нельзя принципиально.

В таком докладе, разумеется, нельзя осветить все это подробнее. Во всяком случае, как видно отчасти из выбранных нами примеров и поправок к ним, здесь можно многое сделать, приблизив работу этимолога к такому состоянию, когда результаты будут неоспоримы и убедительны для всех.

По всей вероятности, эта работа должна выполняться не одним лицом, а целым коллективом.

Л. В. Куркина

НАЗВАНИЯ БОЛОТ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Славянская географическая терминология включает богатый и довольно дифференцированный набор лексем для обозначения болот. С разной степенью полноты и детализации болотная терминология представлена отдельными славянскими диалектами, что определяется не только своеобразием внешней среды, но и языковыми различиями в ее сегментации [1]. В разных диалектах и даже в пределах одного диалекта существуют разные термины для обозначения какого-то одного типа болотистых почв. В качестве примера можно привести различные названия рудниковых болот: укр. *багрйна* 'болото, богатое рудниками место' (Гринченко I, 18), польск. *rudawa* то же (Nitsche, 85), русск. диал. *коржава* 'ржавое болото, мочажина с болотной железной рудой' (Даль II, 164). С другой стороны, наблюдается явление иного рода — один и тот же термин приложим к разным типам болотистых почв и разным видам ландшафта [2]: ср. русск. диал. *вырь*, *вир* 'пучина, водоворот; твр. калуга, пожня, поемный луг или покос' (Даль I, 311), болг. *вир* 'глубокое место в реке' (БТР, 65), ц.-слав. *virъ* 'водный источник; глубокое место в реке; болото'.

Славянская лексика с общим значением 'болото' сложилась на основе перемещения и терминологического осмысления той совокупности лексем, которая связана с обозначением особенностей структуры и образования данного вида почв. Подвижность семантических и терминологических границ дает основание для установления исходной семантической базы исследуемой тематической группы, позволяет выявить возможные типы переходов значений. Наиболее общие семантические модели, лежащие в основе болотной терминологии, отмечены в лингвистической литературе [3]. Исходными для данной лексики признаются следую-

---

[1] Н. И. Толстой. Некоторые проблемы и задачи изучения славянских географических терминов. — «Местные географические термины в топонимии. Тезисы докладов и сообщений». М., 1966, стр. 16—19.

[2] M. F. Burril. Terms for Wetlands in the US. — «Abstracts of Papers 18-th International Geographical Congress». Rio de Janeiro, 1959, стр. 5.

[3] В. М. Мокиенко. Основные семантические модели образования славянских географических терминов со значением 'болото'. — «Местные географические термины в топонимии. Тезисы докладов и сообщений», стр. 19—21.

щие значения: 1) 'лес, кустарник, болотная растительность', 2) 'пропасть, углубление', 3) 'цвет (багровый, ржавый, серый)', 4) 'ключ, источник', 5) 'низкое место', 6) 'вязкий, топкий', 7) 'сырой, влажный', 8) 'ил, грязь, наносная почва' и др.

По образцу данных семантических моделей сложились как общеславянские обозначения болот, так и узко диалектные.

Оставляя в стороне вопросы, касающиеся действенности той или иной семантической модели, распределения семантических микрополей [4], мы сосредоточим внимание на специальном изучении данной тематической группы в плане реконструкции праславянского состава болотной терминологии. Воссоздание праславянского словарного фонда предполагает сопоставительное изучение лексического материала по всем славянским языкам, последовательное расслоение систем путем снятия более поздних лексических пластов, выявления лексико-словообразовательных диалектизмов на славянской территории. Подобный анализ предусматривает обращение к историческим и этимологическим словарям.

* * *

Первый шаг к решению поставленной задачи — исключение заимствований, число которых довольно велико в славянских языках. В русском заимствования в основном из северных языков (финского, коми): олонец. *у́ти* 'болотистое место', арх. *чару́са* 'непроходимое болото', олонец. *ша́йма* 'болотистое место с карликовым березняком', арх. прм. сиб. *согра* 'болотистая равнина', арх. *сахта* 'торфяное болото' и мн. др.; в польском преимущественно из немецкого: *mada* 'ил, грязь', *maras* 'болото, ил', *mursz* 'торфяник', *hamajda* 'болотистый луг' и др.; в южнославянских языках отмечены тюркизмы: макед. *шамак* 'болото, заросшее камышом' и т. д.

Во многом поздний характер данной лексики делает необходимым выделение прежде всего явлений семантической инновации. Наблюдения над материалом показывают, что часть общеславянской лексики включается в число болотных терминов на очень ограниченной территории, чаще всего в некоторых диалектах одного или нескольких языков. Представляется полезным и интересным привести более или менее полный перечень семантических диалектизмов с указанием ареалов их распространения. При подаче материала отбираются лишь только те общеславянские основы, для которых отмечено значение 'болото'.

1. Одна из наиболее продуктивных семантических моделей

[4] Исследование семантики славянских географических терминов, в том числе названий болот, занимает большое место в работе: Н. И. Толстой. Славянская географическая терминология (Семасиологические этюды). М., 1969.

предполагает образование названий болот по произрастающей на них растительности: 'болотная растительность (лес, кустарник, трава)' → 'болото' [5].

* *borъ* 'сосна, сосновый лес' получает значение 'болото' в западно- и восточнославянских языках: польск. *bór* 'сосновый лес', подгальское *bór* 'болотистый луг, мшарник'. Сосна часто растет на мшарнике, поэтому в польских говорах *borowina*, *borowacizna* означают 'мшарник, поросший сосной', а также вообще 'мшарник, торфяник' (Nitsche, 74). Укр. бойк. *bir*, *boru* 'сосновый лес; болотистое заросшее место' (Rudnicki, 18); в русских говорах среднего Урала *борови́на*, *борови́нка* представлены не в значении 'болото', а в значении 'возвышенное покрытое лесом место — остров среди болота' (Сл. сред. Урала, 52) [6].

**dręzg/-d-* первоначально, видимо, связано с обозначением леса, ср. болг. *дрездáк* 'лес' (Младенов ТР, 598): значение 'болото, трясина' развивается в русск. диал. яросл. *дрязга* 'лесистая болотистая местность' (Мельниченко, 62); сюда же, очевидно, примыкают др.-русск. *дрѧзда* 'грязь (?), болото (?), трясина (?)' (Срезневский I, 737) и расширенное суффиксальным формантом словен. *drę̑zgalica*, *drozgalica* 'трясина' (Plet. I, 171).

**čertъ* 'камыш, тростник': польск. *czeret*, *czerot* 'болото в лесу, заросшее камышом, тростником' (Nitsche, 75), являющееся, видимо, заимствованием из украинского или белорусского языка, с.-хорв. *črȇt* 'болотистый лес, торф' (Schütz, 50), словен. *črę̑t*, *črę́ta* 'болотистое место, камыш' (Plet. I, 110). В южнославянских языках данный апеллатив широко представлен в названиях болотистых лугов и лесов: ср.: *Čreta* — болото на Птуйском поле, с.-хорв. кайк. топ. *Čret* [7].

* *gajь* 'лес': в русских диалектах (кур., дон.) *гай* значит 'отдельная камышовая топь, плавня или кустистый кочкарник' (Даль I, 836).

К этой же семантической группе, видимо, можно отнести и чеш. *nákel* 'болото, влажное место с вербовыми зарослями' (Kott II, 34) при чеш. *náklí* 'молодая вербовая поросль' от праслав. **kъlъ* 'зародыш, росток' : др.-чеш. *klí* 'зародыш', с.-хорв. *kalac* 'молодая трава' и др. (Machek, 317).

---

[5] Подробнее о развитии значений 'лес, сосновый лес' → 'болото' см.: K. Moszyński. Uwagi o slowiańskiej terminologji topograficznej i fizjograficznej oparte przeważnie na materjale białorusko-poleskim. Lwów—Warszawa, 1921, стр. 4—6. Специально этому вопросу посвящена оставшаяся недоступной нам работа Э. Френкеля «Zum Bedeutungswechsel von 'Wald, Hain' mit 'Sumpf' in den idg. Sprachen». — REIE I, 1938, стр. 405—412.

[6] Подробнее о названиях болот в болгарском языке см.: И. Странски. Български народни названия на почвата според цвета и пр. — «Известия на почвения институт», II. София, 1954, стр. 291—313.

[7] Bezlaj, стр. 122.

**тъхъ* 'мох': русск. диал. *мох* 'моховое болото' (Даль II, 352—353), полесск. *mòch* то же[8], словен. *mâh* 'мох, болото' (Plet. I, 541). Значение 'болото' шире представлено в производных образованиях: **тъšara*, **тъхоvina* (см. ниже).

**trъstъ*, **trъstьnikъ* 'тростник': польск. *trzcia* 'болото, заросшее камышом' (Nitsche, 89), укр. *трістя* 'болото' (Гринченко IV, 285), *тросник* 'камышовое болото' (Гринченко IV, 287). В Словении эта основа часто выступает в гидронимах и названиях болотистых мест, ср. *Trstenik*, название реки, топ. *Trsti*, *Trstje* и др. [9]

Подобный семантический диалектизм представляет и польск. *szarynnik*, *szarzynnik* 'болото, покрытое старым мохом'. Как полагает О. Н. Трубачев, в основе этого обозначения болота лежит не прилагательное *szary* 'серый' [10], а старая основа *wisz* со значением 'болотная осока'. Ср. др.-русск. *вишь* 'зеленые ветви, хворост' (Срезневский I, 266), словен. *vîš* м., *vîš* ж. 'камыш, осока' (Фасмер I, 325). Отмеченные в украинском и белорусском производные образования на *-ар* (укр. *вишар* 'низменность, поросшая травой', блр. гродн. *вышар* 'болотное сено'), видимо, можно отнести к числу заимствований из польского языка, ср. *wiszar* 'место, заросшее сорняком'.

2. В основе некоторых славянских болотных терминов лежат лексемы с первоначальным общим значением 'бездна, пропасть'.

**lomъ* в болг. *lom* 'яма, ров': др.-русск. *ломъ* 'болото' (Срезневский II, 46), диал. пск., тверск. *лом* то же, н.-луж. *łom* 'болотистое место, чаще как название леса или нивы' (Muka I, 783). Видимо, производное от **lomiti*, ср. нем. *brechen—Bruch*.

**žerdlo* / **žьrdlo*, видимо, с первоначальным значением 'пропасть, провал', из которого развилось в некоторых диалектах значение 'источник': ср. укр. бойк. *żereło* 'источник, ключ' (Rudnicki, 35). В качестве названия болота эта основа в русск. диал. арх. *жорло́* (Шолтома) 'провал, зыбкое, топкое место на болоте' (Куликовский, 24), в сербском (шток.) представлено прилагательное *ždrilovit*[11] в значении 'болотистый'.

Корневая морфема *-pad-* 'впадина, углубление' в некоторых суффиксально-префиксальных образованиях получает значение 'болото': ср. польск. *przepadlisko* 'болото', н.-луж. *pśepadlišćo* 'болотистая почва' (Muka II, 224), кашуб. *přepadləsk^{u}o* 'пропасть' (Nitsche, 84), укр. *при́падь* 'низменная местность' (Марусенко, 62), русск. сев. *западина* 'топкое, вязкое место' (Атлас).

3. В некоторых диалектах названия болот сложились из об-

---

[8] Moszyński. Kultura ludowa, стр. 44.

[9] Bezlaj II, стр. 276.

[10] Nitsche, стр. 88.

[11] Р. Алексић. Језик Матије Антуна Рељковића. — ЈФ X, 1931, стр. 165.

щеславянских основ с первоначальным значением 'омут, глубокое место'[12]. Примером такого рода образований может служить русск. сев. *омут* 'болото' (Атлас).

**virъ* 'глубокое место в воде': русск. диал. *вырь* твр. 'калуга, пожня, поемный луг' (Даль I, 311), ц.-слав. *virъ* 'водоворот, глубокое место в реке, болото', болг. *подвúрище* 'болото' (Геров IV, ч. 2, 78).

Другая ступень чередования представлена в старом русском названии болота близ Десны — *Оврут* < **vьrǫtъ* (Vasmer II, 250), ср. с.-хорв. *vrûtak* 'источник'.

Большой интерес представляет другая однокоренная основа со ступенью удлинения в чеш. *úvar* 'болото' (Kott IV, 493).

**ple(t)so* в др.-русск. *плесъ* 'колено реки от одной луки до другой' (Срезневский II, 963), укр. *плéсо* 'глубокая яма в реке с водоворотом, расширенное незаросшее место в реке с медленным течением' (Марусенко, 65): польск. *pło* 'бездонное болото' (Nitsche, 84), чеш. *pleso* 'глубокое место в воде' (Kott II, 584) и 'озеро, болото' (Moszyński, 12—13), н.-луж. *ploso* то же (Muka II, 80), близко к ним по значению укр. *поплісок* черниг. 'род большой лужи, оставшейся после половодья или большого дождя на месте, покрытом травой' (Гринченко III, 332).

**struga* в русск. диал. *стрýга*, мн. ч. *стругá* сев. 'омут, колдобина в речке, которая летом пересыхает, покидая лишь местами воду', с.-в.-р. новг., курск. 'глубокое место, лужа, остающаяся летом от почти пересыхающей речки' (Даль IV, 585): русск. пск. *истрýга*? 'небольшое, отдельное озерко или болотце от местных ключей' (Даль II, 62), укр. *стружка* 'болотистая западина, наполненная водой' (Марусенко, 80).

В очень узкой области можно наблюдать переход значений 'озеро' → 'болото': словен. *jezerína*, *jezeríšče* 'болото' (Plet. I, 370). В Бескидах нет озер, *ozero* значит 'болото' (Stieber II, 53). Промежуточную ступень, видимо, отражает укр. *озерявина* 'высохшее озеро, место, где было озеро' (Гринченко III, 145). Ср. русск. сев. *озеро* 'болото' (Атлас).

Условно к этой группе можно причислить праслав. **luža*, выступающее в функции болотного термина в н.-луж. *łuža* 'лужа, болото' (Muka I, 795), чеш. *louže* то же (Kott I, 947), русск. диал. *лýжа* 'застойная вода', *лýжина* 'низменное мокрое место, мочажина' (Даль II, 271), словен. *lúža* 'лужа' (Plet. I, 538) в значении 'болото' в названии *Vrbovška Luža*[13].

4. Некоторые общеславянские основы со значением цвета послужили основой для образования названий болот в некоторых диалектах.

---

[12] Исследование этой группы лексики дано в статье: F. Bezlaj. Sinonima za pojem «locus fluminis profundior». — SR V—VII, 1954.

[13] Bezlaj I, стр. 364—365.

**ruda* со значением 'красный': польск. *ruda* 'руда; торф; болото' (Nitsche, 85), н.-луж. *ruda* 'влажная земля, содержащая железняк' (Muka II, 351), укр. *рудá* 'руда; ржавое болото' (Гринченко IV, 85). Значение 'болото' представлено в производных образованиях **rudъka*, **rudava* (см. ниже).

От того же корня, но с иной огласовкой **rъdjavьcь/-ъka*: польск. *rdzawka* 'болото' (Nitsche, 85), русск. диал. *ржáвец* 'ржавое болото, красножелезистая мочажина, родники из-под бурожелезной руды' (Даль III, 1684), с приставкой *ко-* нвг. *коржава* 'ржавое болото', *коржавина* то же (Даль II, 164), укр. *ржáвець* то же (Гринченко IV, 11), блр. с другим суффиксом *иржáвинне* 'ржавчиной покрытое болото' (Носович, 225).

Многие названия болот, образовавшиеся по данной семантической модели, носят единичный характер. Ср. укр. *багрúна* 'болото, богатое рудниками место' Желех. (Гринченко I, 18), русск. диал. *черéнь*, *чернь* 'торфяное болото' (Даль IV, 1316), польск. *siwica* 'болотистый луг' (Nitsche, 87).

5. В некоторых славянских диалектах представлено развитие значений 'грязь, ил, наносная почва' → 'болото'.

**plavъ:* польск. *pławy* 'низко лежащий луг', кашуб. *płẘw* 'заливаемый водой влажный луг, зыбучее болото' (Nitsche, 70), русск. диал. курск. *плав* 'трясина, где под дерном вода' (Даль III, 118), укр. *плав* 'мокрая заболоченная низменность' Киевск. (Марусенко, 64). Параллельно существуют приставочные формы: польск. *popław* 'влажный болотистый луг' (Nitsche, 84), блр. *popławý* 'мокрые ровные низины при болоте, заросшие высокой и сладкой травой' (Moszyński, 16), укр. *пóплава* 'болотистое пастбище' (Гринченко III, 1332). По нашим наблюдениям, значение 'болото' у этой основы не развивается в южнославянских языках.

**tina:* др.-русск. *тина* 'болото, тинистое место; грязь' (Срезневский III, 959), чеш. *tina* 'болото' (Kott IV, 86).

Единичные случаи подобного развития представляют ц.-слав. *brъnьje* 'болото' (< **brъna* 'грязь, глина'); с.-хорв. *bȑljaga* 'лужа, болото', *bȑljûg* 'болото, в котором валяются свиньи' (Iveković—Broz I, 104), видимо, связанные с общеслав. **bьrlogъ* (укр. *барліг* 'логово медвежье, свиное; грязная лужа' и др.); укр. *прогній* 'незамерзающее место на болоте', *прогноїна* 'трясина' (Гринченко III, 462) при общеслав. **gnojь* 'навоз, помет'; русск. диал. *иловай* 'низина, топь' (< **ilъ* 'ил, грязь'); чеш. *mula* 'болото, ил' (Kott I, 1085) при повсеместном значении 'ил, грязь' (Nitsche, 81—82).

6. В отдельных славянских языках в функции болотных терминов выступают обозначения низких ровных мест, земельных участков. Значение 'болото' можно отметить для основ, содержащих праславянскую корневую морфему **dol-*: русск. яросл. *подóл* 'низкое болотистое место' (Мельниченко, 151), укр. *долина* 'мокрая

низменность' Хмельн., 'мокрое место между взгорьями' Винниц. (Марусенко, 35), болг. *долчи́на* 'болото' (БТР, 152), н.-луж. *doł* 'лужа, болото' (Muka I, 184).

**galъ*, **galo* в восточнослав. языках: укр. *гало* 'низинная, болотистая местность' Житомир. (Марусенко, 28), блр. полесск. *gało* то же (Moszyński, 6), ср. русск. *га́лое болото* смол. 'безлесное болото' (Фасмер I, 384), морав. *gál* 'болото' (Sławski, 393—394). Данная основа, видимо, связана чередованием гласных с *голый*, ср. др.-польск. *gola* 'открытое, ровное место', н.-луж., в.-луж. *hola* 'степь, лес' и др. (Sławski, 393—394).

**lǫka* обычно в славянских языках выступает в значении 'изгиб реки, луг, долина', только в словен. *lǫ́ka* (Plet. I, 529) отмечено значение 'болотистый луг'.

Некоторые термины подсечного земледелия на очень узкой территории становятся обозначениями болот. Таковы русск. рязан. *корь*, *корек* в значении 'низкое, болотистое место, болотце (среди поля или под лесом), заросшее кустарником или покрытое кочками' [14] и польск. *kierk*, *kierzk* 'болотистое место между холмами' (Nitsche, 78) с исходной основой **kъrk-/*kъrč-* (словен. *krč* 'невозделанное поле', штир. *krča* 'вырубленный лес, новь') [15], русск. диал. *ляда* 'низкое болотистое место' волог., калинин., влад., великолук., смол., брян., моск., орл., тульск., курск., *лядина* то же ленингр., новг., волог., киров., великолук., калин., иван., яросл., горьк., смол., костр. и др.[16] от праслав. **lędo* 'новь, целина' [17] (Vasmer II, 81); польск. *łazy* 'болотистая поверхность' при словен. *laz* 'новь', русск. *лазина* 'прогалина в лесу' и др.[18], словен. *palnice* 'болото' от **paliti* (Miklosich, 235) [19]. Использование данных лексем в значении географического термина единично, носит, видимо, поздний характер и является отражением некоторых общих семантических моделей, действующих в славянских языках.

7. Незамерзающие болота с теплыми источниками в части славянских диалектов обозначаются основами, содержащими праславянские корни **dux-* и **par-*.

**dux-*: польск. *duchowina* 'влажная, болотистая почва', укр. *про́духа* 'мокрая ложбина между холмами' (Марусенко, 71) и *духо-*

---

[14] Г. П. Смолицкая. *Корь* (*корек*) как географический термин. — «Местные географические термины в топонимии», стр. 23—24.

[15] Fr. Bezlaj. Krčevine. — SR 1—2, 1955, стр. 5—6.

[16] О. Т. Порохова. Слова *ляда*, *лядина* и *нива* в русских народных говорах. — «Лексика русских народных говоров». М.—Л., 1966, стр. 183—184.

[17] M. Rudnicki. Wartość nazw drzewa bukowego, łosósia i rdzenia *lendh* dla wyznaczenia prakolebski (praojczyzny) indoeuropejskiej i słowiańskiej. — BPT XV, 1956, стр. 135.

[18] J. Charpentier. Kritische Bemerkungen zum urslavischen Entnasalierungsgesetz. — AfslPh XXIX, 1907, стр. 5.

[19] Fr. Bezlaj. Krčevine, стр. 20.

вына 'не замерзающее место в реке' (Nitsche, 75—76), русск. сев. *продушина* 'ямы на болоте' (Атлас).

**par-*: польск. *pary* 'незамерзающее болото' (Nitsche, 83), *sparzysko* то же (Nitsche, 87), *oparzelisko*, *oparzysko* то же (Nitsche, 82), н.-луж. *para* 'грязь, болото' (Muka II, 18), *parišćo* 'застойная вода' (Muka II, 19), чеш. *opařelisko* 'незамерзающее болото' (Kott VII, 107), *opařisko* то же, русск. диал. олон. *запáрь* 'испарение от болота' (Куликовский, 27), укр. *вiдпарь* 'на болоте не зарастающее и не замерзающее место' (Гринченко I, 222).

Обе основы в значении 'болото' не встречаются в южнославянских языках.

Хотя рассмотренные выше названия болот и не первичны в семантическом отношении, ими, видимо, не следует пренебрегать при реконструкции праславянского состояния. Трудно определить хронологические рамки появления того или иного географического термина, но в ряде случаев речь может идти хотя бы предположительно о семантических диалектизмах общеславянского языка (**dręzga* / **dręzda*, **čertъ*, **mъxъ*, **lomъ*, **struga*, **virъ* / **vьrǫtъkъ* / **uvarъ*, **ple(t)so*, **ruda*, **rъdjavьcь* / **rъdjavъka*, **tina*, **dux-*, **par-*, **luža*).

* * *

Дальнейшие поиски связаны с выделением той части лексики, которая более или менее единообразно функционирует в системе болотных терминов. При рассмотрении образований преимущественно непроизводного характера в праславянский лексический фонд будут отнесены **bělь*, **bolto*, **bara*, **kalъ* с производным от него **kaluga*, **molka* и суффиксальное образование **soltina*. Данные основы, видимо, не нуждаются в приведении полного перечня славянских соответствий, их легко можно найти во всех этимологических словарях.

Для некоторых основ отмечены варианты корневых морфем с отражением вокалических (*ǫ*/*ę*) и консонантных (*k*/*č*) чередований. Сам факт наличия подобных чередований указывает на глубокую древность данных морфем, хотя географическое использование их могло быть более поздним по времени.

**gręz* / **grǫz*: польск. суффикс. *grzęzawica* 'болото' (Nitsche, 76—77), чеш. *hrez* 'грязь, болото' (Kott I, 491), др.-русск. *грѧзь* 'грязь, тина', *грѧзина* 'грязное, топкое место' (Срезневский I, 605), урал. *зáгрезь* 'болото, болотистое место, жидкая грязь' (Сл. сред. Урала, 169), словен. *gręz* 'грязь, болото' (Plet. I, 251) || польск. *grąz*, *grąż* 'болото' (Nitsche, 76), укр. бойк. *hruź* то же (Rudnicki, 22), укр. *грузóта* 'топкое место, трясина' (Гринченко I, 333).

**lǫgъ* / **lęgъ*: польск. *łąg* 'низменное место, болото' (Nitsche, 79), чеш. *luh* 'болотистое место, заросшее лесом, кустарником' (Kott I, 952), н.-луж. *ług* 'болотистая низменность' (Muka I, 791—792), др.-русск. *лугъ* 'лес, дубрава; болото' (Срезнев-

ский II, 49), укр. *луги* 'мокрая, заболоченная низменность' терноп. (Марусенко, 51), полесск. *łuh* 'болотистый луг' (Moszyński, 11), польск. *łęg* 'болотистый луг, лес' (Nitsche, 79), русск. диал. олон. *ляга* 'лужа, пруд; реже мокрое, вязкое место' (Куликовский, 52; Даль II, 285).

**tręs-/*trǫs-*: основа с отражением носового *ę* имеет общеславянское распространение, о ней речь будет идти ниже. Только на территории сербохорватского языка в значении 'болото' отмечены обе основы с отражением чередования *ę/ǫ*: *treskavica* 'болото', *treskavište* 'болотная почва' и *trùskavica* 'торф' < **trǫs-* с расширителем *-k-* (Schütz, 51).

**mokъ / *moky / *moč-*: словен. *mòk*, *móka* 'болото' (Plet. I, 598), с приставками *zamòk* 'болотистое место' (Plet. II, 854), *namòk* 'влажная почва' (Plet. I, 652), укр. *відмока* 'мокрое место в земле, мочага' (Гринченко I, 220), укр. *мокві́* 'низменное место, заливаемое водой' Полесье, 'мокрая, болотистая местность' Одесса (Марусенко, 53), словен. прист. *zamǫ̂kva* 'болото' (Plet. II, 854), *zmǫ̂kve* 'болотистые места' (Plet. II, 932), ц.-слав. *моча* 'болото' (Vasmer II, 166), укр. *мóчі* 'мокрая, заболоченная низменность' Иван-Франк. (Марусенко, 54). Очень широко основа *moč-* представлена в производных образованиях: **močьvarъ*, **močьva*, **močidlo* (см. ниже).

Особенность приведенных основ составляет то, что географическое значение (хотя и является для них одним из многих других значений) получает общеславянское распространение.

* * *

Следующий шаг предполагает выявление лексических диалектизмов, представленных в системе болотных терминов. Укажем лишь наиболее характерные диалектные связи.

Соответствия с восточнославянским ареалом распространения:

**dręg(ъ)va* < **dręgati*: русск. диал. смл. *дрягва* 'болото, зыбун, трясина' (Даль I, 494), блр. *дрегвá* 'трясина в болоте' (Носович, 145), полесск. *dŕahvà* 'трясина'[20], укр. *драгва* 'топь, топкое место' (Гринченко I, 239), *дрягвá* то же (Гринченко I, 450).

**merča / *morky*: русск. диал. *мерéча*, *мярéча* смл. 'болото' (Vasmer II), блр. *ńèḿereč* 'болотистое место в лесу'[21], укр. *морквá* 'трясина' (Гринченко II, 446). Данная основа в качестве апеллятива представлена только в восточной группе славянских языков, для западно- и южнославянской групп она может быть реконструирована по данным топонимии: ср. польск. *Mrocza*, н.-луж. *Mroscina*, *Mrosina*[22], чеш. *Mrač*, словен. *Mrakov potok*[23].

---

[20] Moszyński. Kultura ludowa, стр. 44.

[21] Там же.

[22] E. Eichler. Eine westslawische Bezeichung für 'Sumpf, Feuchtigkeit': altsorbisch **mroka*. — ZfS I, 3, 1956, стр. 39—42.

[23] Bezlaj II, стр. 38—39.

**kačь* < **kačati*: русск. *качь* пск., твр. 'трясина, топь' (Даль II, 99), полесск. название болота *Kačàj-bałòto* содержит тот же корень[24].

Производным от глагола **žęti* является русск. диал. арх. *жемь* 'сырая почва, мочажина, где из-под ноги выступает слякоть, вода' (Даль I, 527), блр. пристав. *нáжма* 'топкое место' (Носович, 307).

Широкие лексические связи польского с восточнославянскими языками (и особенно с украинским) пронизывают славянскую географическую терминологию. Из них только польско-украинскими являются следующие соответствия: польск. *kołbań* 'илистое болото' (Nitsche, 78), укр. бойк. *kałabańa* 'большое болото' (Rudnicki, 23); польск. *ochab* 'болото' (Nitsche, 82) и укр. *охáба* 'лужа, болото; старое русло реки' (Гринченко III, 78); польск. *chrap* 'болото', кашуб. *chrωp* 'кустарником заросшее болото в лесу' (Nitsche, 75), укр. *храпá* 'замерзающее болото'[25]; польск. *łuzak* 'болото, луг' (Nitsche, 79), русск. диал. влд. *лузь* 'луг; поросшая лесом низина' (Vasmer II, 61).

Отсутствие южнославянских соответствий составляет особенность двух достаточно продуктивных основ:

**bagъno*: польск. *bagno* 'болото', чеш. *bahno* то же, русск. диал. *багно* то же, укр. *багно* то же, блр. *багна* то же и др. (Nitsche, 71—72)[26].

**timěno*: польск. *tymiano* 'болото' (Nitsche, 90), чеш. *timeno* то же (Kott IV, 85), др.-русск. *тимѣно* 'грязь, тина', н.-луж. *tyḿe*, *ḿeńa* то же (Muka II, 825), но ср. словен. топ. *Témenica*[27].

В названиях болот преобладают производные образования, в большинстве своем сохранившие прозрачные соотносительные связи с основами имени и глагола. Для точной локализации тех или иных суффиксальных формантов, используемых при образовании болотных названий, требуется, видимо, более полное и всестороннее обследование всей ландшафтной терминологии. Исследуемый нами материал позволяет выявить самые общие закономерности в распределении лексико-словообразовательных вариантов основ. Как правило производные образования сложились путем соединения простой основы, уже функционирующей в качестве обозначения болота, с одним или несколькими суффиксами: ср. **bolto—*boltina*, **boltovina*, **boltišče* и др. Некоторые из них представлены если не во всех славянских языках, то, по крайней мере, в отдельных диалектах всех трех групп славянских языков.

---

[24] Moszyński. Kultura ludowa, стр. 44.

[25] М. М. Лизанець. Морфологічні особливості (словозміна) говірки села Родниківка (Ізвор) Свалявського району. Дипломна робота (рукопись). Ужгород, 1956, стр. 98.

[26] K. Moszyński. Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiega. Wrocław—Kraków, 1957, стр. 162.

[27] Bezlaj II, стр. 255—256.

**boltina*: др.-чеш. и соврем. чеш. *blatina* 'болото' (Kott I, 70), русск. диал. *болóтина* то же (Даль I, 110), словен. *blatína* то же (Plet. I, 32).

**boltьnica*: русск. диал. *болóтница* олон. 'мокрое место, болото' (Куликовский, 5), чеш. *blatnice* то же (Kott. Dodatky 1005), словен. *blâtnica* то же (Plet. I, 32).

**močidlo/-adlo*: русск. диал. *мочи́ло* 'колдобина, пруд, окошко в болоте' (Даль II, 357), чеш. *močidlo* 'болото' (Kott I, 1055), польск. *moczadło* то же (Nitsche, 81), словен. *močílo* 'лужа, болото' (Badjura, 231).

**mokrina*: польск. *mokrzyna* 'болото' (Nitsche, 81), чеш. *mokřina* то же (Trávníček, 954), русск. диал. *мокрина* 'лужа, мочажинка, болотце' (Даль II, 340), укр. *мокрина* 'мокрое место, болото' (Гринченко, II, 440), словен. *mokrína* 'мокрое место' (Plet. I, 599).

**mokrędь*: др.-русск. *мокрѧдь* 'болото' (?) (Срезневский II, 164), чеш. *mokřad'* то же (Kott I, 1060), словен. *mokrâd* 'влажное место' (Plet. I, 598).

Обозначения болот могут иметь несколько лексико-словообразовательных вариантов, лишь для некоторых из них удается более определенно проследить ареалы распространения. Таковы общеслав. **močarъ* и словен.-серб. **močьvarъ*/**močьvirъ*: польск. *moczar* 'болото' (Nitsche, 81), чеш. *močár* то же (Kott I, 1055), укр. *мóчар* 'топь, низменное, с подпочвенной водой место' (Гринченко II, 450), болг. *мочюр* 'болото' (Геров IV, ч. 2, 78), макед. *мочур* то же, словен. *močę̂r* то же (Plet. I, 595) || с.-хорв. *mȍčvâr* то же (Iveković—Broz I, 700), словен. *močvâra* то же (Plet. I, 595) и *močvír* то же > с.-хорв. *močvír* (Schütz, 63). Еще большее разнообразие словообразовательных вариантов представлено для другого обозначения болот: **tręsъ*, **tręsina*, **tręsov-*, **tręset-* (от **tręsti*). Они следующим образом распределяются на славянской языковой территории: **tręs-* только в словен. *trę̂s* 'трясина' (Plet. II, 687); общеславянское распространение имеет **tręsov-*: польск. *trzęsawa* 'трясина' (Nitsche, 89), чеш. *třasavka* то же (Kott IV, 148), укр. *трясовина* 'мокрая заболоченная низменность' (Марусенко, 82) Черниг., Хмельн., блр. *трясови́на* 'трясина, зыбкое место' (Носович, 642), болг. *трьсѧвина* то же (Геров IV, ч. 2, 78); восточнослав. **tręsina*: русск. диал. *тряси́на* (Даль IV, 439), укр. *трясина* (Марусенко, 82), только южнославянские языки характеризует основа **tręsetъ*: с.-хорв. *trȅset* 'торф' (Schütz, 51), словен. *tresèt* то же (Plet. II, 687), макед. *тресет* то же.

Достаточно древним обозначением болот следует признать **topь*/**topnь*, **topn'a* (от **topiti*). Основы имеют общеславянское распространение, но в значении 'болото' в польском и русском языках выступает **topь*: ср. русск. диал. *топь* пск. 'топкое, вязкое место, болото' (Даль IV, 416), польск. *top*' 'болото'

(Nitsche, 88), на остальной славянской территории в том же значении представлена основа **topnь/*topn'a*: чеш. *tůně*, *tůň* 'глубокое место, болото' (Kott IV, 227), н.-луж. *toń* 'болото' (Muka II, 762), с.-хорв. *tònja* 'торфяник' (Schütz, 51), словен. *tǫ̂nja* 'глубокое место в воде; лужа, болото' (Plet. II, 676).

Менее четкое географическое распределение характеризует те лексико-словообразовательные варианты, которые различаются наличием или отсутствием суффиксального форманта *-ělь*. Здесь можно указать уже упоминавшиеся русские диал. *дрязга* 'лесистая, болотистая местность' (Мельниченко, 62) и словен. *dręzgalica*, *drozgalica* 'трясина' (Ptet. I, 171), с.-хорв. *glîb* 'грязь, болото' (Iveković—Broz I, 314), болг. *глиб* 'трясина, болото' (Младенов ТР, 435) и польск. *glibiel* то же (Nitsche, 76), а также др.-русск. *зыбь* 'зыбкое место, трясина' (Срезневский I, 1009), словен. *zíbi* 'болото' (Plet. I, 920) и русск. диал. *зыбель* яросл. 'трясина' (Мельниченко, 79). В ряду образований на *-ělь* можно отметить русск. диал. *топе́ль* пск. 'топкое, вязкое место, болото' (Даль IV, 416), польск. *topielisko* то же (Nitsche, 88), русск. прибалт. *вя́зель* 'вязкое дно' (Г-ры Прибалтики, 63), русск. пск., твр. *месе́лица* 'вязкая, топкая грязь' (Даль II, 69).

При анализе словообразовательной структуры рассмотренных выше образований обращает на себя внимание тот факт, что многие достаточно древние отглагольные имена представляют простые корневые основы: ср. блр. *вязь* < **vęzti*, русск. *зыбь* < **zybati*, *качь* < **kačati*, *топь* < **topiti*, др.-русск. *грѧзь*, укр. *hruź* < **gręznǫti*, **grǫziti* и др.

На одну очень древнюю словообразовательную особенность словен. *zíbote* 'болото' любезно указал проф. Фр. Безлай. По происхождению это старое причастие на *-ǫtъ* от глагола *zíbati* (Plet. II, 919). Оно стоит в одном ряду с образованиями типа словен. *Zjot* (в Белой Крайне название подземного углубления) < *zijati*, словен. *vrotek*, русск. топ. *Оврут* < **vьrǫtъkъ*, словен. *mogotec* < **mogǫtьcь*. Использование причастных образований в функции болотного термина отмечено только в русском и словенском языках.

К числу древних словообразовательных формантов принадлежат суффиксы *-*tь*, *-*to*, выделяемые в составе двух основ: **soltь* < **solь* и **bolto* (ср. лит. *balà* 'болото') [28].

Подытоживая все вышеизложенное, мы позволим себе привести перечень болотных терминов, имеющих общеславянское и узко диалектное распространение.

Общеславянские термины: **bělь*, **bolto*, **boltina*, **boltьnica*, **bara*, **gręzь/grǫzъ*, **kalъ*, **kaluga*, **lęgъ/*lǫgъ*, **molka*, **mokъ/*

---

[28] А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951, стр. 284.

*moky/*moč-, *močarъ/*močьvarъ/*močьvirъ, *močidlo, *mokrina, *mokrędь, *topь/*topnь/*topn'a, *tręsina/*tręsov-/*tręset-, *soltina.

Лексико-словообразовательные диалектизмы: *bagъno, *dręg(ъ)va, *gręzina, *glibь, *merča/*morky, *timěno, *zybь и др.

Тождественные по своей структуре славянские лексико-словообразовательные варианты признаются потенциально архаичными, хотя и не всегда с категорической определенностью могут быть отнесены к праславянскому уровню из-за отдельных поздних инноваций [29].

Названия болот образуют довольно подвижные системы, совмещающие в себе явления разных хронологических уровней. В целом едва ли можно говорить о глубокой праславянской древности болотной терминологии. Само значение 'болото' для подавляющего большинства рассмотренной лексики является общей семантической инновацией. Процесс формирования этой терминологии осуществляется в основном в период интенсивного выделения отдельных славянских языков.

Самостоятельными географическими терминами, пожалуй, можно признать лишь *bolto, *bělь, *bagъno, *merča/*morky, *timěno. Лишенные семантической мотивированности на праславянском уровне, они обнаруживают параллели, правда, не всегда достаточно точные, в балтийских и германских языках. Так, *bolto более или менее определенно сопоставимо с лит. báltas 'белый', *bagъno, для которого в нижнелужицком отмечена непроизводная форма bagi мн. ч. < *bagъ, допускает сближение с др.-в.-нем. bah, нем. Bach 'ручей' [30]. Соответствия в балтийских языках обнаруживает и *merča / *morky: лит. merka 'влажность, сырость', лтш. marks 'маленький пруд на лугу' и др. Очень неясным остается происхождение западно- и восточнославянской основы *timěno, авторы этимологических словарей связывают его с tina, tajatь, сближая с греч. τῖλος 'жидкие испражнения', англос. dīnan 'намокать' и др. (Vasmer III, 105). Видимо, эти термины складываются на уровне, предшествующем праславянскому, в соответствии с теми семантическими моделями, которые действовали и в поздний период развития славянских языков.

Затемненной внутренней формой обладают некоторые единичные образования, словообразовательные связи для них про-

---

[29] Понятие праславянского лексического диалектизма получило освещение в работах: О. Н. Трубачев. Принципы построения этимологических словарей славянских языков. — ВЯ, 1957, № 5; Он же. О составе праславянского словаря. — «Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов»; Он же. О праславянских лексических диалектизмах сербо-лужицких языков. — «Серболужицкий лингвистический сборник». М., 1963.

[30] О. Н. Трубачев. О праславянских лексических диалектизмах серболужицких языков, стр. 160.

ясняются с помощью этимологических изысканий. Примером такого рода случаев может служить русск. *дребь* олон. 'непроходимые мхи' (Куликовский, 20), *дребезина* 'трясина, топкое место' (Сл. сред. Урала, 145). Поставленное в один ряд с болгарским *дребáк* 'мелколесье', *дребен* 'мелкий' (Младенов, ТР, 596—597), оно допускает сближение с русск. *дреба* 'сгусток, осадок, выжимки', последнее чередованием *е/о* связано с *дроба*, *дробить*. Русскому *дребезина*, возможно, соответствует лит. *drebėzna* 'осколок, заноза'. Сходный тип образования представляет **lomъ* < **lomiti*.

Стерлись внутренние связи для словенских основ *múzga*, *mǫ̂zga*, *múža*, *mezína* 'болото', видимо, исконно родственных. Представленная в словенском форма *mozîrje* 'болото' указывает на вариантность основ с суффиксом *-g-* и без него: **muzgъ* (ср. также др.-русск. *музгъ* 'тина') / *muz-* (словен. *múža*) с полной ступенью корневого вокализма. Ступень редукции, видимо, представляет словен. *mezína* 'болото' (Plet. I, 579) < **mъza* / **mъzga* (ср. русск. *мзга* 'слякоть, сырость') [31].

В славянских языках доминирующее положение занимают термины, сохраняющие черты вторичного семантического использования. На основании внутриязыковых данных восстанавливается для них исходный круг значений. Достаточно простого обзора форм и связанных с ними значений, чтобы произвести общеслав. **soltina* от **soltь* (ср. *солоть* ярос. 'топкое, ржавое место'), а последнее от **solь*, ср. русск. диал. *засолы* 'застойная или ржавая вода, стоящая окошками в болотах' (Даль I, 633), чеш. *solanka*, *solniště* 'соляное болото' (Kott III, 516, 518), укр. *солонець* 'мокрая, заболоченная низменность' (Марусенко, 79). Получает семантическую мотивированность и общеслав. **molka*, поставленное в один ряд с чеш. *mlklý* 'сырой', *mlkvý* то же, слвц. *mlkly* 'сырой, незрелый', с.-хорв. *mlâk*, *mláka* 'тепловатый' (RJA VI, 830—831). Наибольшую связь с исходным значением сохраняет с.-хорв. *mlâkva* 'незамерзающее болото', *mlăka* 'болото, в котором бьют ключи' (Iveković—Broz I, 695). В основном же болотные термины имеют довольно прозрачную внутреннюю форму, позволяющую легко проследить семантические переходы.

Сложившиеся в славянских языках названия болот образуют пересекающиеся системы, в которых генетически унаследованные части сосуществуют с общностями, явившимися результатом типологического сходства.

Продуктивный способ обозначения болот по признаку, передаваемому глагольной основой, по-разному реализуется в славянских языках. Наряду с общеславянскими и узко диалектными отглагольными образованиями типа **gręzъ* / **grǫzъ* и

---

[31] Bezlaj II, стр. 45.

**zyb*ь существуют единичные основы, сложившиеся в отдельных диалектах по этой же модели. Типологически сходными являются русск. диал. *дыбун* арх. 'топкое болото, непроходимая трясина' < *дыбать*, укр. *здвижовина* 'трясина' < *двигати*, польск. *wezdma* < *wzdąć*, *wzdymać* (Nitsche, 71), с.-хорв. *plȍšta* 'болото, лужа' < *plȍskati* 'шлепать по грязи' (Schütz, 64—65) и мн. др. Число таких единичных обозначений болот в отдельных славянских языках довольно значительно. Общим для них является то, что в своем функционировании они подчиняются определенным семантическим моделям, о которых речь шла выше [32].

Болотная терминология составляет поздний слой географической лексики индоевропейских языков [33]. Системы болотных терминов типологически сходно устроены. Однотипные семантические модели накладываются на сходный лексический материал. Следствием генетических связей, а также действия типологически сходных тенденций является частичное совмещение этих систем, и в особенности близкородственных. Примером последних могут служить балтийские и славянские языки. В балтославянской языковой области наблюдаются следующие формально-семантические соответствия: **luža*—лит. *liũg(n)as* 'болото, лужа', **lomъ*—лтш. *lãma* 'лужа, болото', **mulь*—лит. *mul̃vė* 'ил, болото', **struga*—лтш. *strũga* 'болото', *straũga* 'низкое место, где можно провалиться'. Остальные соответствия допускают те или иные расхождения: **dręg(ъ)va*—лит. *drė̃gnas*, лтш. *drȩ̂gns* 'сырой', **gręzь* / *grǫzъ*—лит. *grim̃zlės* 'болото', **dъbno*—лтш. с суфф. *-r- dubra* 'болото, лужа', **mokъ*—лтш. *makņa* 'болото', **merča* / **morky* — лит. *merka* 'влажность, сырость', лтш. *marks* 'маленький пруд на лугу'.

Балтийская болотная терминология, как и славянская, — плод скорее самостоятельного развития, и те немногочисленные соответствия, которые имеют место, свидетельствуют о наличии лексических инноваций в этой языковой области [34].

---

[32] В рамках данной статьи мы лишены возможности привести полный перечень всех типологически сходных единичных обозначений болот по всем славянским языкам. Число их довольно велико. Следует также заметить, что мы не претендуем на исчерпывающее описание всей болотной терминологии. Для нас важно отметить лишь основные семантические и словообразовательные типы болотных терминов.

[33] C. D. B u c k. A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. A Contribution to the History of Ideas. Chicago, 1949, 1. 214, стр. 20.

[34] Пользуясь случаем, приношу глубокую благодарность Ж. Ж. Варбот, В. А. Меркуловой, Н. И. Толстому, О. Н. Трубачеву, а также акад. Ф. Безлаю, проф. Ф. Славскому и док. Х. Шустеру-Шевцу за те ценные замечания, которые были сделаны при подготовке доклада и во время обсуждения его на Симпозиуме.

Сокращения

Атлас	Рукописные материалы Атласа русских говоров центральных областей к северу от Москвы. Хранятся в Институте русского языка АН СССР.
Марусенко	Т. А. Марусенко. Материалы к словарю украинских географических апеллативов (названия рельефов). Рукопись.
Badjura	R. Badjura. Ljudska gegrafija. Terensko izrazoslovje. Ljubljana, 1953.
Bezlaj. Slov. vodna imena	Fr. Bezlaj. Slovenska vodna imena, I—II. Ljubljana, 1961.
Moszyński. Kultura ludowa	K. Moszyński. Kultura ludowa słowian. Część II. Kultura duchowa. Kraków, 1939.
Plet.	M. Pleteršnik. Slovensko-nemški slovar, I—II. Ljubljana, 1894—1895.
Rudnicki	J. Rudnicki. Nazwy geograficzne Bojkowszczyzny. Lwów, 1939.
Schütz	J. Schütz. Die geographische Terminologie des Serbokroatischen. Berlin, 1957.
Stieber	Zd. Stieber. Toponomastyka Łemkowszczyzny, II. Nazwy terenowe. Łódź, 1949.

Н. И. Толстой

ОБ ОДНОМ БАЛТИЗМЕ В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ДИАЛЕКТАХ — *пелька*

Лексема *⁺pelьka* [1] занимает довольно обширный и почти замкнутый ареал, охватывающий западнолитовские, латышские, значительную долю белорусских, часть украинских (вероятно, только северных) и великорусские — псковские, новгородские (судя по фольклорным данным, также восходящие к древненовгородским — олонецкие, архангельские, печорские), калужские, рязанские, брянские, курские, воронежские и тамбовские диалекты.

В литовском литературном языке *pélkė* — 'болото', а в западных диалектах — 'болото', 'трясина', 'мокрый луг', 'лужа' (иногда 'яма полная воды'), 'торфяник' [2]. В качестве заимствования из литовского в латышском — *pelke* 'лужа' [3], где известно также собственно латышское *pelce* 'лужа' [4]. Слово *pelky* зафиксировано и в памятниках прусского языка как 'топь, болотистое место, болотистая почва' [5]. Во всем балтийском ареале интересующее нас слово выступает как географический апеллятив — термин рельефа.

В южно- и западнославянских языках лексема *⁺pelьka* неизвестна. В словарях восточнославянских литературных языков она снабжена пометами *обл.* (областное) или *разг.* (разговорное),

---

[1] Знак ⁺ перед лексемой означает, что она принадлежит не какому-либо конкретному языку, а языку-эталону, наддиалектному языку, применяемому при сравнительных (сравнительно-исторических и сравнительно-типологических) исследованиях ряда родственных языков (или диалектов). При этом принято пользоваться «праславянской» формой даже в тех случаях, когда лексема явно не могла существовать в праславянском языке.

[2] Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1954. — По данным диалектологической картотеки Института литовского языка и литературы, лексема *pélkė* в указанном выше значении распространена только на западе Литвы — повсеместно в жемайтских говорах и в значительной части западных аукштайтских говоров. В восточной части Литвы распространено слово *balà* 'болото', известное также литературному языку. Эти сведения получены мною благодаря любезности А. Йонайтите, которой выражаю свою искреннюю признательность.

[3] «Latviešu-krievu vārdnīca». Rīgā, 1963.

[4] K. Mūlenbach. Latviešu valodas vārdnīca. Rīgā, 1923—1925.

[5] Привожу по словарю Э. Френкеля (Fraenkel, стр. 567). Этимологию слова *pélkė* см. в цитируемых словарях Э. Френкеля и К. Мюленбаха—Я. Эндзелина.

что свидетельствует о ее диалектном источнике и стилистической народно-разговорной окраске.

Белорусское: *пе́лька* ж. *обл.* 'про́рубь' [6].

Украинское: *пе́лька разг.* 'глотка'; *бран.* 'хайло́', *обл.* 'про́рва' (Так то висотали з мене всі жили. Так то цілий вік свій напихав я чужу *пельку* (*Коцюб.*): Із нор золото виносять, щоб *пельку* залити Неситому!. . . (*Шевч.*); *заткнути ~ку вульг.* 'заткнуть глотку' (Треба ж чимсь горлатому панові *пельку заткнути* (*Мирн.*) [7].

Русское: *пе́льки*, *ов*, *мн.* (*ед. пе́лька*, и. *ж.*). *Обл.* 'Часть одежды на груди, у горла'. Брать, взять, хватать и т. п. *за пельки*. — *Павел*! *Выведи вон. . . Лакей взял Краюхина за пельки*. Н. Усп. (Николай Успенский. — *Н. Т.*). Егорка — пастух. *Приказчик мертвой хваткой сгреб Серого за ворот*, *за душу — и на мгновенье оба замерли. — Ты что же это*, *— за пельки хватать*? — *спросил Серый*. Бунин. Деревня [8].

Связь семем 'прорубь' ↔ 'глотка' ↔ 'часть одежды на груди, у горла' ↔ 'болото', 'лужа' может показаться слабой и трудно мотивируемой. Однако привлечение более широкого диалектного, в первую очередь белорусского, материала дает возможность установить эту связь.

Мои четырехлетние полевые наблюдения над лексикой белорусского Полесья показали, что в западном Полесье лексема *+pel'ka* неизвестна. Зато она довольно часто встречается в восточнополесской зоне.

пел' ж. 'чистое, не поросшее ни редким лесом, ни кустарником болото'; *пе́л'ка* ж. 'такое же болото меньшего размера' (село Вельё, бывш. Туровского, ныне Житковичского р-на Гомельской обл).

Лексема *пел'*, вероятно, отражает случай, когда заимствование было воспринято на славянской почве как деминутив («суффикс» *-ка*) и от него «восстановлен» апеллятив без «уменьшительного суффикса» [9].

---

[6] «Беларуска-рускі слоўнік», пад рэдакцыяй акад. К. К. Крапівы. М., 1962.

[7] «Українсько-російський словник» III. Київ, 1961,

[8] «Словарь современного русского литературного языка» IX. М., 1959.

[9] Следует отметить, однако, что для современных полесских говоров часто характерны случаи так называемой «деэтимологизации» суффикса (см.: Л. А. Булаховский. Деэтимологизация в русском языке. — «Труды Ин-та русского языка» I. М., 1949, стр. 147—209). Суффиксы, известные в других восточнославянских диалектах как деминутивные, в Полесье в сочетании с рядом корней употребляются как словообразующие без оттенка уменьшительности. Характерным примером может послужить слово *пен'óк* со значением почти во всех полесских диалектах 'пень вообще' (в том числе и 'большой пень'), в то время как обычно лексема *п'е́н'* отсутствует; если же она известна, то за ней чаще всего закрепляется другая семема. Так, в дер. Луково (Малоритский р-н Брестской обл.) *пен'óк* 'пень', а *п'ен'* 'дупло' (собств. наблюд. 1965 г.). Что касается слов *пе́л'ка—пе́л'*, употреб-

п'ел'а́ ж. 'низкий невспаханный участок поля, где обычно стоит вода'; *п'е́л'ка* ж. 1. уменьш. от *п'ел'а́*; 2. 'прорубь' (д. Дорошевичи Петриковского р-на Гомельской обл.).

п'ел'а́ ж. 'низкое, мокрое место в лесу, поросшее травой или мхом' (д. Голубица Петриковского р-на).

п'е́л'ка ж. 'прорубь' — ў л'оду́ прору́бывајеца — п'е́л'кој называ́јеца (д. Голубица Петриковского р-на)[10].

п'е́л'а ж. уменьш. *пе́л'ка* ж. 'прорубь' (д. Шестовичи Мозырьского р-на Гомельской обл.).

п'е́л'а, *п'е́ја* (*п'и́ᵉја*) ж. 'более сухое место в окружении болот' (иногда поросшее «хмызняко́м», вереском или березняком) (д. Буда Головчицкая Ельского р-на Гомельской обл.).

В восточном Полесье, в Овручском районе, уже на территории Украины (Житомирская обл.), *пеля́* ж. — 'большая яма, колдобина с водой' («а з пел'е́ вут'ека́йе роʸў̆ча́к») (д. Селизивка)[11].

ляемых в одном и том же диалекте, то в некоторых случаях наблюдается отношение деминутив—не деминутив, а в некоторых диалектах обе лексемы выражают одну семему без оттенка уменьшительности. В связи с этим следует обратить внимание на зафиксированные Полесской лингвистической экспедицией (1964 г.) дублетные формы *б'е́л'ка* — *б'еᶦл'*, мн. ч. *б'е́л'и*, где *б'е́л'ка* также, видимо, — не деминутив (дер. Зосинцы Ельского р-на Гомельской обл.). Слова эти синонимичны *пе́льке* и *пе́ли*. Они значат: 'мелкое, не топкое, проходимое для скота болото, поросшее травой' (согласно сообщению одного информанта из дер. Зосинцы), 'сенокос в лесу' (согласно сообщению другого — дер. Зосинцы). В соседнем селе Кочище (Ельский р-н) *б'е́л'* или *б'е́л'ка* — 'заболоченное низкое место' («долінка, заболо́ченаја м'е́стіна»), а в дер. Боровое Лельчицкого р-на *б'е́л'*, *б'е́л'ка* — 'небольшое болото (до 1 га)'. Такое же значение для Речицкого Полесья отмечает К. Мошинский — *б'е́л'* 'ровная болотистая поверхность (луг, лужайка) среди леса, поросшая жесткой травой', добавляя, что, согласно устному сообщению М. Федоровского, на Гродненщине для слова *б'е́л'* известно значение 'болотный луг, на котором растет Glyceria fluitans' (K. Moszyński. Uwagi o słowiańskiej terminologji topograficznej i fizjograficznej oparte przeważnie na materjale białorusko-poleskim. — «Archiwum nauk antropologicznych» I, 5. Lwów—Warszawa, 1921, стр. 2). В дер. Голубица *б'е́л'* — 'болотная трава' (ср. случаи названия травы и сена по месту, где она растет, или переноса названия по этому принципу: см. в моей книге «Славянская географическая терминология». М., 1969). Полесский материал дает возможность выдвинуть предположение, согласно которому могли существовать своего рода параллельные формы с «факультативным» употреблением то звонкого, то глухого варианта начального согласного — *пе́л'*/*бе́л'* (ср. также *поло́н'*/*боло́н'* 'прибрежный луг, пастбище', 'топкий луг', зафиксированные в том же центральном и восточном Полесье), и даже гипотетически вывести полесск. *бе́л'ка*, *бе́л'* из *пе́л'ка*, *пе́л'*. В дальнейшем *бе́л'* могла по народной этимологии ассоциироваться с корнем *běl-* 'белый'. К. Мошинский в цитированном выше исследовании оставил вопрос об этимологии слова *бе̂л'* открытым, но все же указал на возможность непосредственной связи *бел'* с *běl-* 'белый', так как на болотистых «белях» часто растет пушница (болотный пух — Eriophorum sp.).

[10] К. Мошинский в своем этнографическом описании Голубицы и Дорошевичей не приводит слов *pel'á*, *pél'ka* (K. Moszyński. Polesie wschodnie. Warszawa, 1928).

[11] П. С. Лисенко. Словарь диалектной лексики северной Житомирщины. — «Славянская лексикография и лексикология». М., 1966, стр. 41.

Там же, около Овруча, по данным Н. В. Никончука, *пéл'ка* — 'прорубь', наряду с значением 'горло, глотка', 'рот, хайло' (с. Выступовичи, Покалев и др.). Оба эти значения отмечены несколько восточнее, под Чернобылем (с. Залесье). В районе того же Овруча (д. Переезд) зафиксирована любопытная форма *опéл'ка* 'прорубь', возникшая, вероятно, по модели укр. *полóнка—оползнка* 'прорубь'. А в северо-восточном углу белорусского Полесья, скорее уже в смежной с Полесьем зоне — на Глусчине (юго-восточная часть Минской обл.), в д. Славковичи и Клетное, *пéль* (*пêль*), уменьш. *пéлка* (*пêлка*) — 'низина посреди поля, обычно круглая или овальная' («У Наддáтках пéль вýкашана»; «Пêлка тáя ні вýкашана»)[12] и тут же, в поселке им. Я. Купалы, *пéлька* ж. — 'прорубь'[13]. Такое же значение *пéлька* ж. 'прорубь в реке' зафиксировано в центральной части Минской области, на Червенщине[14]. Несколько восточнее Глусска, в Паричском районе (Гомельская обл.), *пéля* ж. — 'глубокое место в стоячей воде' («На пéлі ўюны́ лóвяць») (д. Здудичи)[15]. Там же *пéлька* ж. — 'прорубь на льду' (д. Дуброва)[16].

Последние значения интересны тем, что в них осуществлен перенос термина земного рельефа на подводный с сохранением в принципе того же основного дифференциального признака — глубины по отношению к окружающему рельефу. Этот случай — далеко не единственный в славянской диалектной географической терминологии. Таким образом, *+pelьka* еще на территории Полесья из термина земного рельефа переходит в водный термин. *Пéлька* 'прорубь' известно не только в восточном белорусском Полесье и в других, в том числе и центральных, районах Белоруссии, но и западнее, в районе Путивля[17] и на Брянщине[18].

Картотека «Брянского областного словаря» фиксирует два значения для слова *пéлька*: 1. 'прорубь'; 2. 'ямка в горле'[19].

Именно это второе значение, знаменующее собой перенос термина из семантической сферы рельефа в сферу терминологии частей

---

12 Ф. Янкоўскі. Дыялектны слоўнік І. Мінск, 1959.

13 Там же.

14 М. В. Шатэрнік. Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны. Менск, 1929.

15 С. Прач. З лексікі вёсак Парыцкага раёна. — «Матэрыялы для слоўніка». Мінск, 1960, стр. 167.

16 С. Прач. Указ. соч.

17 П. Л. Маштаков. Материалы для областного водного словаря. Л., 1931.

18 Картотека «Словаря русских народных говоров» в Ин-те русского языка в Ленинграде. Запись Агранова в Трубчевском р-не (1957 г.).

19 Картотека «Брянского областного словаря» хранится в Ленинграде в Педагогическом ин-те им. Герцена. Приношу искреннюю благодарность В. И. Чагишевой за предоставленную мне возможность пользоваться картотекой и за сообщенный материал. В с. Вельжичи Почепского р-на В. И. Чагишева записала: п'éл'ус'т'ик завýт' и п'éл'ка — ета jáмка на γóрл'и, и душá тóжа назывájут'. В с. Удолье Трубчевского р-на отмечено также: *пéл'ка* 'небольшой водоем', 'лужа'. Значения 'прорубь' и 'ямка в горле' зафиксированы в основном в Трубчевском р-не.

тела, дает возможность объяснить ряд других значений, распространенных на великорусской территории. Общность лексемного инвентаря — терминов сферы рельефа и сферы частей тела в славянских языках довольно значительна. Достаточно указать на такие лексемы, как *+golva*, *+lъbъ*, *+nosъ*, *+oko*, *+ustьje*, *+chrъbьtъ* и т. п.[20] Более древним и частым был перенос из сферы частей тела в сферу рельефа, приведший к довольно устойчивому параллелизму терминов (к омонимии, при сохранении некоторого достаточно абстрагированного, но все же общего инварианта значения), что обеспечивало в свою очередь обратный переход из сферы рельефа в сферу частей тела.

Брянское *пéлька* 'ямка в горле' очень близко по значению к калужскому *пéльки* мн. 'выдающиеся на горле косточки' (район Мосальска)[21]. По сути дела здесь в микромасштабах тот же энантиосемический сдвиг, что и в ряде терминов рельефа, например: *верх* 'вершина горы' и южнорусск. *верх* 'овраг, дно оврага', словен. *vrh* 'вершина горы' и *vrh* 'седловина горы'[22].

От *пéльки* 'часть горла', 'нижняя часть горла', 'ямка, или выдающиеся подшейные косточки' метонимически, переходом от части к целому, возникло украинское (вероятно, северноукраинское) *пéлька* 'глотка' (ср. пример из сочинений Т. Шевченко, приведенный в «Украинско-русском словаре»), если не принимать во внимание другую возможность: через семантические звенья — 'прорубь' → 'прорва' → 'глотка', на что указывает стилистически-эмоциональная окраска слова и контексты, в которых оно встречается[23].

И. И. Носович в своем «Словаре белорусского наречия» (СПб., 1870) дает следующее толкование интересующего нас слова:

---

[20] См., например, соответственно индексы слов в кн.: J. Schütz. Die geographische Terminologie des Serbokroatischen. Berlin, 1957; R. Badjura. Ljudska geografija. Terensko izrazoslovje. Ljubljana, 1953; P. Nitsche. Die geographische Terminologie des Polnischen. Köln—Graz, 1964.

[21] Ф. И. Покровский и Е. Н. Яценко. Второе дополнение к «Опыту областного великорусского словаря». 1905—1921. Рукопись, хранящаяся в Архиве Ин-та русского языка в Ленинграде (шифр 117—118).

[22] Об этом подробнее см. в моей книге «Славянская географическая терминология». М., 1969.

[23] Б. Д. Гринченко дает слово *пéлька* со следующим толкованием и примером: «*Пелька, ки* ж. Глютка. Напекла стара моя такого хліба, що і в пельку не лізе. Кобеляк. 7. П'ять літ роблю на чужу пельку. Г. Барв. 321» (Грінченко III, стр. 106).

В некоторых случаях наблюдается и дальнейший семантический переход 'глотка' → 'рот': «Чого ти розкрив свою пельку? Кричиш на все село!» (с. Человка, Коростеньск. р-н, Житомирск. обл., сообщил Н. В. Никончук). В. В. Мартынов обратил мое внимание на ряд примеров перехода 'прорва' → 'глотка' в других языках: укр. *хлань* 'бездна, пропасть', *хламати*, *хланути* 'жадно есть'; ст.-польск. *odchlisko* 'бездонное отверстие', *odchlina* 'отверстие', *chłanąć* 'жрать, пожирать' (F. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego I. Kraków, 1952, 1956, стр. 68); ср.-в.-нем. *slunt* 'глотка', 'пропасть'; др.-саксон. *slund* 'глотка'; гот. *fra-slindan* 'проглатывать' (F. Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 16. Aufl. Berlin, 1956).

пе́льки, *-ек*, ж. употр. во множ. 'грудина, грудная кость, груди' («Пельки свое выставив, не засцегнувся»); *пе́льковый* прил. 'грудной' («Пельковое мясо») [24]. На белорусско-южнорусском пограничье, в так называемом северском диалекте, П. А. Расторгуев [25] записал: *пе́лькі* 'груди (женские)'. Значение 'груди' и 'ворот' отмечено в витебских говорах: *пе́льки* 1. 'женская грудь' («Як сьцісьне мне у пельках») (д. Лукьяново, Сонненского р-на); 2. 'ворот («Сем адзёш, а пелькі розны») (д. Ранчицы, Бешенковичск. р-н) [26].

То же значение *пе́льки* — 'женская грудь' известно по многим былинным и другим фольклорным текстам, записанным на великорусском Севере в Олонецкой и Архангельской зоне, на Белом море, на Печоре (записи Ончукова, Григорьева, Маркова, собрания Тихонравова и Миллера). В некоторых случаях эти тексты как будто выявляют и *пе́лька* просто 'грудь' (собрания Афанасьева, Рыбникова), а также *пе́лецко* 'лопатка средней ноги (части? — *Н. Т.*) у животного' (олонец. запись Рыбникова) наряду с *пе́лечка* 'часть пазухи за лямкой сарафана, подмышка' (очевидно, женская) и, наконец, *пе́лечка* 'передняя часть рубахи, прикрывающая грудь' (олонец. запись Рыбникова) [27].

В последнем примере, так же как и в случае с витебским *пе́льки* 'ворот', наблюдается уже переход из сферы названий частей тела в сферу терминов одежды. Здесь также можно привести ряд широко известных аналогий: общеслав. **vortъ* 'шея', русск. *ворот* 'воротник', русск. *грудь* 'грудь' и 'грудь рубашки, мундира и т. п.', *спина́* 'спина' и 'задняя часть рубашки, мундира и т. п.'

В говорах древней севернорусской метрополии, в Новгородской земле, отмечено *пе́лька* 'у рубах: передняя часть, покрывающая грудь' (б. Тихвинский у.) [28]. Ср. аналогичные и близкие значения в Псковской земле, где *пе́лька* — 'часть всякой одежды, находящаяся на груди у горла' (б. Псковский у. Псковск. губ.), 'передняя часть рубахи, покрывающая грудь', 'ворот одежды'

---

[24] К сожалению, И. И. Носович не указывал места записи слов. Основной материал, как известно, он черпал из диалектов бывш. Могилевской губ., но были включены в словарь и слова из бывш. Минской и Гродненской губ.

[25] П. А. Расторгуев. Северско-белорусский говор. Л., 1927.

[26] М. І. Касьпяровіч. Віцебскі краёвы слоўнік. Віцебск, 1927.

[27] Все примеры из северновеликорусского фольклора даны по статьям *пе́лька*, *пе́лечка* в кн.: Ф. П. Филин. Проект «Словаря русских народных говоров». М.—Л., 1961, стр. 175, 177—178. Г. Куликовский в «Словаре областного олонецкого наречия» (СПб., 1898) лексем *пелька* и *пело* не дает. Нет их и у А. Подвысоцкого в «Словаре областного архангельского наречия» (СПб., 1885). Характерны ли эти слова только для языка фольклора, принесенного из новгородской метрополии, или они все же существуют в диалектной речи олонецких, архангельских и печорских крестьян и поморов, выяснится, вероятно, из подготовляемых в ЛГУ «Печорского областного словаря» и нового «Областного словаря русских говоров Карелии», работа над которым начата по инициативе проф. Н. А. Мещерского, а также нового «Архангельского областного словаря», картотека которого собирается в МГУ.

[28] Опыт, стр. 154.

(д. Савкино и д. Подсосонье Пушкиногородск. р-на Псковск. обл.), *пéлечка* — 'планка на груди мужской рубахи' (д. Лисицы Пушкиногородск. р-на) [29], затем в Калужской зоне, в районе Жиздры, где *пéлька* — 'ворот рубашки' [30], восточнее, в Рязанской зоне, в районе Богословщины (Захаровск. р-н), где *пéльки* — 'нашивки из красной ткани по обеим сторонам ворота (выреза) в традиционной женской кофте («рубахе»)' [31], и, наконец, в Тамбовской зоне, где *пéлька* — 'часть рубашки, прикрывающая грудь' [32].

К перечисленным значениям близки новгородское *пéлька* 'пуговица у рубашки' (б. Новгородский у.) и псковское *пéлька* 'петелька' (д. Кудяево, Новоржевский р-н) [33], возникшие на основе метонимического переноса с целого на его часть.

В брянских говорах, где, как отмечалось, *пéлька* означает 'прорубь', 'лужа' и т. п. и 'глотка', известны словосочетания *схватúт' за п'éл'ки*, *вз'áт' за п'éл'ки* (Рогнединский и Брянский р-ны), т. е. 'схватить за глотку', 'схватить за душу' (материал В. И. Чагишевой). Эти сочетания, вероятно, еще не идиоматичны в полной мере, так же как и в примере, отмеченном Машкиным в обоянском говоре Курской зоны: *пéльки* 'в одежде: передняя часть, покрывающая грудь': *Ён схватил иго за пельки да и паташшил* [34]. Но в других случаях ужé — в тех же курских говорах М. Г. Халанским, а в воронежских Ф. И. Поликарповым — был отмечен, надо полагать, чистый идиом (т. е. случаи, когда лексема вне определенного сочетания не употребляется): курск. «*пельки* —

[29] Опыт, стр. 154; К. Иеропольский. Говор д. Савкино Пушкинского р-на Псковского округа. — «Изв. ОРЯС» III, 2. Л., 1930, стр. 593 и запись в д. Подсосонье Ануфриевой (1957 г.). — Архив «Словаря русских народных говоров», Ленинград; И. К. Копаневич. Провинциализмы Псковской губернии (рукопись). — Рукописный отдел Библиотеки АН СССР, Ленинград; статья *пелечка* в кн.: Ф. П. Филин. Проект «Словаря. . .», стр. 178, запись А. Максимова (1958 г.). В примыкающем к Псковской зоне районе распространения русских старожильческих говоров в Эстонии, а также в Латвии и Литве *пéлька*, уменьш. *пéлечка* — 'передняя часть мужской рубашки, где находятся пуговицы и петельки' (В. Н. Немченко, А. И. Синица, Т. Ф. Мурникова. Материалы для словаря русских старожильческих говоров Прибалтики. Рига, 1963. В дальнейшем — «Материалы. . .»).

[30] П. Д. Борщев. Слова, взятые из живой речи г. Калуги и Калужской губернии (рукопись). — Архив Ин-та русского языка, Ленинград.

[31] Ср. там же *беспéлешная рубáха* — 'рубаха без «пелек»'. Материал любезно сообщен Ю. П. Чумаковой.

[32] С. Казанский. Город Козлов Тамбовской губернии (рукопись). — Архив АН СССР, ф. 197, Ленинград.

[33] Ф. И. Эрдман. Дополнение к «Опыту областного великорусского словаря» по Новгородской губернии. — «Уч. зап. Казанского ун-та», кн. 2. Казань, 1857; В. И. Максимов. Материалы для словаря псковских говоров (запись А. Максимовой 1957 г. — Архив Ин-та русского языка, Ленинград).

[34] Машкин. Дополнение к сборнику местных слов, употребляемых в Обоянском уезде (рукопись 1859 г.). — Архив АН СССР в Ленинграде, ф. 216, оп. 4.

в выражении *схватить за пельки*, т. е. за горло, за грудь»; воронежск. «*пельки* — в выражении «*ухватить за пельки*» — за одежду у ворота»[35].

По той же модели построено известное в русской разговорной речи устойчивое сочетание *схватить за грудки*. Идиом *схватить, поймать за пельки* побудил В. Даля предложить, вероятно, не совсем точное толкование: «1.*Пельки* ж. мн. тмб. вор. виски, кудри, волоса, космы, патлы, пакли. Поймал его за пельки! Потаскать за пельки». Кроме этой словарной статьи, Даль дает другую, со словом, которое он считает омонимичным: «2. *Пельки* (мн.) кур. одежда на груди, платок?», справедливо ставя после толкования 'платок' знак вопроса[36].

Заключая обзор примеров, отметим еще два узко локальных значения, зафиксированных целым рядом диалектных лексикографов только в псковских говорах. Первое — *пéлька, пéлечка* ж. 'деревянный черпак плоской формы, для выкачивания воды из лодки'[37].

Здесь наблюдается переход интересующего нас термина в иную терминологическую сферу — в сферу орудий рыболовства и судоходства на основе общего (обобщающего) семантического момента — предмета (resp. места) с углублением, выемкой.

И, наконец, второе — *пéлька* ж. 'небольшое количество муки, крупы'[38]. Здесь отражен дальнейший переход в еще одну терминологическую сферу, сферу терминов народной метрологии — количество сыпучего тела, которое можно зачерпнуть «пелькой» ('совочком').

Изложенный материал позволяет отметить довольно последовательный переход лексемы **pelьka* из одной семантической сферы в другую. Эта последовательность может быть представлена следующим образом:

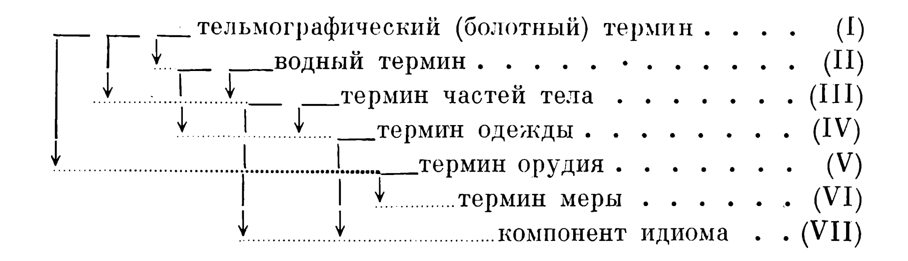
---

[35] М. Г. Халанский. Народные говоры Курской губернии. — Сб. ОРЯС, XXVI, № 5. СПб., 1904, стр. 371; Ф. И. Поликарпов. Материалы для изучения южновеликорусских говоров. Нижнедевицкий словарь. — «Филологические записки». Воронеж, 1911, вып. V.

[36] Даль[3] III, стр. 68. Для лексемы *пéлька* Даль дает три статьи: «1. *Пелька* ж. нвг.-бор. детская пеленка||Нвг.-тхв. передняя часть рубахи, отворот косоворотки, и самая застежка, пуговка, запонка рубашечная (гапелька?); || пск. часть всякой одежды, закрывающая грудь. 2. *Пéлька* ж. пск. деревянный совок? 3. *Пéлька* ж. зап. прорубь?». Как будет видно из дальнейшего изложения, материал и сопоставления В. Даля повлияли на этимологические сопоставления и соображения А. Преображенского и М. Фасмера. Что касается слова *гапелька* 'крючок, петелька', то оно не имеет общей этимологии с *пелька*, так как является полонизмом, восходящим в свою очередь к нем. *Haftel*, *Heftel* 'застежка, булавка' (St. Kochman. Polsko-rosyjskie kontakty językowe w zakresie słownictwa w XVII wieku. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1967, стр. 64).

[37] И. Д. Кузнецов. Рыбопромышленный словарь Псковского водоема. Пг., 1915; также: «Опыт областного великорусского словаря». СПб., 1852, стр. 154; И. К. Копаневич. Указ. рукопись.

[38] И. К. Копаневич. Указ. рукопись.



где стрелки показывают переход от одного уровня (регистра) к другому.

Характерно, что последовательность уровней (регистров) может быть представлена и лингвогеографически. Если от узко балтийского ареала как от центра провести несколько радиальных линий, а затем их пересечь несколькими сегментами окружности, то получится ряд зон, границы которых будут приближаться к границам изоглосс. Термины класса I будут охватывать балтийские и полесско-белорусские диалекты; термины класса II — часть балтийских, полесско-белорусские, полесско-украинские, ряд белорусских и часть южновеликорусских — брянских диалектов; термины класса III — часть белорусских, великорусские — брянские, калужские, олонецкие (?), архангельские (?), а также северо-восточные и центральные (?) украинские диалекты; термины класса IV — севернобелорусские (витебские) и великорусские — псковские, новгородские, олонецкие (?), калужские, рязанские, курские диалекты; термины V и VI классов — локально лишь псковские говоры; класс VII «лексема как компонент идиома» оказывается распространенным на юго-восточной окраине всего ареала, в великорусских — курских, воронежских и тамбовских говорах.

Из южновеликорусских говоров слово *пельки* проникло в русскую художественную литературу (Н. Успенский, И. Бунин), в периферийные сферы русского литературного языка.

Вероятно, новые исследования восточнославянской диалектной лексики позволят уточнить, или даже несколько изменить, предложенную схему семантической эволюции и территориального распространения интересующего нас слова. Однако и сейчас на его примере можно вновь подчеркнуть важность лингвогеографического фактора при исследовании семантики и этимологии слов, в особенности если речь идет о словах заимствованных. В данном случае эпицентр сохраняет более древнее значение, в прилегающих к нему районах еще жива семантическая связь слова со своим прототипом, однако она все более и более ослабевает и теряется ближе к периферии, пока совсем на окраине слово не попадает в состав идиома, т. е. теряет свою собственную номинативную функцию.

Естественно, что такую эволюцию нельзя возводить в ранг закона. Тем не менее рассмотренный случай отнюдь не уникальный.

Коллекция балтийских заимствований на восточнославянской диалектной территории еще не собрана и не изучена как следует. Выводы, которые можно сделать на основании одного слова, всегда преждевременны и требуют осторожного отношения. Однако все же можно предположить, что те славянские зоны, где лексема *⁺pelьka* выступает в качестве болотного термина и водного термина, были зонами достаточно интенсивного и дольше сохранявшегося славяно-балтийского контакта, вероятнее всего, славяно-балтийского двуязычия [39]. Там, где сохранился термин сухопутного или водного рельефа, мог произойти, согласно определению П. Скока, акт непосредственного заимствования (neposredna ili direktna pozajmica) [40], а в других зонах заимствование шло путем посредства, т. е. усваивалось уже не в ситуации двуязычия.

Но и при ситуации двуязычия проникновение отдельных слов в лексико-семантическую систему конкретного языка — процесс в достаточной мере сложный, определяемый как экстралингвистическими, так и внутрилингвистическими факторами. Более прост акт заимствования по принципу «слова́ и вещи» при появлении новой реалии; сложнее, когда в языке-передатчике и в языке-реципиенте инвентарь и система плана содержания (соответственно гносем и реалем) почти идентичны и структурно-функционально аналогичны (изоморфны). В этих случаях на лексико-семантическом уровне возникает синонимия. И здесь в большинстве случаев вступает в силу уже достаточно хорошо известная лингвистам закономерность: вновь вошедший в словарный состав языка синоним приобретает дополнительный семантический признак. Таким путем в зонах междиалектных и межъязыковых контактов семантическая сетка усложняется.

Приведем два примера из других диалектных зон.

Один, когда оба слова славянского происхождения — с.-хорв. *dažd—godina*. В зоне контактов ареала лексемы *дажд* и ареала лексемы *godina* [41], в штокавском селе Водице (северная Истрия), лексема *dažd* выражает сему 'дождь, дождь вообще', а проникшая из контактирующих чакавских говоров лексема *godina* — 'благодатный, нужный дождь', а в кайкавском селе

---

[39] Характерно, что в западном Полесье и в части западных и центральных белорусских говоров, по нашим (подчеркнем — еще не достаточно проверенным) данным, нет лексемы *⁺pelьka*: так что в современной Балто-Славии между балтийским и славянским ареалами есть полоса, разрывающая изоглоссу рассматриваемой лексемы.

[40] P. Skok. Prilog metodu proučavanja romanizama u hrvatskom ili srpskom jeziku. — «Zbornik radova» (Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), knj. I. Zagreb, 1951.

[41] Ареалы лексем *дажд*, *киша*, *година*, *време* даны в моей работе «Из географии славянских слов 1. дождь. 2 саламандра». — ВСЯ, вып. 6. М., 1962.

Чрнковец (около Загреба) лексема *godina* выражает семему 'дождь, дождь вообще', а проникшая из соседних говоров лексема *dešč* — 'проливной, вредный, ненужный дождь', при этом соответственно слово *godina* приобрело также дополнительное значение, дополнительный признак — 'благодатный, нужный дождь' [42].

Другой, когда оба слова — относительно старое заимствование: болг. диал. *джубринки*, *джумерки* (из тур. *cibre* 'выжимки; остатки; осадок'). В бессарабском болгарском селе Бановка (б. Измаильская, ныне Одесская обл. УССР), где представлен говор переселенцев из северо-восточной или центрально-восточной Болгарии (так называемый «чийшийский» тип), в результате новых условий контактирования, а возможно и смешения, с переселенцами из юго-восточной Болгарии (фракийский тип) семема 'шкварки' расщепилась на две: 'шкварки из нутреного сала' — *джуме́рки* и 'шкварки из внешнего сала' — *джубри́нки*. В ближайших «чийшийских» говорах *джуме́рки* — только 'шкварки', а в соседнем фракийском говоре села Шикирли-Китай (ныне Суворово) *джубри́нки* — тоже только 'шкварки'. Наконец, в приазовской Бановке (Бердянский р-н Запорожской обл.) у выселенцев из бессарабской Бановки *джуме́рки* — только 'шкварки' [43].

Таким образом, в системе говора (resp. языка) заимствованное слово при одновременном существовании исконного, незаимствованного синонимичного слова часто приобретает дополнительный семантический признак (как это видно из примера со словом *godina* в с. Водице). Но возможен и дальнейший семантический процесс: наличие дополнительного семантического признака у заимствованного слова вызывает появление коррелятивного (про-

---

[42] На том же основании возникло осложнение семантической сетки в Шушневом селе и в Чаковце (район Огулина, Хорватия), где *godina* означает 'дождь вообще' и 'благодатный дождь', а *vrime* — 'вредный, проливной дождь'. Типы семантического поля *дождь—погода—время—год—час* в сербско-хорватских диалектах приведены мною в статье «Из опытов типологического исследования славянского словарного состава». — ВЯ, 1963, № 1.

[43] Материал привожу на основании собственных наблюдений 1948 и 1950 гг. Эти наблюдения, к сожалению, не отражены полностью в «Атласе болгарских говоров в СССР» (М., 1958). См. карту № 107 и объяснения к ней в книге «Вступительные статьи и комментарии к картам», стр. 83. Изоглоссы лексем *джубринки*, *джумерки* в говорах метрополии дают достаточно сложную и пеструю картину. Так, например, фракийскому диалектному континууму в целом свойственны обе лексемы, наряду с многими другими (см. «Български диалектен атлас», I. София, 1964, карта № 216 и комментарии «Част втора», стр. 146—147). Любопытно, что и в Болгарии в контактной зоне — в селе Бяла Сливенской околии (пункт 2538) отмечена корреляция по дополнительному дифференциальному признаку величины: *пърџ́нки* 'крупные шкварки' — *џуме́рки* 'мелкие шкварки'. На восток от этого пункта следует почти сплошная зона с *џуме́рки* 'просто шкварки', а на запад—с *пърџи́нки* тоже 'просто шкварки' (см. цитированный атлас и комментарии).

тивоположного) признака и незаимствованного (как это видно из примера с *dešč* в с. Чрнковец и с *джумéрки* в с. Бановка).

Подобную судьбу можно предположить и для балтийского слова ⁺*pelьka* 'болото', проникшего в славянскую языковую среду. У славян оно стало означать не 'болото вообще', а 'низкое, болотистое место среди пахотного поля', 'низкое, болотистое место в лесу', 'чистое болото, без растительности', 'чистое место на болоте' и т. п. Отсутствие единого значения в наблюдаемых нами полесских говорах свидетельствует о том, что в разных диалектных системах оно могло получать разный, в зависимости от рельефа местности и хозяйственных нужд, дополнительный семантический признак. К тому же часто большее число различных значений и дополнительных семантических признаков свидетельствует о более позднем заимствовании, подобно тому как более позднее заимствование какой-либо реалии дает часто в диалектах (resp. языках) большее число лексем для одной и той же семемы, манифестирующей реалему-денотат (ср. случаи с названиями картофеля, кукурузы, помидора и т. п.).

Наконец, конкуренция синонимов в конкретной микросистеме приводит к вытеснению слова (resp. термина) из одной семантической (resp. терминологической) сферы в другую.

Изложенный выше материал дает возможность пересмотреть этимологические соображения М. Фасмера [44] и А. Преображенского [45], опиравшихся в основном на свидетельства В. Даля. Не следует *пéльку* вслед за Преображенским и Далем объединять с *гапелькой* (против этого объединения выступил и Фасмер) и с *пеленой*, *пелёнкой*, как это с оговоркой допускает Фасмер [46]. Но следует безусловно согласиться с Фасмером, что выведение *пéльки* из *петéльки*, как это сделал Преображенский, «трудно», а правильнее было бы сказать — ошибочно.

В заключение скажем, что наступило время работы над лексическим атласом балтизмов в восточнославянских диалектах. Такой атлас дал бы многое для определения восточных (отчасти северных и южных) границ расселения древних балтийских племен, их диалектной принадлежности и установления последовательных звеньев семантического развития, выяснению степени интенсивности и хронологии контактов.

Так, например, прусская и западнолитовская, т. е. в основном западнобалтийская, диалектная принадлежность слова

---

[44] Vasmer II, стр. 333.

[45] Преображенский, стр. 33.

[46] Исключение, может быть, можно сделать только для отмеченной Далем и безусловно нуждающейся в проверке и осторожном к себе отношении лексемы *пéлька*, манифестирующей семему 'детская пеленка' (боровск. Новгородск. губ.). Ср. белорусск. *пéлюшки* мн. 'пелёночки', отмеченные в словаре И. И. Носовича. Если Даль правильно дает форму и значение этого слова, то справедливо замечание Преображенского, что другие формы и значения слова — *пéлька*, *пéльки* и т. п. — относятся «не сюда».

pėlkė [47] согласуется с данными восточнославянской топонимики того же западнобалтийского происхождения, типа *Жукопа* (< *žukape*) и т. п., исследованной В. Н. Топоровым (отдельные гидронимы бассейна Верхней Волги, Оки, Москвы-реки) [48]. Преимущество в изучении балтийской апеллятивной лексики перед топонимической заключается прежде всего в том, что, пользуясь ею, можно оперировать не единичными фактами, ограничивающимися иногда десятком примеров, как в случае с гидронимами типа *Жукопа* и т. п., а сотнями и более фиксаций, поддающихся интерпретации в лингвогеографическом плане. Однако наряду с преимуществами есть и недостатки, к которым в первую очередь следует отнести отсутствие уверенности в том, что, будучи заимствованной славянами, балтийская апеллятивная лексика не передавалась потом другим славянам, уже в результате межславянских, а не балто-славянских контактов. Топонимия как правило привязана к месту, и возможность переноса топонимов в данной (рассматриваемой) ситуации мало вероятна, хотя подобное явление сопутствовало иногда миграционным процессам [49].

Фактором, корректирующим ошибки и преждевременные выводы, могло бы послужить «наложение» топонимических и лексических (апеллятивных) изоглосс друг на друга и их сопоставление с изопрагмами этнографическими и археологическими. Так, например, было замечено, что особый балтийский, или западный («белорусский»), тип лаптей прямого плетения — так называемые «рачки», или «покосные лапти», известен в ареале, охватывающем бассейн Десны, Ветьмицы, Болвы, Навли (но не восточнее!), Черниговщину (Черниговское Полесье), Могилевщину по Сожу, район Припяти и Минское Полесье, затем Литву и Латвию [50]. В бывш. Псковской губ. они назывались *коверзени*, а в бывш. Духовищенском у. Смоленской губ. — *крестовики* [51]. Как показывает историко-этнографический атлас «Русские», этот тип лаптя встречался также по реке Ловати и в бывш. Олонецкой губ. Безусловно, этот тип лаптей — не единственный этнографический «балтизм» на восточнославянской территории.

Корректурное дополнение к стр. 148. Е. А. Черепанова, готовящая работу по географической терминологии района севернее Десны и Сейма, зафиксировала *пел'ка* 'яма на болоте' лишь на западе Черниговщины — в селах Замглай, Репки, Грибова Рудня (Репкинский р-н).

---

[47] Возможно, что в литовском *pėlkė* утвердилось под западнобалтийским влиянием (Б. Савукинас. К проблеме западнобалтийского субстрата в юго-западной Литве. — «Baltistica» I (2). Vilnius, 1966, стр. 165).

[48] В. Н. Топоров. Некоторые задачи изучения балтийской топонимии русских территорий. — «Географические названия». М., 1962.

[49] T. Lehr-Spławiński. Rozmieszczenie geograficzne prasłowiańskich nazw wodnych. — RS XXI, 1. Kraków, 1960.

[50] Н. И. Лебедева. Народный быт в верховьях Десны и верховьях Оки. М., 1927, стр. 111—112; и вслед за ней: И. С. Вахрос. Наименования обуви в русском языке. Хельсинки, 1959, стр. 29.

[51] «Русские. Историко-этнографический атлас». М., 1967, стр. 252.

В. А. Меркулова

НАРОДНЫЕ НАЗВАНИЯ БОЛЕЗНЕЙ, I
(На материале русского языка)

Выбор для анализа лексико-семантической группы названий болезней обусловлен целым рядом ее особенностей. Эта группа очень компактна и потому легко доступна для наблюдения, сопредельные с ней области (наименования частей тела и описания состояния человека) также легко поддаются ограничению. Вся совокупность входящих в эту группу лексем очень самобытна, проникновение иноязычного элемента относится главным образом к XIX—XX вв., когда усиливается давление интернационализмов, и тем не менее рассматриваемая лексика оказывает большое сопротивление: в современном медицинском обиходе сохраняется значительное количество исконных образований (*корь*, *оспа*, *ветрянка*, *рак*, *кила*, *грыжа* и пр.). Структура наименований болезней очень устойчива и глубоко архаична. Устанавливаются связи с древнейшей демонологической сферой.

Архаичен сам контекст описания больным своего состояния. Он распадается на несколько синтаксических структур. Личные конструкции, где в качестве подлежащего выступают наименования частей и органов тела: *зуб ноет*, *горло болит* и т. д. Часть тела воспринимается не только как вместилище болезни, но иногда и как причина смерти, что находит отражение в семантике слова. Ср.: От *груди* умер (Тургенев, История лейтенанта Ергунова); У каó *γӑлавá* бали́, *сéрса* бали́, а ны́ни бóльшы *γлóтки* усе, пъмирáлы ад *γлóтак*[1].

Второй тип описания — безличные конструкции: *ноги ломит*, *в боку колет*, *сердце колет*, *в ухе стреляет*, *в висках стучит*, *поясницу разломило*, *в жар кидает*, *в косицы тычет* (Перм. обл.), *на пойла γбнить*[2], *заперло спину*[3] и т. д. Архаичность этого описания не подлежит сомнению. Круг глаголов очень богат, но как правило параллелен личным глаголам, обозначающим простейшие бытовые действия: *ломать*, *рвать*, *кидать*, *бросать*, *тыкать*, *колоть*, *гнать*, *тянуть*, *жать*, *нести*, *мыть*, *запирать*, *открывать* и пр.

---

[1] Е. Ф. Будде. О некоторых народных говорах в Тульской и Калужской губерниях. — ИОРЯС, т. III, кн. 3, СПб., 1898, стр. 836.
[2] Там же, стр. 876.
[3] Куликовский, стр. 27.

Третья конструкция — неопределенно-личная, когда предполагается внешняя причина заболевания, чей-то злой умысел: *оббаяли*, *оговорили*, *озепали* (Яросл. г.), *опризорили*, *изурочили* и пр.

Наименования болезней тесно связаны с этим контекстом, они логически вытекают из него. Это или слово, совпадающее с наименованием части тела, или же в большинстве случаев отглагольное имя, соответствующее глаголу, описывающему состояние больного или внешние причины этого состояния. Ср. *грыжа*, *запор*, *перелой*, *понос*, *свороб*, *ураз*, *урок*, *мор*, *оспа*, *порча*, *корча*, *мыт*, *нарок*, *немочь*, *обморок*, *озев*, *опух*, *призор*, *прострел*, *скорбь*, *удар*, *утин* и мн. др.

Я ограничиваюсь материалом русского языка, потому что он достаточно обширен и нуждается в подробном описании, хотя привлечение и сравнение всего славянского материала, несомненно, могло бы дать более интересные и с точки зрения реконструкции древнейшего состояния более достоверные результаты. Но внимательное изучение материалов одного языка есть первая и необходимая ступень исследования.

Русский язык в его говорах содержит около четырехсот наименований болезней. Эти наименования могут быть подвергнуты элементарной классификации по принципу семантической близости. В этом случае в каждый синонимический ряд попадают разнородные элементы: и общерусские и узкоместные наименования, и члены одного семантического поля и перекрещивающихся полей. Тем не менее такая классификация помогает уяснить закономерности и каждого ряда, и всей лексико-семантической группы в целом.

'Общее наименование болезни': *боль*, *боля*, *болезнь*, *боле́зня*, *бо́лесть*, *болеток*, *хворь*, *хворость*, *хвороба*, *хирь*, *хиря*, *хире́тье*, *хиль*, *хилина*, *хижа*, *хлуда*, *скуда́*, *скорбь*, *скорбота*, *не́мочь*, *немогута*, *недуг*, *недуга*, *недужина*, *нездоровье*, *труд*

'эпидемия': *мор*, *па́мжа*, *па́мха*, *по́мха*, *по́шесть*, *поша́ва*, *пошо́ва*, *пошатка*, *поветрие*, *напасть*, *припадок*

'сыпь, болезни, сопровождаемые сыпью': *оспа*, *воспа*, *во́спица*, *сыпь*, *сыпня́*, *высыпка*, *осыпи*, *бабу́ха*, *бабу́шка*, *лапуха*, *лаптуха*, *ципуха*, *ветреница*, *ветрянка*, *летучий огонь*, *гвоздуха*, *гвоздюха*, *корь*, *кориха*, *корюха*, *красуха*, *краснуха*, *золотуха*, *черемнуха*, *царевница*, *огника*, *знатьба*, *гостья*

'повышенная температура, тиф': *жар*, *жара́*, *огонь*, *огнева*, *огневица*, *горячка*

'лихорадка': *богорадка*, *листопадка*, *лихоманка*, *лихорадка*, *студенка*, *трясца*, *трясовица*, *усма*, *холодуха*, *ходуша*, *мокрота*, *не́дра*, *низовая*, *оглухи́ща*, *окоркуша*, *подруга*, *гнетучка*, *барыня*, *бедница*, *безбытница*, *безга*, *бельга*, *веснуха*, *ворогуша*, *дедюха*, *добруха*, *дрожевуха*, *дрожалка*, *знобиха*, *кикимора*, *кума*, *кумоха*, *гладея*, *давея*, *злобея*, *знобея*, *лашея*, *леденея*, *невея*, *неядея*, *огнея*, *плясея*, *пухлея*, *резея*, *сухея*, *трясея*

'различного рода припадки, истерия, эпилепсия': *бесна, битеца, падучая, падучка, порча, портеж, родимец, родимое, родиманец, свое время, детинец, паровик, злокоманка, икота, кликушество, мереченье*

'сумашествие, слабоумие': *безумие, бешенец, белая горячка, шаль, дурь*

'судороги': *коркота, корчи, судорога, судорга, судорожь*

'болезни, возникающие от злого умысла': *нарок, урок, сглаз, оговор, озев, озеп, озык, призор, прикос, притка, приток, притча, приход, скорбь, порча, проказа*

'истощение, туберкулез, малокровие': *сухота, сухотка, чахотка, собачья старость*

'головная боль, угар, отравление': *чемер, обнос, шат, бахмур, обморок, дурнота, окорм*

'паралич': *удар, пострел, прострел, родимец, своя, дна, паралик, паралич, кондрашка*

'общее наименование болезней всех внутренних органов, сопровождающихся болями': *грызь, грыжа* (*ветрянная, напущенная, жильная, костяная, красная, мокрая, белая, мужская, женская*)

'общее наименование болезней всех внутренних органов, наступающих в виде приступа (инфаркт, почечные колики, острый приступ ревматизма и пр.)' *дна*

'ревматизм, подагра': *гостец, ломота, можжуха, костолом, скомнота*

'расстройство желудка': *черево, черевуха, черевунья, понос, дристуха, мыт, мытуха, мутушка*

'болезни сердца, легких, одышка, астма': *падушина, духовица, одушье, удушье, запышка, грудь, грудник, грудница, грудная жаба, сердечная боль*

'радикулит, колики, прострел': *утин, усовь, усови, колотье, щипота, стрелы, прострел*

'чесотка и другие кожные болезни': *зуд, чесота, чесотка, почесуха, вассй, нечисть, нуда, свербеж, свороб, скорбость, короста, парх, парши, шолуди, облива, воронья лапа, лих, лишай, хруны, струп, курченьга*

'опухоль': *опух, опухоль, пухлинка, обвал, воль,诶 вализна, бешиха*

'невоспалительные опухоли, наросты': *болоно, гвыль, гуз, гугля, гуля, гулька, шишка, желвак, свалок, кила, шишмола, задубье*

'мозоль': *мозоль, мозля, музли, болозни, нажим*

'опухоли горла, болезни горла': *горловица, горланка, жаба, глотка*

'прыщ': *балдырь, волдырь, воль, восцы́, прыщ, пузырь, чистяк, чирей, пупыш, пупырышек, угри, папка, папочка*

'бородавка': *бородавка*

'нарыв и другие виды нагноений': *веред, беред, болеток, болька, болячка, болечь, барин, нарыв, чирей, огневик, вогник, заноготица, змеевик, волос, щупак, провал, пу́здря*

'опухоли желез, бубонная чума': *залоза*, *залозка*, *жолды*, *железа*, *железница*, *железянка*

'заболевания костей': *костоед*, *костоеда*, *костяница*, *змееныш*

'рана': *рана*, *ураз*, *досада*, *сеченица*, *порез*, *язва*

'язва': *язва*

'ячмень': *ячмень*, *живчина*, *песьяк*, *сосок*, *сучий сучок*

'кашель': *кашель*, *кашлюха*, *хрепота*, *хрипуша*

'насморк': *насморк*, *насморка*, *насмока*, *надуха*

'конъюнктивит': *паха*, *подбой*, *пячига*

'надорванность': *пуп*, *кила*, *грыжа*, *надмога*, *пересада*, *подорвание*

'вывих': *вывих*, *вышиб*, *исплек*

'рожа': *белиха*, *бешиха*, *рожа*, *камчуг*

'геморрой': *почечуй*

'водянка': *отек*, *оток*, *водянка*, *водный труд* и мн. др. наименования болезней.

Даже беглый взгляд на простой перечень наименований позволяет увидеть исключительное богатство и подробный характер описания всех внешних повреждений и заболеваний кожи, тогда как все внутренние болезни описываются очень общо и неопределенно.

Не имея возможности подробно останавливаться на всех названиях болезней, я позволю себе обратить внимание на три синонимичных ряда и некоторые отдельные образования.

I. 'общее наименование болезни': *боль*, *боля*, *болезнь*, *болезня*, *болесть*, *болеток*, *хворь*, *хворость*, *хвороба*, *хирь*, *хиря*, *хиретье*, *хиль*, *хилина*, *хижа*, *хлуда*, *скуда*, *скорбь*, *немочь*, *немогута*, *недуг*, *недуга*, *недужина*, *нездоровье*, *труд*

Структурная характеристика этих имен довольно однообразна, непосредственная производность от глагола наблюдается в большинстве случаев: *боле́ть* → *болезнь*, *болесть*; *хвора́ть*, *хворе́ть* → *хворь*, *хвороба*; *хире́ть* → *хирь*; *хилеть* → *хиль*; *скудать* → → *скуда*; *скорбеть* → *скорбь*. Число формальных показателей невелико: смягчение конечного согласного основы (суффикс *-jъ*): *хворь*, *хирь*, *хиль*, *скорбь*; суффикс *-есть*/*-ость*: *болесть*, *хворость*; суффикс *-оба*: *хвороба*; суффикс *-ота*: *скорбота*; суффикс *-езнь*: *болезнь*; довольно часто повторяется «пустой суффикс» *-ина*: *хилина*, *недужина*. Типично наличие парадигматических вариантов наименования: *боль*/*боля*, *болезнь*/*болезня*, *хирь*/*хиря*, *недуг*/*недуга*.

С точки зрения семантики можно наметить несколько моделей.

'болеть, слабеть' → 'болезнь': *боль*, *боля*, *болеток*, *болезнь*, *болесть*, *хворь*, *хворость*, *хвороба*, *хирь*, *хиря*, *хиретье*, *хиль*, *хилина*

Представляют интерес наименования, построенные по принципу контраста: 'сила' → 'отсутствие силы, болезнь': *здоровье*—

нездоровье, *мочь—немочь*, *могута—немогута*, **дуг* 'сила' (ср. *дужий*, *дюжий*)—*недуг*.

Модель 'тяжелая работа' → 'страдание, болезнь' представлена только одним образованием *труд* (ср. аналогичное *страда—страдать*).

Наименования, построенные по другим моделям, единичны; 'бедность' → 'болезнь': *скуда* (ср. выражение *скудáться здоровьем*); 'тоска, страдание' → 'болезнь': *скорбь*, *скорбота*; 'плохая погода, слякоть' → 'болезнь': *хижа*.

Требует некоторых комментариев слово *труд*. Большинство русских говоров, как северных, так и южных, знает слово *труд* в значении 'тяжелая, продолжительная болезнь', *трудиться* 'тяжело, мучительно болеть, находиться в агонии' [4]. Значение 'работа' или отсутствует вообще, или же периферийно.

Ареалы рассмотренных образований существенно различаются. Общеславянскими (и праславянскими) следует признать три лексемы: **bolь*, **bolestь* и **nemogtь*. Ср. русск. диал. и просторечн. *болесть*, укр. *болiсть*, польск. *boleść*, чеш. *bolest*, болг. *бóлест*, с.-хорв. *бȍлест*, словен. *bolêst*; русск. *боль*, укр. *бiль*, ст.-слав. **боль** ἀσθένεια, с.-хорв. *бȏл*, словен. *bôl*, польск. *ból*, чеш. *bol*; русск. *немочь*, укр. *немiчь*, блр. *немочь*, польск. *nemoc*, чеш. *nemoc*, с.-хорв. *нȅмоħ*, болг. *немощ*.

Остальные слова имеют более ограниченный ареал, часть из них, несомненно, относится к праславянским диалектным образованиям. Таково слово **bolěznь*, архаичное по своей структуре, содержащее редкий суффикс *-znь* и представленное только в восточнославянских и южнославянских языках: русск. *болезнь*, укр. *болезнiсть*, ст.-слав. **болѣзнь**, болг. диал. *болéзен*, словен. *bolẹzen*. Отмечено во всех группах славянских языков, но с ограничениями, слово **nedugъ*: русск. *недуг*, укр. *недуга*, ст.-слав. **недѫгъ**, болг. диал. *nedug*, *neduga*, чеш. *nieduch*. Характерно только для восточной и западной групп слово **xvoroba*: русск. *хвороба*, укр. *хвороба*, *хороба*, польск. *choroba*, чеш. *choroba*.

Того же корня в украинском еще *хворá* и *хворота* и общее с русским *хворiсть*. Русск. *хирь*, *хиря*, *хиретье* соответствуют украинским *хúря*, *хирячка* 'болезнь'.

Только в русских говорах отмечены *хиль*, *хилина*, *хижа*, *хлуда*, *скорбота*.

II. Названия повальных эпидемических болезней не очень многочисленны: *мор*, *памжа*, *памха*, *помах*, *пошесть*, *пошава*, *пошова*, *пошатка*, *поветрие*, *напасть*, *припадок*.

С точки зрения внутренних семантических связей с производным словом они делятся на три группы.

---

[4] волог. Даль[2] IV, стр. 437; волог., пск., Опыт, стр. 233; яросл. Мельниченко, стр. 202; тул., калуж. Е. Ф. Будде. Указ. соч., стр. 892.

'уничтожать' → 'уничтожение, гибельная болезнь'. К этой группе относится наиболее употребительное для обозначения эпидемий слово *мор*.

'движение' → 'эпидемия'. К этой модели принадлежат слова, отражающие признак быстрого движения, распространения: *пошáва*, *пошóва*, *пошесть*, *пошатка* и *поветрие*. Первые два варианта образованы от глагола *шевать*, *шавать* 'двигаться, красться' (ср. того же корня литер. *шевелить*), от глагола *шатать*, *пошатать* образовано слово *пошатка* (ср. *шататься* 'бродить без дела'), от старой основы **šьd-* образовано слово *пóшесть* (ср. др.-русск. *пошестиѥ* 'движение, стремление'). Непосредственно примыкает к этой модели и слово *поветрие*. Ветер, как движение воздуха, по поверью, может приносить и заболевания: ср. *с ветру*, *болезнь с ветру*, *ветряк* 'занесение болезни' [5].

Третья модель 'болезнь растений, вредная роса' → 'беда, несчастье' → 'болезнь'. Таковы названия *памжа*, *памха*, *помха*, *напасть*.

Мхá или *падь* — это, по словам Даля, «медвяная роса, липкий солощий сок, коим иногда покрывается больной хлеб в росте», отсюда *пáмха*, *пóмха* 'беда, несчастье, зло': «Ржа и *мха* напали на хлеб» [6].

С точки зрения словообразования любопытен широко представленный в этой группе древний префикс *по-* с довольно расплывчатым значением начала движения (*пошава*, *пошова*, *помха*, *пошатка*, *пошесть*, *поветрие*).

Интересна и география этих слов. Слова *мор* и *поветрие* являются общерусскими и литературными, они представлены и в большинстве других славянских языков. Ср. **morъ*: русск. *мор*, укр. *мір*, блр. *мор*, в.-луж. *mór*, чеш. *mor*, стар.-слав. **моръ**, болг. *морѣт*, с.-хорв. *мôр*, словен. *mór*; **povětrьje*: русск. *поветрие*, *поветерье*, укр. *повітра*, блр. *павéтра*, польск. *powietrze*.

Слово *пóшесть*, будучи, несомненно, архаичным по своей структуре, отмечено только в польском, украинском, белорусском языках и в псковском говоре русского языка. Следует отметить наличие в псковских говорах целого ряда древних лексических сопереживаний с польским (ср. хотя бы *bedłka* — *блицы*). Русск. пск. *пóшесть*, блр. *пóшесць*, укр. *пошесть*, польск. *posześć* и другой словообразовательный вариант того же слова — *poszedło*.

Наименования эпидемий *пóмха*, *пошáва*, *пошатка* соответствий в других славянских языках не имеют, да и в пределах русского языка они ограничены определенным ареалом: *пóмха*, *пáмха* — все севернорусские говоры и говоры среднего Поволжья; *пошава*, *пошова* — новгородско-тверские говоры и говоры б. Оло-

---

[5] Мельниченко, стр. 41.
[6] Даль[2] II, стр. 446.

нецкой губ., в основном заселенной новгородцами; *пошатка* — ярославский диалектизм.

Следует сказать еще об одном местном образовании — *припадок. Припада́ть* значит 'хворать, хилеть, болеть' (ср. *пасть* 'околеть'), а *припадок* 'болезнь', 'беда, несчастье': «Йаму́ фс'о́ как'ни́йьн'ибу́ц' *пр'ипа́тк'и*: фс'у́ з'иму́ пръхвар'э́л. . .»[7]

III. 'болезни, возникающие в результате злого умысла': *нарок*, *урок*, *сглаз*, *оговор*, *озев*, *озеп*, *озык*, *призор*, *прикос*, *притка*, *приток*, *притча*, *приход*, *скорбь*, *порча*, *проказа*

В структурном отношении вся совокупность едина, это отглагольные имена, в большинстве своем бессуффиксальные или содержащие старый суффикс *-j(a)*: *притча*, *порча*. Любопытно упорное повторение глагольных префиксов *об-* и *при-*.

Эти слова легко распадаются на несколько семантических моделей, отражающих представление о магическом воздействии слова, взгляда и прикосновения.

'говорить, сказать' → 'болезнь': *урок*, *нарок*, *оговор*, *озев*, *озеп*, *озык*. Из них древнейшими являются производные от глагола **rekti*: *урок*, *нарок*; *озев*, *озеп*, *озык* построены по той же модели на местном материале: *озева́ть* (кого) 'сглазить, испортить', отсюда *озё́ва* (арх.), *озёв* (вост.), *озевище* (вят.) 'порча'; *озё́па́ть*, *озяпать* 'сглазить' → *озе́п*, *озепище* (яросл.) 'порча'; *озычать* 'оговорить' → *озык* (яросл.) 'оговор', *оговорить* (общерусск.) 'изурочить' → *оговор* 'порча' (арх. яросл.).

Глаголы *зевать*, *зепать* связаны с *зиять*, первоначально 'открывать рот, говорить'. Характерно, что первоначальный признак говорения, произнесения слов постепенно стирается, и указанные слова начинают обозначать 'болезнь в результате злого умысла вообще', независимо от того, каким образом этот злой умысел осуществляется.

'смотреть' → 'болезнь': *сглаз*, *призор*. *Сглаз* соотносится с выражением *с глазу*, *заболел с глазу* (предлог *с* в значении 'от', ср. *с голоду*); слово *призор* образовано от глагола **zьrěti*, **prizьrěti*, ср. укр. *призира́тися* 'всматриваться' → *призор* 'дурной, злой взгляд' и 'болезнь от такого взгляда'.

'касаться' → 'болезнь': *прикос*, м. б. *притка*

'портить, наносить вред' → 'болезнь': *порча*, *проказа*

Последние образования требуют некоторых дополнительных замечаний. О том, что прикосновение обладало магическим воздействием, есть многочисленные свидетельства. Прикосновение чудесным образом снимало болезнь: ср. в евангелии: Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и *коснулся* руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила

---

[7] В. Н. Немченко, А. И. Синица, Т. Р. Мурникова. Материалы для словаря русских старожильческих говоров Прибалтики. Рига, 1963, стр. 256.

ему (Ев. от Матф., гл. 8, § 14, 15); Жители того места, узнавши его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только *прикоснуться* к краю одежды его; и которые *прикасались* исцелялись (Ев. от Матф., гл. 14, § 35, 36). Но прикосновение могло быть и иным, по выражению Иоанна экзарха болгарского: *Прикосъ* нечистъ бѧаше [8]. Отсюда архангельское и олонецкое *прикос*, *прикосина* 'урок, сглаз', *оприкосить* 'сглазить' [9].

Очень широко в русских говорах распространено слово *при́тка* (реже *при́ток*, *при́тча*) 'неожиданная болезнь, припадок', 'болезнь как результат злого умысла, порча'. Словообразовательные связи с глаголом *тыкать* ясны, но семантические отношения требуют более пристального внимания. Глагол **tykati*, **tъknǫti* во всех славянских языках значит 'колоть, бить, толкать', приставочные образования от этого глагола очень многочисленны, но каждое характеризуется специфическим оттенком значения.

Глаголы **pritykati*, **pritъknǫti* значат 'прикасаться, прикоснуться, дотронуться'. Ср.: Взимаетъ дьяконъ звѣзду и трижды притычетъ свому блюду [10], русск. К огню пальцем не *притыкайся*!, укр. *притикатися* 'прислониться, прижаться к чему', блр. *прытыкаць* 'касаться, коснуться', *прытыка́цца*, *прыткну́цца* 'прикоснуться'. Логично предположить, что первичным и простейшим значением отглагольного имени *притка*, *притча* должно было быть *'прикосновение', а затем 'болезнь в результате прикосновения'. Как уже говорилось выше, первичный признак легко стирается, и слова этого рода начинают обозначать 'болезнь в результате злого умысла вообще', таково значение этого слова в русском языке. Сопутствующим значением можно считать 'несчастье, несчастный случай', отраженное во всех восточнославянских языках: русск. *притка*, *притча*, укр. *притка*, *притичина*, *притча*, блр. *прытча*.

М. Фасмер предполагает несколько иной путь развития значения слова: 'случай, столкновение', 'несчастный случай' → → 'болезнь' [11]. Такой путь развития не исключен, но при условии, что значение глагола **pritykati* выводится из значения других приставочных образований: *наткнуться* 'натолкнуться', польск. *spotkać* 'встретить' и т. д.

Не исключена возможность, правда, в очень отдаленном прошлом, каких-либо аналогичных семантических нюансов у глагола *портить*. Высказанная Миклошичем мысль о производности отношений *пороть—портить* представляется наиболее убедительной. Первичным значением глагола **porti* было 'тыкать, колоть',

---

[8] Срезневский II, стб. 1416.
[9] Подвысоцкий, стр. 138; Куликовский, стр. 92.
[10] Срезневский II, стб. 1484.
[11] Vasmer III, стр. 434—435.

ср. русск. *напорол ногу*; *бык рогами порет*; блр. *пороць* 'толкать, колоть, указывать, шевелить'. *Пальцем порнув в око*; *порни под бок, нехай встанець*; *пальцем на мене порюць*. Широко распространившееся значение 'разрезать шов' терминологично и, несомненно, возникло позднее. Связь *пороть—портить* могла лежать только в сфере 'колоть, тыкать' → 'наносить вред'. Польский язык представляет специфическое значение 'прорастать', что является развитием значения 'колоть' (ср. о ростках: *проклюнуться*, *прочкнуться* и пр.). В старославянских текстах **пъртити** значит 'тратить', что является сужением значения по сравнению с 'наносить вред'. В древнерусских текстах и в русских говорах глагол (и производные от него) и отглагольное имя распространены очень широко: ѡже ли пропьєтьс ... въ безоумии чюжь товаръ испорътить, то како любо тѣмъ, чьѥ то коуны (Русск. Пр.)[12]; Или что в законѣ их иконы и кнги, или иное что, по чему бга молятъ, того да не емлютъ, нї издерутъ, нї испортятъ (Ярлык хана Менгу Тимура 1267 г.)[13]; по-видимому, в близком значении: Даже кто запъртить или тоу дань или се блюдо, да соудить ѥмоу бг въ днь пришьствиꙗ своѥго (Грам. 1130 г.)[14]. Во всех примерах речь идет о материальном ущербе. Появление значения у глагола *портить* 'наносить вред путем колдовства' следует отнести к древнерусской эпохе, особую активность это значение приобрело в русском языке: ср. укр. диал. *порча* 'недостаток', русск. *порча* 'насылание недуга колдунами'[15], 'всякая болезнь, причину которой предполагают в колдовстве'[16]; иногда имеется в виду конкретный предмет, будто бы вызвавший болезнь: Нашли ведь *порчу*-то! В перине была зашита[17]. Примеры из древнерусских памятников многочисленны: И тотъ пирогъ онъ, Ивашко, ѣлъ и послѣ того онъ, Ивашко, почалъ быть *порченъ* кликотною болѣзнею и ломотою; и послѣ тое *порчи* онъ, Ивашко, жилъ года съ полтора и умре (1700 г.)[18]; От нечистоте и от *порчи* или черви и жабы выгнать из человѣка (1763 г.)[19].

Слово *проказа* интересно в нескольких аспектах. С первого взгляда оно не совсем подходит к перечисленным выше словам, поскольку является индивидуальным наименованием тяжелого заболевания lepra. Так как эта болезнь сильно обезображивает человека, Фасмер этимологизирует слово *проказа* от *про-* и *ка-*

---

[12] Срезневский I, стб. 1140.
[13] Там же.
[14] Там же, стб. 941.
[15] Куликовский, стр. 89.
[16] Мельниченко, стр. 159.
[17] «Словарь современного русского литературного языка», т. 10. М.—Л., 1960, стб. 1428.
[18] Н. Новомбергский. Слово и дело государевы. — «Зап. Моск. Археол. ин-та», т. XIV, 1911, стр. 27.
[19] Лечебник № 1, гл. 35 (картотека ДРС).

зить 'уродовать'. Этимология верная и не вызывающая возражений. Но сама история слова представляется несколько иной. В русских говорах есть слово *проказа* 'шалость' и многочисленные производные от него, но нет слова *проказа* 'lepra'. Последнее является принадлежностью литературного языка.

Следует сказать, что во всех русских говорах для обозначения действия нанесения вреда материального и духовного употребляется глагол *портить*, глагол *казйть* играет подчиненную роль. Напротив, в украинском языке глагол *казити* занимает первенствующее место и очень богат по своей семантике, он значит 'ломать, бить, разбивать, портить', *казитися* 'проказить, беситься, сходить с ума', *казіння* 'беснование'. Другие славянские языки дают близкое значение этого глагола: польск. *kazić* 'уничтожать', кашуб. 'бить, разбивать', чеш. *kaziti*, слвц. *kazit'* 'уничтожать', с.-хорв. *nakáziti* 'уродовать', словен. *kaziti* 'уничтожать, портить, проказить'. Праслав. **kaziti* имело, повидимому, значение 'портить, уничтожать, наносить материальный ущерб'. Таково же значение этого глагола и в древнейших памятниках: На утрѣи же день Изяславъ видивъ, оже Днѣпръ казится и рече к мужемъ своимъ (Ип. лет. 6656 г.); Мѣдяна секира отъ суха древа сама ся кажить (Кир. Тур. Пис.) [20]. В этих примерах речь идет о материальной порче. Производное слово *проказа* обладало несколькими значениями, непосредственно вытекающими из значения глагола: 'уничтожение' (ср. *чезнуть* 'исчезать, уничтожаться', к которому *казить* является каузативным образованием); 'вред, проступок, преступление, нанесение ущерба'; 'нанесение ущерба путем колдовства' (в этом случае слово *проказа* заменяет слово *волхование* и служит переводом слову μαγεία). Таким образом, слово *проказа* во всех своих значениях синонимично слову *порча*. В смысле 'вред, ущерб материальный' слово *проказа* употребляется в Договоре Олега с греками (911 г.) и в Договоре Игоря с греками (945 г.). Многочисленные производные указывают на значение 'злой умысел': *прокажьньство* 'козни', *проказьство* 'лукавство, коварство', *проказьньство* то же, *проказивый* 'коварный, лукавый', *проказовати* 'злоумышлять'. Отсюда становится ясным развитие у слова *проказа* в русском языке значения 'шалость' (не всегда невинного свойства, ср. *шалить* 'грабить на дорогах', ср.: Сердце мое чует: это разбойники-шиши проказят! — Загоскин, Юрий Милославский).

Возникновение же у слова *проказа* значения 'порча путем колдовства' позволило развиться семантике слова в ином направлении (очень любопытно, что образование от родственного глагола *исчазъ*, *исчезъ* означало 'доведение себя до экстаза'). Памятники, где слово *проказа*, *прокажениѥ* значат 'колдовство',

---

[20] Срезневский I, стб. 1176.

принадлежат старославянскому языку. Русские говоры дают близкие, но не адекватные значения: *проказúть* 'ругаться бранными словами и обидными прозвищами' [21], *каженка*, *кáженец* 'испорченный человек, сглаженный или озеванный, на кого напущена злым знахарем порча, сумасшествие, припадки' [22]. От значения 'колдовство, порча' легко развивалось значение 'болезнь', ср. с.-хорв. *прȍказа* 'водянка' (ср. одно из значений польск. *kazić* 'заражаться, сходить с ума').

Болезнь lepra появилась в Европе после крестовых походов, она была привезена из Азии. В евангельском тексте многократно упоминаются прокаженные и проказа, но, судя по тексту, речь идет о несколько ином, хотя тоже очень тяжелом, заболевании кожи, по-видимому, являвшемся бытовым явлением в Малой Азии. Об этом говорит и значение слова λεπρα 'шелушащаяся' и многократно описываемое очищение от проказы: И вот подошел *прокаженный* и, кланяясь ему, сказал: господи! если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от *проказы* (Ев. от Матф., гл. 8, § 2, 3). Даль определяет это заболевание так: «. . .злокачественный лишай, переходящий в гнойные язвы, отчасти и поныне известный на востоке» [23]. При переводе священного писания славянские переводчики вынуждены были каким-то образом передать, обозначить неизвестную им болезнь. Поскольку эта болезнь чудесным образом исцелялась, можно было предположить, что она аналогична порче, и переводчики передали это понятие словом *проказа* 'порча, болезнь в результате колдовства'. Евангельский текст был основой всей церковной литературы, отсюда многочисленные и производные образования и переносные значения слова *проказа*.

Вместе с церковнославянской литературой проникло и в русский литературный язык слово *проказа* 'lepra'. Слияние церковнославянской и русской народной струи в одном литературном языке и привело к сосуществованию двух таких резко контрастных по значению слов: *проказа* 'шалость' и *проказа* 'lepra'.

Мне хотелось бы еще остановиться на некоторых словах, которые нуждаются в этимологическом уточнении.

Праслав. **vol'e* 'вздутие, зоб' представлено во всех трех группах славянских языков. Этимологические словари обычно приводят польск. *wole* 'зоб', *wôl* то же, чеш. *vole* 'зоб', с.-хорв. *вол̂а*, укр. *воло* 'зоб', блр. *вóле* 'зоб на шее, зоб у птицы'.

При этом игнорируются русские образования: олонец. *воль* 'опухоль, нарыв' [24], зафиксированное в памятниках новгород.

---

[21] Мельниченко, стр. 167.
[22] Даль² II, стр. 74.
[23] Даль² III, стр. 497.
[24] Куликовский, стр. 11.

воль 'опухоль' («Купилъ ти^х^винецъ Михало Калгани^к^. . . меринъ сѣръ грива налево на лѣво^н^ стороны на брюхе *воль*» [25]). Таким образом, перед нами, по-видимому, древний новгородский диалектизм *воль* 'опухоль', абсолютно совпадающий структурно с польск. *wól* 'зоб'. Своеобразие значения слова не противоречит возможности происхождения из общего источника, и зоб и опухоль могут быть восприняты как нечто вздувшееся.

Несмотря на сомнения Фасмера, возможно, что к этой же группе слов относится русск. *волдырь* 'шишка, опухоль на теле от ушиба'; 'нарыв, гнойный пузырь, нарост, водяной пузырь' (Даль): Лопнул как *волдырь* на воде! Эту форму можно рассматривать как суффиксальное образование того же корня **vol-yrь* (по типу *пупырь*, *пузырь*) со вставным звуком *д*. Этот паразитический звук появляется в русском языке как правило между сонорным или звонким свистящим и гласным (ср. *брыневеть* и *брындеветь*, *ландыш* <**ланыш*, *возырять* и *воздырять* и т. д.). Мысль о связи слова *волдырь* с группой слов в значении 'зоб' высказывал еще Г. Ильинский. Махек связывает праслав. **vol'e* 'зоб' с нем. *schwellen* 'пухнуть' (др.-в.-нем. *swellan*), *Wulst*, *Schwulst* 'опухоль', корень *(*s*)*vel-* 'надуваться' [26].

Думается, что для праславянского можно реконструировать три парадигматических варианта: **vol'a*, **volь* и **vol'e*.

Может быть, к этой же группе слов можно отнести слова с корнем **val-*, ср. *обвал* 'опухоль на шее' [27], *сва́лок* 'всякий болезненный нарост на теле' [28], *вализна* 'воспаление подкожной жирной клетчатки phlegmonia' [29]. Я не берусь в этом случае делать далеко идущие выводы, как это делает Грубор в своей статье [30], но во всяком случае близость значений этих образований наталкивает на размышления.

Привлекает внимание русское диалектное (новгородское и рязанское) название мозоли *болозень*, чаще *бо́лозни*, *бо́лузни* «мозоль сухая или кровяная, набитая обувью или работою на руках» [31]. Бернекер сопоставлял это слово с *болозно* 'поперечная доска в санях', Торбьернссон—с др.-инд. *bárjahas* 'вымя'. Фасмер справедливо подвергает сомнению оба сравнения, но своей этимологии не выдвигает [32]. Шахматов в своем капитальном труде об истории

---

[25] Таможенные книги Тихвина монастыря (1666 г.). — Рукопись ЛОИИ № 3 (цит. по картотеке ДРС).

[26] Machek, стр. 572.

[27] А. И. Иванова, М. А. Кустарева, Б. А. Моисеев. Материалы для «Смоленского областного словаря». — «Уч. зап. Смол. ГПИ», 1958, вып. 9, стр. 142.

[28] Подвысоцкий, стр. 153.

[29] М. К. Герасимов. Материалы лексикографические по новгородским говорам. Слова череповецкие. — Ж. Ст., 1898, вып. III—IV, стр. 161.

[30] Ђ. Грубор. Етимологије. Во̑ље, во̑, ва́љање (сукна), ве́љача. — ЈФ VIII. Београд, 1928—1929, стр. 13—37.

[31] Куликовский, стр. 5; Опыт, стр. 12; Даль² I, стр. 275.

[32] Фасмер I, стр. 188.

звуков русского языка считает слово *бóлозни* примером второго полногласия, выводит его из **bъlzni* и сравнивает со словен. *bôlzen*, *bôlzni* 'трещина, щель' [33]. Ф. Безлай считает словенское слово вариантом общеславянского слова **blizna* 'шрам, рубец, брак в ткани' [34]. Русск. *близна*, диал. *блюзна* 'шрам, рубец, рана, разрыв нити в ткани', укр. *близна* 'рана', блр. *блюзна*, болг. *близна*, с.-хорв. *блȉзна* 'брак в ткани', в.-луж. *błuzna* 'рубец', н.-луж. *bluzna* 'рубец'.

Таким образом, на праславянском уровне мы имеем два варианта: **blizna* 'шрам, рана, рубец', 'разрыв нити в ткани', **bъlznь* (< *bl̥znь*) 'трещина', 'мозоль' (последний только в русском и словенском).

Дальнейшие сопоставления не противоречат привлечению русского слова. Ср. лит. *blaîzit* 'давить, сжимать' и название мозоли *нажим*, лат. *flīgere* 'бить' и выражение *набить мозоли* [35].

Среди многочисленных названий лихорадки выделяется своей непонятностью слово *ýсма* (арх.) [36]. Фасмер считает слово неясным, в других славянских языках аналогичные образования отсутствуют.

Близкие по звучанию общеслав. **usmь*, **usnьje*, **usnьjěn* 'дубленая кожа', 'кожаный' не помогают объяснить русское слово. С другой стороны, выход за пределы славянских языков позволяет связать слово *усма* с греч. εὕω (**eus-ō*) 'жечь', лат. *ūrō*, *ussī*, *ustum*, *urere* 'жечь', др.-инд. *ṓṣati* 'жжет', *uṣṇah* 'горящий, горячий', др.-исл. *usli* 'огонь'. Того же корня алб. *eϑe* (*ethe*) f. 'лихорадка' [37], что делает этимологию русского слова еще более вероятной. Названия лихорадки в других индоевропейских языках устойчиво повторяют признак 'горячка', ср. лат. *febris* 'малярия, лихорадка', которую производят из и.-е. **dhegᵘh-* 'жечь', лит. *kar̃štis* 'горячка' при *kárštas* 'горячий', с.-хорв. *vrúćica* [38] и др.

* * *

Кто-то из фармакологов справедливо заметил, что нет такого растения, которое бы человечество не испробовало как лекарственное. Современные фармакопеи включают около ста растений, в народной медицине используется значительно большее число. В этих условиях основываться на внеязыковом материале нера-

---

33 А. А. Шахматов. К истории звуков русского языка. — ИОРЯС, т. VII, кн. 1. СПб., 1902, стр. 298.

34 F. Bezlaj. Etimološki slovar slovenskega jezika (рукопись первого выпуска).

35 Фасмер I, стр. 175; Георгиев, св. 1, стр. 56.

36 Подвысоцкий, стр. 179.

37 Pokorny, стр. 347—348.

38 Sławski I, стр. 319.

ционально. Поэтому я буду говорить лишь о тех растениях, в названиях которых отражено их использование с медицинской целью.

Наименования лекарственных растений тесно связаны с названиями болезней. Эта группа слов производна и словообразовательно, и семантически. Для понимания подавляющего большинства названий лекарственных растений достаточно осознания вторичности образования и особенностей структуры. Наименования как правило двусоставны. Один из компонентов — слово *трава* (реже *корень*), второй компонент словосочетания — имя прилагательное, образованное от наименования болезни. Ср. семантику прилагательных, входящих в названия лекарств: *сердечные капли*, *желудочные средства* (т. е. употребляемые от заболеваний сердца, желудка и пр.).

Если в отрыве от наименований болезней такие названия не всегда прозрачны, то в сопоставлении с ними они совершенно ясны и не требуют этимологического комментария.

лихорадка — лихорадочная трава
грыжа — грыжная трава
родимец — родимцевая трава
золотуха — золотушная трава
жаба — жабная трава
урок — урочная трава
нарок — нарочная трава
призор — призорная трава
при́тка — при́точная трава
ураз — уразная трава
ускоп — ускопная трава
усов — усовная трава
запор — запорная трава
икота — икотная трава
увек — увечная трава
ломота — ломотная трава
прострел — прострельная трава и мн. др.

Эти отношения кажутся самоочевидными, но тем не менее отсутствие одного из компонентов в литературном языке иногда приводит к недоразумениям. Так, например, в словаре современного русского литературного языка *при́точная трава* носит ударение *прито́чная* и включена в статью *прито́к* 'река, впадающая в большую реку'.

В указанную модель (*ураз — уразная трава*) иногда включаются магические числа: *три*, *семь*, *девять*, *сорок*. Я имею в виду такие образования, как *сорокоприточная трава*, *сороконедужная трава*, т. е. исцеляющая от сорока приток или недугов, *семигрыжная* и т. д.

Второй способ образования наименований лекарственных растений — суффиксальный. От наименования болезни образуется производное слово, чаще всего оно сосуществует с названием-словосочетанием.

грыжа — грыжная трава — грыжница
перелой — перелойная трава — перелойка
ураз — уразная трава — уразница и т. д.

Но возможны случаи, когда среднее звено отсутствует:

короста — короставник
свербеж — свербежник
дна — донник
золотуха — золотушник
вывих — вывишник
жолуница — жолуничник
чирей — чирейник
язва — язвенник и мн. др.

Образования этого типа в целом ряде случаев представляют некоторые сложности для анализа, они требуют точного знания всех названий болезней. Если неизвестно, что *жолуница* это 'болезнь-желтуха', название растения *жолуничник* представляется темным. Есть случаи, когда название болезни или утрачено, или сохранилось в иной форме, ср. *белолóйка* 'название растения' при отсутствии слова **белолóй*, *аплечная трава* предполагает форму **оплек*, *аткасник* (*откосник*), несомненно, связано с наименованием *прикóс* (растение *откосник* употребляется от порчи), но отношения не прямые. Иногда словообразовательная связь не непосредственна: *сухота* 'туберкулез', *сушеница* 'растение, употребляемое от туберкулеза'.

Сделанные заметки следует рассматривать не как итог, а как некоторые наметки будущей работы. Только полный и тщательный анализ всех наименований болезней и связанных с ними названий растений может дать определенные выводы.

И. П. Петлева

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРАСЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ

(На материале сербохорватского языка)

Тезис о необходимости использования при этимологизации всей доступной исследователю лексики говоров, исторических памятников и топонимики встречает сейчас всеобщую поддержку. При реконструкции же праславянского словарного состава в его совокупности широкое использование этой лексики имеет принципиальное значение. Ведь в ряде случаев только этот материал дает нам возможность восстановить те или иные старые слова, формы и значения, которые уже не существуют в апеллативной лексике современных литературных славянских языков. Без учета этих, теперь единственных, свидетелей былого существования некоторых древних лексем у нас сложилось бы искаженное представление о составе праславянского словаря и дистрибуции его компонентов. Разумеется, далеко не все диалектизмы, архаизмы и топонимы, имеющие облик старого слова, могут быть использованы в качестве подобных свидетелей, так как при более тщательном обследовании выясняется, что некоторые из них образованы сравнительно недавно по старым словообразовательным моделям, сохранившим свою продуктивность до нашего времени, а другие — заимствованы из одного славянского языка в другой и, следовательно, для последнего собственным праславянским словом также считаться не могут.

Достоверность реконструкции какого-либо старого слова, безусловно, увеличивается, если она основывается не на одном изолированном факте, а хотя бы на двух-трех, почерпнутых из разных лексических источников, например из говоров и исторических памятников или из говоров и топонимики и т. д. Так, едва ли можно сомневаться, что сербохорватский язык имел раньше праславянскую лексему **ilъ*, теперь в литературной лексике отсутствующую. Это подтверждается наличием производных от нее образований в современной апеллативной и топонимической лексике (*ȉlovača* 'глина', *Ilova*, *Ilovac*), письменными свидетельствами XIV в. и XVI в. (RJA XII, 786 и 795), а также современным диалектным сербохорватским словом *ӣла* 'болотный ил' (Поцерина) [1].

[1] С. Милош Московљевић. Збирка речи из Поцерине и других краjева (рукоп., Серб. АН, Белград) — из материалов О. Н. Трубачева. Далее — Милош Московљевић.

Справедливое требование о необходимости широкого использования диалектной, архаической и топонимической лексики при решении этимологических проблем на практике, однако, часто не выполняется, главным образом, по-видимому, из-за недостатка соответствующих словарей. Многочисленные случаи неучета старых слов, форм и значений, отмечаемых теперь только за пределами апеллативной лексики современного литературного сербохорватского языка, встречающиеся и в общеславянских этимологических словарях и в этимологических словарях отдельных славянских языков, вызывают необходимость широкого обследования диалектной, архаической и топонимической сербохорватской лексики с целью выявления старых лексем и семантики, сохранившихся только здесь. К такой работе приступил И. Попович в книге «Geschichte der serbokroatischen Sprache» [2]. Однако он смог здесь представить лишь далеко не полный перечень подобных фактов, так как не проводил сплошного изучения этих лексических пластов. Он подчеркнул, что считает такое изучение важной задачей будущего.

В дополнение к материалам, собранным И. Поповичем, можно привести целый ряд слов и значений предположительно праславянского происхождения, обнаруживающихся сейчас только в диалектной, архаической или топонимической сербохорватской лексике и отсутствующих в этимологических словарях. В наш список введены также два старых слова, которые относятся скорее к сфере общеупотребительной апеллативной лексики (по данным словаря И. И. Толстого [3]), но тоже отсутствуют в этимологических словарях (*brȉsati*, *prȍseka*).

***bebrъ:** *Bȅbrina* — название трех сел в Славонии и *Bebrevnica* (с XIII в.) — название села в Хорватии (RJA I, 218). Из праславянских вариантов **bobrъ* || **bebrъ* || **bьbrъ* 'бобер' современный с.-хорв. яз. сохранил рефлекс только одного: **bьbrъ* > **babar* > *dȁbar* (RJA V, 215), однако приведенные выше топонимы свидетельствуют о былом существовании в этом языке также древнего варианта с *-e-* — **bebrъ*. Тип с *-e-* представлен в апеллативной лексике болг., словен. и некоторых других слав. языков и, кроме того, отражен в гидронимии: русск. *Бебря*, польск. *Biebrza* (Фасмер I, 141 и 180—181).

***bělьmo:** с.-хорв. диал. *belmȍ* (остров Црес) 'бельмо' (Tentor, 188) [4]. В. Будзишевская в своей книге «Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej» [5] также указывает, что это слово суще-

---

[2] I. Popović. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960, § 151.

[3] И. И. Толстой. Сербско-хорватско-русский словарь. М., 1957.

[4] M. Tentor. Der čakavische Dialekt der Stadt Cres (Cherso). Wörterverzeichnis. — AfslPh XXX, 1909, стр. 186—204. Далее — Tentor.

[5] W. Budziszewska. Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1965.

ствовало раньше в с.-хорв. яз. (как и в болг.). Она отмечает широкое распространение этой лексемы в славянских языках: в русск., укр., блр., чеш., слвц., н.-луж., словен. (см. еще в польск.). В толковых с.-хорв. словарях (Караџић, RJA, Iveković — Broz) и в этимологических словарях слово не представлено. Здесь приводится только *bidna* 'бельмо'.

***brysati:** с.-хорв. *brȉsati* 'стирать, вытирать' (RJA, III, 654). Вызывает некоторую настороженность поздняя фиксация этого слова в RJA (XVIII в.). В словаре Бернекера (I, 90) приводятся только приставочные с.-хорв. глаголы *ȕbrisati* и *ȍbrisati*. Ср. также ст.-сл. **събрысати** 'соскрести', **брысало** 'кисть', словен. *brísati* 'вытирать' и др.

***briti:** с.-хорв. *brȉti* 'брить' употребляется крайне редко, так как вытесняется более поздним по оформлению (с вторичным расширителем) глаголом *brȉjati* (RJA III, 654). Глагол *brȉt* отмечен на о. Цресе (Tentor, 188). В словарях Караджича и Iveković — Broz и в этимологических словарях представлен только в форме *brȉjati*. О былом существовании в с.-хорв. яз. глагола *brȉti* свидетельствует и современное с.-хорв. *brȉtva*, которое, безусловно, образовано от *brȉti*, а не от *brȉjati*. Славянские соответствия также не имеют расширителя: русск. *брить*, словен. *bríti*, чеш. *břiti* и др. (Фасмер I, 213).

***bystrъ:** с.-хорв. *bȉstar* в значении 'быстрый' зафиксировано только в письменных памятниках XIII—XIV вв. и в одном — XVIII в., в то время как сейчас оно употребляется лишь в значении 'ясный, прозрачный' (RJA II, 328—329). Старое значение с.-хорв. слова в этимологических словарях не приводится.

***dulo:** с.-хорв. диал. *dȕlo* 'отверстие, из которого вытекает источник' и *dȕlo* 'трубка у кузнечного меха, через которую к огню подается воздух' (RJA VIII, 883). Правда, к обоим словам в RJA приведено лишь по одному примеру. См. славянские соответствия: русск. *дуло* 'отверстие, полость ружейного ствола, пушки', укр. *дуло* 'кузнечный мех', словен. *dúlo* 'тулья шляпы' (Преображенский I, 201). В этимологических словарях с.-хорв. слова не приводятся. В них фиксируется лишь с.-хорв. *dȕlac* 'трубочка, дудка (у волынки)' (ср. болг. *дулец*, польск. *dulec*, словен. *dȗləc*).

***gnětiti:** с.-хорв. диал. *netȉt* (о. Црес) 'зажигать огонь' (?) (Tentor, 196), безусловно, древнее слово, ср. русск. *гнетить* 'зажигать; поджаривать хлеб, раздувая огонь', укр. *гнітити* 'зажигать', ц.-слав. **гнѣтити** то же и — особенно близкие к с.-хорв. слову — словен. *nětiti* 'разжигать', чеш. *nítiti* и польск. *niecić* 'раздувать' (Фасмер I, 421). Однако в этимологических словарях с.-хорв. бесприставочный глагол *netȉt* отсутствует, а представлен лишь префиксальный — *unȉtiti* с тем же значением.

***gъrbъ:** с.-хорв. старое *grb*, м. 'спина' (RJA X, 392). В RJA отмечается, что современное с.-хорв. *gȑba*, ж. 'горб', регулярно употребляющееся с XVI в., является вторичным по отношению

к *grb*. Ср. также с.-хорв. топонимы *Grb*, *Grbac* и др. (Schütz, 24)[6]. Однако есть указание RJA о том, что слово *grb* зафиксировано только один раз в XVI или XVII в. в книге, написанной церковным языком. Ср. еще ц.-слав. **гръбъ** также со значением 'спина'. В других славянских языках слово отмечено чаще в форме мужского рода. Дублетность форм мужского и женского рода, аналогичная сербохорватской дублетности, наблюдается в словен. яз.: *gȓb*, м. и *gŕba*, ж. (Фасмер I, 439).

***kъrčь:** с.-хорв. диал. *kȓč*, м. со значением 'новь, целина', ср. с.-хорв. *kr̀čevina* то же и топонимы *Krč* и *Krčevina* (Schütz, 61). Имеются многочисленные соответствия в других славянских языках: русск. диал. *корч* и *корчевина* 'выкорчеванный пень', укр. *корч* 'куст', словен. *kŕča* и *kȓč* 'раскорчеванное место', чеш. *krč*, польск. *karcz* то же (Vasmer I, 636). С.-хорв. диал. *kȓč* в этимологических словарях не приводится.

***krǫgъ:** с.-хорв. старое *krûg* 'вершина лесистой горы, лес, гора', диал. *krûg* 'скала, утес; риф' (Schütz, 59), а также *krûg* (Далмация) 'круглое место — нива или вершина' (Караџиħ, 318). Эти, по-видимому, достаточно старые значения в этимологических словарях не фиксируются, хотя они кажутся интересными как семантически связующие, промежуточные звенья между **krǫgъ* 'круг' и **krężь* 'горная цепь'. Ср. смысловую близость укр. *кряж* 'спинной хребет, холм' и с.-х. *krûg* 'вершина горы, гора'.

***lysina:** с.-хорв. топоним *Lȉsina* (RJA XXIV, 108), сюда же с.-хорв. *lisinje* 'голая вершина, голая гора' (Schütz, 25). Слово древнее, ср. русск. *лысина* 'плешь (на голове), белое пятно на лбу некоторых животных', укр. *лисина* 'плешь, лысина; белое пятно у животных; проталина (без снега); поляна в лесу', блр. *лысіна* 'плешь, плешина; лысина'. Ср. еще с.-хорв. *лӣса* 'белое пятно на лбу животных' (Караџиħ, 341).

***paséka:** с.-хорв. диал. *pasika*, *pasik* (Далмация) 'место, где лес вырублен и сожжен (чтобы использовать землю под пашню)' (RJA XXXXI, 666). Ср. многочисленные славянские соответствия: русск. *пасека* 'пасека', диал. также в значении 'просека, лесосека', укр. *пасіка*, блр. *пасека*, др.-русск. *пасѣка*, польск. *pasieka* (Vasmer II, 319), словен. *paseka*, чеш. *paseka* (Schütz, 61—62). Первоначально **paséka* — 'вырубленное место в лесу'. С.-хорв. *pasika* (*pasik*) в этимологических словарях отсутствует.

***pervalъ:** с.-хорв. топоним *Preval* — название какого-то холма (пригорка), отмечено еще в XIII в. (RJA L, 782). В современном с.-хорв. яз. существует также *prȅvala* 'водораздел, седловина'. Однако наличие старого уменьшительного *prevalac* < **pervalьcь* именно к *preval*, которое теперь утрачено языком, говорит,

---

[6] J. Schütz. Die geographische Terminologie des Serbokroatischen Berlin, 1957. Далее — Schütz.

по-видимому, в пользу большей древности именно этого слова и вторичности *prëvala*; ср. также словен. *preval*, болг. *preval* (Schütz, 29), русск. *перевал*, польск. *przewał*.

***plěšь:** с.-хорв. топонимы *Pleš*, *Pl̥eš* — названия гор (и сел) (Скок[7] приводит еще и как название речной отмели) — с XIV в.; с.-хорв. диал. *pl̥ȇš* (остров Крк) 'голое безлесное место в лесу или на горе' (RJA XXXXIII, 97). Кроме того, RJA отмечает и ныне устаревший апеллатив *pl̥ȇš* (без указания его диалектного характера). Ср. славянские эквиваленты: русск. *плешь*, др.-русск. *плѣшь*, укр. *пліш*, блр. *плеш*, чеш. *pleš*, польск. *plesz*, словен. *plêš* и *pléša*. С.-хорв. диал. *pléša* (остров Ластово) 'голое безлесное место в лесу' (RJA XXXXIII, 55) является вторичной формой по отношению к *plȇš*. В качестве с.-хорв. параллели к русск. *плешь* Фасмер приводит лишь топонимы *Пљешевица*, *Плешевица*, т. е. поздние производные образования.

***polsa:** с.-хорв. старое *plȁsa* в значении 'поле, нива, свободная от леса земля' (Schütz, 57). Это значение, безусловно, очень старое: ср. словен. *plása* 'полоса, пашня', польск. *płosa* 'полоска земли, пашня', а также и.-е. соответствия, например, ср.-н.-нем. *falge* 'поле под паром', галльск.-лат. *olca* 'земля, годная под пашню' (Vasmer II, 397). Однако Фасмер не приводит здесь указанное выше значение с.-хорв. слова, а дает лишь с.-хорв. *plȁsa* 'кусок', чак. *plasȁ*.

***porxъna:** с.-хорв. диал. *prána* (Баранья) 'гнилое берестовое дерево, светящееся ночью' (Караџић, 581) и 'любое трухлявое дерево' (село Шушневцы) (RJA XXXXVIII, 365). Это слово зафиксировано уже в списке диалектизмов у Поповича, однако только в первом значении и без широкого сопоставления с многочисленными соответствиями из других славянских языков. Ср. русск. *порохно* 'гнилое дерево', а также русск. диал. *порохня* (курское) 'труха, пыль', укр. *порохно*, *порохонь*, ж., *порохань*, ж., *порохня* 'гнилое дерево, гнилушка, труха', чеш. *práchno* и ст.-чеш. *práchen* 'гнилое дерево', слвц. *práchno* 'трут', польск. *próchno* 'гниль', болг. *прахан* 'трут' и др. (Vasmer II, 410; Преображенский II, 109; Гринченко III, 354; Machek, 389). Однако с.-хорв. слово во всех этимологических словарях отсутствует.

***prosěka:** с.-хорв. диал. *prȍsjeka* (Черногория) 'долина' (Караџић, 630) и топоним *Prȍsika* (чакавское) на острове Паг (Skok, 73). Ср. также с.-хорв. *prȍsjek* 'просеченный (например, в скалах) путь; просека' (RJA LII, 409). См. аналогичные образования в других славянских языках: русск. *просека*, *просек* 'прямой проруб сквозь лес. . .' (Даль[3] III, 1350—1351), укр. *просіка* 'просека', блр. *прасека* то же, болг. *просека* и (диал.) *просек* то же.

---

[7] P. Skok. Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima. Toponomastička ispitivanja. Zagreb, 1950, стр. 226. Далее — Skok.

***zabělъ/ь:** с.-хорв. диал. *зȁбјел* (Поцерина) ʽзапрещение входить на луг или в лес, которое выражено посредством воткнутой в землю ветки, очищенной от коры' (Милош Московљевић). Елезович[8] приводит *зâбе (зâбел)*, *забељ* ʽзаповедный лесной участок' (Косово-Метохия). У Шютца отмечено *zabio* ʽлес' и старое *žabělь* (Schütz, 60). Это, видимо, достаточно древнее (хотя, возможно, и не праславянское) образование от глагола *забиjѐлити* ʽделать белым; отмечать дерево сдиранием с него коры' имеет соответствия в некоторых славянских языках, например русск. *забел* ʽзабеленное место; очищенная от коры вершина кола, жерди, вехи для межевания' (Даль[3] I, 1391), макед. *забел* ʽзаповедная роща, заповедник', а также с иным значением болг. диал. *зáбелъ* ʽжир'[9], укр. *забiл* ʽто, при помощи чего жидкая пища получает белый цвет: сметана, молоко' (Гринченко II, 6) и др. См. еще болг. глагол *забéля* в значении ʽсдирать кожу или кору с чего-н., обдирать немного с краю' и макед. *забели* с диал. значением ʽзарезать, задрать (о волке и т. п.)'.

***žuriti sę:** с.-хорв. *журити се* в диал. значении ʽжаловаться', отмеченном в Поцерине (Милош Московљевић) имеет многочисленные соответствия в других слав. яз.: русск. диал. *журиться* (курское) ʽпечалиться' (Опыт, 58) и русск. *журить* ʽбранить, укорять', укр. *журити* ʽпечалить, озабочивать', блр. *журыцца* ʽгоревать, печалиться' (Vasmer I, 434), чеш. *žurit'* ʽсердиться, гневаться', ст.-польск. *żurzyć się* ʽгневаться' (Machek, 598); см. также болг. диал. *журя* ʽпечь, жечь пламенем'[10]. В этимологических словарях приводится только с.-хорв. *журити се* ʽспешить', ср. аналогичное значение у словен. *žuriti* ʽторопить, заставлять', *žuriti se* ʽспешить' (Преображенский I, 238; Vasmer I, 434).

Дополнительные возможности для реконструкции старой праславянской лексики с.-хорв. яз. дает нам также в ряде случаев использование производных слов (современного литературного употребления), из состава которых можно вычленить старые корни или основы, в непроизводных словах в языке не представленные. Так, глагол *прòждриjети* (Караџић, 623) дает возможность реконструировать для с.-хорв. яз. праславянское **žerti*, ср. ст.-слав. **(по)жрѣти**, словен. *žréti*, др.-чеш. *žřieti*, польск. *żreć*, в.-луж. *žrjeć*, н.-луж. *žreś* (Vasmer I, 430; Преображенский I, 236). В этимологических же словарях приводится лишь, видимо, более позднее с.-хорв. образование *ждѐрати*. С.-хорв. глагол *пòсӯти* (Караџић, 1570) < **(po)supti* отражает другую ступень древнего

---

[8] Гл. Елезовић. Речник косовско-метохиског дијалекта I—II. Београд, 1932—1936.

[9] Село Корница, Благоевградско — дипломная работа. — Извлечения из Софийских архивов, сделанные О. Н. Трубачевым.

[10] Сборник за народни умотворения, наука и книжина XLVIII. София, стр. 450. — Извлечения из Софийских архивов, сделанные О. Н. Трубачевым.

аблаута по сравнению с представленной в глаголе *сйпати* (Караџић, 702) < **sypati*. Ср. также др.-русск. *сути, съпу*, представленное у Фасмера (Vasmer III, 57).

Как видим, изучение словарного состава диалектов, исторических памятников и топонимики, отражающего более консервативное состояние лексики по сравнению с современным литературным языком, позволяет в ряде случаев восстановить старые слова и значения. Поэтому задачей будущего является систематическое изучение диалектной, исторической и топонимической лексики сербохорватского языка, которое позволит пополнить и уточнить наши сведения о праславянском словарном составе.

А. С. Львов

ОБ УЧЕТЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРИЕМОВ ПРИ ЭТИМОЛОГИЗИРОВАНИИ

В существующих этимологических словарях, а также в специальной литературе, посвященной этимологиям отдельных слов, имеются по нескольку различных объяснений происхождения одних и тех же слов. При этом каждый автор опирается на ряд данных, подкрепляющих особенности фонетических явлений, словообразовательных формантов и семантической особенности рассматриваемого слова. Чем же объяснить тогда то, что и после рассмотрения этимологий отдельных слов различными авторами происхождение ряда слов все же остается или спорным, или явно неудовлетворяющим? Объяснить все это можно различными причинами. Одной из самых важных является то, что в ходе исторического развития слово, растеряв все генетические связи, оказывается одиноким, поэтому становится неясным его морфологический состав, т. е. что же в данном слове является корнем, суффиксом или префиксом и т. д. В связи с этим этимолог, помимо воли, кажующееся принимает за сущность явления. Так, например, до сих пор неясно, связано ли слово *артачиться* с *рот* < *ротъ* или *rytь* < **rъtь* 'копыто', ср.: **Осьлъ меча рытьми**, греч. λακτίζων[1]. Кроме того, неясно, каким образом оформилось данное слово: *rъtati* > *rъtačь* > *rъtačiti* или *rъtъ* > *rъtačiti* по аналогии *судачить*, *фордыбачить*, *колпачить* и т. д. Выяснение этих вопросов едва ли возможно без тщательного анализа всего материала, представляемого об этом слове литературным языком и диалектами русского языка. До той поры, думаем, неправомерно признавать бесспорным мнение, считающее слово *артачиться* производным от *рот* < *ротъ*[2].

Нередко слово обследуется поверхностно, вне его взаимосвязей и опосредствований. Так, начиная с А. Матценауэра слово *печать* связывают с глаголом *пеку—печь*. Правда, А. Преображенский этимологию *печать* объявил неясной. «Впрочем, — продолжал он, — может быть, возможно отнести к **пекѫ**, **печати*, **печѣти*,

---

[1] Срезневский II, стб. 212.

[2] «Словарь русского языка», составленный вторым отделением АН, т. I, СПб., 1891, стр. 69; Vasmer I, стр. 26; II, стр. 451; «Этимологический словарь русского языка», т. I. А. Автор-составитель М. Н. Шанский. МГУ, 1963, стр. 146 сл.

если вначале оно означало 'тавро, выжженный знак' (ср. A. Matzenauer. LF 12, 1885, стр. 328)»[3]. М. Фасмер также с оговоркой допускает, что *печать*, возможно, относится к *пеку*[4]. Авторы «Краткого этимологического словаря русского языка», не изучив вопроса, слово *печать* относят к общеславянским, образованным с помощью суф. *-ть* от **pekěti* (<*печати*), являющегося производным к **pekti* — 'печь' (см.). Первоначальное значение — 'выжженный знак, тавро'[5]. Таким образом, что у других авторов было предположительным, здесь на тех же основаниях стало категорическим. При этом авторы не учитывают того факта, что в древности печать носили при себе как знак, удостоверяющий личность, а также привешивали к договорам, грамотам и т. д. как знак неподложности данного документа. В то же время нам ничего не известно, выжигались ли в прошлом с помощью печати тавро.

Не учтено тут и то, что существительные, оформленные с помощью суффикса *-tь*, в прошлом могли образоваться только от непроизводных основ глаголов, куда не входили суф. *-ѣ*, *-а* основ инфинитива, ср.: *зависть* от *завид-(-ѣ-ти)*, *власть* или *волость* от *влад-(-ѣ-ти)* или *волод-(-ѣ-ти)*, *страсть* от *страд-(-а-ти)*, *масть* от *маз-(-а-ти)* и т. д. Ввиду этого предполагаемое образование **печ-а-ть* является невозможным. Ускользнул от внимания авторов и такой немаловажный факт, как наличие в памятниках старославянской письменности совершенно необычной формы глагола **печатьлѣти** при **печать** вместо нормально ожидаемого **печатати*, на что еще в 1957 г. обратил внимание А. Вайян, правда, объяснив происхождение этой формы неправдоподобно[6]. **Печатьлѣ(-ти)**, несомненно, восходит к тюрк. *pečetlē* 'запечатай'. Само же слово **печать** восходит к груз. *bečedi*, заимствованному и принесенному на Балканский полуостров аспаруховыми булгарами в собственном тюркском произношении **pečēt*. Этим объясняется, что первоначально в памятниках старославянской письменности оно относилось к основам на согласный[7]. Обо всем этом писалось подробно, поэтому нет нужды повторяться здесь[8].

Вот один из характернейших примеров, когда слово рассматривается изолированно, так сказать, вне истории и круга его взаимоотношений, объясняется его происхождение произвольно. Если этимологизирование слова представляет установление фоне-

---

[3] Преображенский II, стр. 53.

[4] Vasmer II, стр. 351.

[5] Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1961, стр. 249.

[6] A. Vaillant. Problèmes étymologiques. — RES, 34, 1957, стр. 138 сл.

[7] P. Diels. Altkirchenslavische Grammatik, I. Teil. Heidelberg, 1932, стр. 164.

[8] А. С. Львов. Старославянское печать—печатьлѣти. — «Этимологические исследования по русскому языку», вып. II. МГУ, 1962, стр. 93—103.

тической, словообразовательной и семантической оправданности рассматриваемого слова в кругу родственных слов и образований, то порою ввиду изолированности слова или его особого пути проникновения в данный язык общеобязательные приемы этимологизирования оказываются неэффективными. В таких случаях следует прибегать к вспомогательным приемам (изучению слова в контекстах памятников письменности и диалектном употреблении, анализу реалии, обозначением которого является слово, а также в необходимых случаях — учета исторических, археологических, этнографических и других данных, имеющих какое либо отношение к слову), которые порою могут стать решающими в поисках подлинной истории слова.

Другой пример. С. Младенов слово **коумирь, -ръ**, относя к прабулгарским, в доказательство своего мнения ссылается на сир. *kumra* 'жрец', арм. *k'urm* 'идолослужитель', фин. *kumartaa* 'кланяться' — все они, по мнению автора, восходят к семит. **kumrā*, откуда приведенное армянское, а равно прабулгарское слово [9].

В памятниках старославянской и церковнославянской письменности слово **коумирь** в начале относилось к основам на *-i̯* [10], и употреблялось оно в значении 'статуя' (человека). Неясно: каким образом **kumrā* стала звучать как **коумирь** и почему при этом слово стало относиться к основам на *-i̯*? На эти вопросы в трудах Младенова ответа нет. На самом деле наиболее вероятным является то, что слово **коумирь** принесли на Балканский полуостров те же аспаруховы булгары, заимствовав его из аланоосет. *gumeri*/*g₀ymīry* 'великан', 'дубина' [11]. Этим объясняется звучание начального *g* как *k*, а также нахождение этого слова первоначально в группе основ на *-i̯*. Слово это сохранилось и в языке потомков волжских булгар — в чувашском в виде *кӳмеркке* 'туловище', 'объем'; *кӳмеркkелӗ* 'толстый', 'объемистый'; *кӳмертен* 'целиком', 'оптом' и др.[12]

В данном конкретном случае Младенову не доставало строгости в применении принципов этимологического анализа, а также, видимо, ему оставались неизвестными алано-осетинские слова, не говоря о чувашских.

Весьма спорной остается существующая этимология слова **отрокъ**, которым в памятниках старо-славянской письменности переведены греч. ὁ παῖς и τὸ παιδίον в значениях 'дитя', 'ребенок' и 'слуга', 'раб'. Последние значения, надо полагать, вызвали

---

[9] С. Младенов. Мнимите фински думи в български език. — «Сборник в чест на Иван Д. Шишманов». София, 1920, стр. 87 сл.; Младенов, стр. 262.

[10] P. Diels. Указ. соч., стр. 162.

[11] Абаев, стр. 530.

[12] А. С. Львов. К этимологии ст.-слав. коумирь, -ръ. — «Этимология. 1965». М., 1967.

производные формы **отрочѧ, отрочишть**. Как известно, слово это признается отглагольным именем, состоящим из приставки *ot(ъ)-* и глагольной основы *rok-* < *rek-* в значении puer ist qui fari nequit[13] или 'тот, кому отказано в праве говорить'[14]. Эти определения значения слова не подкреплены соответствующими фактами из истории славян. Основные недостатки предлагаемой этимологии следующие:

1. Предлагаемая приставка *ot(ъ)-* в слове **отрокъ** и его производных во всех памятниках старославянской письменности выдержанно пишется без ъ, в то время как во всех остальных именах подобного образования в тех же самых памятниках старославянской письменности выдержанно пишется *otъ-* с ъ, вроде: **отъвѣтъ, отъдание, отъметание, отъпоуштение, отърада, отърасль, отъречение**, ἀπόφασις; **отърочьнъ** παρῃτημένος (последнее прилагательное, как видно, образовано от существительного **отърокъ*) и т. д.

2. Слова, образованные от глагольных основ, в которые входит приставка *otъ-*, не обозначают и не могут обозначать 'лицо', 'субъект'. Если **отрокъ** — именно указанного типа образование, то это слово может иметь только значение 'отказ' (от чего-либо), 'отговорка', но отнюдь не 'лицо, субъект'.

3. Правда, если то или иное слово является калькой, то оно, вопреки своему составу, может обозначать 'лицо, субъект', как, например, в случаях: **пророкъ** — калька с греч. προφήτης; **неприѣзнь** (ср.: **приходитъ неприѣзнь і въсхыштаетъ сѣаное въ срьдьци его** — Мф. XIII, 19, Зогр., греч. ὁ πονηρός) — калька с герм. *Unhold*[15]. А. Мейе считал слово **отрокъ** калькой с лат. *infans*[16]. Думаем, что Мейе неправ, потому что такая калька могла появиться не ранее IX в., и она обязательно отражала бы обычное написание **отъ-** с **ъ**, так же как и в примерах: **отъречение** (Супр. 482, 17—18), **отърочьна** (Л. XIV, 18 Мар.) и др.

4. Возможно еще одно допущение: слово **отрокъ** могло образоваться еще в ту пору, когда в славянских языках, как предполагают, приставка *ot-* употреблялась без ъ[17]. По всей вероятности, этот период относится ко времени до образования открытых слогов, т. е. к глубокой древности, к заре образования славян. Но тут возникает законное сомнение в существовании в ука-

---

[13] Miklosich, стр. 274.

[14] О. Н. Трубачев. История славянских терминов родства. М., 1959, стр. 47.

[15] И. Вашица. Кирилло-Мефодиевские юридические памятники. — ВСЯ 7, стр. 30; А. С. Львов. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966, стр. 198 сл.

[16] A. Meillet. Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave, II. Paris, 1905, стр. 233.

[17] С. Геродес. Старославянские предлоги. — «Исследования по синтаксису старославянского языка». Прага, 1963, стр. 336. Здесь и ссылка на предшествующую литературу.

занное время обычного права, запрещающего кому-либо говорить на вече. Даже для исторической поры развития славян мы не находим зафиксированного подобного обычая и закона. Помимо этого, сомнительно, чтобы в доисторическое, как и в историческое, время образование *ot-rokъ могло обозначать 'лицо, субъект'.

Не считаться с указанными недостатками существующей этимологии слова **отрокъ** невозможно. По-видимому, данная этимология относится к числу тех, которые установлены по первому впечатлению. Поскольку **отрокъ** обозначает 'лицо, субъект', то вероятно его отношение к существительным, образованным от непроизводных основ глагола с присоединением суф. **-окъ** типа: кидокъ, съвѣдокъ, ходокъ и т. д. Что же в таком случае представляет часть слова после выделения суф. **-окъ**? Надо полагать, что и *otr-* состоит из приставки *o-* и глагольного корня *tr̥-*, этот корень обнаруживается в словен. *tŕta* 'ивовый прут', 'вица', ср.: šel je v brezovo goščo *trto* rezat, da bi zvezal butoro; vinska *trta* 'виноградная лоза'[18]. Что в *trta* корнем является *tr̥-*, доказывается и тем, что в значении 'виноградная лоза' она выступает и в форме *trs* из **tr̥-so*; а также *trš* < **tr̥-s-jo* 'пень', отсюда *tršak* 'коренастый, крепкий'. Таким образом, словен. *otrok* первоначально имело значение 'побочный росток (побег)', 'побочный стебель', где приставка *o-* выступает в значении направления действия в сторону, так же как в ст.-слав. **оходити**, ср. **повелѣниемь твоимь оходитъ вьсь недѫгъ** (Син. трб. л. 26 б, 17); **і видѣвъ дъва корабица. стоꙗшта при езерѣ. рыбари же. ошьдъше отъ нею. плакаахѫ мрѣжѧ** (Л. V, 2 Зогр.). Обозначение словами, имеющими значение 'отросток', 'отрасль', 'ветвь', также понятий 'отродие', 'порождение', 'поколение' — общеизвестно, ср. для примера: *отростелёк*, *остротелочек*, *отросток* 'потомок'[19]. По указанной причине нет ничего удивительного в том, что словен. *otrok* имеет и значение 'ребенок', правда, ныне оно более употребительно по отношению к так называемому «внебрачному» ребенку[20].

Приведенный корень *tr̥-* не только южнославянский, но этот корень известен и восточнославянским языкам, в которых он закономерно звучал в прошлом как **tъr-*, а ныне — как *tor-*, не говоря о западнославянских языках.

В восточнославянских языках слова с корнем *tor* < **tъr-* сохранились в значениях 'растение', 'палка', 'сук', 'отросток'; 'потомок'; 'бахрома' (для оторочки), 'лоскуток' и т. д., ср. укр. *торчок* < **tъrъkькъ* 'растение Helvella esculenta Pers.'; *торч*, *-чі* < **tъrъčь* 'род огорожи: палки из хвороста, укрепленные

---

[18] Pleteršnik II, стр. 669.
[19] Г-ры Прибалтики, стр. 230; Даль II, стб. 1915.
[20] Pleteršnik I, стр. 873.

вертикально'; *торчина* < **tъrъkina* 'одна палка из торчі' [21]; русск. *торок.і* (яросл.) 'решетка, кресла у розвальней' [22], т. е. 'палки'; *оторожье* < **o-tъr-og-ie* (суф -*og*-, сиб.) 'колья и сучья, чем закладывается берлога при выкуривании медведя дымом' [23]; *оторочка*, помимо общеизвестных значений, 'отросток у птиц зимою на пальцах в виде зубчиков, или у других животных в виде волос' и т. д.[24]; *торчёк* < **tъr-ъk-ькъ* (олнц.) 'лоскуток' [25]; *оторонок* < **o-tъr-ьn-okъ* (с явлением 2-го полногласия — перм. ~ урал.) 'отрасль семьи, потомок': *Умер без оторонков* [26]; ср. *оторница* 'корзина из лыка для переноски сена, соломы' [27]; первоначально, надо полагать, — 'корзина из прутьев'.

Первичным значением корня **tъr/*tr̥-* должно быть 'пробивать', ср. русск. *торить* 'пробить', 'протоптать' [28]; *оторить* 'вытоптать', 'проложить' [29]; с.-хорв. *otrti*, *otrem* 'обтереть' 'открыть', 'раскрыть' и другие [30].

Думаем, что сказанным объясняется то, что в памятниках старославянской письменности словом **отрокъ** переведено ὁ παῖς и τὸ παιδίον, а не τὸ τέκνον, потому что первые обозначают общее понятие, поэтому же и словом **дѣти** переводилось τὰ παιδία, когда речь шла вообще о детях, и τὰ τέκνα, когда речь шла о собственных детях, ср.; **бѫдете ѣко дѣти** (Мф. XVIII, 3, Мар.), греч. γένησθε ὡς τὰ παιδία; **вьсѣкъ иже оставитъ... женѫ ли дѣти** (Мф. XIX, 29 Мар.), греч. καὶ πᾶς ὅς ἀφῆκεν... γυναῖκα ἢ τέκνα.

Не вызывает сомнений и обозначение словом **отрокъ** 'слуга', 'раб' потому, во-первых, что греч. ὁ παῖς и τὸ παιδίον известны и в значении 'раб', а во-вторых, молодыми слугами или рабами бывают чужие, а не собственные дети.

Предлагая свое мнение о составе и первичном значении южно- и частично западнославянского (чехословацкого) слова *otrokъ* в качестве материала для дискуссии, мы ничего не говорим об этимологии этого слова, предложенной К. Мошинским [31], потому

---

[21] Гринченко IV, стр. 277.

[22] Мельниченко, стр. 201.

[23] Даль-3 IV, стб. 1927; Опыт, стр. 147; С. Гуляев. Этнографические очерки Сибири. — «Библиотека для чтения», 1848, т. ХС, отд. III, стр. 140.

[24] «Словарь современного русского литературного языка», 8, стб. 1511.

[25] Куликовский, стр. 120.

[26] А. В. Миртов. Уральский словарь. — Рукопись Института русского языка АН СССР, № 86; не пронумерована.

[27] А. И. Иванова, М. А. Кустарева, Б. А. Моисеев. Материалы для «Смоленского областного словаря». — «Уч. зап. Смоленского пед. ин-та», вып. IX. Смоленск, 1958, стр. 143.

[28] М. А. Караулов. Говор гребенских казаков. — Сб. ОРЯС XXI, 7, СПб., 1902, стр. 102.

[29] Даль 3 II, стб. 1927.

[30] J. Jurančič. Srbohrvatsko-slovenski slovar. Ljubljana, 1955, стр. 561.

[31] См. JP XXXII, 1952, стр. 200 сл.; там же, XXXV, 1935, стр. 133.

что мы согласны с оценкой, данной этой этимологии Ф. Славским [32], не говорим ничего и об этимологии этого слова, предложенной Ф. Копечным, поскольку в данный вопрос он ничего нового не вносит [33].

В этимологических разысканиях нередко приходится считаться с явлениями контаминации, на что в свое время обратил особое внимание Л. А. Булаховский [34]. В течение долгого времени этимология русского слова *барахтаться* считалась темной или по этому поводу высказывались различные, граничащие с фантазией, предположения [35]. Почти одновременно по поводу этимологии этого слова за последнее время появились две статьи: В. В. Лопатина [36] и наша [37]. Наконец, в 1965 г. вышел «Этимологический словарь русского языка», т. I, вып. 2, Н. М. Шанского, где принята этимология В. Лопатина, а о нашей даже не упомянуто. Здесь читаем: «Барахтаться... является возвратной формой к *барахтать* (в диалектах еще известного), суффиксальному производному типа *кудахтать, квохтать*, с.-хорв. *бахтати* 'топтать'; 'возиться', чеш. *čvachtat se* (вм. *čvachtati. — А. Л.*) и т. д. от звукоподражательного *барах*» [38]. Если в действительности существуют звукоподражательные слова типа *кудах*, *квох*, *бах* и т. д. и образованные от них глаголы вроде *кудахтать, квохтать* означают произношение звукоподражательного *кудах*, *квох*, то *барахтать*, *-ся* не означает произношения звукоподражательного комплекса *барах*. В связи с этим более чем сомнительным является отношение *барах* к звукоподражательным словам. Глагол, образованный от основы *барах*, как известно, обозначает 'беспорядочные движения телом, руками, ногами, стараясь освободиться, подняться, выплыть' и т. д. или 'бороться', 'драться', 'с силой толкнуть', как это засвидетельствовано в некоторых современных говорах русского языка, а также в рукописях XVII в. Здесь в лучшем случае может быть контаминация или образование глагола *барахтать*, *-ся* под влиянием глаголов типа *кудахтать*, *квохтать*. Но и последнее не бесспорно, поскольку в русских говорах, кроме *барахтать*,

---

[32] См. JP XXXIII, 1954, стр. 398 сл.

[33] Ф. Копечный. К этимологии слав. *otrokъ*. — «Этимология. 1966». М., 1968; «Etymologický slovník slovanských jazyků. Ukázkové číslo». Brno, 1966, стр. 51 сл.

[34] Л. А. Булаховский. Сравнительно-исторический метод и изучение славянских языков... — «Вопросы теории и истории языка...» М., 1952, стр. 239 сл.

[35] Vasmer I, стр. 54.

[36] В. В. Лопатин. Барахтаться. — «Этимологические исследования по русскому языку», вып. II, стр. 139 сл.

[37] А. С. Львов. Этимологические заметки. *Барахтаться*. — «Cercetări de lingvistică. Anul III. 1958. Supliment». Bucarest, стр. 315—318.

[38] «Этимологический словарь русского языка», т. I, вып. 2. Б. 1965, стр. 41.

-ся, имеются еще такие формы, как *барахнуть*, *барахчать* [39]; *барыхматься* 'бороться', 'сопротивляться'; 'барахтаться' [40]. Таким образом, одни глаголы образованы непосредственно от основы *барах-* : *барахнуть* 'с силой толкнуть', другие — от *барахч*(*а*)-, третьи — *барахт(а)-*, *барыхт*(*а*), четвертые — *барыхм*(*а*)-. По всей вероятности, *-та* и *-ма* здесь — именные суффиксы, так же как и в словах *короста*, *пята*, *береста*; *солома*, *косма*, *крома* и проч. Основа же *борох-*, *барах-*, *барых-* восходит к **bъrs-*, о чем свидетельствуют укр. *борсатися* и блр. *борсацца* в тех же значениях, что и русск. *барахтаться*. Звучание **bъrs-* как *борох-*, *барах-*, *барых-* развилось на севернорусской почве в результате перехода *ъr̄-*, *ъl̄-* в процессе падения редуцированных в *-oro-*, *-ara-*, *-ary-*; *-olo-*, *-ala-*, *-aly-*, ср.: *молонья*, *маланья* (арханг.), *молынья* (из *мълнии*); *тарыжничать* 'торговать' (из *тържьничати*) и т. п.[41] Иначе, **bъrs->*bъrъch->борох-*, *барах-*, *барых-*. По этой причине возможно привести к *барахтаться* как соответствия укр. *борсатися*, блр. *борсацца*, а также слвц. *brchat'sa* [42], лит. *burzdéti* 'шевелиться (всем телом), ворочаться, барахтаться'; лтш. *burzma* (просторечн.) 'сутолка, толкотня, толчея' — и все они, бесспорно, одного корня **br̥-s-* 'непроизвольное движение', закономерно развившегося в славянских в **bъr-s-*, **br̥-ch-*, а прибалт. **bur-z*. Отнесение же *барахтаться* к звукоподражательным по происхождению словам появилось в результате поверхностного подхода к изучению этого слова, поскольку на первый взгляд *барахтать* напоминает глагол типа *кудахтать*.

Однако в ряде случаев у слова не оказывается никаких видимых генетических связей и опосредствований. К таким, в частности, относится ст.-слав. **мѣдь**. Попытки выводить это слово из герм. *smid* 'кузнец', *smīda* 'металл, металлическое изделие' оказались безрезультатными. В. И. Абаев, опираясь на археологические и исторические данные, пришел к выводу, что слово **мѣдь** восходит к названию Мидии, греч. Μηδία, Μῆδοι [43]. Таким образом, как лат. *cuprum* связывается с названием острова Кипр, откуда римляне вывозили медь, так и ст.-слав. **мѣдь**, по мнению

---

[39] Примеры со ссылкой на источники см. в нашей заметке *Барахтаться*, а также: Филин 2, стр. 109.

[40] Г-ры Прибалтики, стр. 25.

[41] Подробнее об этом см.: А. А. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915, стр. 158 сл.

[42] Этот словацкий глагол приведен А. Шахматовым в труде, упомянутом в прим. 41 (стр. 160). «Slovník slovenského jazyka», I (Bratislava, 1959) и A. V. Isačenko. Slovensko-ruský prekladový slovník. Prvý diel (Bratislava, 1950) этого слова не фиксируют. Не думаем, что Шахматов мог ссылаться на несуществующее слово. По-видимому, слвц. *brchat'sa* — диалектное слово.

[43] В. И. Абаев. Опыт этимологии славянского *мѣдь*. — «Езиковедски изследования в чест на академик Стефан Младенов». София, 1957, стр. 321—328.

В. А. Абаева, связывается с названием страны Мидия, откуда в древности вывозилась медь. И эта этимология пока является единственной из правдоподобных.

Слово **сапогъ**, зафиксированное как южнославянское в памятниках старославянской письменности, а также и поныне являющееся живым словом в русском языке, до сих пор не имеет бесспорной этимологии по той же причине отсутствия к нему каких-либо убедительных соответствий. За последнее время большинство стало склоняться к мнению, что слово **сапогъ** заимствовано из тюркских языков. Так, Ф. П. Филин в рецензии на книгу И. С. Вахроса «Наименование обуви в русском языке» (Хельсинки, 1959) основанием относить **сапогъ** к заимствованным словам считает фонетические изменения этого слова в говорах в виде *запог*, *сабог*, *цапог* и т. п.[44] Но ведь в случаях утери словом генетических связей в результате контаминации, а также местных диалектных звуковых изменений оно, действительно, принимает различный звуковой облик. О. Н. Трубачев в рецензии на эту же книгу пишет: «В результате пересмотра существующих этимологий И. С. Вахрос окончательно останавливает свой выбор на решении, близком к объяснению К. Менгеса, а именно видит в слове *сапог* тюркизм (ср. тюрк. *sap* 'рукоятка, стебель, голенище', конкретно из др.-тюрк. диал. **sapaγ*, **sapuγ-* (стр. 168). Можно думать, что И. С. Вахрос нашел верное решение»[45].

Следует иметь в виду то, что в известных изустных заимствованиях из тюркских языков безударный *а* в славянском передается через *о*, ср.: *товаръ* и тюрк. *tavar*, *колпакъ* и тюрк. *kalpak*, *бояр*(*инъ*) и тюрк. *байар*, *пайар* 'богатый' и др. Эта же звуковая закономерность распространилась и на изустные заимствования из греческого языка, ср. γράμματα — *грамота*, καράβιον — *корабль*, λακάνη — *лохань*[46] и т. д. Однако мы ни в одном памятнике старославянской письменности, а также в древнерусских памятниках письменности до начала падения редуцированных не находим написания **сопа́гъ* или **сопу́гъ*. По археологическим данным, у славян до X в. обнаруживаются только так называемые полусапожки, имеющие голенища не выше голенищ современных ботинок, и эти голенища привязывались к ногам завязками или ремешками пониже лодыжек. Такие же сапожки, по дошедшим до нас данным скульптуры и древней живописи, носили скифы, греки и др. По свидетельству арабских письменных источников, славяне «носят рубахи и низкие сапоги до щиколоток, подобно табаристанским»[47]. Не лишне напомнить и о том факте, что, не-

---

[44] «Лексикографический сборник», вып. VI. М., 1963, стр. 170.
[45] КСИС, 35, стр. 101.
[46] М. Фасмер. Греко-славянские этюды, II. — ИОРЯС XII, 2. СПб., 1907, стр. 201 сл.; Он же. Греко-славянские этюды, III. — Сб. ОРЯС XXXVI. СПб., 1909, стр. 6 сл.
[47] Л. Нидерле. Славянские древности. М., 1956, стр. 225.

смотря на большую продуктивность в образовании слов в тюркских языках от корня *sap*-, ни в одном из них не зафиксирован в названии обуви, притом еще с аффиксом -*aγ*[48].

Таким образом, можно констатировать, что и И. С. Вахрос еще не нашел верного решения этимологии слова **сапогъ**. Нами предложено свое объяснение этимологии этого слова. Нам представляется вполне вероятным образование его от корня *sāp*-, встречающегося в говорах русского языка в виде отглагольного существительного *сап* 'конские пута', *сапить* (лошадь) 'вязать или путать лошадь, налагая на ноги путы', *засапить* 'завязать узлом', польск. *supeł* 'узел'. Наличие чередования *ā*/*u* в корне, так же как и в *chmara*/*chmura*, *tune*/*tani* и т. д., свидетельствует о древнейшем происхождении слов от корня *sāp*-/*sup*-. **Сапогъ** является образованием, ныне непродуктивным, типа приведенного выше *оторожье*, *острогъ*, с.-хорв. *tálog* 'осадок' от основы глагола *táliti* 'топить', 'растапливать' и т. п. Первоначально **сапогъ** мог быть видом обуви, привязываемой к ногам ниже щиколоток. Об этом свидетельствует обязательное наличие у упомянутых древних сапог скифов, греков и славян шнурков или ремешков, которыми сапоги прикреплялись к ногам[49].

В существующих этимологических словарях, на наш взгляд, многие слова необоснованно оказываются в числе общеславянских, в смысле восходящих к праславянскому корню или основе. Так, в числе общеславянских фигурируют **кънигы**, **кънязь**, **печать**, **слоуга**, **скарѣд**- и т. п. На основании имеющихся данных можно констатировать, что в памятниках древнерусской письменности весьма редко встречается слово **слоуга** взамен холопъ или отрокъ, и если встречается, то большей частью в оборотах речи, свойственных памятникам старославянской письменности, вроде: слоуга божии, слоугы церковныя, слоуга благодати, бѣси и т. д. Например, в Повести временных лет это слово встречается всего пять раз: два раза — в цитате из Хроники Георгия Амартола, в книжном обороте речи слоугы бѣси и в повествовании об убийстве кн. Бориса. Все сказанное не составляет сомнения, что в древнерусском языке не было слова слоуга, восходящего к праславянскому наследству, а оно пришло на Русь вместе с церковными книгами.

Слово **кънязь** во всех случаях, когда древнерусский памятник письменности XI и начала XII в. отражает живую восточнославянскую речь, пишется без ъ — кназь, несмотря на то, что в том же памятнике в остальных словах ъ и ь, сильные и слабые, употребляются правильно. В частности, это наблюдается в Тмутараканской надписи 1068 г., в послесловии Иоанна дьяка к Изборнику Святослава 1073 г., в грамоте кн. Мстислава около 1130 г. и др.

---

[48] Об этом подробнее в нашей статье «Сапогъ». «Этимологические исследования по русскому языку», вып. IV. М., 1963, стр. 71—86.

[49] Подробнее в статье, упомянутой в прим. 48.

В Повести временных лет по Лаврентьевскому списку почти на 160 случаев употребления этого слова нет ни одного примера написания кънязь с ъ, которое могло бы свидетельствовать, что в оригинале, составленном в конце XI или начале XII в., это слово писалось с ъ после к. Если бы слово кънязь в древнерусском языке было праславянским наследием, восходящим к герм. **kunings*, оно бы обязательно писалось с ъ, но, повторяем, этого нет. Показательны в этом отношении еще данные Новгородской первой летописи Синодального списка XIII—XIV вв. Эта рукопись сохранила в огромном количестве данные, свидетельствующие о том, что в языке летописца редуцированные еще были живыми звуками, по крайней мере, в начале XIII в. Вместе с тем в этой рукописи всего три раза находим написание кънязь, и то только в случаях, когда къ- находится в конце строки. В этом памятнике по традиции строку не оканчивали на согласную букву, поэтому к согласной букве, если она оказывалась в конце строки, искусственно добавляли ъ или ь. Этим объясняются такие искусственные написания в этой рукописи, как Пропълъ|къ (л. 58 об.), арь|хиеп(с)пъ (л. 46 об.—47), соужь|дальци (л. 19) и т. п. Таким образом, трехкратное написание къ|нязь в рукописи в 169 лл. (=338 стр.) не может быть принято за отражение на письме произношения **kъn'azь*. Выдержанное написание князь без ъ в текстах, отражающих восточнославянскую речь, может свидетельствовать только о том, что данное слово заимствовано восточными славянами не ранее XI в., в произношении без ъ в первом слоге. В Супрасльской рукописи из 93 случаев употребления слова кънязь, къняжь 83 раза написано без ъ после к, 3 раза пишется кьн- и лишь 7 раз — кън-, тогда как в Зогр. ев. все 18 раз написано с ъ и лишь один раз — к'нязь; в Мар. ев. из 22 раз всего одно написание без ъ, в Син. пс. все 18 раз с ъ и т. д. Данные Супр. свидетельствуют, что в Восточной Болгарии в XI в. слово князь произносилось без ъ, оттуда, надо полагать, и пришло это слово к восточным славянам.

Слово кънигы рядом с производным книгъчии с явным тюркским суф. *-či(jь)* указывает на то, что эти слова принесены на Балканский полуостров аспаруховыми булгарами. Из памятников старославянской письменности слово кънигы распространилось по всем славянским языкам, поэтому нельзя это слово признавать праславянским заимствованием.

О словах с основой скарѣд-. В этимологических словарях эта основа признана праславянской и ошибочно пишется с *ę* вместо ѣ. В так называемых классических памятниках старославянской письменности, по крайней мере в евангелиях, псалтыри, праксапостоле, нет слов с указанной основой; скарадоуяса впервые встречается в апостоле в Римл. II, 22, читающемся в пятницу 1-й недели всех святых, причем приведенным причастием пере-

ведено греч. βδελυσσόμενος. Чтения апостола с понедельника до пятницы включительно не в страстную и великую недели считаются переведенными в Моравии. **Скарѣдоують, скарѣдоуꙗ сѧ** находим в Номоканоне, который, по свидетельству Жития, Мефодий перевел незадолго до смерти. Прилаг. **скарѣдѣѥ** обнаруживаем в Беседах папы Григория (Двоеслова) на евангелие, переведенных западным славянином[50]. До сих пор в западнославянских языках широко употребительны слова с основой *škarěd-* (из *skarěd-*).

Если обратимся к данным южнославянских языков, то там изредка употребляются слова с этой основой как явные церковнославянизмы. В восточнославянских языках, в украинском и белорусском слова с основой *шкаред-* — явные западнославянизмы, а русские слова с основой *скаред-* известны совсем в другом значении: не 'мерзость', 'гадость', а 'скупец', 'скряга', что можно объяснить появившимся в результате контаминации заимствованного слова со своим с основой *скар-* 'кожа', 'кора'. Словом, данные, подробно о которых публикуем в отдельной заметке [51], показывают, что слова с основой *skarěd-* с давних пор как живые бытуют только в западнославянских языках. Какие же основания в таком случае признавать основу *skarěd-* общеславянской, восходящей к праславянскому источнику?

Говоря иначе, если мы этимологические исследования будем проводить на данных памятников древней письменности, а также диалектной лексике, и при этом каждое слово с спорной этимологией станем изучать во всех его связях и опосредствованиях, не исключая в необходимых случаях исторические, археологические и другие данные, то в результате таких исследований, надо полагать, многое из существующих этимологий будет отвергнуто как ошибочное, вместе с тем обнаружится много новых бесспорных этимологий. Во всяком случае, при этимологизировании нельзя ограничиваться рассмотрением слова изолированно, вне контекста, а в необходимых случаях и вне реалии, для обозначения которой возникло и служит слово.

---

50 А. Соболевский. Церковнославянские тексты Моравского происхождения. — РФВ 1900, № 1—2, стр. 150 сл.; F. V. Mareš. Česká redakce církevní slovanštiny v světle Besěd Řehoře Velikého (Dvojeslova). — «Slavia», XXXII, 3, 1963, стр. 417.

51 А. С. Львов. О словах с основой *skarěd-* в славянских языках. — «Этимология. 1966». М., 1968, стр. 149—153.

А. К. Матвеев

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА СЕМАНТИЧЕСКОЙ МОТИВИРОВАННОСТИ ДЛЯ ЭТИМОЛОГИЗАЦИИ СУБСТРАТНЫХ ТОПОНИМОВ

I. Установление этимологии — основная задача лингвистического исследования в области субстратной топонимики. Значение так называемых формальных методов — типологического и структурно-фонетического — прежде всего состоит в том, что они подготавливают этимологические разыскания. Даже наиболее интересные результаты формального анализа, которые могут иметь самостоятельное значение, например установление структурно-словообразовательных типов или выявление звуковых оппозиций, представляют собою в то же время этап этимологического исследования. К сожалению, этот этап может оказаться и последним, если топонимический материал беден и не дает возможности установить тот минимум системных отношений, который позволил бы подвести более или менее прочный фундамент под этимологические построения [1].

В статье обсуждается один из путей объективизации топонимических этимологий: использование принципа семантической мотивированности.

Предлагаемая тема не нова: в той или иной степени семантика исходных апеллятивов учитывается при этимологизации субстратных топонимов, однако это делается интуитивно и небезошибочно. О существовании семантической мотивированности названий в свое время писал А. П. Дульзон [2]. Этот вопрос в общих чертах рассматривался и в работах автора [3]. Задача предлагаемой статьи состоит в том, чтобы показать своеобразие топонимической лексики, которая охватывает лишь часть словаря, что и создает условия для использования принципа семантической мотивированности, охарактеризовать основные принципы номинации и выяснить воз-

---

[1] Подробно соотношение формального и этимологического исследования топонимов рассматривается автором в работе «Некоторые вопросы лингвистического анализа субстратной топонимики» (ВЯ 1965, № 6, стр. 3—15).

[2] А. П. Дульзон. Вопросы этимологического анализа русских топонимов субстратного происхождения. — ВЯ 1959, № 4, стр. 46.

[3] А. К. Матвеев: 1) Историко-этимологические разыскания. — «Уч. зап. УрГУ» 36. Свердловск, 1960, стр. 112—115; 2) К проблеме происхождения севернорусской топонимики. — «Вопросы финно-угорского языкознания». М.—Л., 1964, стр. 187—188; 3) Субстратная топонимика русского Севера. — ВЯ 1964, № 2, стр. 65—66.

можности применения принципа семантической мотивированности в качестве методического приема.

Вопрос рассматривается только в порядке постановки: семантическое многообразие топонимических систем обусловливает необходимость коллективного решения проблемы, в которой так много неизвестного, неясного и спорного [4].

II. Введение в практику исследования принципа семантической мотивированности вызвано необходимостью установить смысловые критерии для топонимических этимологий. В сущности, этот принцип сводится к использованию для проверки убедительности этимологий семантических моделей-эталонов, установленных опытным путем на основе анализа принципов номинации.

О семантической мотивированности топонимов можно говорить только в тех случаях, когда этимологизация имеет массовый характер, т. е. если дается серия этимологий. Единичная семантически оправданная этимология не имеет никакой доказательной силы, так как всегда может оказаться следствием случайного совпадения. Справедливость этимологизации подтверждается массовым характером интерпретаций из одного языка по сравнению с интерпретациями из других языков.

Так, некоторые из названий населенных пунктов и урочищ на *-нема* и *-мень* (<*немь*) 'мыс' в бассейне р. Пинеги находят семантически оправданные соответствия в коми-зырянском языке: *Озарнема* и *озыр* 'богатый', *Кузьнема* и *кузь* 'длинный'. Однако из 59 названий этого типа на прибалтийско-финской и саамской почве этимологизируется 39 (15 убедительно, т. е. полностью отвечают семантическим и фонетическим критериям), а на коми-зырянской — только 13 (4 убедительно). Поэтому топонимы *Озарнема* и *Кузьнема* предпочтительнее сопоставлять с карел. *озра*, вепс. *озр* 'ячмень', карел. *куузи*, вепс. *куз'* 'ель'. Учитывая, что номенклатурный термин *нема*, *немь* отражен только в прибалтийско-финских языках [5] и что в названиях на *-нема*, *-немь* часто встречается *х*, отсутствующее в коми-зырянском языке (*Хатарнема*, *Ихальнема*), следует считать, что эти названия — прибалтийско-финского происхождения.

Очевидно, что убедительность этимологической серии зависит от числа семантически оправданных этимологий. Поэтому изучение принципов топонимической номинации — одно из условий успешного этимологического анализа и применения принципа семантической мотивированности. Однако выявление этих принципов не-

---

[4] Большинство примеров извлечено из картотеки Севернорусской топонимической экспедиции кафедры русского языка и общего языкознания Уральского университета им. А. М. Горького. Ссылки даются только на те примеры, которые заимствованы из работ, основанных на иных источниках.

[5] А. К. Матвеев. О некоторых севернорусских топонимических типах. — «Лингвистический сборник», 1, изд. УрГУ им. А. М. Горького. Свердловск, 1963, стр. 71—76.

мыслимо без тщательного изучения семантики топонимических систем в известных языках и без классификации топонимов по семантическим признакам. К сожалению, в настоящее время эта очень нужная работа почти не ведется, а постановка вопроса объявлена ненаучной [6].

В защиту семантических классификаций следует сказать, что, при всем несовершенстве, «зоологические», «ботанические» и иные классификации дают не менее ценный материал для лингвистики, чем изучение аффиксов, а в общелингвистическом плане даже более ценный, так как позволяют выяснить основные принципы топонимической номинации и установить объем топонимической лексики и ее характер.

Что касается опасности ошибок при семантических классификациях, то она сильно преувеличена. Конечно, не следует возрождать нелепые попытки связать *Мериново* с *Мерей* и *Чудиново* с *Чудью*, но среди *Белых* и *Черных* рек вряд ли есть хоть один антротопоним, *Чебачьи*, *Щучьи*, *Карасьи* озера также не имеют никакого отношения к антропонимике, очень сомнительно, что хотя бы одна *Березовка* из ста рек с таким названием восходит к фамилии *Березов* или прозвищу *Береза*.

Семантические классификации особенно полезны по той причине, что до сих пор о принципах топонимической номинации судят, основываясь на «чутье», голословно утверждая, что *так* называют объекты, а *так* не называют. Семантическое разнообразие топонимов исключительно велико: в русской топонимике можно найти и поэтическое название луга *Москва—золотые маковки* и громоздкое наименование ручья *Надо—улицаполеречка*, местоименное название озера *Свое* и экспрессивные обозначения лугов *Сломи ногу* и *Чертородина*. Возможности топонимики оказываются значительно богаче, чем полагают некоторые исследователи. Так, Б. А. Серебренников в одной из своих работ утверждает, что в гидронимике не встречаются названия, образованные от апеллятивов *лодочный*, *сильный*, *ребячий* [7]. Для ученого, конечно, безразлично, может пройти лодка по реке или нет, для него «это слишком общий и неброский признак» [8], но для местного населения проходимость реки могла стать весьма существенным признаком. Не случайно в Сухону впадает р. *Лодейка* (ср. *Лодейное Поле*), а в мансийской топонимике зафиксирована река *Хапынгъя* 'лодочная река' [9]. Не знаю, встречаются ли на русской земле *Ребячьи* реки, но озеро *Дитячье* есть (около г. Катайска Курганской обл.). В тюркской

---

[6] В. А. Никонов. Введение в топонимику. М., 1954, стр. 26.

[7] Б. А. Серебренников. О гидронимических формантах *-ньга*, *-юга*, *-уга*, и *-юг*. — «Советское финно-угроведение», 1966, № 1, стр. 62.

[8] Там же.

[9] Е. И. Ромбандеева. Основные типы мансийских географических названий. — «Всесоюзная конференция по топонимике СССР 28 января—2 февраля 1965 г. (тезисы докладов и сообщений)». Л., 1965, стр. 205.

топонимике Западной Сибири засвидетельствован целый ряд «сильных» озер [10], а в бассейне р. Юг (Вологодская обл.) в числе рек с русскими названиями фигурирует р. *Сильная*.

Основываясь на «чутье», можно не только искусственно сузить семантические возможности топонимики, но и безгранично их расширить, хотя используемый в топонимике лексический фонд все же ограничен и своеобразен. Поражает, например, сопоставление севернорусского субстратного гидронима *Тастус* с саам. *таст* 'звезда', которое производит Е. М. Поспелов [11]. Метафорические названия рек — редкость, а гидроним 'Звездная река' может рассматриваться только как очень изощренная (и притом совершенно не обоснованная) метафора.

Эфемерному «чутью» в топонимических исследованиях должен быть противопоставлен строго научный метод, основанный на изучении принципов номинации и установлении общих и частных, т. е. присущих данной топонимической системе, семантических моделей топонимов. Выявленные путем анализа топонимики известных языков принципы номинации могут быть затем с известными оговорками приложены к неизвестным языкам.

III. Изучение принципов номинации показывает, что следует различать общие и частные принципы, а также топонимические универсалии.

Принципы номинации представляют собой не закономерности, а тенденции называния, так как эти принципы как правило не абсолютны. Общие принципы номинации свойственны топонимическим системам разных языков, а частные принципы характеризуют отдельные топонимические системы.

Одна из существенных общих тенденций номинации состоит в том, что названия природных объектов чаще содержат информацию о естественно-географических свойствах реалий, чем названия искусственных объектов.

О том, какой характер имеет семантическая мотивированность названий естественных объектов, можно судить по следующему примеру. На площади в 12,5 тыс. км^2 в бассейне р. Юг (приток Северной Двины) оказалось 555 речных названий. Из них 122 субстратных (*Паданга*, *Вачуг* и др.), 85 неясных (*Трисимушка*, *Кишка*) и 350 с прозрачной русской этимологией. Из этих 350 названий 203 (58%) восходят к апеллятивам, характеризующим свойства реки (126), берега (36), растительный и животный мир (41). При этом оказалось, что 98 гидронимов, употребленных 5 и более раз (28% от общего числа русских названий и около половины всех семантически мотивированных), образованы от 13 апеллятивов: *Черная* (*Чернушка*, *Чернуха*) — 16 употребле-

[10] О. Т. Молчанова. Тюркские названия озер Западной Сибири. — «Языки и топонимия Сибири», 1. Томск, 1966, стр. 6—7.

[11] Е. М. Поспелов. О балтийской гипотезе в северно-русской топонимике. — ВЯ 1965, № 2, стр. 37.

ний (4,5%), *Каменка* (*Каменушка*, *Каменуха*) — 11 (3%), *Великая* (*Великуша*) — 10, *Избная*, *Талая*, *Крутая* — 8, далее идут *Березовка*, *Большая*, *Гаревая* и др. Эти данные весьма любопытны, так как показывают, во-первых, что большая часть названий естественных объектов связана с определенными разрядами нарицательных, а во-вторых, что некоторые повторяющиеся топонимы обладают очень высоким процентом употреблений, например *Черная* и *Каменка* вместе составляют 7,5% всех этимологизируемых русских гидронимических названий на данной территории.

Разумеется, не надо упрощать, полагая, что названия естественных объектов отражают явления природы, а искусственных — общественные отношения, хотя тенденция к этому есть. То, что это тенденция, а не закономерность, иллюстрируется существованием рек с названиями *Царева*, *Княжа*, *Смердья*, а также множеством антропонимических наименований естественных объектов (в гидронимике исследованной части бассейна р. Юг их оказалось 46, т. е. 13%).

Выбор исходного апеллятива во многом обусловливается не только классом, но и типом объектов — естественных (реки, озера, горы и т. д.) и искусственных (населенные пункты, поля и т. д.). На карте нашей страны вряд ли удастся найти реку *Америка* или *Иерусалим*, между тем такие названия полей и лугов весьма обыкновенны, ср. *Порт-Артуры*, *Америка*, *Сибирь*, *Финляндия*, *Канада*, *Питер*, *Ярославль*, *Иерусалим*, *Кубань*. Это — образные мемориальные названия, обозначающие отдаленные или красивые урочища.

Весьма существенным основанием для номинации является также величина и форма объекта. Чем объект больше и протяженнее («линейнее»), тем его название нейтральнее, чем объект меньше и контурнее (чем он «обозримее»), тем больше создается условий для возникновения образного названия. По этой причине названия гор, скал, озер, урочищ часто бывают образными в отличие от названий рек. Ср. скалы *Собачьи ребра* и *Кобыльи ребра*, пороги *Мертвая голова* и *Щеки*, горы *Булка* и *Коврига*, озеро *Хомутина*, болото *Штанное* (название дано по форме). Характерно, что образные названия часто связаны с обозначением людей, животных, а также частей тела человека и животных (луг *Шея*, урочище *Горлышко*, гора *Пуп*, поле *Ножка* и т. д.).

Тенденция к противопоставлению образных и необразных названий, разумеется, также не абсолютна, ср. наименования маленьких ручьев: *Брякунец*, *Брякотун*, *Брехунец*, *Гремилко*, *Шумилко* и т. д.

Другой важнейший принцип номинации — обусловленность семантики уровнем развития общества. Названия, которые даются народом, находившимся в момент номинации на более низком уровне общественных отношений, нередко нагляднее и образнее, очевидно, в силу большей конкретности и образности мышления.

Ср. манс. *Нята рохтес сори сяхль* 'перемычка горы, где испугался олененок' или *Лунт хусап сяхль* 'гора гусиной коробки (ямы)'.

Языческие представления приводят к появлению многочисленных названий рек, озер и гор, указывающих на идолопоклонство (манс. *Мань-Пупу-Нёр* 'малая гора идолов', коми-зыр. *Болвано-из* 'гора идолов', манс. (субстратные) *Пупуя* 'река идолов', *Попытырь* 'озеро идолов' и т. д.

К этой же группе названий относятся и многочисленные топонимы, содержащие упоминание о злом духе, черте (среди которых, впрочем, могут быть и чисто экспрессивные), ср. карел.-русск. *Лембой-наволок* 'чертов наволок', прибалт.-фин. (субстратное) *Лембонема* 'чертов мыс', русск. гора *Чертово городище*, гора *Чертова банька*, залив *Чертов омут*, гора *Бесеновка*, озеро *Бесовец*.

Общность принципов номинации, проявляющаяся в наличии определенных тенденций, позволяет поставить вопрос о существовании топонимических универсалий.

IV. Вопрос о топонимических универсалиях отличается большой сложностью. Прежде всего напрашивается членение универсалий на две группы. Универсалии первой группы — всеобщие, или полные — приложимы к любому типу географических объектов, так как они обозначают наиболее общие признаки, универсалии второй группы — невсеобщие, или неполные — прилагаются только к некоторым типам объектов. К универсалиям первой группы относятся, например. обозначения в е л и ч и н ы и ц в е т а, которые могут прилагаться к любому типу географических объектов [12], а к универсалиям второй группы — обозначения г л у б и н ы и в ы с о т ы. Кроме того, следует различать универсалии хронологически и территориально не ограниченные (ахронические и интеррегиональные) и универсалии хронологически и территориально ограниченные, ср. *большой* (ахроническая интеррегиональная полная универсалия), *глубокий* (ахроническая интеррегиональная неполная универсалия), *медвежий* (хронологически и территориально ограниченная полная универсалия). Таким образом, названия гора *Глубокая* и река *Высокая*, гора *Мелкая* и река *Низкая* должны считаться семантически не мотивированными, так как тип объекта не соответствует универсалии. Этимологии такого рода при изучении

---

[12] Уже из этого видно, что для номинации объектов очень важное значение имеют семантические оппозиции, которые играют в лексическом фонде топонимики большую роль. Изучение как всеобщих, так и невсеобщих универсалей поэтому в значительной мере сводится к выявлению наиболее употребительных семантических оппозиций (*Большой—Малый*, *Черная—Белая*, *Новый—Старый* и т. д.).

Несущественно при этом, что на одной территории *Черных* и *Белых* рек может быть во много раз больше, чем *Красных*, *Желтых* и *Зеленых*, а в других местах наблюдается обратное соотношение.

субстратной топонимики должны считаться неудовлетворительными, хотя, как это ни парадоксально, иногда они могут быть верными, потому что названия типа гора *Глубокая* и река *Высокая* в топонимике встречаются.

Чем это объясняется? — Прежде всего тем, что, несмотря на соотнесение определенных способов номинации с определенными типами объектов, уже возникшие названия могут переноситься на соседние объекты, иными словами — метонимией [13], которая, значительно упрощая процесс создания топонимов, создает вместе с тем сакраментальные для этимологиста ситуации, вызывая к жизни такие названия, как гора *Глубокая* рядом с рекой *Глубокой*, река *Высокая* рядом с горой *Высокой* и даже река *Треугольница*, которая протекает через озеро *Треугольное*. Перефразируя известную формулу, можно сказать, что метонимия так же нарушает семантическую мотивированность, как аналогия — фонетические законы.

Особенно часто метонимия встречается при назывании смежных объектов, созданных человеком. Поэтому о семантической мотивированности с бо́льшим основанием следует говорить при этимологизации названий природных объектов, с меньшим — при этимологизации названий искусственных объектов. В первую очередь, следовательно, должны изучаться принципы номинации природных объектов, так как искусственные объекты значительно чаще получают метонимическое наименование, хотя возможно и обратное соотношение, когда, например, небольшие речки и ручьи получают наименование по населенным пунктам. Кроме того, надо иметь в виду, что объекты, созданные человеком (населенные пункты, поля и т. д.) в несравненно большей степени, чем естественные, способны получать наименования антропонимического происхождения, а также переименовываться, как, например, названия полей с изменением владельца.

Заканчивая рассмотрение этого вопроса, заметим, что универсалии могут быть установлены даже в основе образных наименований. Например, повсеместно распространено представление о горах как об окаменевших древних людях — стариках и старухах, ср. русск. *Старик-Камень*, гибридное русск.-коми-зыр. *Старуха-Из*, мансийские названия гор со словом *ойка* 'старик' (*Нёр-Ойка*, *Ойка-Чакур*, *Хусь-Ойка*).

Нет необходимости приводить другие параллели, так как общеизвестно, что *Черные*, *Белые*, *Большие*, *Малые* и тому подоб-

---

[13] О метонимии в топонимике см.: Ю. А. Карпенко. Становление восточнославянской топонимии. — «Вопросы географии», № 70, «Изучение географических названий». М., 1966, стр. 14—15; Он же. Взаимосвязь географических терминов в топонимии. — «Местные географические термины в топонимии (тезисы докладов и сообщений)». М., 1966, стр. 9; Т. В. Марадудина. Некоторые особенности употребления географических терминов в топонимике. — «Вопросы топономастики», № 3. Свердловск, 1967.

ные по семантике топонимы есть в различных языках. Желающие всегда могут найти аналогии в топонимической литературе. Важнее рассмотреть те трудности, которые встречаются при использовании принципа семантической мотивированности.

V. Эти трудности могут быть обусловлены как интралингвистическими, так и экстралингвистическими факторами, порождающими частные особенности номинации, которые и определяют всю сложность данной топонимической системы.

Так, известно, что структурно-словообразовательная сторона топонимики в целом обусловливается типом языка. Поэтому для урало-алтайских агглютинирующих языков с суффиксацией и словосложением типично широкое использование таких топонимических структур, которые характеризуются постановкой детерминатива в постпозиции. Наличие детерминативов значительно облегчает работу этимологиста, но в тех случаях, когда детерминатив утрачен, а одно и то же название приложено к двум смежным объектам (например, река *Сеза* и озеро *Сезо*), далеко не всегда возможно определить, к какому объекту название относилось первоначально.

Надо также иметь в виду, что топонимика может содержать совершенно своеобразные структурные типы, весьма затрудняющие этимологический анализ; достаточно вспомнить о широко известных в настоящее время тюркских глагольных конструкциях.

Еще одна трудность, также относящаяся к внутрилингвистической стороне проблемы, состоит в том, что в топонимике могут быть отражены семантические диалектизмы. Так, универсалии 'ночной' и 'грубый' к рекам неприложимы, однако соответствующие названия весьма обычны на русском Севере (река *Ночная*, ручей *Грубой*). Суть дела в том, что *ночной* здесь означает 'северный', а *грубый* — 'крутой'.

Из внешнелингвистических факторов наибольшее значение имеют конкретные исторические и экономические условия возникновения той или иной топонимической системы и географическая среда. Так, астронимика (в сущности та же топонимика) у континентальных народов, например у русских, намного беднее, чем у морских. Севернорусской народной астронимике известно всего три созвездия — *Лось* (Большая Медведица), *Утичье гнездо* (Плеяды) и *Стожары* (Орион). Еще примеры: 1) крепостной строй обусловил появление массы названий угодий, указывающих на социальное положение владельца (пожня *Воеводиха*, луг *Боярский*, мыс *Стрелецкий*) или его имя (антротопонимика населенных пунктов и угодий); 2) специфический кочевой быт привел к возникновению в тюркских языках, особенно в казахском, множества названий, содержащих термины коневодства (ср. казах. *Сарайгыр* 'желтый жеребец' и *Биесойган* 'кололи лошадей'); 3) на русском Севере буквально сотни топонимов содержат древний термин под-

сечно-огневого земледелия *дор* 'вырубленное и выжженное место в лесу, подготовленное под пашню'.

Другой внешнелингвистический фактор — влияние географической среды, т. е. наличия тех или иных конкретных реалий. Так, нельзя, ожидать появления *Харьюсных* или *Хайрусных* рек там, где нет рыбы *хариус*.

Особых сложностей вопрос о влиянии географической среды не представляет. Общие тенденции, например отражение в номинации растительного и животного мира, находят в частных особенностях топонимических систем свою конкретную реализацию. Однако следует учитывать, что географическая среда изменяется. Так, в настоящее время между Онегой и Онежским озером дуб не встречается, но в названном ареале отмечены такие названия, как река *Тамица*, река *Тамбица* и залив *Тамбичлахта*. Если первое из этих названий соответствует фин.-карел. *tammi* 'дуб', то два других отражают древнейшую звуковую трактовку слова, которая соответствует праславянским данным **tamb-* ~ **dǫbъ*[14].

В равной мере не встречается теперь на территории Архангельской области и дикая свинья, однако раньше она здесь, видимо, не являлась редкостью. На это указывает топоним *Почо́зеро* (карел. людиковское *поч* 'свинья') и метонимическая калька, прилагаемая к соседнему озеру, — *Свиное*.

Интралингвистическая и экстралингвистическая обособленность каждой топонимической системы настолько велика, что использование принципа семантической мотивированности встречает большие трудности, так как необходимо в каждом отдельном случае считаться с особенностями отражения окружающей действительности в языке, зависящими от всей суммы внутренних и внешних факторов, включая этническую психологию. Именно это обусловливает глубокие различия в семантике топонимических систем различных народов, не позволяющие, например, в русских названиях Архангельской и Вологодской областей, обозначающих природные объекты, видеть простые кальки древних субстратных языков. Интерпретация древних субстратных названий была бы значительно облегчена, если бы русская топонимика была простым сколком с субстратной. На самом деле все обстоит гораздо сложнее. Достаточно заметить, что на русском Севере есть бесчисленное множество *Черных* озер и лишь единицы соответствующих им *Мустозеро*.

В настоящее время еще трудно сказать, насколько изучение принципов номинации будет способствовать прогрессу топонимической этимологии, но уже сейчас ясно, что оно открывает перед топономастикой неизведанные пути и ставит увлекательные, но сложные задачи.

---

[14] Ср.: В. А. Топоров и О. Н. Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962, стр. 246.

А. А. Белецкий

ГРЕЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЯХ КРЫМА

Топонимия Крыма интересует нас здесь не как источник политической и этнической истории этой страны, но как источник ее лингвистической истории. Эту историю мы рассматриваем ретроспективно, т. е. обращая прежде всего внимание на современную нам карту Крыма, затем на карту, какой она была до Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., и, наконец, на карты-путеводители, историко-географические сочинения прошлого века и по возможности все письменные источники после 1783 г. и только уже после этого — на все прочие источники времени до присоединения Таврического полуострова к Российской империи.

Такой подход обусловлен здесь характером и количеством доступного нам материала, а также нашей основной установкой: исследовать не древнегреческие, а византийские и новогреческие элементы в современной нам топонимике Крыма. Эти элементы в виде названий населенных пунктов (ойконимов), рек и ручьев (потамонимов), гор и скал (оронимов), отдельных местностей и урочищ, а иногда и в виде названий частей населенных пунктов (микротопонимов) и даже отдельных зданий и сооружений могут быть подвергнуты этимологическому анализу с целью выявления лежащих в их основе нарицательных слов или словосочетаний и определения их спациальной (диалекты или разновидности греческого языка) и темпоральной (периоды истории греческого языка) принадлежности.

Рассматривая грекоязычные топонимы Крыма, естественно задать вопрос, какие из них могут принадлежать греческому населению, отчасти сохранившему родной язык, отчасти уже усвоившему крымско-татарский, но оставшемуся верным религии предков, которое в 1778 г. по приглашению русского правительства выселилось из Крыма и потомки которого живут в настоящее время в городах и селах Донбасса (УССР).

От названий, которые мы можем для территории Крыма почерпнуть из античных источников — сочинений древнегреческих и римских авторов, на современной нам карте осталось очень немного. Возьмем, например, названия из «Географии» Страбона (63 г. до н. э. — 19 г. н. э.)[1]. От названия Ἡ Ταυρικὴ Χερρόνησος

[1] Στράβωνος Γεωγραφικῶν βιβλίον Ζ', κεφάλαιον Δ: Περὶ τῆς Ταυρικῆς Χερρονήσου.

в настоящее время сохранились только архаические, и тем самым поэтические, *Таврида*, *Таврический* полуостров. От названия города дор. Χερσόνασος, атт. Χερρόνησος, койне Χερσόνησος, визант. Χερσών сохранилось, кроме названия заповедника *Херсонес* (*Херсонесский музей*), *Херсонесский мыс* (не говоря о *Херсоне* и *Корсуни* за пределами Крыма). Название Σαπρὰ Λίμνη (= *Сиваш*) в какой-то мере выжило в *Гнилом море*.

Большой и мелководный ὁ κόλπος ὁ Καρκινίτης сохранился в *Каркинитском заливе* (на старых картах также *Киркенитский залив* и т. п.). Название основанного Диофантом — полководцем понтийского царя Мифродата или Митридата VI Эвпатора (132—63 гг. до н. э.) города Εὐπατόριον возродилось в названии *Евпатории*. Подобным же образом в современной *Феодосии* (средневековой *Кафе*, *Кефе*) воскресла древняя Θεοδοσία. О том же Митридате в современной Керчи напоминает гора *Митридат* (у Страбона: Τὸ δὲ Παντικάπαιον λόφος ἐστὶ πάντῃ περιοικούμενος). Если прибавить к этому ἡ Τάφρος, нашедшее отклик в названии *Перекопа* (татар. и тур. *Ор*), то этим все древние названия, упомянутые у Страбона и в той или иной форме сохранившиеся, на современной нам карте будут исчерпаны.

Едва ли у филологов и языковедов, интересующихся топонимическими исследованиями, могут возникнуть сомнения относительно греческого происхождения названий с конечным компонентом (суппозитом) русск. *-поль*, греч. -πόλις. Из них наиболее оригинальное на территории Крыма — это, пожалуй, *Кастрополь* (КОЕЛП, 556; Бесчинский, 283; Москвич, 161, 264), возможно, возникшее на основе еще более своеобразного *Кастропуло* (Кеппен, ук. в связи с *Палеокастрон* или *Палекастр*). Нарицательное κάστρο(ν) < *castrum*: «так называются во многих частях Греции крепости римских и средневековых времен, вообще всякое ограждение города с целью защиты» [2].

Это слово широко представлено в топонимии современной Греции. Уменьшительным от него является также широко представленное там καστέλλι(ον) < *castellum*, сохранившееся в Крыму в названии горы *Кастель* возле Алушты (КОЕЛП, 571; Бесчинский, 316, 364; Москвич, 195, 196, 197; Кеппен, ук. с вариантом *Костель*). Однако нигде в Греции, насколько нам известно, нет такого оригинального уменьшительного от *кастро*, как *кастропуло* (по образцу κόττα 'курица' — κοττόπουλο 'цыпленок').

Греческие названия городов Севастополя и Симферополя вошли в употребление только после 1783 г. Крымский *Севастополь* имел предшественников в названиях, по крайней мере, трех городов — Σεβαστόπολις: 1) в каппадокийском Понте (Малая Азия), 2) в галатском Понте (там же) и 3) в Колхиде *Севастополем* была названа

[2] «Πρωΐας» Σύγχρονος παγκόσμιος ἐγκυκλοπαιδεία (Ἐπίτομον ἐγκυκλοπαιδικὸν λεξικόν), ἐκδ. β', τ. α' (1955), стр. 1355.

прежняя Диоскуриада (на месте современного Сухуми). Название *Симферополь*, хотя и построенное на греческих основах (συμφέρων 'приносящий пользу, полезный' и πόλις 'город') не имело предшественников в греческом мире и дано было также в 1783 г. находившемуся на месте современного города татарскому селению *Ак-Мечеть* (*Ak-Mesçit*), ср. древнегреческие антропонимы Συμφέρων и Συμφέρουσα (PB). Эфемерным оказалось переименование Старого Крыма (*Eskı—Kırım*, *Солхат*) в *Левкополь* (Λευκόπολις 'Белгород').

Оставляя в стороне составные названия с конечным элементом *-поль* (включая и древний *Неаполь* возле Симферополя), мы рассмотрим здесь прежде всего два класса крымских топонимов со вторичными сложными суффиксами: *-ит*, *-ита*, *-иты* (и нулевым суффиксом вместо прежнего *-ит*) и *-еиз* < *-эис*.

1. Среди крымских топонимов еще древнегреческого, и во всяком случае византийского слоя можно заметить вторичный суффикс -ίτης, -ῖται -ιτᾱ — русск. *-ит*, *-(и)та* или нуль. Например, Καρκινίτης (πόλις, К. κόλπος).

Здесь естественно предположить в соответствии с правилами древнегреческого словообразования и семантикой основы, что населенный пункт получил свое название от какого-то водного пространства, т. е. Καρκινῖτις (πόλις) от Καρκινίτης (κόλπος), ср. Καρκινίτης ποταμός в Европейской Сарматии у Клавдия Птолемея (3, 5, 8, 9), вариант Κερκινῖτις в Анонимном перипле Понта Эвксинского (57). У Геродота упоминается именно город *Каркинитида* (IV, 55, 99). У Г. Плиния Секунда Старшего (Nat. hist. IV, 84 et passim) называются и *Sinus Carcinites* и *oppidum Carcine* (очевидно, обратное образование от *Каркинитис*).

Современная *Ялта* сохраняет в своем названии средневековую *Ялиту*, новогреческую Γιαλίτα из др.-греч. Αἰγιαλῖται или Αἰγιαλίτης, соответственно (ἡ) τῶν Αἰγιαλιτῶν (πόλις, κώμη; φρούριον). На старых итальянских картах *Calitera* (1367), *Callitra* (1480), *Calittu* (1487), *Callistra* (1497), *Calitta* (1514), *Catolica* (sic! 1570) [3]. Преобразование *Ялиты* в *Ялту* могло произойти при утрате первоначального ударения, что стало возможным при переходе этого названия из одной языковой среды в другую: скорее всего — из греческой в татарскую. Однако последующая редукция [i] едва ли могла произойти в татарской среде даже после перемещения ударения (необязательного в заимствованных словах и тем более в иноязычных названиях). «Ялта ко времени присоединения Крыма к России (1783), очевидно, пришла в почти полное запустение. После заключения Кучук-Кайнарджийского мира Ялту в 1778 г. покинуло христианское население. Греки—переселенцы из крымской Ялиты основали одноименное селение на северном

---

[3] Цит. по: П. И. Кеппен. О древностях Южного берега Крыма и гор таврических. СПб., 1837.

берегу Азовского моря (нынешняя Ялта на ЮЗ от г. Жданова, б. Мариуполя — *А. Б.*). После 1783 г. в Ялту из Керчи и Еникале были переселены так наз. архипелажские греки, а затем греки из б. Мариупольского уезда, занявшиеся здесь ловлей устриц» (КОЕЛП, 482). Вот в этой-то в диалектном отношении смешанной среде и могло осуществиться то фонетическое преобразование названия *Ялита*, которое привело к современной *Ялте*. Редукция переставшего быть ударенным [i] — явление, характерное для так называемой северной группы новогреческих диалектов и наблюдаемое также в румейских (крымскогреческих) говорах Донбасса. Отметим, что название *Ялита* сохраняется в румейском языке греков Приазовья, и в частности в языке жителей приазовской Ялты (ныне Первомайского р-на Донецкой обл.), именно с ударением на предпоследнем слоге[4]. Таким образом, современное название *Ялта* должно было закрепиться не в грекоязычной среде и после утраты заметного ударения на предпоследнем слоге, но в таком случае в нем не могла осуществиться характерная для определенной группы новогреческих диалектов нулевая редукция неударенного [i]. Следовательно, в нашей истории названия *Ялта* не хватает какого-то связующего звена между греческой средневековой и современной формой *Ялита* и закрепившейся в русском, а из него и в других языках формой *Ялта*. Древнейшее свидетельство существования этого названия, насколько нам известно, находится в так называемой «Книге Роджера» (1153) знаменитого арабского географа Абу Абдаллаха Мухаммеда эль-Эдриси (1100—1166) в форме *Джалита*.

Едва ли может существовать сомнение относительно того, что существовавшее до недавнего времени название *Партенит* или *Партениты* (КОЕЛП, 273, 570; Бесчинский, 310; Москвич, 195, 280; Кеппен, ук.) сохранило основу древнегреческого Παρθένος ('таврическая Артемида'), которая была заключена в упоминаемых у Страбона (VII, 4) херсонеситском Παρθένιον (ἄκρα τῆς Παρθένου, τὸ τῆς Παρθένου ἱερόν — там же) и Παρθένιον (κώμη) у Киммерийского Боспора (там же): *Парфениты* (Παρθενῖται) — это, очевидно, жители *Парфения* (Παρθένιον), который (по образцу ἡ τῶν Χερρονησιτῶν πόλις и т. п.) мог называться также ἡ τῶν Παρθενιτῶν κώμη и эллиптически οἱ Παρθενῖται или ὁ Παρθενίτης, откуда уже и *Партенит*. У того же Эль-Эдриси между городами *Гарура* (после *Джалиты*) и *Лабада* (ср. *Биюк-Ламбат* и *Кучук-Ламбат*) упоминается *Бартабита* (*Бартанита*?) — название, в котором, за исключением [б] вместо [н], средствами арабской фонетики точно передана греческая форма *Партенита*. На близость *Пар-*

---

[4] Т. Н. Чернышева. Новогреческий говор сел Приморского (Урзуфа) и Ялты Первомайского района Сталинской области (Исторический очерк и морфология глагола). Киев, 1958.

тенита к *Лампаде* указывает средневековое (1390) композитное название *Лампадопартенита*[5].

Прокопий Кесарийский упоминает, наряду с *Алустом* (*Алустон* > *Алушта*), построенную или укрепленную Юстинианом крепость у *Гурзувитов* (τὸ ἐν Γουρζουβίταις φρούριον)[6]. Мы не знаем происхождения этого названия, но его словообразовательный суффикс позволяет истолковать его как первоначальный этноним. Можно отметить, что упоминаемые Г. Плинием Секундом Старшим города (oppida) Таврического полуострова имеют характер первоначальных этнонимов: *Orgocini*, *Characeni*, *Assyrani*, *Stactari*, *Acisalitae*, *Caliordi* (Nat. Hist. IV, 85). Все позднейшие варианты этого топонима уже не обнаруживают названного словообразовательного суффикса *-ита*, например: *Kiursuf* (Витсен), *Kosrouf* (Пессоннель), *Ursowa*, *Kursuf*, *Kosruf* (Тунман), *Urshuf*, *Jursuf* (Паллас), *Yourzuf* (Кларк), *Гурзуф*, *Урзуф* (Кеппен, ук.).

Попутно отметим, что такой же суффикс обнаруживается и в херсонесском декрете[7], где в девятой строке читается ΕΠΙ ΝΑΠΙΤΑΝ ΦΡΟΥΡΙ. . ., что предполагает существование топонима Ναπιτᾶν φρούριον или (менее вероятно) Ναπίταν φρούριον. В основе этого топонима мы скорее всего можем найти др.-греч. νάπη и νάπος со смысловым значением 'лесистая долина' и т. п.[8] Если такое толкование можно признать правильным, то *Напитов* следует поставить рядом с *Ялитами*.

Название *Каламита* (Инкерман) дошло до нас как название средневековых крепостей и пещерного монастыря[9] и сохранилось до настоящего времени в гидрониме *Каламитский залив* для значительной части морского пространства к северу от Севастополя и к югу от Евпатории. Связь его с древнегреческим словом κάλαμος 'тростник' представляется вполне очевидной. В античном мире оно неизвестно нам в качестве топонима, если не считать родственным ему Καλάμισος (город озолийских локров, РВ). От этой же основы происходят в Греции топонимы Καλαμάτα (так со времен франкократии официальное современное название Καλάμαι — столица нома Мессинии и одноименной епархии), Καλαμάκι (в Афинах), Καλάμι (мыс на о-ве Крите), Κάλαμος (местечко в Аттике и остров между Левкадой и Акарнанским берегом), за пределами Греции так называлась в древности местность в Финикии. Под именем Καλαμίτης в Аттике почитался местный

---

[5] Ю. Кулаковский. Прошлое Тавриды. Киев, 1906, стр. 111.

[6] Προκοπίου Καισαρέως περὶ τῶν Δεσπότου Ἰουστινιανοῦ κτισμάτων λόγοι στ'.

[7] Э. И. Соломоник. Новые эпиграфические памятники Херсонеса. Киев, 1964, стр. 7—15.

[8] Henry and Renée Kahane. Four Graeco-Romance Etymologies. — «Romance Philology» XIX, 2, 1965, стр. 261—262.

[9] А. Л. Якобсон. Средневековый Крым. М.—Л., 1964, стр. 11, 17, 26; 32, 50, 51; 121—123.

герой, героон которого находился в Афинах (ср. мужское имя Καλαμίσκος, PB). Так же, как в случае с *Эгиалитами* (>*Ялита*) и *Гурзувитами* (>*Гурзуф*,) *Каламита* могла возникнуть из первоначального *Каламиты* (мн. ч.), хотя нельзя исключить и других возможностей (например, Καλαμίτης ποταμός, Καλαμίτης κόλπος и, наконец, личное имя — см. выше).

В конце XIV в. среди населенных пунктов Южного берега Крыма упоминается *Сикита*, очевидно, из Συκίτης < σῦκον 'фига, смоква, инжир', плод дерева συκέα, συκῆ[10]. Это название, так же как упомянутый выше *Напит* или *Напиты* и многие другие аналогичной структуры, бесследно исчезло с географической карты.

2. Среди топонимов Южного берега легко выделяется сравнительно небольшой класс названий населенных пунктов со сложным суффиксом в русской передаче *-еиз*, например *Кикенеиз* (КОЕЛП, 459, 556; Бесчинский, 172: деревня *Кекенеиз*, но мыс *Кикенеиз*; Кеппен: *Киркинеис* и *Кикинеис*), упоминается в договоре татар с генуэзцами 1380 года между *Фори* (=*Форос*) и *Лупико* (=*Алупка*), а также в «Atlante Luxoro» S. Desimoni между этими же населенными пунктами в сильно искаженной форме *Chinicheo*[11]; *Кореиз* (КОЕЛП, 460, 544, 546; Бесчинский, 172, 175; Кеппен, ук.: *Хуреиз*); *Лемнеиз* (Бесчинский, 284; Москвич, 265: *Лименеиз*. И то и другое из *Лимнеиз*), *Олеиз* (КОЕЛП, 545; Бесчинский, 265; Москвич, 253); *Симеиз* (КОЕЛП, 553; Бесчинский, 276; Москвич, 161, 194, 260). Формально во всех этих названиях можно различить один и тот же сложный суффикс, но в историческом разрезе здесь наблюдается совпадение разных по происхождению суффиксов. В названии *Симеиз* сохраняется еще древнегреческое слово σημαία 'знамя', но уже в новогреческой форме множественного числа — σημαῖες, которая в румейских говорах звучит как [си'мэис] или [си'мэйс]. Конечно, мы не знаем со всей достоверностью, что было причиной такого названия данной местности, и должны удовлетвориться только установлением связи позднейшей его формы с древнейшей. По условиям этой местности нам представляется возможным, что поводом к такому названию послужили торчащие возле берега в море большие камни. Один из прибрежных утесов (Бесчинский, 280) сохранил еще одно их название — *Панея*, соответствующее новогреческому πανιά 'паруса'.

К названию *Симеис* по характеру суффикса должно быть близким название *Олеиз* из **Элеис*, т. е. ἐλαῖαι, н.-греч. ἐλιές, румейск.

---

[10] Ю. Кулаковский. Прошлое Тавриды, стр. 110—111.

[11] Цит. по: А. И. Маркевич. Географическая номенклатура Крыма как исторический материал. Топонимические данные крымских архивов. — «Изв. Таврического об-ва истории, археологии и этнографии», т. II (59). Симферополь, 1928, стр. 1—16.

[э'леис] или [э'лейс] 'маслины' или 'место, где растут маслины' масличная роща' [12].

Относительно неустойчивости начального гласного [э] или [о] можно сослаться на подобное явление в новогреческих говорах (ср., например, 'Εβραῖος и 'Οβριός).

В названиях *Кикенеиз*, *Кореиз* и *Лимнеиз* их сложный суффикс имеет иной характер и для своего объяснения требует привлечения фактов из области словообразования румейских говоров. Отделить суффикс от основ в этих названиях позволяют следующие соображения. Если в ряду вариантов названия *Кикенеиз* считать первоначальным упомянутый П. И. Кеппеном (указ. соч.) *Киркинеис*, то в основе данного топонима лежит еще др.-греч. καρκίνος 'рак, краб' (с вариантом κερκίνος, т. е. так же, как в основе названий *Каркинитский залив* и *Каркинитида*). В основе топонима *Кореиз* (Маркевич: *Куреиз*, *Хуризы*, *Кюриз*) должен находиться там же приведенный вариант *Хуреиз* [ху'рэис] от румейск. ['хора] в смысле н.-греч. χωριό < χωρεῖον. Наконец, *Лимнеиз* (орфографический вариант *Лемнеиз*) обнаруживает свою связь с греч. λίμνη 'озеро' (также 'пруд', 'болото', 'залив').

Во всех этих названиях наблюдается форма множественного числа [-эис] или [-эйс] румейского суффикса существительных [-эя], происхождение которого можно проследить до древнегреческого суффикса -εα (аттич. -ῆ), хотя с ним, очевидно, слились еще такие, как -εια и -ια, получившие более широкое распространение в новогреческом языке и его диалектах. Наиболее характерным этот суффикс оказывается в производных от названий растений. Возьмем пример из сартанского говора румейского языка в Приазовье («сартаньотку»). Так, ['мила] по-сартански обозначает 'яблоки', ['млэя] — 'яблоня', [млэйс] — 'яблоневый сад', [ста'филя] — 'виноград' (ягоды), [ста'флея] — 'виноградная лоза' (куст), [ста'флэйс] — 'виноградник'. Таково же и словообразование не только в греческих, но и в заимствованных основах, например, [кар'топля] 'картофель (овощ)', [карту'плэя] 'картофельный куст', [карту'плэйс] 'картофельное поле' (ср. пча'нэйс 'огород' от слова крымскотатарского происхождения пчан < пичен 'сено'). Учитывая такое словообразование, можно объяснить **Каркинэис* как 'место, где много крабов', *Хурэис* — как 'заселенное место' или 'селище', *Лимнэис* — как 'озерное место' (где есть или были озера).

Конечное [з] вместо [с] в рассмотренных здесь названиях не является орфографическим капризом — это результат тюркизации греческих названий. То же самое происходит со всеми грецизмами, например, в турецком языке. Так, из н.-греч. παπᾶς 'поп' в турецком получилось *papaz* (ср. в крымской топонимии *Папаз баир* 'овраг', Кеппен, ук.).

---

[12] После присоединения Крыма много этих рощ было истреблено, и истребление их при проведении дорог продолжалось долгое время.

Кроме двух классов крымских топонимов греческого происхождения легко выделяются два класса препозитов: 1) [ай-] и реже [айя-] и 2) [мэга-] (орф. мега-) с вариантами [маға-], [моға-], [муға-], [мға-], а среди суппозитов — [-хор] с вариантами [-кор], [-кур].

3. Препозит [ай-] из греч. ἅγιος (а также косвенных форм его) и [айя-] из ἁγία сочетается с собственными личными христианскими именами (антропонимами). Первоначальный топонимический смысл его был: 'храм (ὁ ναός), или церковь (ἡ ἐκκλησία), или монастырь (ἡ μονή, τὸ μοναστήριον) святого (ἁγίου) такого-то'. Этот препозит прослеживается в крымских топонимах от мыса Аия (*Айя-Бурун*, *Ай-Бурун* или *Святой мыс*) на западе Южного берега и примерно до Алушты на востоке, включая всю южную гряду крымских гор. Надо предполагать, что во многих случаях препозит [ай-] + собственное имя могли и не быть связанными со значительным архитектурным памятником, находившимся в каком-либо населенном пункте или в пустынной местности. Топоним названной структуры мог быть связан с местом почитания святого, на котором находились либо сооружение, называемое в современной Греции «проскинитари» (προσκυνητάρι = προσκυνητήριον), либо даже могила, которая считалась могилой святого.

Если взять, например, название *Ай-Василь* (селение «в двух верстах от Дерекоя, между правыми притоками реки Гувы — речками Бала и Панагия». — КОЕЛП; «некогда здесь существовало большое греческое селение, обнимавшее Дерекой и Ай-Василь. В последней деревне сохранились остатки греческой церкви; при раскопках была найдена надпись, указывавшая, что церковь была построена в XV столетии». — Бесчинский), то его можно представить как эллипс первоначального 'храм святого Василия' > 'Святой Василий'. Так дело обстоит с большинством названий с этим препозитом. Что касается названия мыса *Айя*, то весьма возможно, что тут вследствие забвения произошел эллипс личного имени святой. Нечто подобное наблюдается в другой части Крыма, возле Коктебеля (ныне Планерское), к западу от которого господствует над другими вершинами *Святая гора*, получившая название от могилы неизвестного святого (неизвестно даже — христианского или мусульманского).

Мы уже отмечали, что большинство названий с препозитом [ай-] содержит имена мужского рода. Кроме мыса *Айя* можно упомянуть еще только исчезнувшее греческое селение *Айя-Мария* на месте современной Алупки, в котором был одноименный храм, «но никаких следов этого храма не осталось» (Бесчинский, 276).

Мы не будем останавливаться на тех названиях, которые сохранились в форме, не требующей особых объяснений, как, например, *Ай-Василь*, *Ай-Даниль*, *Ай-Димитри*, *Ай-Костанди*, *Ай-Мина*, *Ай-Никола*, *Ай-Тодор*. Задержимся только на названиях, нуждающихся в объяснениях. К ним можно отнести: *Ай-Андри*, *Ай-Бро-*

куль, *Ай-Йори* и *Ай-Юри* (ср. *Айор-даг*), *Айлия* или *Ай-Лия*, *Ай-Панда*, *Ай-Петри*, *Ай-Серес*, *Ай-Ян* (*Аян*). Из них *Ай-Андри*, *Ай-Йори*, *Ай-Юри*, *Ай-Лия*, *Ай-Петри*, *Ай-Ян* в отношении собственных имен представляются совершенно ясными. Здесь у нас имена 'Ανδρέας, Γεώργιος (> Γιώργης), 'Ηλίας, Πέτρος,' Ιωάννης (> Γιάννης). Под вопросом остается только их форма (в смысле падежа). Надо учесть, что письменная фиксация этих названий осуществилась в большинстве случаев после присоединения Крыма к России, и чаще всего не со слов крымских греков, а крымских татар. И, несмотря на это, в большей части их сохранилась определенная морфологическая черта: косвенный (преимущественно родительный) падеж личного имени. Различие между прямой и косвенной формами личного имени видно в следующем примере: наряду с *Ай-Лия* (*Айлия*), ср. *Айлия-Сырым* (отрог Никитской яйлы. — Бесчинский) и т. п., где *Ай-Илия* — род. пад. от *Ай-Илияс*; старые карты и путеводители сохраняют названия *Каралез* или *Кара-Иляз* (КОЕЛП, 403) из *Кара-Илияс* ('Черный Илья') и *Катарлез* (*Катарлезский монастырь*. — Бесчинский, 403, *Катерелезская пустынь*.—Москвич, 107) из *Карт-Илияс* ('Старик Илья'), где личное имя *Илияс* (> *-елез*, *-лез*) — в им. пад. В названиях *Ай-Йори* и *Ай-Юри* (Бесчинский, 354 и 284) выступает также род. пад. от имени *Ай-Йорис*, *Ай-Юрис*, т. е. 'Αη-Γιώργης < "Αγιος Γεώργιος. Случай, характерный именно для румейского (крымскогреческого) языка, мы имеем в таких формах, как *Ай-Андри* и *Ай-Петри* (первоначально с ударением на последнем от конца слоге). В этом отношении румейские говоры сближаются с говорами понтийского диалекта (=языка), где слова второго склонения имеют род. пад. ед. ч. [-у] или [-Ø], [-иу] или [-и][13]. Следовательно, *Ай-Петри* — это закономерная румейская форма род. пад. от *Ай-Петрос*, соотв. *Ай-Пэтрус*. В отношении *Ай-Андри* (Бесчинский, 354) надо учесть, что, кроме обычной формы [Андрэас], существует еще коллоквиально-диалектная [ʹАндрос], от которой в румейских говорах род. пад. закономерно будет [Анʹдри]. В названии *Ай-Тодор* < 'Αγίου Θεοδώρου также наличен род. пад. с редукцией конечного [-у]. Им. пад. в румейском мог быть *Ай-Тудорус* или *Ай-Тудорс* (со щелевыми υ и δ). То же самое наблюдается в противопоставлении форм *Ай-Василис* или *Ай-Васильс* — им. пад. и *Ай-Васили* или *Ай-Василь* — род. пад. (КОЕЛП, 526; Бесчинский, 218). Таково же происхождение названия *Аян* (КОЕЛП, 33, 368; Бесчинский, 358; Москвич 216: *Ай-Яни*, 264: *Ай-Ян*), т. е. *Ай-Ян* — род. пад. при *Ай-Янс* — им. пад. (так назывался источник и населенный пункт). Очень мало вероятности в пользу того, что в названии *Аян* представлено турецкое или татарское

---

[13] 'Ανθίμου 'Α. Παπαδοπούλου 'Ιστορική γραμματική τῆς Ποντικῆς διαλέκτου. 'Αθῆναι, 1955, стр. 46.

нарицательное [а′ян] ‘явный, ясный’ (арабизм). Напротив, вполне возможно, что в названии долины *Айван* (Бесчинский, 381) представлено крымскотатарское нарицательное [ай′ван] ‘зверь, скот, лошадь’ и т. п., ср. тур. *ḥayvan* то же (арабизм). С названием *Ай-Гурзуф* (КОЕЛП, 569; Бесчинский, 308, Москвич, 279), если оно не является плодом индивидуального творчества, дело обстоит примерно так, как с названием *Айя-Бурун* или *Ай-Бурун* (ср. выше мыс *Айя*), т. е. оно могло возникнуть в результате эллипса какого-то личного имени, но вообще история его нам неизвестна. В названии населенного пункта *Ай-Серес* или *Ай-Серез* (Кеппен, ук.; Бесчинский, карта № 5), так же как в упомянутых выше *Каралез*, *Кара-Иляз* и *Катарлез*, мы имеем им. пад. от Ἅγιος Σέργιος. Название *Ай-Брокуль* (Кеппен, ук.; Бесчинский, 318) уже нашло свое правильное объяснение. Здесь можно сделать только одно морфологическое уточнение, аналогичное изложенным выше. Имя святого Πρόκλος является производным от др.-греч. Προκλῆς. Гласный последнего слога [у] является «анаптиктическим» или «паразитическим» и не имеет ничего общего с аналогичным гласным латинской формы имени *Proculus*. Монастырь назывался *Ай-Проклу* или — в результате редукции неударенного конечного гласного — [*Ай-Прокл*]. Переход [п] > [б] скорее всего объясняется явлением греческого сандхи, например, [тум Броклу], τὸν Πρόκλον. Наконец, *Ай-Панда* — это форма имени *Пандас*, производного от Παντελῆς < Παντελεήμων (Бесчинский, 279: «в местность Ай-Панда, составляющую с Симеизом одно целое»). Еще одно замечание о румейском род. пад. образца *Ай-Петри*. Такую же форму можно найти и в других крымских географических названиях. Так, например, наряду с горой *Ставро* < Σταυρός (‘крест’; Бесчинский, карта № 5, 380—381) следует отметить *Ставри-Кая* (КОЕЛП, 499, 501; Бесчинский, 235), а наряду с мысом *Плака* (КОЕЛП, 376, 377; Бесчинский, 312; Кеппен, ук.) — *Плаки-Кая* (Бесчинский, 232). Селение *Ай-Никита* (род. пад.; КОЕЛП, 532) возле Ялты дало название знаменитому ботаническому саду.

Насколько надо быть осторожным с воспринятыми на слух названиями, показывает следующий пример с псевдопрепозитом *Ай-*. Дм. Фурманов в «Жемчужине юга» («Москва,» 1966, № 11) упоминает об «Ай-Доларах», где «некогда на скале, в море, был барский ресторан. . . Теперь на Ай-Доларах нет ничего. . .» и т. д. У Григория Москвича «Путеводитель по Крыму» (СПб., изд. XXVI, 1914, стр. 277—278) говорится о прогулках из Гурзуфа: «Первая на лодке к скалам О д а л а р ы, служащим гнездами для бакланов; здесь устроен ресторанчик В е н е ц и я с невероятно дорогими ценами» и т. д. Конечно, ни «Ай-Доларов», ни «Одаларов» (тат. *одолар* ‘комнаты’ — не подходящее название для скал в море) никогда не существовало. Упомянутые здесь

скалы назывались *Адалар*, т. е. 'Острова'. Святые *Долары*, конечно, не значатся ни в каких святцах, но название *Адалар(ы)* оказалось в ряду прочих крымских названий с начальным *Ай-*. Сопоставление двух ошибочно воспринятых форм в данном случае дало возможность восстановить первоначальную тюркоязычную форму.

4. Менее распространенным в Крыму топонимическим препозитом оказывается греч. μεγα- в вариантах *мега-*, *мага-*, *-мога-*, *муга-*, *мга* (ср. тат. *Биюк*, тур. *Büyük*). Следует отметить, что противоположный ему по смыслу топонимический препозит μικρο- совершенно исчез с карты Крыма в отличие от крымскотат. *кучук*, тур. *küçük*, представленного довольно обильно. Первоначально такие татарские названия, как *Улу-узень* 'Большая река', *Кучук-узень* 'Малая река', *Куру-узень* 'Сухая река', по-видимому, сосуществовали с греческими (соответственно — румейскими) — *Мегапотам*, *Микропотам*, *Ксеропотам*, но в течение прошлого века греческие названия вышли из употребления (Маркевич. Список). «Возле Балаклавы есть „местность" с крутым склоном к морю» (КОЕЛП, 455), с названиями *Микрояло* и *Мега(ло)яло* (Бесчинский, 159: «по направлению к мысу Айа-Мегало и Микроело, приморские укромные уголки с красивой хвойной растительностью»). В отличие от новогреческой формы среднего рода румейская должна была содержать препозит [мэга], а не μεγάλο: *Мегаяло* 'Большой берег' в отличие от *Микрояло* 'Малый берег', ср. ὁ γιαλός или τὸ γιαλό.

В своей первоначальной нередуцированной форме названный препозит выступает в названии мыса *Меганом* (КОЭЛП, 622; Бесчинский, 381; Кеппен, ук. еще *Маганом*; татарское название *Чобан басты*, м. б. 'пастух вытоптал'). Нарицательный смысл этого названия [мэганом], т. е. 'Большое плечо' или 'Большая спина'. Румейское *Мега-ном* соответствует н.-греч. μεγάλος ὦμος или νῶμος, где начальное [н] в результате сандхи, др.-греч. μέγας ὦμος (ср. тур. *omuz* 'плечо' и 'спина'). Аналогичное этому по первоначальному смыслу было название *Магарач* (КОЕЛП, 533, 537; Бесчинский, 297; Москвич, 271; Кеппен, ук. *Магараш*) с вариантами *Магараш* и *Мгараш*. Его румейская форма была *Мега-Раш*, т. е. 'Большая спина', н.-греч. Μεγάλη ράχη, др.-греч. Μ. ράχις ('Большой хребет', ср. также ραχία 'скалистый берег, прибрежная скала, прибой, шум прибоя'). Здесь наблюдается перенос названия: горный массив — селение вблизи него. Первоначально это название закрепилось за греческим селением, возле которого впоследствии был устроен Никитский сад. Такое название местности, как *Маг-абель* или *Муг-абели* (Кеппен, ук.) едва ли может быть истолковано иначе, чем *Мег(а) амбель*, греч. Μεγ' 'Αμπέλι, н.-греч. Μεγάλο 'Αμπέλι 'Большой виноградник'. Относится ли к этому классу топонимов название яйлы *Могаби* (КОЭЛП, 27; Бесчинский, 185; Москвич, 202), пока еще трудно сказать (ср. *Караби*. — КОЕЛП, 5, 600, 634; Бесчинский, 8). Напротив,

можно говорить о несомненной принадлежности сюда названий вроде *Мегалея* (Маркевич, Список: урочище возле Кизилташа) из *Мега(ли)-элея*, т. е. Μεγάλη ἐλαία 'Большая маслина' и *Мегалей* (Бесчинский, 284), возможно, такого же происхождения (если эти названия с самого начала были румейскими, то для них не надо предполагать гаплологию: для румейского закономерным является согласование *мега элея*).

5. Среди топонимических суппозитов умеренное распространение на Южном берегу получил суппозит [-хор] с его вариантами [-кор], [-кур], восходящий к румейск. [хора], в новогреческих топонимах -χωρι из χωριό < χωρεῖον 'село, деревня', ср. тат. *кой* [кьой], тур. *köy*. Нет сомнения, что к этому классу относятся такие общеизвестные названия, как *Мисхор* и *Капсихор*. Ясно, что название *Мисхор* (КОЕЛП, 459, 545; Бесчинский, 265, 313; Москвич, 251, 253; Кеппен, ук. *Мысхор*; название известно с XIV в., S. Desimoni. Указ. соч.: *Mizacori*) членится *Мис-хор*, но в отношении начальной его части выбор может быть между препозитами μεσο- и μισο-. Их фонетическая эволюция в румейском должна быть [мисо-] и [мсо-] и in statu constructo [мису-], [мсу-] с возможной вторичной редукцией неударенного [у] > [Ø]. Таким образом, в истолковании этого названия надо сделать выбор между 'Средним селом' и 'Половиной села'. На основании топонимических аналогий, очевидно, следует отдать предпочтение первоначальной модели *Μεσοχώρι, т. е. 'Среднее' или 'Серединное село'. Ср. *Месохори* в епархии Элассоны нома Лаконии (ΔΔΕ, 27) (учитывая положение на берегу или на склоне Ай-Петри, остается неясным). С Мисхором тесно связаны на западе Алупка и на северовостоке Кореиз и Гаспра. Все эти названия также, несомненно, греческого происхождения со следами позднейшей татаризации. Отметим, что названия *Алупка* и *Гаспра* следует рассматривать как эпитеты при пропущенном топонимическом объекте: *село*, *укрепление*, *крепость*. Оба они дублируются названиями объекта *Алупка-Исар* (Бесчинский, 266: *Алупка* и 274: *Алупка-Исар*; Москвич, 194, 254 и 257; Кеппен, ук. и то, и другое) и *Гаспра-Исар* (иначе *Исаркая*, Кеппен, ук.). Так как крымскотат. *исар* (тур. *hisar*) в смысле 'укрепление', 'укрепленное (обнесенное стеной) место' предполагает наличие селения (*кой*), жители которого в случае опасности находили убежище в исаре, этим и объясняется параллелизм названий типа *Алупка (хора)* и *Алупка исар* (= *кастро* или *кастелли*).

В названии реки *Алепхор* или *Алыпкор* (Кеппен, ук.; Маркевич, Список) возле Судака и Суук-Су сохранился один из членов названного противопоставления *Αλεποχώρι (часто в континентальной Греции) и *Αλεπόκαστρο (= Алупка Исар). Таким образом, в названии *Алупка* заключена основа н.-греч. ἀλεποῦ = др.-греч. ἀλώπης 'лиса, лисица' в одном из румейских его вариантов. Такие же по структуре названия лежат в основе современного

Гаспра: греч. *'Ασπροχώρι (в континентальной Греции) и **Аспрокастро*, т. е. 'Белое село' и 'Белый замок', от которых остался только эпитет *Аспра*>*Гаспра*. Появление здесь «паразитарного» [г] не нашло еще удовлетворительного объяснения. О названии *Кореиз* (*Хорэес*) уже упоминалось выше (2) в связи со сложным суффиксом [*-эис*]. У П. И. Кеппена (Указ. соч.) оно зафиксировано в форме *Хуреиз*. Его можно было бы перевести на русский язык словом 'селище', т. е. 'место, где было расположено село'. *Мисхор* и *Гаспра* вошли в сложные татарские названия *Мисхор-богаз* (Бесчинский, 274) и *Гаспра-богаз* (Бесчинский, 274), как это часто наблюдалось в Крыму. Этимология названия *Капсихор* или *Капсхор* легко устанавливается на основании греческих топонимов, например, Καψοχώρα в епархии Хилькидики одноименного нома (ΔΔΕ, 36), ср. Κάψα епархии Мантинеи, нома Аркадии (там же, 9), Κάψαλα епархии Арты, нома Арты (там же, 9) и др., т. е. 'Погорелое, село, сгоревшее и отстроенное на том же месте'. В названиях с такой основой (καίω, ἔκαυσα, димотическое ἔκαψα, сущ. κάψα = καῦσις, καύσων) также происходила редукция тематического гласного [-о-], [-у-], [-Ø-].

Суппозит [-χωρ-]>[-кур-] выступает в названии *Палекур* (и *Палекуров холм*, Кеппен, 181: «В даче Марсандской, у моря, есть бугор, именуемый татарами Палекур, там заметны какие-то следы построек, которые почитаются остатками монастыря, т. е. церкви»), сохранившемся в Ялте. П. И. Кеппен (там же) склонен выводить это название из более древнего *Палеокастрон* (ср. *Паликастер*), однако по фонетическим соображениям такое выведение представляется затруднительным. Ближе всего это название стоит к довольно многочисленным на территории Греции Παλαιοχώρι(ον) (ΔΔΕ: еп. Месолонги нома Этолии и Акарнании, еп. Навпактии того же нома — Палеохоракион, еп. Кинурии нома Аркадии, еп. Эвритании одноименного нома, еп. Элеи или Илии одноименного нома, еп. Филиат нома Феспротии и др.). В крымском названии, в отличие от греческих, обращает на себя внимание трансформация [-хор-]>[-кур-], которая, скорее всего, могла осуществиться в неударенном слоге. Переход [х]>[к] объясняется перемещением в иноязычную (татарскую) среду, ср. *Хореис*>*Кореиз*. Таким образом, позднейшее *Палекур* должно было возникнуть на основе более древнего **Палехор*<Παλαίχωρ(ον).

Следует отметить, что еще в древнегреческой топонимии сосуществовали названия с препозитами παλαι- и παλαιο-, как, например, Παλαίπολις и Παλαιόπολις (РВ).

Само собой разумеется, что мы далеко не исчерпали ни классов, ни единичных греческих названий, принадлежащих различным периодам истории Крыма. В истории изучения этих названий до последнего времени наблюдалась тенденция свести их объяснения к ссылкам на древнегреческую лексику. Однако большинство этих названий может получить правильное истолкование

только на основе фактов средне- и новогреческой диалектологии (в частности, фактов румейских говоров, представленных в настоящее время на Украине).

Аргументировать это положение входило в задачу нашей статьи.

Сокращения

Бесчинский	А. Бесчинский. Путеводитель по Крыму. М., 1905.
ΔΔΕ	Διοικητικὴ διαίρεσις τῆς Ἑλλάδος κατὰ νόμους, ἐπαρχίας, δήμους καὶ κοινότητας. Ἀθῆναι, 1964.
Кеппен, ук.	О древностях Южного берега Крыма и гор таврических сочинение Петра Кеппена. Издано по распоряжению г-на Новороссийского и Бессарабского Генерал-Губернатора графа М. С. Воронцова. СПб., печатано при имп. Академии наук, 1837 (Указатель).
КОЕЛП	Крым. Крымское общество естествоиспытателей и любителей природы (1914), редакционный комитет: К. Ю. Бумбер, Л. С. Вагин, Н. Н. Клепинин, В. В. Соколов [б. м.].
Маркевич	А. И. Маркевич. Географическая номенклатура Крыма как исторический материал. Топонимические данные крымских архивов. — «Изв. Таврического об-ва истории, археологии и этнографии», т. II (59). Симферополь, 1928, стр. 1—16.
Москвич	Григорий Москвич. Путеводитель по Крыму, изд. XXVI. СПб., 1914.
7. PB	W. Pape. Wörterbuch der griechischen Eigennamen. Dritte Auflage neu bearbeitet von G. E. Benseler. Braunschweig, 1911.

Л. А. Гиндин

К МЕТОДИКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ ЛИНГВО-ЭТНИЧЕСКИХ СЛОЕВ НА ЮГЕ БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

(По данным древней топонимии)

За последнее десятилетие в нашей литературе появилось немалое число работ, специально исследующих принципы анализа субстратной топонимии (А. П. Дульзон, Б. А. Серебренников, А. К. Матвеев, А. И. Попов, В. А. Никонов и др.). Некоторые из этих проблем были предметом особого обсуждения на заседаниях данного симпозиума (см. доклад А. К. Матвеева. — Настоящий сборник, стр. 192 и сл.). Сказанное в известной степени оправдывает стремление уклониться здесь от постановки общих вопросов и по мере возможности быстрее перейти к рассмотрению интересующей нас проблематики, поскольку при стратификации конкретных лингво-этнических слоев как раз более частные принципы и серия рабочих приемов существенно разнятся в зависимости от географического района, набора языков, отразившихся в топонимии, степени сохранности субстратных языков, характера источников, хронологических рамок восстанавливаемой лингво-этнической картины.

Однако на одной общей проблеме хотелось бы остановиться подробнее, а именно: в каких отношениях находится методика этимологии в топонимии к методике этимологии обычной лексики? Кажется, что в такой категорической форме этот вопрос никем ранее не ставился.

Вместе с тем его важность очевидна, так как этимология, несомненно, является краеугольным камнем любой топонимической работы, ставящей себе задачу по реконструкции какого-то древнего состояния. Эту мысль прекрасно иллюстрирует очень строгая в методическом отношении новая монография О. Н. Трубачева «Названия рек Правобережной Украины» (М., 1968).

В решении некоторых экстралингвистических задач на топонимическом материале (этапы заселения, этническая картина, этнические связи и т. п.) диахроническая стратификация (resp. идентификация) неизменно оказывается главной составной частью исследования. В то же время она является конечным результатом целого ряда чисто лингвистических процедур, как-то: 1. Фонетического и морфологического (resp. формантного) анализа, с учетом характера и степени адаптации субстратного или субсуб-

стратного топонима, точнее — совокупности топонимов; 2. Лингвогеографического (ареального) анализа топонимических формантов, основ, лексем при желательном картографировании; 3. Установления исходного (соотносимого) апеллатива в языке создателей данного слоя или родственных ему; 4. Определения структурно-типологического облика; 5. Выявления типа семантической мотивации (принципа топонимической номинации объекта, по А. К. Матвееву) — все это в итоге приводит к этимологии топонима и составляет, по нашему мнению, сущность методики топонимической этимологии, во всяком случае субстратной. Не трудно заметить, что, вопреки довольно распространенному взгляду [1], такое понимание процесса этимологизации в области топонимии в целом мало чем отличает ее от методики современной этимологии обычной лексики [2] с ее преимущественным интересом к выявлению цельнолексемных и морфемно-словообразовательных соответствий и непременным учетом лингвогеографических моментов [3]. В этом плане особенно показателен лексико-этимологический анализ географических терминов, часто выступающих в функции топонимов [4]. Меняются скорее количественные пропорции и только некоторые качественные акценты отдельных компонентов исследования. В этимологии (субстратного) топонима на передний план, например, выдвигаются формантная классификация и пространственный аспект.

Разумеется, речь не идет о полной адекватности, так как отсутствие лексического значения у имени собственного кладет печать определенного и яркого своеобразия на любые исследования из области ономастики. Кроме того, если семантика обычной лексемы в большинстве случаев известна, то в топонимике это, за небольшим исключением, величина искомая. Однако и этот пробел в топонимии нередко восполняется более однозначной и наглядной связью с объективными чертами реалий (особенности ландшафта, фауны и флоры); в названиях населенных пунктов, областей и других нелинейных объектов (реже линейных)

---

[1] См.: Б. А. Серебренников. О методах изучения топонимических названий. — ВЯ 1959, № 6, стр. 45; А. К. Матвеев. Некоторые вопросы лингвистического анализа субстратной топонимики. — ВЯ 1965, № 6, стр. 3 сл.

[2] Ср. ту же мысль: А. П. Дульзон. Вопросы этимологического анализа русских топонимов субстратного происхождения. — ВЯ 1959, № 4, стр. 37 сл.; В. Ташицкий. Место ономастики среди других гуманитарных наук. — ВЯ 1961, № 2, стр. 7.

[3] К современному пониманию задач этимологии обычной лексики см.: О. Н. Трубачев. Этимологический словарь славянских языков. Проспект. Пробные статьи. М., 1963; Он же. О составе праславянского словаря. (Проблемы и задачи). — «Славянское языкознание» (Доклады Советской делегации. V Международный съезд славистов). М., 1963, стр. 159 сл. и др. его работы.

[4] См. «Местные географические термины в топонимии. Тезисы докладов и сообщений». М., 1966.

наблюдается связь с этнонимами и именами лиц и богов [5]. Практически исследователь в поисках соотносимого апеллатива и при определении внутренней формы (семантики) топонима опирается на разнообразный, но все же достаточно ограниченный набор возможных семантических моделей (resp. типологических универсалий) в каждом отдельном разряде топонимической лексики, что в известном смысле можно приравнять к семантико-типологическим универсалиям обычной лексики, столь желательным при ее этимологизации. Здесь топонимическая этимология приобретает даже известные преимущества: к этому добавим еще географическую приуроченность топонима, частую датировку фиксации, архаичность формы и т. п.

Следует подчеркнуть, что выше везде речь шла об этимологизировании как совокупности методических приемов, а не об этимологии как предмете (цель, задачи) исследования каждого конкретного слова (топонима и апеллатива) или группы слов. Что касается задач этимологического анализа субстратной топонимии, с одной стороны, и обычной лексики, особенно субстратной, — с другой, то по отдельным пунктам они значительно более расходятся, хотя при пристальном рассмотрении и эти расхождения оказываются не так существенны. Можно пойти дальше и провести сопоставления предмета исследования топонимической и обычной этимологии на основе следующей идентификации: этимон — производящая основа имен нарицательных на различных хронологических уровнях ~ апеллатив—производящая основа топонимов [6].

Приведенные выше соображения позволяют, кажется, высказать мнение, что в данном случае мы имеем дело не с различными видами этимологии, а с различными сферами применения этимологии как лингвистической дисциплины, занимающейся происхождением и историей слов и обладающей некоторой суммой единых методологических требований. Под этим углом зрения топонимия предстает в качестве одного из разрядов лексики, подобно названиям растений, животных, терминам географического рельефа и т. п., имеющим, наряду с общими закономерностями этимологического анализа, свои более частные методические приемы, вызванные специфическими особенностями данного круга лексики; ср. доклад Г. Якобссона (наст. сб. стр. 32).

Необходимо также отметить, что в определенных случаях этимология обычной лексики входит органическим компонентом в этимологию топонима, оказываясь завершающим этапом исследований на топонимическом уровне. Так, определение лингвоэтнической принадлежности субстратной топонимии, реконструк-

---

[5] Подробнее см. об этом в докладе А. К. Матвеева на данном симпозиуме. — Наст. сб., стр. 192.

[6] Ср.: А. К. Матвеев. — ВЯ 1965, № 6, стр. 10.

ция исчезнувших языков по топонимическим реликтам, что представляет собой по преимуществу этимологическую задачу, может быть достигнуто как правило только путем этимологизации апеллатива, соотносимого с топоосновой, и топоформантов (суффиксов или детерминативов) в рамках обычной лексики. В ряде случаев вообще затруднительно провести строгое разграничение между топонимической этимологией и апеллативной. В качестве примера можно привести этимологию догреч. πύργος, предложенную А. Хойбеком, хотя в некоторых отношениях она сама по себе не безупречна. В противовес гипотезе Вл. Георгиева о «пеласгском» происхождении упомянутого слова, непосредственно возводимого им к и.-е. *bhṛgh- (нулевая ступень и.-е. *bhergh-), Хойбек выдвинул мысль о заимствовании греками πύργος и πέργαμον из анатолийского, по его терминологии, — «западнохеттского», догреческого индоевропейского субстрата. Это соображение основано у Хойбека прежде всего на этимологической изолированности πύργος и πέργαμον в пределах Балканского п-ова и их соотнесенности с большим числом малоазийских топонимов и хеттских апеллативов: при двух названиях в Греции (Περγασή, Πέργαμον) или, в крайнем случае, трех (если считать город на юге Элиды Πύργος унаследованным от догреческого населения, что сомнительно), в Малой Азии имеется 11 топонимов и 5 личных имен, восходящих к тому же и.-е. *bhṛgh- и сопоставимых в свою очередь с хет. *parku-* 'высокий' и т. д. К ним необходимо добавить еще лувийский иероглифический этникон *pargawana-*, по всей вероятности, унаследованный от раннеанатолийского состояния[7].

Напротив, соображения ареального порядка в определенной степени снижают вероятность весьма заманчивой интерпретации греч. Ἀττικός, более раннее Ἀκτικός[8], в качестве производного от анатолийской теофорной основы *Akta-, ср. кар. Ακτα-υσσωλλος, Καρ-υσωλδος, Μα-υ(σ)σωλ(λ)ος; к переходу *kt* > *tt* ср. крит. Λύττος < Λύκτος = хет. *Lukkata-* (НМ в стране *Lukkā*[9]), ср. еще хет. ^{GIŠ}*lutta-* 'окно', вероятно, от основы *luk(k)-* 'hell werden, tagen'[10]. Главное возражение заключено в том, что основа Ακτ(α)- широко представлена в чисто греческой топонимии, соотносимой с греч. ἀκτή, дор. ἀκτά 'крутой берег моря, реки; мыс; коса; полуостров'[11]. Впрочем, греческий апеллатив *ἀκτικός (производное от ἀκτή) как

---

[7] A. Heubeck. Praegraeca. Erlangen, 1961, стр. 63 сл. — Слабость гипотезы Хойбека — в отсутствии основы с корневым *ur* < и.-е. *r̥* в топонимии и апеллативной лексики на территории Анатолии.

[8] A. Fick. Vorgriechische Ortsnamen. Göttingen, 1905, стр. 13.

[9] Более подробную трактовку здесь и большинства далее приводимых примеров см. в моей монографии «Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова» (М., 1967).

[10] Хеттский пример перехода *kt* > *tt* любезно сообщен мне Вяч. Вс. Ивановым.

[11] Vl. Georgiev. La toponymie ancienne de la péninsule Balkanique et la thèse méditerranéenne. Sofia, 1961, стр. 13.

будто не засвидетельствован, что в совокупности с приведенными выше фактами существенно увеличивает правдоподобие анатолийской этимологии догреч. 'Αττικός, к чему мы надеемся еще возвратиться специально.

Теперь перейдем к изложению конкретной проблематики, указанной в заглавии доклада.

В силу исторически сложившихся обстоятельств диахроническая стратификация лингво-этнических слоев всегда была основной целью исследований субстратной и субсубстратной догреческой топонимии и апеллативной лексики (Паули, Кречмер, Фик, Хейли, Шахермайр, Георгиев и его последователи, Палмер, Хойбек). Стратификационные схемы, с одной стороны, естественно, зависели от степени изученности древних языков восточного Средиземноморья (языки Балканского п-ова и древней Анатолии), с другой стороны — от методики, реализуемой в каждом конкретном исследовании.

Необходимость в обсуждении некоторых методологических принципов и критериев диахронического изучения топонимии указанного ареала вызывается отсутствием желаемого единства в методике исследований, усугубленного характерными особенностями фактической базы: разновременность античных письменных свидетельств с разрывами подчас в несколько сот лет (Гомера и Стефана Византийского отделяют почти 20 веков), различная степень адаптации субстратных топонимов, разнобой в способах передачи туземных названий средствами греческого языка периода фиксаций и, пожалуй, главное — фрагментарность или полное отсутствие знаний об апеллативной лексике языков восточного Средиземноморья, за исключением греческого, — в таких условиях лишь исключительная строгость методической стороны исследований может в известной степени оградить от различного рода произвольных построений, которыми столь богата история изучения языков догреческого субстрата.

1. Поскольку диахроническая схема лингво-этнических слоев может быть построена лишь на сравнительно-исторической основе, необходимо максимально равномерное обследование топонимии всей подлежащей изучению территории и смежных областей с обязательным формантным анализом, сопровождающимся картографированием топонимов по формантам, в качестве процедуры, предваряющей собственно этимологический анализ. Выявленные при этом топонимические общности (по основам, фономорфологическому составу и т. п.) укажут ареалы, с которых в первую очередь следует брать материал для исследования. По отношению к топонимии юга Балканского п-ова таким районом явилась, во-первых, древняя Анатолия, особенно ее западная часть; во-вторых, центрально-восточный ареал Балканского п-ова (древняя территория расселения фракийских племен), на что указывает, кроме прочего, дистрибуция -νθ-образований.

2. Омонимия топонимических суффиксов в языках Средиземноморья, их вторичная продуктивность и т. д. ограничивают возможности формантного анализа для целей диахронической стратификации. Более маркированными в этно-лингвистическом аспекте оказываются результаты этимологического исследования топонимических (resp. ономастических) основ или цельных лексем, относящихся к географическим ареалам, близость которых предварительно обоснована.

3. Опираясь на тезис о гетерогенности догреческих лингво-этнических слоев, включая гетерогенность промежуточного слоя индоевропейского субстрата, отправной точкой для стратификации целесообразно избрать слой анатолийского, resp. индоевропейского, происхождения, наиболее конкретно выявляемый из сопоставлений догреческой топонимии с топонимической и апеллативной лексикой хеттолувийских языков. Как уже упоминалось, оба историко-географических ареала характеризуются массовым тождеством топооснов и почти полной идентичностью топонимических формантов, соотносимых, сверх того, со словообразовательными элементами обычной лексики туземных языков Анатолии. Преимущества такого подхода совершенно очевидны, поскольку тем самым этимологический анализ южнобалканской субстратной топонимии, со всеми вытекающими последствиями, хотя бы на начальном этапе, ставится на конкретную почву фактов из языков этнических групп—потенциальных создателей одного из слоев догреческого субстрата.

В то же время Вл. Георгиев, выдвинув тезис относительно обособленности среди других индоевропейских языков так называемого «пеласгского» языка, образующего, по его мнению, гомогенный догреческий индоевропейский субстрат, открыл широкое поле различного рода произвольным этимологиям, для которых индоевропейские корни, собранные в словарях Вальде и Покорного, являются почти единственной опорой и критерием достоверности. В работах Карнуа, частично в трудах самого Георгиева и других представителей его школы подобная исследовательская практика сплошь и рядом приводит к абсурдным построениям (см., например, недавние работы Ван-Виндекенса, Мерлингена, Хааса).

Наличие ресурса анатолийской ономастической и апеллативной лексики делает, на наш взгляд, исследования догреческого субстрата в известных пределах даже более перспективными по сравнению с реконструкцией иллирийского, фракийского и некоторых других реликтовых языков, когда почти полное отсутствие сохранившейся апеллативной лексики на этих языках вынуждает восполнять пробел внешними по отношению к исследуемому языку лингвистическими фактами, сопоставляя имена собственные с апеллативами практически из любых индоевропейских языков, с последующим обращением все к тем же корням

Вальде—Покорного (см. работы Г. Краэ и особенно А. Майера; ср., напротив, труды И. Хубшмида по дороманскому субстрату в северо-западном Средиземноморье — Пиренеи, Альпы с примыкающими областями, где широко реализуется возможность привлечения субстратных апеллативов из современных языков и диалектов соответствующего района).

4. Выявляя анатолийский слой, следует отдавать предпочтение догреческим топонимам, основы которых засвидетельствованы не только в греческих передачах малоазийских географических названий, но и в топонимической и апеллативной лексике анатолийских туземных письменных памятников, например: догреч. Πήδασος—кар. Πήδασα/ος, Πηδάλιον, килик. Πηδαλιη—хет. *Petašša*—хет. *peda* 'место'; догреч. Παρνασ(σ)ός—кап. Παρνασσος—анат. (возможно, лув.) *Parnašša*—хет. *parn-*, *pir-*, лув. *parna-*, лид. *bira-* 'дом', лик. **prnna-* 'строить'; догреч. Κασταλία—килик. Κασταλια—хет. (кап.) ЛИ *Ḫaštali*—хет. **ḫaštali-* 'герой'; догреч. Λυκαονία, Λύκαιον, Λυκαία—м.-аз. Λυκία, Λυκαονία—хет. *Lukkā*, лув. **Lu(w)-*, лув. иер. ЛИ *Lu-hi(a)*—хет. *luk(k)-* 'становиться светлым, светать', лув. *luḫa-* 'свет?' и т. д. Столь строгий подход к материалу прежде всего предохраняет от включения в сферу исследования топонимических догреческо-малоазийских тождеств, возникших либо в результате активной эллинизации Малой Азии, начавшейся еще в последней четверти II тысячелетия, либо вследствие далеко идущей адаптации туземных малоазийских названий.

5. Одним из наиболее желательных условий привлечения апеллатива для сравнения, кроме семантических критериев, служит его употребление в функции топонимической основы или детерминатива, см. вышеприведенные примеры; напротив, истинность сопоставления крит. Καρνησσόπολις—кар. Ἁλικάρνασσος с лув. иер. *harnasa* 'крепость' [12] сведена до минимума не только по соображениям географического (см. ниже, пункт 6а) и хронологического порядка (апеллатив засвидетельствован лишь в текстах VIII в. до н. э.), но и потому, что данная апеллативная основа ни в какой форме не нашла отражения в ранне- и позднеанатолийской туземной ономастике. Ср. также некоторые сопоставления в статьях Э. Лароша [13].

6. Выбор наиболее правдоподобных этимологических решений из числа возможных в значительной мере, иногда же целиком, зависит от данных лингвогеографического анализа:

а) Распространенность топонимической основы по всему восточному средиземноморью, если это не вызвано позднейшими этно-лингвистическими процессами, исключает по большей части греческую, хеттолувийскую и «пеласгскую» этимологию и может

---

[12] G. Huxley. Crete and the Luwians. Oxford, 1961, стр. 29.

[13] E. Laroche. Notes de Toponymie Anatolienne. — «ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ. GS P. Kretschmer». Wien, 1957, стр. 1 сл.; Он же. Études de toponymie anatolienne. — RHA, XIX, 69. Paris, 1961, стр. 57 сл.

говорить в пользу доиндоевропейского происхождения: *Lar- (догреч. Λάρισα и др.) встречается, кроме Греции, в Малой Азии, на Апеннинском п-ове, Фракии; *Karn- (догреч. Καρνησσόπολις и др.), кроме Греции, — в Малой Азии, Иллирии; *Teb-, Thēb-: Tab-, Tap- (в догреч. Θῆβαι, Θήβη и др.), кроме Греции, — в Малой Азии, Иллирии, на Апеннинском п-ове, Сицилии. Индоевропейские этимологии указанных основ, предложенные Вл. Георгиевым, малоубедительны [14].

б) Возможность греческой и «пеласгской» этимологии как правило исключается наличием в анатолийской туземной топонимии основ, диахронически идентичных южнобалканским (потенциально догреческим), и скорее говорит об анатолийском происхождении. Так, *Μυκ- в ю.-балк. Μυκῆναι, Μυκαλησ(σ)ός, Μυκώνη вряд ли от чисто греч. μύκαι 'грибы', как, вопреки общепринятому мнению (Шантрен, Краэ и др. [15]), думает Вл. Георгиев [16], или от μύκης 'угол, вершина; покрышка' [17], ср. кар. Μυκαλησ(σ)ός, горы в Ионии Μυκάλη = Μυκώ. Маловероятно соотнесение ю.-балк. гидронима Τερμησσός < *Τελμησσος с греч. τέλμα, -ατος 'стоячая вода, болото, низина; глина' [18]; ср. Τελμασσός — река в Киликии, города в Карии, Ликии; Τελμισσος — гора в Карии; Τελμησσιας — гора в Ликии; обращает на себя внимание факт мены *r* : *l* в южнобалканском топониме — явление, распространенное в ранне- и позднеанатолийских языках. Вл. Георгиев рассматривает ю.-балк. Πῦρανθος < догреч. *(s)pūra-wanth- в качестве топонима «пеласгского» происхождения и возводит его к и.-е. *(s)pūro-wont-, корень которого отражен в греч. πυρός, дор. σπῦρός 'пшеница', лит. *pūraĩ* 'озимая пшеница' и т. д. [19] Трудно отделимое от данного догреческого названия фесс. Πῦρασος он, видимо, непосредственно соотносит с греч. πύρος [20]. Не говоря уже о неправильности разделения указанных южнобалканских названий, необходимо прежде проанализировать отношения, особенно первого к анат. (лув.?) *Puranda*, ср. догреч. Λύκανθος — кап. Λυκανδος и др., и кар. Πυρινδος. Вл. Георгиев считает также приведенный в пункте 4 догреч. анат. топоним Πήδασος чисто греческим и соотносит с греч. πηδάω 'прыгать', совершенно не учитывая анатолийские параллели [21].

---

[14] Vl. Georgiev. La toponymie ancienne..., стр. 13 (относительно *Lar-, *Thēb-); Он же. Die altgriechischen Flussnamen. Sofia, 1958, стр. 26 (относительно *Karn-).

[15] P. Chantraine. La formation des noms en grec ancien. Paris, 1956, стр. 206; H. Krahe. Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954, стр. 146; A. Fick. Vorgriechische Ortsnamen. Göttingen, 1905, стр. 81, 128.

[16] Vl. Georgiev. Die altgriechishen Flussnamen, стр. 44.

[17] W. Pape—G. Benseler. Wörterbuch der griechischen Eigennamen, II. Nachdruck der 3. Aufl. Graz, 1959, стр. 1510.

[18] Vl. Georgiev. Vorgriechische Sprachwissenschaft, II. Sofia, 1945, стр. 194, 195.

[19] Там же, стр. 183.

[20] Vl. Georgiev. La toponymie ancienne ..., стр. 44.

[21] Vl. Georgiev. Vorgriechische Sprachwissenschaft, II, стр. 189.

Число примеров игнорирования ареальных характеристик в работах Георгиева и его последователей может быть увеличено.

в) Напротив, при отсутствии указанных моментов и двусмысленности словообразовательного типа наличие соотносимого греческого апеллатива в отдельных случаях указывает на чисто греческое происхождение. Греческое происхождение ю.-балк. Κηττοί и Σφηττοί — названия демов в Аттике — вполне вероятно. Оба являются дериватами на *-i̯o* от основ на глухой смычный: первое увязывается с греч. κήξ, κηκ-ός 'вид морской птицы', ср. ион. καύξ, καυήκος то же (т. е. **kāwāk-io-* > Κηττο-), второе — с σφήξ, σφηκ-ός 'оса' (т. е. **sphāk-i̯o-* > Σφηττο-)[22]. Между прочим, Фик[23], единственно исходя из форманта ττ, квалифицировал данные топонимы в качестве догреческих.

7. Как уже упоминалось, в процессе этимологизирования необходимо определение типа семантической мотивации и структурно-типологического облика сопоставляемых топонимов. Так, в догреческой субстратной топонимии анатолийского происхождения довольно четко выступают два семантических разряда:

1) этнонимические, с подтипом этно-теофорные, основы, т. е. основы, образованные от имен богов и употребляемые в качестве этнических наименований: **Luk(a/i)-* в догреч. ΛυκαϜονία — более древнее название Аркадии, тождественное названию позднелувийской области, восходящему к анат. (лув.) этнониму **Lukā-wana/i-* букв. 'житель страны **Lukā*', зафиксированному в греческой передаче ΛυκάϜονες 'народ, обитавший в Ликии, resp. Ликаонии', далее см. в пункте 3; **Kar-* в догреч. Κᾶρια — название акрополя в Мегарах, тождественное названию государства на юго-западе Малой Азии, ср. хеттское название той же страны — *Karkiša* и *Karkija*, возможно в догреч. Κάρυστος, Καρύαι, Καρυάται, данная основа соотносится с именем лувийского иероглифического божества *Karhuḫa, ср. лув. иер. *huha-* 'дед', и именем «азианического» божества *Kar-zi*; **Ma(w)-* в догреч. Μαυσός, ср. имя карийского царя Μαυσ(σ)ωλ(λ)ος, лик. личное имя Μαυσολος, имя лидийской богини матери **Mavś*, отраженное во многих малоазийских личных именах;

2) чисто теофорные: основа **Mas-* в догреч. Μάσης, -ητος, хеттском топониме Māša и во множестве ранне- и позднеанатолийских личных имен, неосложненная или с различными распространителями, ср. милийск. *masa-iz* (мн. ч.) = лик. *mahana* 'бог', лув. *maššani/a-* то же и т. д.; **Taw-* в догреч. Ταΰ-γετον, личном имени Ταΰ-γετος, м.-аз. Τάου-ιον, Ταυ-ία, в первом компоненте лик. ЛИ *Ddawā-hāma* и т. д., ср. лид. *tavśa-* 'большой, мощный', всегда употребляемое в качестве эпитета бога, например *civś tavśaś* = θεός μέγας, + *λdānś tavśaś*, далее ср. глоссы Гесихия ταύς· μέγας, πολύς и ταύσας· μεγαλυνας, πλεονάσας; в религиозной сфере употреб-

---

[22] См.: Vl. Georgiev. La toponymie ancienne. . . , стр. 42.
[23] A. Fick. Указ. соч., стр. 83, 129.

ляется и основа *Ida-, отраженная в догреч. Ἴδη, дор. Ἴδα и в большом числе малоазийских личных имен — Ιδα-τυης < *Ida-tuwa, букв. 'созданный богиней Идой', Ιδα-ροη < *Ida-ruwa, букв. 'бог *Ruwa-, обитающий на горе Иде' или 'гора — лес бога *Ruwa-', ср. догреч. ἴδη 'лесистая гора, (горный) лес, корабельный лес'.

Что касается структурно-типологических параллелей, то прекрасным примером служит упоминавшееся догреч. Ταΰ-γετον/ς, которое полностью семантически и структурно эквивалентно м.-аз. Μοα-γέτης — имя тирана из Кибюра, etc. (Μοα < *muwa 'мощь, сила'); если элемент γετ- соотносится с хет. *k/gatta* 'царь', заимствованным из хаттского, то правомерно догреческий топоним интерпретировать как '(гора) могучий царь', а м.-аз. ЛИ — 'царь, обладающий мощью (магической, военной)'.

8. Важнейшим формальным (фонетическим) критерием при разграничении лингвистических слоев в промежуточном индоевропейском субстрате оказывается отсутствие закономерностей типа «передвижения согласных» и тенденции к ассибиляции палаталей в анатолийском слое в противоположность наличию таковых в «пеласгском» Вл. Георгиева; примеров анатолийского слоя выше приведено достаточно.

9. В заключение необходимо подчеркнуть, что лингвистическая принадлежность топонима, как, впрочем, и любого слова, не всегда совпадает с этнической, например, с нашей точки зрения, догреч. Λαβύρινθος, принесенное на юг Балканского п-ова хеттоязычными (т. е. индоевропейскими) племенами, пришедшими из Анатолии (ср. кар. Λάβρα(υ)νδα etc. < кар. туземн. *Labravñṯa* (анат. *Labra-wanda), соотносится с лид. λάβρυς 'двойной топор', лик. В *laβra* 'камень'[24], в то же время генетически восходит к доиндоевропейскому лингвистическому слою Анатолии; на это указывает мена *d* : *l* в догреческом (ср. линейное В *da-pu₂-ri-to-jo*), что позволяет сопоставить догреческое слово и его анатолийские соответствия с титулом хеттских царей, заимствованным из хаттского, *T/Labarna*.

---

[24] А. А. Королев, В. В. Шеворошкин. Милийские этимологии. — «Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии. Программа. Тезисы докладов». М., 1966, стр. 43.

В. Михайлович

СУФФИКС *-ača* В ТОПОНИМИИ И МИКРОТОПОНИМИИ ЮГОСЛАВИИ

Я хотел бы отметить, что сообщение, сделанное мною на симпозиуме, является лишь частью еще не опубликованного обширного исследования о суффиксе *-ača* в топонимии и микротопонимии Югославии. Так как существует очень небольшое число монографий, посвященных истории суффиксов южнославянской языковой области и давно уже ощущается потребность в такого рода работах [1], я и счел целесообразным привести наиболее важные моменты из своего исследования, относящиеся к вопросам происхождения, территориального распространения, апеллативного и топонимического различия в семантике этого суффикса и к другим проблемам, связанным с *-ača*.

Во всех современных грамматиках сербохорватского и словенского языков суффикс *-ača* упоминается как принадлежащий исключительно этим языкам и служащий для образования nomina agentis и nomina instrumenti. Большинство авторов рассматривают в основном его семантику, не касаясь вопроса о его происхождении. На основании примеров, приведенных Ф. Миклошичем, можно заключить, что он считает *-ača* вариантом суффиксов *-ačь* и *-ačjь*, которые, согласно его классификации, относятся к разряду вторичных суффиксов [2]. А. Белич дает следующие примеры из словенского языка: *kravača* 'elende Kuh', *suknjača* 'ein langer, grober Rock', *svinjača* 'большая свинья', *kozača* 'grosse Ziege', *nogača* 'grosser Fuss', которые, по его мнению, относятся к суффиксам типа «deteriorirende». Такие примеры, как *bregača* 'Hügelchen, unbedeutender Berg', *tmača* 'Finsterniss', *mglača* 'Nebel', считаются «deminuirende», и на основе этих значений делается заключение: «Dass. . . die Deteriorativbedeutung die Grundbedeutung war, woraus sich alle anderen entwickelt haben» [3]. Р. Бошкович также ограничивается констатацией того, что этот суффикс известен только сербохорватскому и словенскому язы-

[1] Превосходная монография о суффиксе *-ić/-itj* в топонимии южнославянской языковой области написана Ст. Роспондом 30 лет назад — и с тех пор до настоящего времени не появилось ни одной работы такого рода.

[2] Fr. M i k l o s i c h. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Stammbildungslehre. Wien, 1875, стр. 331—335.

[3] A. B e l i ć. Zur Entwicklungsgeschichte der slavischen Deminutiv- und Amplifikativsuffixe. — AfslPh XXIII. Berlin, 1901, стр. 155—156.

кам и что с его помощью от именных корней образуются существительные с разными значениями [4].

Говоря о механизме словообразования с помощью суффикса *-аča*, Т. Маретич в своей «Грамматике хорватско-сербского языка» выделяет четыре случая: 1) от именных, прилагательных и глагольных основ образуются слова, значение которых находится в какой-то связи со значением корня: *kijača*, *kopljača*, *misirača* и т. д.; 2) среди таких имен встречаются, хотя и редко, слова, обозначающие животных или членов семьи: *krmača*, *narikača*, *udavača*; 3) этот суффикс свободно связывается с основами прилагательных на *-ov*, которые образованы от имен, обозначающих некоторые растения: *brezovača*, *glogovača*, *jabukovača*; 4) автор приводит также, но без объяснения, ряд существительных с «редким значением»: *lukovača*, *makovača*, *hrastovača*. Все другие грамматики и работы по истории языка в основном повторяют наблюдения Маретича.

Отдельно следует рассмотреть топонимические работы, связанные с этим суффиксом. Тут на первом месте должны быть упомянуты труды известного южнославянского топонимиста П. Скока. В своих многочисленных исследованиях, где главное внимание обычно уделяется проблемам хронологии переселения славян на Балканский п-ов и другим проблемам, относящимся к истории балканских аборигенов, романских народов и славян, он говорит, правда чаще всего мимоходом, и о суффиксе *-ača*, однако не касаясь вопроса о его происхождении. Точнее говоря, ни П. Скок, ни последующие исследователи не рассматривали эту проблему всесторонне. а лишь пытались объяснить появление этого суффикса на основе семантических и, вероятно, даже звуковых совпадений с аналогичными фактами в других, неславянских, языках. Ярким примером такого изолированного от исторических языковых факторов рассмотрения отдельного апеллатива может служить слово *vrtača*, о котором писали многие авторы. Наиболее полно этот вопрос освещен в книге словенского топонимиста Фр. Безлая [5]. Говоря о происхождении названия реки *Vrtača* (около Селича) (самая древняя фиксация — 1490 г. в немецкой графике Frtätsch), Безлай отмечает, что трудно определить, связано ли оно на основе народной этимологии с глаголом *vrteti* или это *vrt*+латинский суффикс *-aceus*. Эта осторожность Безлая здесь оправданна, тем более она необходима, когда рассматривается широкий топонимический материал, который дает нам возможность произвести всесторонний анализ.

Завершая этот краткий обзор литературы о суффиксе *-ača* (и не ставя своей целью дать исчерпывающую информацию,

---

[4] Р. Бошковић. Развитак суфикса у јужнословенској језичкој заједници. Београд, 1936, стр. 131.

[5] Fr. Bezlaj. Slovenska vodna imena. Ljubljana, I, 1956; II, 1961.

которая здесь не существенна), я хочу выделить особо статью, которая трактует проблему суффикса *-аča* на южнославянской территории. Эта работа, озаглавленная «Топонимичните *č*-суфикси в южнославянските езици» написана выдающимся болгарским топонимистом И. Дуридановым [6]. Автор поддерживает и акцентирует мысль Вондрака [7] о том, что современные *č*-суффиксы унаследованы от и.-е. *k*-формантов и в современном своем виде представляют собой славянскую инновацию путем расширения основы через *-ja*, *-jo*. Ссылаясь на Отрембского, Дуриданов далее указывает, что в балтийских языках есть точные топонимические параллели (в древнепрусском и литовском), с той только разницей, что они не расширены суффиксом *-ja* или *-jo*, как на территории южнославянских языков. Ко всему этому надо добавить, что Дуриданову принадлежит заслуга обнаружения топонимов с суффиксом *-аča* в западной Болгарии, тогда как до него считалось, что этот суффикс встречается только на территории сербохорватского и словенского языков.

Однако это краткое, но очень важное сообщение упомянутого автора должно быть подвергнуто более строгому анализу прежде всего на основе большего числа примеров, и не только топонимических, но и микротопонимических. Сразу же возникает несколько проблем: есть ли слова с этим суффиксом в старославянских текстах, т. е. является ли современное состояние в сербохорватском и словенском языках унаследованным с древнейших времен из этого языка? Ответ отрицательный [8], что является надежнейшим доказательством нового происхождения этого суффикса, т. е. его инновации на южнославянской языковой почве. Отвергнув старославянский язык в качестве возможного праисточника и зная, что в других славянских языковых системах этот суффикс неизвестен, мы с необходимостью должны задать себе следующий вопрос: появляется ли этот суффикс в результате длительного контакта или симбиоза части славянского населения с аборигенами Балканского п-ова, или он заимствован из народной латыни, которая была тогда доминирующим языком в этих областях?

Рассмотрим факты, свидетельствующие в пользу романского происхождения суффикса *-аča*. Латинский суффикс *-aceus* выражает главным образом усиленную пейоративность основы соответствующего прилагательного. В современном португальском языке он звучит как *-az* и *-aço* и семантически соответствует своему праисточнику, тогда как в испанском языке суффикс *-azo* получил другую функцию: с его помощью образуются имена со значением удара, наносимого каким-л. предметом (*cuchillazo* 'удар ножом'

[6] «Български език», VIII, 4—5. София, 1958, стр. 343—356.

[7] W. Vondrák. Vergleichende slavische Grammatik. Göttingen, 1924, стр. 612.

[8] См.: А. Лескин. Грамматика древнеболгарского (древнецерковнославянского) языка. Казань, 1915.

и т. п.)[9]. В итальянском языке этот суффикс относится к типу очень продуктивных и соответствует по значению лат. *-accus*. И что особенно интересно, — этот суффикс в говорах стал употребляться уже в качестве самостоятельного слова. Так что здесь можно, например, сказать: *È una cosa accia*, *ma accia bene*[10].

Географическая близость Италии и длительное романское влияние (через романские города) почти вдоль всего Адриатического побережья, действительно, должны свидетельствовать в пользу упомянутого утверждения некоторых авторов о том, что этот суффикс проник в сербохорватский и словенский языки через какой-то романский язык. Объяснение слова *vrtača* как *vrt* ('hortus')+*-aceus* фонетически и исторически возможно, но не дает ответа на некоторые вопросы. Прежде всего остается неясным, можно ли применить объяснение слова *vrtača* (как современного географического термина) ко всем топонимическим апеллятивам с этим суффиксом, которые рассеяны почти по всей современной Югославии, или это слово нужно рассматривать изолированно в свете других фактов. Я разделил бы мнение Безлая, который выразил сомнение в романском происхождении этого суффикса, и подкрепил бы это мнение следующими данными. Согласно моим материалам, *Vrtača* имеет следующий ареал: в Словении этот топоним встречается 9 раз, в Хорватии — 3, в Боснии — 30, в Сербии — 13, в Черногории — 4. Учитывая то обстоятельство, что я не имел возможности пользоваться микротопонимическими материалами Словении, ограничусь констатацией, что топонимический апеллатив *vrtača* не встречается в Адриатическом приморье, где мы более всего ожидали его обнаружить, а отмечается, наоборот, в континентальной Сербии, Боснии и Словении. Согласно аргументированному утверждению Скока, распространение суффикса *-ača* в приморье и на островах с точки зрения частотности не дает возможности считать этот суффикс типичным для данной территории[11].

В соответствии со всем вышесказанным, исходя из славянской глагольной основы *vrteti* 'sich drehen' (а не из славянско-романской комбинации) и опираясь на современный топонимический ареал этого апеллатива, правильным решением вопроса о происхождении этого имени надо признать определение его в качестве варианта к другому географическому термину — *vrtanja*[12], который и сейчас существует в диалектах в Хомолье и Подринье в Сербии (ср. и морав.-чеш. *závrtek*, приводимое Безлаем[13]).

---

[9] Э. Бурсье. Основы романского языкознания. М., 1952, стр. 361.
[10] Там же, стр. 59.
[11] P. Skok. Slavenstvo i romantsvo na jadranskim otocima. Zagreb, 1950, стр. 263.
[12] J. Schütz. Die geographische Terminologie der Serbokroatischen. Berlin, 1957, стр. 43.
[13] Fr. Bezlaj. Указ. соч., II, стр. 321.

Кстати говоря, существует определенное количество современных апеллативов на *-ača*, которые, непосредственно или опосредованно, пришли из латинского или итальянского языкового фонда, что, однако, существенно не влияет на вышеупомянутое заключение. К этому типу заимствований относятся следующие слова: *polača* (*palača*) от лат. *palatium*, зафиксированное в нашем письменном памятнике еще в 1333 г. [14]; *pogača* от ит. *focaccia* [15]; *burača* 'lagenae species' от ит. *boraccia* в значении 'мех' [16] и т. д. (Это явление должно быть предметом отдельного исследования, тем более что ранние графические приемы, возможно, дали бы нам некоторые сведения о хронологии.)

Важным доказательством нероманского происхождения суффикса *-ača*, как и невозможности применить объяснение, данное слову *vrtača*, ко всем апеллативам этого типа, может служить текст Статута Полицы, который создан как раз в непосредственной близости от очень сильных романских культурных центров. Этот юридический памятник средних веков не содержит ни одного слова с суффиксом *-ača* [17]. (Здесь не принимается во внимание заимствованное слово *polača*.) С другой стороны, в тексте Статута отмечается довольно много итальянских (венецианских) заимствований — таких, как: *deferencija*, *kančilar*, *kapelan*, *katun*, *katunar*, *kušencija*, *kašteo*, глагол *manjkati* и т. д.

Указание Скока о том, что суффикс *-ača* в Приморье очень редок, находит свое подтверждение и в недавно опубликованной книге «Toponimika zapadne Istre, Cresa i Lastova» [18], где можно найти только два примера с *-ača*, имеющих бесспорно славянское происхождение. Следовательно, в сравнении с обилием других суффиксов славянского и иностранного происхождения суффикс *-ača*, встречающийся здесь очень редко, может считаться исключением.

Число фактов, говорящих против мнения о романском происхождении этого суффикса, могло бы быть значительно увеличено, но это не является главной целью моей работы. Я хотел бы привести еще только один пример. В середине XIX в. был написан морской словарь Антона Микоча, который недавно издан впервые [19]. Автор этого словаря хорошо знал и итальянский, и свой родной язык, и местный приморский диалект. Так как это итальянско-сербохорватский словарь, то вполне логично, что в нем больше

[14] Fr. Miklosich. Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii. Viennae, 1858, стр. 106.

[15] J. Šafarik. Serbische Lesekörner. Pešta, 1833, стр. 78.

[16] RJA I, 739.

[17] V. Jagić. Poljički statut. Zagreb, 1890; Б. Греков. Полица. М., 1951.

[18] «Toponimika zapadne Istre, Cresa i Lastova». — «Anali leksikografskog zavoda FNRJ», III. Zagreb, 1956.

[19] A. Mikoč. Rukopisni nautički rječnik Jakova Antuna Mikoča iz godine 1852. — «Anali Jadranskog instituta», 2. Zagreb, 1958, стр. 319—355.

сербохорватских слов (1081), чем итальянских (773). Стоит повторить, что с помощью суффикса *-аča* образуются, в частности, nomina instrumenti, которые во всяком таком словаре, независимо от того, на каком языке он написан, составляют большой процент, потому что они являются конкретными морскими терминами. В этом словаре процент сербохорватских апеллативов на *-аča* также ничтожен, и приводимые здесь отдельные слова с соответствующим суффиксом лишь подтверждают сделанный ранее вывод. Однако решение проблемы происхождения этого суффикса, к сожалению, еще не решает вопроса о времени появления его в сербохорватском языке. Эта проблема может быть расчленена на две: 1) если этот суффикс не романского происхождения, то почему мы не находим его в наших древнейших текстах XII—XIII вв.? 2) что повлияло на такое позднее массовое появление этого суффикса в топонимии (учитывая то, что он имеет литовские и древнепрусские соответствия)?

Самым старым примером с суффиксом *-аča* на южнославянской территории является микротопоним *Kobilača* в Полице (в Далмации), который в таком облике записан еще в 1090 г. (*in loca ubi dicitur Kobylache*[20]). Не исключено, что имя *Вукосав Кобилачич* (ѡдь Примориѣ Вȣкосавь Кобилачиħь), с 1397 г.[21], также содержит в себе основу этого микротопонима. Основа *kobila* 'equa' довольно широко распространена в качестве топонимического апеллатива на всей территории Югославии, а также встречается в других славянских языках.

Другой пример с суффиксом *-аča* — это ороним *Bogača* (название горы, которую Стефан Неманя в 1198—1199 гг. подарил Хиландарскому монастырю)[22]. Основа *bog-* 'deus' есть во всех славянских языках, хотя, кажется, очень редко встречается в функции топонима. С другой стороны, эта же основа необычайно продуктивна в патронимике почти во всех славянских языках[23]. Ср. еще микротопонимы, образованные от патронимов (женских имен:) *Jelača* (< греч. *Helen*), встречающийся в наших письменных памятниках только в XV в.[24], и *Vitača* (славянского происхождения), зафиксированный в 1399 г.[25] Употребленное в качестве топонима, *Bogača* является метафорой, относящейся к плодородной горе с землей, годной для обработки. Ср. многочисленные семантические параллели: *Pitomača* (метафора по отношению к земле), *Kosmača* (метафора, относящаяся к траве, лесу и вообще

---

[20] P. Skok. Prilozi k ispitivanju srpskohrvatskih imena mesta. — «Rad JAZU», knj. 224. Zagreb, 1921.

[21] D. Daničić. Rečnik iz književina srpskih, I—III. Beograd, 1863—1864.

[22] D. Daničić. Указ. соч., I, стр. 53.

[23] J. Svoboda. Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha, 1964.

[24] D. Daničić. Указ. соч., III, стр. 516.

[25] D. Daničić. Указ. соч., I, стр. 116.

к растительному покрову), *Debeljača* (метафора, употребленная по отношению к плодородной земле) и т. д.

Третий пример — топоним *Gromača*, зафиксированный в Далмации в 1275 г.[26] Микротопоним в облике *Grmača* отмечен на острове Браче еще в 1185 г.[27] Там же известен апеллатив *gromača* в значении 'cumulus, Steinhaufen, Steingeröll' [28]. По моим сведениям, этот топонимический апеллатив встречается 11 раз: 4 раза в Лике, 1 — в Боснии и 6 — в Далмации.

Остальные примеры более поздние: фамилия *Kosačić* отмечена в Дубровнике в 1373 г.[29], микротопоним *Krivača* впервые засвидетельствован на территории Сербии в 1330 г.[30], микротопоним Rasohaća — также в XIV в., антропонимическая основа *Smil-* (в составе слова *Smilača*) зафиксирована тоже в Сербии в 1381 г.

На основе даже этих скудных примеров можно сделать важный вывод о том, что все они образованы от основ славянского происхождения. Однако остается нерешенной центральная проблема: почему в прошлом было так мало слов с суффиксом *-ača* и почему позднее в топонимии отмечается их массовое появление?

Вообще говоря, языковые изменения зависят от многочисленных внешних и внутренних факторов, последовательность и закономерности действия которых не всегда легко определить. В качестве иллюстрации приведу один конкретный пример, который нам показывает не только то, что суффикс *-ača* — нового происхождения, но и тенденцию языка к беспрерывным изменениям. Дечанскому монастырю в Сербии в 1330 г. принадлежало 46 сел (их названия в том же году были зафиксированы). Однако сейчас из этих 46 сел существует только 15, и ни одно из них не сохранило своего первоначального имени: *Beležane*>*Beleg*; *Lučane*>*Luka*; *Bivoljare*>*Bivoljak*; *Strelac*>*Streoci Gornij* и *Donji*; *Bratotin Dol*>*Bratotin*; *Uločani*>*Ločani*; *Grnčarevo*>>*Grnčar*[31] и т. д. Это яркая иллюстрация «борьбы суффиксов» (сам термин мы находим у М. Павловича в одной его работе о суффиксах на материале сербохорватского языка [32]). Один из этих населенных пунктов назывался в 1330 г. *Komorane* [33], а сейчас именуется *Komorača*. Причина изменения названия неизвестна,

---

[26] J. Schütz. Указ. соч., стр. 36; ср. и гидроним *Gramachnyk* в Хорватии, отмеченный в 1280 г.: *terra Gramachnyk* и *Gromachnyk*.

[27] P. Skok. Указ. соч.

[28] J. Schütz. Указ. соч., стр. 36.

[29] D. Daničić. Указ. соч., I, стр. 478.

[30] Fr. Miklosich. Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, стр. 95.

[31] R. Ivanović. Sela i zaseoci manastira Dečana iz 1330 godine. — «Istorijski časopis SAN», IX. Beograd, 1960, стр. 187.

[32] M. Pavlović. Borba nastavaka u srpskohrvatskom jeziku. — «Godišnjak Filozofskog fakulteta». Novi Sad, 1961, стр. 164—179.

[33] R. Ivanović. Указ. соч., стр. 187.

можно только констатировать, что этого суффикса в начале XIV в. в этой области Сербии не было.

Если еще поставить под сомнение существование литовских параллелей, на которые ссылается И. Дуриданов, то нам остается только предполагать, что этот суффикс появился у нас с приходом турок (в период длительной пятисотлетней турецкой оккупации). Но в турецком языке такого суффикса нет, хотя флексия *k* : *č* и известна (ср. *at-mak* 'бросить', *atmača* 'ястреб', *bogmak* 'душить', *bogmača* 'удушливый кашель' и т. д.[34]). Однако появление этого суффикса в Словении трудно объяснить турецким воздействием (в отличие от Сербии, Боснии и других областей Югославии). Правда, хронологические свидетельства не могут быть решающими в этом случае, так как известно, что в русском письменном памятнике «Слово о полку Игореве» выявлено определенное число слов восточного происхождения (т. е. задолго до появления татар)[35]. Между тем здесь речь идет не об отдельных словах, а о целом грамматическом явлении, которое, кстати сказать, не имеет ни грамматических, ни семантических параллелей в турецком языке. Хотя появление этого суффикса в сербохорватском языке и совпало хронологически с началом турецкой оккупации, приведенные выше факты говорят против предположения о его турецком источнике.

Последним возможным объяснением происхождения суффикса *-ača* является предположение о том, что это суффиксальная инновация на территории сербохорватского и словенского языков, появившаяся в результате внутренних законов развития этих славянских языков, языковые фонды которых содержат много примеров с фонетическим соотношением *k* : *č*: *rak—račji*; *čovek*—voc. *čoveče*; *korak—koračati*; *lek—lečiti* и т. д. Одним словом, суффиксы с *č*-основой известны всем славянским языкам, с той только разницей, что в некоторых они продуктивны, а в других встречаются только в топонимии или в устаревшей лексике. В украинском, русском и белорусском языках известен, впрочем, еще суффикс *-aka*, и наш суффикс *-ača* можно было бы рассматривать как его альтернацию.

Центральной проблемой представляется также определение времени появления суффикса *-ača* и причины его массового употребления в более позднее время как в апеллативной лексике, так и в топонимии. Если поддержать мысль о наличии литовских параллелей, то можно было бы принять тезис о том, что этот суффикс существовал ранее в народном сознании как непродуктивный, а затем с определенного исторического момента стал продуктивным суффиксом.

---

[34] А. Кононов. Грамматика современного турецкого языка. М.—Л., 1956, стр. 115.

[35] Ф. Корш. Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве». — ИОРЯС VIII, 4. СПб., 1903.

Ареал этого суффикса в топонимии и микротопонимии также дает нам известные сведения, хотя к ним нужно подходить с некоторой осторожностью. Ведь основной микротопонимический материал выписан мною из этнографических работ об отдельных областях Югославии (без Словении). Но не все авторы этих исследований придерживались одинаковых принципов при записывании микротопонимов, так как это зависело от их понимания важности этой проблемы, от объема записей, от количества времени, проведенного на местах (фиксации лексики) и от других факторов. Все это означает, что приводимое число микротопонимов в определенной местности нужно рассматривать как относительное, а не абсолютное. Единственным возможным средством определить приблизительный ареал и распространенность этого суффикса служил метод исключения тех областей, где он вообще не встречается. Таким путем я пришел к выводу, что суффикс *-аčа* не характерен для современной территории Истрии, восточной Сербии, Македонии и частично Далмации. Эти данные свидетельствуют о его наибольшей распространенности в центральной Боснии, где, может быть, и нужно было бы искать его первоисточник.

Можно много говорить о словообразовании с помощью этого суффикса, но я хотел бы остановиться только на самых важных моментах.

В образованиях, оканчивающихся на *-аčа*, часто можно выделить уже не только суффикс *-аčа*, но и производные от него: *-ovača*, *-'аčа*, *-evača* и новый суффикс *-njača*.

Примеры с *-ovača* самые многочисленные, они составляют 37,6% от всего количества, которое равняется 1311. Этот тип конструкции (с притяжательным прилагательным) продуктивен и в современной лексике. Эта продуктивность выражается, в частности, в семантике основ, так как встречается почти одинаковое количество антропонимов и фитонимов, последние из которых являются нормальными образованиями в сербохорватском языке. Однако топонимы или микротопонимы, основа которых — личное имя, в апеллативной лексике не существуют, так что их появление может трактоваться как топонимическая семантическая инновация. Из множества примеров я приведу лишь несколько: *Banovača*, *Boškovača*, *Vidovača*, *Vitkovača*, *Vuktanovača*, *Gostovača*, *Jugovača*, *Marinkovača*, *Stojkovača*. Любопытно, что суффикс *-ovača* в этих случаях демонстрирует чисто патронимические функции и по значению идентичен суффиксу *-ica*, который в топонимии на нашей территории имеет сходное значение. Например, название церкви *Lazarica* в Крушевце в Сербии означает, что она принадлежала князю Лазарю. Современное название одного из лугов *Stojkovača* (или *Marinkovača*) означает принадлежность или какую-то тесную связь с лицом, чье имя входит в состав этого слова. Тот же суффикс получают и зоонимы, так что часто

встречаются такие типы: *Zmijovača*, *Jastrebovača*, *Ježovača*, *Krmkovača*, *Medvedovača*, *Orlovača*, *Pavlinovača*, *Risovača*, *Sokolovača* и др. Такие фитонимические примеры, как *Kruškovača*, *Leskovača*, *Orahovača*, *Rastovača* и др., не надо выделять особо, так как они отличаются от апеллативов только своей подчеркнутой топонимичностью.

Гораздо интереснее примеры с суффиксом *-ača*, когда он присоединяется прямо к корню, так как на основе их можно провести грамматический анализ самих этих корней. Прежде всего характерно, что число таких примеров составляет 36,3%, что лишь немногим меньше, чем число слов с *-ovača*. Очень симптоматично, что к этому типу принадлежат некоторые антропонимы, непосредственно присоединившие этот суффикс (без *-ov* или *-ev*): *Andrejača*, *Vukotača*, *Budimača*, *Vidača*, *Ljubača*, *Radača*, *Milotača*, *Sekulača*, *Smilača* и т. д. Грамматический анализ основ дает следующую картину: самыми многочисленными являются имена существительные (*Brdača*, *Bregača*, *Bunarača*, *Busača*, *Vrletača*), значительная часть которых — географические термины. Адъективных основ немного, но все же они есть: *Vilajača*, *Plitača*, *Smrdljivača*, *Smrdača*, *Šupljača*, *Dubokača*, *Pasjača*, *Pitomača*, *Turjača* и т. п. Этот тип суффикса может присоединяться и к глагольным основам, правда, у нас только три таких примера: *Priorača*, *Plazača*, *Sijača*. Имеются также три примера, когда образование происходило на основе числительного: *Duplača*, *Trojača*, *Osmača*. Наконец, встречаются случаи, когда суффикс *-ača* присоединялся прямо к предлогу: *Poprekača*, *Prekača*, *Prikača*, *Stragača*.

Анализ рода основ (у слов с *-ača*) дает нам одинаковое число основ мужского и женского рода. Средний же род встречается только шесть раз, поэтому можно сказать, что образования по типу существительное среднего рода + суффикс *-ača*, присоединенный прямо к корню, редки. Это следующие примеры: *Brdača*, *Zabrdača*, *Osojača*, *Poljača*, *Poljače*, *Sitača*.

Тип *-evača* составляет только 2,8% от всех примеров, что вполне соответствует положению в современном книжном языке: *Vasiljevača*, *Ježevača*, *Kragujevača*, *Miljevača*, *Radojevača*, *Trešnjevača* и т. д.

По распространенности суффикс *-'ača* занимает третье место, так как число слов с ним составляет 22,8%. Основами этих примеров являются главным образом прилагательные на *-nji*, *-lji* (тип *krajnji*, *lavlji*). Например: *Borovnjača*, *Golubnjača*, *Debeljača*, *Jagodnjača*, *Zmijinjača*, *Jelenjača*, *Ribljača*, *Strmenjača* и др.

О суффиксе *-njača* можно сказать, что он находится на пути к развитию продуктивности, являясь самым молодым (хронологигически) и происходя от типа *-'ača*. Его к тому же часто можно спутать с *-'ača*, так как не всегда ясно, образовано ли слово от основы прилагательного на *-nji* с помощью суффикса *-'ača*, или оно образовано посредством суффикса *-njača*. Так, например, дей-

ствительно трудно установить, образованы ли названия *Jagodnjača*, *Golubnjača* и *Javornjača* от прилагательных *jagodnji*, *golubnji*, *javornji* или от существительных *jagoda*, *golub*, *javor* + новый суффикс *-njača*. Наиболее ясным является название *Bujadnjača*, где четко выделяются собирательное существительное *buj-ad* и суффикс *-njača*.

В итоге мы приходим к следующему выводу. Суффикс *-ača* не является заимствованием ни из романского и ни из какого другого источника. Он — нормальное славянское образование, которое имеет соответствия в словообразовательных системах литовского и древнепрусского языков.

Древнейшие примеры с суффиксом *-ača* на территории Сербии подводят нас к следующей мысли: в старославянском, македонском и других славянских языках нет этого словообразовательного типа. Он существует только в сербохорватском и словенском языках, а также частично в топонимии Болгарии [36]. Сербохорватский и словенский языки сохранили и продолжают славянско-балтийское состояние как в апеллативной лексике, так и в топонимии. Массовое появление этого суффикса в топонимии начинается с XIV в. Несоответствие топонимического значения современному апеллативному — явление, известное многим языкам. Большой временно́й разрыв (в несколько веков) между появлением первых скудных примеров с этим суффиксом и его массовым распространением в топонимии можно объяснить внутренними законами развития самих этих языков. Иными словами, этот суффикс возник, видимо, на родной почве и в определенный момент из непродуктивного стал очень продуктивным.

Окончательное решение вопроса о происхождении суффикса *-ača* нужно искать в микротопонимии и апеллативной лексике центральной Боснии. Результатом таких исследований будет определен первоначальный ареал, а возможно, и причина появления этого суффикса в топонимии.

[36] Единичные примеры с этим суффиксом встречаются и вне этих территорий, но все говорит о том, что там мы имеем дело не с этим суффиксом, а, вероятно, с возможным вариантом суффикса *-ač*. Один такой пример из Гуцульской области Украины приводит и И. Дуриданов — *Kikača*, который он связывает с известным сербохорватским географическим термином *kik* (и.-е. **keuk*, лит. *kukurs*).

В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев («Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья», стр. 134) отмечают на этой территории реки *Болгача* и *Рудача*, названия которых также могут быть соотнесены с соответствующими образованиями на *-ač*.

И. Хубшмид

ДОСЛАВЯНСКИЕ И ДОРОМАНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ

Если обратиться к классическому труду Антуана Мейе «Общеславянский язык» (A. Meillet. Le Slave commun, 2 éd. Paris, 1934), то в самом конце в качестве приложения там можно найти краткий раздел «Le vocabulaire» (стр. 492—517). В этом разделе Мейе рассматривает индоевропейский словарь (стр. 492—501), отношения славянского к балтийскому, индоиранскому и западноевропейским языкам, а также поздние заимствования (emprunts au germanique; vocabulaire chrétien; emprunts postérieurs, в трех главах, стр. 501—517).

При этом речь идет о словах, которые мигрирующие германцы (бастарны, позднее готы) оставили в наследство славянам, о словах из греко-романского христианского культового языка, о словах тюрского происхождения и о других более поздних заимствованиях. Из всей этой лексики дославянскими по происхождению являются, собственно говоря, только некоторые элементы тюрские либо происходящие из других туземных языков Азии, т. е. элементы, заимствованные славянами у коренного населения. Кроме того, несомненно, существуют дославянские элементы и более древнего периода, заимствованные славянами во время их миграции на юг и запад у местного туземного населения. Здесь мы должны разграничивать дославянские слова индоевропейского происхождения (дакского, фракийского, иллирийского, венетского, романского) и такие, которые славяне прямо или косвенно переняли у одного из доиндоевропейских народов. При этом нельзя упускать из виду, что некоторые из этих слов (индоевропейского или доиндоевропейского происхождения) могли распространяться и дальше внутри славянского мира, т. е., строго говоря, не везде, где они локализуются в настоящее время, они должны непременно указывать на один и тот же дославянский субстрат на той же территории. В своей книге «Общеславянский язык» Мейе не упоминает о таких источниках славянского лексического фонда. И все же, по-видимому, он первый безоговорочно признал дославянские и доиндоевропейские слова в славянском лексическом фонде (в связи с рецензией на славянский этимологический словарь Бернекера, см. «Rocznik slawistyczny» 2, стр. 69—70) [1]. Кроме того, разные

[1] О дославянском субстрате ср. также: V. Machek. Quelques noms slaves de plantes. — LP 2, 1950, стр. 145—161; K. Treimer. Ethnogenese

исследователи занимались сопоставлением дославянских элементов в отдельных южнославянских языках. Особенно в словенском и сербохорватском языках многочисленны слова из романских языков (например, из древнефриульского и древнедалматинского), некогда бытовавших на территории нынешних словенского и сербохорватского. Я напомню исследования Г. Шухардта [2], К. Штрекеля [3], М. Бартоли [4], Ф. Штурма [5], И. Келемины [6], затем основополагающие труды П. Скока [7], В. Вини [8] и И. Поповича [9] по сербохорватскому, а также Д. Шелудько по болгарскому [10]. В области топономастики широкое распространение дославянских элементов в связи с кельтским было доказано А. Шахматовым [11]; Я. Розвадовский [12], Ю. Покорный [13], Г. Краэ [14] и др. доказывали связь дославянских элементов с иллирийским и венетским. Об этом же свидетельствуют и унаследованные из древности дославянские названия, бытующие в настоящее время на территории южных

---

der Slawen. Wien, 1954 (в деталях здесь много сомнительного, как и в более поздних работах того же автора).

[2] H. Schuchardt. Slawo-deutsches und Slawo-italienisches. Graz, 1884.

[3] K. Štrekelj. Beiträge zur slawischen Fremdwörterkunde, I. — AfslPh 12, 1890, стр. 451—474; II. — Там же, 14, 1892, стр. 512—555; Он же. Zur slawischen Lehnwörterkunde. — Sitzungsberichte der Phil.-hist. Klasse, Akad. Wiss. Wien, 50, III, 1904, стр. 1—85.

[4] M. Bartoli. Riflessi slavi di vocali labiali romane e romanze, greche e germaniche. — «Zbornik Jagić». Berlin, 1908, стр. 30—61.

[5] F. Šturm. Refleksi romanski palataliziranih konsonantov v slovenskih izposojenkah — «Časopis za slovenski jezik» 6, 1927, стр. 54—85, 260; Он же. Romanska lenizacija medvokaličnih konsonantov i njen pomen za presojo romanskega elementa v slovenščini. — Там же, 7, 1928, стр. 21—46.

[6] J. Kelemina. Langobardski spomini pri slovencih. — «Slavistična Revija» 4, 1951, стр. 177—196; Он же. Tujke v slovenskih terenskih nazivih. — Там же, 8, 1955, стр. 85—89.

[7] P. Skok. Zum Balkanlatein, I—IV. — ZRPh 46, 1926, стр. 385—410; 48, 1928, стр. 398—413; 50, 1930, стр. 486—532; 54, 1934, стр. 183—215, 424—494.

[8] V. Vinja. Contributions dalmates au Romanisches etymologisches Wörterbuch de W. Meyer-Lübke. — RLiR 21, 1957, стр. 249—269. Он же. Nouvelles contributions au «Romanisches etymologisches Wörterbuch» de W. Meyer-Lübke. — «Studia romanica et anglica Zagabriensia» 7, 1959, стр. 17—34.

[9] J. Popović. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960, стр. 52—64, 585—595. Там же далее библиография.

[10] D. Scheludko. Lateinische und romanische Elemente im Bulgarischen. — «Balkan-Archiv» 3, 1927, стр. 252—289.

[11] A. Schachmatov. Zu den ältesten slawisch-keltischen Beziehungen. — AfslPh 33, 1912, стр. 51—99.

[12] J. Rozwadowski. Studia nad nazwami wód słowiańskich.. Kraków, 1948.

[13] J. Pokorny. Zur Urgeschichte der Kelten und Illyrier. Halle, 1938.

[14] H. Krahe. Vorgeschichtliche Sprachbeziehungen von den baltischen Ostseeländern bis zu den Gebieten um den Nordteil der Adria. Wiesbaden, 1957, и в других многочисленных трудах.

славян [15]. Многие из этих названий восходят, вероятно, к доиндоевропейскому субстрату [16]. Однако я не намерен останавливаться здесь на таких реликтовых названиях дославянской эпохи, мне хотелось бы ограничиться рассмотрением апеллятивной лексики дославянского или предположительно дославянского происхождения. Более древние слова дославянского (и дороманского) происхождения наиболее многочисленны, естественно, там, куда славяне впервые проникли в период раннего средневековья. На эти слова я указывал в своей диссертации «Vorindogermanische und jüngere Wortschichten in den romanischen Mundarten der Ostalpen, mit Berücksichtigung der ladinisch-bayrisch-slowenischen Lehnbeziehungen» [17], причем уже тогда через дославянские соответствия я нашел параллели для словенских не только в сербохорватской Истрии, но также и в Чехии. Эти исследования подтверждены работами Ф. Безлая [18], И. Шютца [19], И. Поповича [20], В. Георгиева [21] и углублены моими собственными дальнейшими изысканиями.

Далее мне хотелось бы рассмотреть ряд дославянских элементов, которые можно отнести к дославянскому (а иногда и к доиндоевропейскому) субстрату на основании соответствующих лексических реликтов в романских языках. Поскольку ономастика доказывает тесную связь между дославянским и западноевропейским субстратом, то a priori очевидно, что на такую же связь натолкнется исследователь, занимающийся аппеллятивным лексическим фондом. Однако это не относится к латыни и к возникшему на ее основе лексическому фонду романских языков, а также отдельных германских письменных языков, но касается известной только специалистам лексики романских диалектов, в которой могут сохраниться древние субстратные слова. На романской территории мы имеем самый большой по насыщенности материал для доказательств. Это позволяет нам с большой вероятностью квалифициро-

---

[15] См. библиографию: I. Popović. Указ. соч., стр. 70—71, 77—79, 87—88, 101—102; сюда же различные статьи в журнале «Балканско езикознание».

[16] Ср.: T. Lehr-Spławiński. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946, стр. 86 сл.: I. Popović. Указ. соч., стр. 101.

[17] ZRPh 66, 1950.

[18] F. Bezlaj. Zanimivosti iz toponomastike. — «Pogovori o jeziku in slovstvu» (Predavanja na zborovanju slov. slavistov v Mariboru od 26.VI—1.VII 1954). Maribor, 1955; Он же. Predslovanski ostanki v slovenščini. — «Naša sodobnost» 8, 1958, стр. 673—693; Он же. [Рец. на кн.:] J. Schütz. Die geographische Terminologie des Serbokroatischen. — RS 21, 1960, стр. 147—160.

[19] J. Schütz. Die geographische Terminologie des Serbokroatischen. Berlin, 1957.

[20] I. Popović. Geschichte der serbokroatischen Sprache, Abschitt II, Vorslawische Substrate, стр. 48—103.

[21] V. Georgiev. Problema substratului balcanic in lexicul limbii bulgare. — «Omagiu I. Iordan». Bucureşti, 1958, стр. 325—331.

вать принадлежность слова к субстрату. Если романско-славянское соответствие оказывается достаточно убедительным, то здесь легко установить, является ли романское слово автохтонным или славянским по происхождению (последнее случается реже), или славянское слово автохтонно, т. е. восходит к одному из местных языковых слоев неславянского происхождения, находящихся в тесной связи с соседним романским или одним из дороманских языков, бытовавших некогда на данной территории. Таковы лингвогеографические и историко-этнографические аргументы, которыми подтверждаются приводимые лексические соответствия и их интерпретация. Чем более отдаленным и изолированным оказывается привлекаемый сопоставительный материал, чем меньше сходства в представленных параллелях, тем менее оправданным будет сопоставление. Особенно это касается тех случаев, когда отдельные слова, предварительно основательно не изученные в рамках своего ближайшего окружения, сопоставляются с соседствующим языковым материалом; когда необычные звуковые формы оставляются без объяснения (без указаний на параллельные фонетические процессы), а сильно расходящиеся значения в рамках сравниваемых групп слов не считаются предметом для дискуссии. Например, многие приводимые К. Траймером славяно-кавказские сопоставления ни в коей мере не убедительны, так как ядро славянской территории не граничит с Кавказом и К. Траймер не предъявляет к хорошей этимологии те же требования, что и я. Также мало обоснованными кажутся мне дославянские этимологии В. Поляка.

Этимологически темные, изолированные слова, конечно, могут быть дославянского происхождения. Однако в этих случаях едва ли можно это безоговорочно утверждать. Отсутствие соответствий в других индоевропейских языках не обязательно доказывает, что во всех случаях речь идет о дославянских субстратных словах. Хотя романские языки продолжают латынь, тем не менее многие латинские слова сохранились не более как в одном единственном романском языке или только в одном из немногочисленных романских диалектов; точно так же не следует ожидать, что лексический фонд, унаследованный от индоевропейского периода, продолжает жить во всех индоевропейских языках или, по крайней мере, в большинстве из них. Очень вероятно, что изолированные славянские слова могут быть индоевропейскими по происхождению. Так, например, сохранившееся только в сардинском *onus* 'ноша, груз' также не является субстратным словом, а генетически восходит к лат. *onus*.

Гнезда слов, распространившиеся дальше в славянских языках. В первую очередь здесь хотелось бы назвать ст.-слав. *tyky* 'тыква', русск., укр. *tykva*, болг. *tikva* и т. д. К. Бругман и И. Левенталь связывали с ним лит. *tùkti* 'жиреть (о животных, находящихся на откорме)', таким образом отрывая от него

квазигреч. σίκυον 'огурец', которое, очевидно, можно объяснить из *twi-kuwon 'очень толстый'. Ни одно из этих двух толкований не убедительно. Прежде чем сравнивать это слово с фонетически созвучным глагольным корнем (в значении, которым, в конце концов, можно толковать любое понятие, ассоциируемое с представлением о тучности), нужно предварительно сопоставить славянское слово в конкретном значении 'тыква' (а также 'род тыквы, предназначенной для изготовления сосуда', Lagenaria vulgaris, то же в укр., с.-хорв.) с синонимичным или семантически родственным и созвучным греческим словом. Можно привлечь к обсуждению еще другие слова, связанные с обозначением тыквы, из области западного средиземноморья.

Например, засвидетельствованы греч. σικύα (ион. -ύη) 'особый род тыквы для изготовления сосуда', также Citrullus colocynthis, наряду с этим σίκυος (м. р.) Cucumber sativus и σίκυς, у Гесихия, также σεκούα, σικύα;

ит. *zucca* 'тыква' (Cucurbita pepo), свойственное местным говорам в Верхней и Средней Италии вплоть до Лациума, а также на Корсике как топоним *Zuccaia* (Ареццо 1028 г.);

лангедок. *tûco* 'courge', 'gourde, citrouille', авейр. 'calebasse, gourde; courge; bouteille plate', каталон. (Тортоса и Валенсия) *tuca* 'cucurbitàcia de l'espècie Bryonica dioica'.

Греческие слова могут быть результатом диссимиляции из *συκυ- (Шпехт) и восходить к древнему **tjuku-*. Ит. *zucca* происходит из дороманского **tjukka*. Ланг. *tûco* и т. п., должно быть, основаны на дороманской исходной форме **tūkka*. В отношении начального звука они ближе к ст.-слав. *tyky*, чем к греч. σικύα и ит. *zucca*; не случайно уже Г. Шухардт сравнивал лангедок. *tuco* со ст.-слав. *tyky*. Мейер-Любке хотел вывести отсюда галльск. **tūkka* 'тыква'. Отсутствие соответствий в островных кельтских языках, ограниченное распространение **tūkka* на относительно небольшой территории в Южной Франции и Каталонии, так же как и географическая ограниченность ит. *zucca*, только начальным звуком отличающегося от **tūkka*, — все это противоречит утверждению, будто дороман. **tūkka* является галльским по происхождению. Все это скорее указывает на то, что мы должны исходить из средиземноморского, доиндоевропейского **t'ūkku-*, **t'ūkka*, начальный звук которого (палатальное *t'*) чередовался с *t* или у славян и у галлов, независимо друг от друга, был приравнен индоевропейскому *t*, в то время как в греческом и дороманских языках Италии *t'* выступало как *tj*. Следовательно, нельзя говорить об индоевропейском слове для обозначения тыквы (точнее, тыквы для изготовления сосуда), которая культивировалась в Европе, может быть, уже в эпоху палеолита. Скорее всего, **t'ūkku-*, **t'ūkka* может быть генетически восточносредиземноморским словом, ко-

торое попало в связи с распространением этой культуры к предкам славян с территории Балкан и, с другой стороны, в дороманский период — на территории западного Средиземноморья [22]. Предположение о том, что ст.-слав. *tyky* было по происхождению местным словом у южных славян, В. М. Иллич-Свитыч сделал вероятным исходя из других оснований [23]. Он, наоборот, отклоняет связь с греч. σίκυς и т. п., а также с ит. *zucca* и лангедок. *tûco* без достаточных для этого оснований [24]; он отдает предпочтение родству с польск. *tyka* 'палка, тычина' и его семейством. Тыквы, согласно Иллич-Свитычу, «садят чаще всего у плетней или же рядом с ними втыкают палки, чтобы плоды висели и были правильной формы». Но параллельные обозначения плода по палке, используемой для выращивания соответствующего растения, отсутствуют. С другой стороны, я должен отклонить также и толкование Л. А. Гиндина, согласно которому ст.-слав. *tyky* вместе с греч. σίκυς 'огурец' и ион. σῦκον 'инжир', беот. τῦκον и т. п. были заимствованы из пеласг.-фрак. **ϑūkū-* (ϑ — интердентальный глухой спирант), восходящего к и.-е. **k'ūkū-*, однокоренному с и.-е. **k'eu-* 'отекать, набухать' [25]. Этому противоречат не принятые во внимание Гиндиным западно-средиземноморские соответствия, которые едва ли могут быть пеласгско-фракийского происхождения.

В связи с этимологией ст.-слав. *tyky* можно напомнить об одном южнославянско-албанско-румынском гнезде слов, которое, на основании показаний западногерманских соответствий, может, пожалуй, принадлежать к тому же самому гнезду слов, служащих для обозначения рассматриваемой культуры:

с.-хорв., болг. *čuka* 'горная вершина, возвышенность, холм', словен. *čûkla* 'крутой берег, обрыв', алб. *çúkë* 'cima di un colle', рум. *ciuc de munte*, *ciucă*, греч.-алб. *çukur* 'вершина', территориально примыкающее к словен. *čûkla*, истр. *zuko* 'cima di collina', фриул. *zúc* 'collina tondeggiante', ломб. *tsük* 'monticello', ср.-лат. (в Лигурии) *çuchum*, ст.-прованс. *suc* 'sommet de la tête', в н.-прованс. диалектах (Зап. Альпы до Лимузена) тоже 'cime d'une montagne, sommet'; ит. *zucca* 'capo (dell' uomo)'

---

[22] J. Hubschmid. — В кн.: W. v. Wartburg, Bd 13, Tl. 2, стр. 308—310. Там же литература.

[23] «Этимологические исследования по русскому языку», I. М., 1960, стр. 23—24.

[24] Там же, стр. 24—25. То, что ит. *zucca* возникло не из лат. *cucutia* (как полагает Мейер-Любке), а, скорее всего, родственно праформе греч. σίκυς и т. п., уже увидел Г. Алессио («Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», ser. II, vol. 13. Roma, 1946, стр. 11—18; «Lingua nostra», 25, 1964, стр. 78; StEtr 34, стр. 448).

[25] «Этимологические исследования по русскому языку», II. М., 1962, стр. 82—89; «Helikon, Rivista di tradizione e cultura classica dell'Universita di Messina», 4, 1964, стр. 309—310.

(начиная с Данте), пьемон. *sÿka* 'testa', трент. *zuca*, ст.-прованс. *suca* 'tête', н.-прованс. (особенно Авейрон, Лангедок) *suco* 'sommet de la tête'; кроме того, уменьшительная форма ср.-лат. *zuculo* 'горная вершина' (Истрия, 1135 г.), фриул. *zúcul*, *zúcule*, трент. *zúcal* 'picco roccioso non molto grande'; в Лигурии (с дороманским суффиксом) *Mónte Zúccaro* (*Zucaro* уже в 966 г.).

Все эти слова указывают на древнее начальное **tj-* (как греч. σικύα, ит. *zucca* 'тыква'). Переносное употребление слова 'тыква' для обозначения тыквоподобной головы или возвышенной местности относится уже к доисторическому периоду. Можно привести параллели для обоих вариантов переноса: нем. *kürbis* в шутку употребляют в значении 'голова', кроме того, широко известно перенесение этого названия на формы местности в немецком и других языках. Таким же образом дороманский вариант **tūkka* 'тыква' употребляется также для обозначения головы и возвышения на местности: лангедок. (департ. Эро) *töka* 'tête dure', беарн. *tuque* то же, 'crâne', авейр. *tuco* 'mamelon, petit tertre rond', (Ажан) 'pic crête d'une mantagne', беарн. 'hauteur, montagne' с формой муж. рода (Верхние Пиренеи) *tuc* 'sommet de montagnes', в каталонских говорах на Пиренеях *tuc* 'горная вершина' и т. д. Таким образом, уже в дославянский период на Балканах, примыкая на севере к греч. σικύα < **tjūku-ā* 'тыква для сосуда', существовал тип **tjūkka*, который сохранился в албанском только в переносном значении (*'голова' >) 'холм, горная вершина', а в качестве субстратных слов — в румынском, южнославянских[25a], затем на территории географически примыкающих Истрии и Верхней Италии (единично) и снова, опять-таки по соседству, — в новопровансальских говорах, где этот тип встречается частично (в пограничных областях) рядом с типом **tūkka*, сохранившимся здесь также в аналогичных переносных значениях. Поразительно, что как южнослав. *čuka*, так и ст.-прованс. *suka* (и родственные ему слова) сохраняются только в переносных значениях, в то время как в расположенной между названными языками итальянской языковой области представлены рядом друг с другом все значения ('тыква', 'голова' и 'горная вершина'). У южных славян можно встретить **tjūkka* в переносном значении вместе с ранее заимствованным слав. **tūkū > tyky*, которое сохраняет свое первоначальное значение. На юге Франции старое название тыквы, используемой для изготовления сосудов, было вытеснено более поздними словами; **tūkka* в первоначальном значении сохранилось очень ограниченно, **tjūkka* в исходном значении вообще не сохранилось. И для этого явления мы имеем

[25a] В заимствованных словах дослав. *ū*, подобно рум. *ū* и греч. οῦ, передавалось через слав. *u* (а не через ъ).

многочисленные параллели; я напомню только историю лат. *testa* 'горшок' > н.-фр. *tête* 'голова' или историю доф. *mourre* 'museau; montagne dont le sommet ressemble à un museau', при баск. *murru* 'monticule, colline' (только в переносном значении).

Поскольку нельзя без достаточных оснований отделять друг от друга фонетически сходные слова, идентичные или сходные по смыслу, особенно если зоны их распространения территориально примыкают друг к другу, недопустимо названные выше славянские слова — с.-хорв., болг. *čuka* (и родственные им в других балканских языках) — рассматривать в отрыве от географически смежных с ними романских соответствий, точно так же, как нельзя для с.-хорв., болг. *čuka* устанавливать индоевропейскую этимологию (**keu-k* > **kjuk-*, ср. лит. *kaukarà* 'холм') или, основываясь на рум. *ciucă* и алб. *çukë*, предполагать здесь дакское субстратное слово (с подробной индоевропейской этимологией). Данные итальянского языка и его диалектов позволяют точно доказать, что соответствующие слова первоначально должны были обозначать тыкву, используемую для изготовления сосудов. Поскольку очень вероятно, что это гнездо слов, на основании фонетических и лингвогеографических данных, является доиндоевропейским по происхождению, но попытки объяснить с.-хорв., болг. *čuka* из индоевропейского прямо или косвенно (через дославянско-индоевропейский субстрат) менее оправданны, чем толкование их из дославянского и доиндоевропейского балканского субстрата [26]. О том, что такой доиндоевропейский субстрат должен был существовать на Балканах с иррадиацией вплоть до древних славянских поселений, свидетельствуют следующие соответствия, едва ли индоевропейского происхождения:

др.-русск. *могыла* 'могила', укр. *могила* 'земляной холм, могила', польск. *mogiła*, болг. *могѝла* 'холм', из **magūla*;

рум. (трансильв., аромун.) *măgúră* 'холм', впрочем, большей частью с ударением на первом слоге — *mắgură*, вероятно по аналогии с латинскими словами на *-úla* (> рум. *-ură*) [27], из восточнороманского **magūla*, это слово, вероятно, было заимствовано в древности у славян;

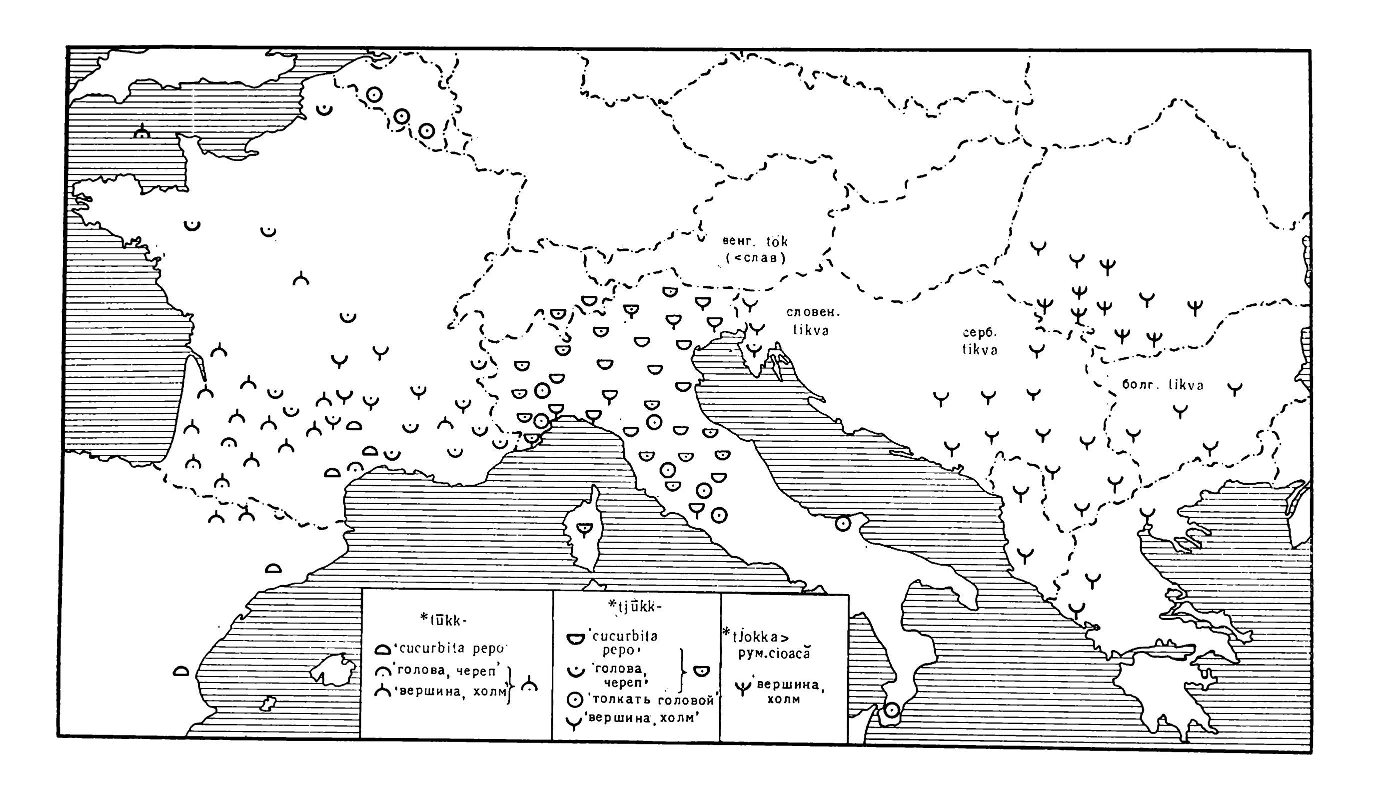
алб. *mágulë* 'холм', после изменения лат. *-l-* > алб. *-ll-* (ср. лат. *skāla* > алб. *shkallë*) заимствованное у славян [28] или, возможно, из более позднего романского слоя, судя по ударению

---

[26] J. Hubschmid. В кн.: W. v. Wartburg, Bd 13, Tl. 2, стр. 308—310.

[27] Древнее ударное *a* не дало бы рум. *ă*.

[28] Ср.: St. Wędkiewicz. — RS 7, 1915, стр. 126, а также замечания: N. Jokl. — IJb 5, стр. 113; 14, 1930, стр. 134; 15, 1931, стр. 201; и, наконец: E. Petrovici. — «Revue roumaine de linguistique», 11, 1966, стр. 319—320.


венг. tök
(<слав)
словен.
tikva
серб.
tikva
болг. tikva
*tūkk-
'cucurbita pepo'
'голова, череп'
'вершина, холм'
*tjūkk-
'cucurbita pepo'
'голова, череп'
'толкать головой'
'вершина, холм'
*tjokka>
рум. cioacă
'вершина, холм'

на первом слоге соответственно рум. *măgura*; отсюда также н.-греч. *μαγούλα* 'холм' [29].

Славянские слова — явно доиндоевропейские по происхождению. В пользу этого предположения говорит следующее:

— отсутствие подходящего по значению индоевропейского корня **mag-*;

— наличие на западнороманской территории различных субстратных слов, родственных **magūla*: тоск. *mágolo* 'porca più larga dell'ordinaria', гаск. *mołolo* то же; исп. *majano* 'montoncillo de piedras que se pone en el campo para dividir las heredades o señalar los caminos'; порт. *malhão* (<**magulanu*) и т. д.; генуэз. *magâ* 'acervo di sassi'; беарн. *magarní* 'pourvoir, combler'.

Эти и другие относящиеся сюда слова, как и лангедок. *maghêlo* 'colline, montagne rapide et escarpée' (< **maguella*), являются, очевидно, доиндоевропейскими по происхождению ввиду своего распространения (Тоскана, Гасконь, Пиренейский полуостров, Лигурия) и по своей структуре (**magua* с производным **maguella*; беарн. *magarní*). Их значения ('гребень борозды', 'груда камней', 'нагромождать', 'холм') очень хорошо подходят к значению соответствующих славянских, румынских и албанских слов. (О связи этих слов с сард. *mógoro* 'холм', которое также является субстратным словом, а также с созвучными кавказскими словами, не может быть и речи) [30].

К словам предположительно дославянского происхождения А. Мейе относил ст.-слав. *baranъ* 'баран' [31]. Связанные с ним слова обозначают отчасти барана или овцу или могут употребляться как подзывные слова для овец. За пределами славянских языков они засвидетельствованы албанским *berr* 'овца, баран' с соответствиями, широко распространенными в романских диалектах от Румынии и Калабрии до Валлонии, от верхней Италии (*ber*) вплоть до страны басков и Португалии. Латинские соответствия отсутствуют; в островных кельтских языках также ничего не представлено. Вероятнее всего, что романские слова являются дороманскими и доиндоевропейскими.

Очевидно, все это гнездо слов принесено в Центральную и Западную Европу с Востока с распространением овцеводства в доисторическую эпоху. В пользу этого говорят родственные слова в неиндоевропейских языках, например дагест. (андийск.)

---

[29] G. Meyer. Neugriechische Studien, 2. Wien, 1894, стр. 68; G. Weigand. — «Balkan-Archiv», 4, 1928, стр. 19.

[30] J. Hubschmid. — «Revue internationale d'Onomastique», 5, 1953, стр. 261—267; EncHisp 1, стр. 59—60; VRom 18, 1959, стр. 1—5.

[31] A. Meillet. — RS 2, стр. 69—70.

bura 'барашек'; думаки *beḍa* 'овца' (*-ḍ-* < *-r-*) и вост.-тюрк. (кашгар.) *pru pru pru* 'подзывное слово для овец' [32].

О. Н. Трубачев, напротив, отделяет ст.-слав. *baranъ* от алб. *berr* и т. п. Ст.-слав. *baranъ*, по его мнению, тюркского происхождения ('идущий', от тюрк. *bar* 'идти'), а алб. *berr* (с романскими соответствиями) объясняется из лат. *vervex* (отсюда же франц. *brebis*) [33]. Что касается первого предположения, бросается в глаза, что само слово *baran* ни в одном тюркском языке не засвидетельствовано как туземный пастушеский термин. Ведь суффикс *-anъ* все-таки славянский (ср. с.-хорв. *-an* для образования уменьшительно-ласкательной формы, *-ān* образует производные от названий животных и людей) [33a]: Алб. *berr* и т. д. ни в коем случае не может быть основано на лат. *vervex*. Встречающиеся на славянской почве слова клича для овец (укр. *bir*, русск. *bar*) являются, несомненно, исконными.

Несколько других дославянских слов не являются общеславянскими, но засвидетельствованы также и за пределами Балкан. К ним принадлежат словен. *brina* 'ель, красная ель; хвойный лес', *brin* 'можжевельник', первоначально собирательное *brinje* то же, истро-чак. 'ягоды можжевельника', *brančin* то же; морав.-силез. *břim* Larix decidua, польск. (юго-западнее Кракова) *bržin*, *bržim*, *brzim*; чеш. *břinka* Juniperus sabina (*brzyenka* уже в 1161 г.) [34].

Непосредственно примыкает к словен. *brina* фриул. *brệne* 'il fogliama degli alberi resinosi', в населенном пункте Клаут (около 70 км от языковой зоны) *bréna* Pinus muqus. Эти слова не могли быть заимствованы из словенского уже по фонетическим признакам. Кроме того, еще далее на запад следуют (в кантоне Тессин) *brínkul* 'куст можжевельника', *brệnkuro* Pinus mugus и дальнейшие диалектные примеры: в долине Аосты *brenva* 'лиственница' (как и морав.-силез. *břim*) и т. д.

Эти романские слова, которые существуют в трех отдаленных друг от друга отластях верхней Италии, могут быть только дороманского происхождения. Таким образом, все свидетельствует о том, что словенские соответствия, примыкающие к фриульской зоне, по всей вероятности, являются дославян-

---

[32] См.: J. Hubschmid. Haustiernamen und Lockrufe als Zeugen vorhistorischer Sprach- und Kulturbewegungen. — VRom 14, 1954, стр. 194—196.

[33] «Происхождение названий домашних животных в славянских языках». М., 1960.

[33a] A. Leskien. Grammatik der Serbokroatischen Sprache. Heidelberg, 1914, стр. 273; W. Vondrák. Vergleichende slawische Grammatik, 2. Aufl., Bd 1. Göttingen, 1924, стр. 546.

[34] K. Nitsch. — «Lud Słowiański» II, 1931, стр. 212 и карты на стр. 204; M. Małecki i K. Nitsch. Atlas językowy polskiego Podkarpacia, I. Kraków, 1934, карта 311; C. Verdiani. Botanica e linguistica per l'etnogenesi dei protoslavi. Firenze, 1959, стр. 77.

скими по происхождению и объясняются тем же самым субстратом, как и приведенные романские формы. Этого же мнения, которое я высказал уже в 1950 г., придерживается Ф. Безлай [35]. Однако соответствующий субстратный язык, должно быть, простирался вплоть до юго-западного края современной польской языковой области. Из-за разнообразия суффиксов, часто трудно объяснимых (словен. *brančůr*; тессин. *brĩnkul*; аост. *brenva*), признание того или иного слова доиндоевропейским по происхождению кажется неизбежным. Объяснение из индоевропейского языкового наследия (формой, связанной чередованием гласных со слав. *borъ* 'ель') не подходит к романским формам. Здесь, так же как и в других случаях, соображения об учете романских соответствий заставляют считать предложенную ранее славянскую этимологию очень сомнительной.

Словен. (Резия) *krīpa* 'скала, каменная глыба' находит в других славянских только одно соответствие — в чеш. *křipa* 'камень' (в двух словарях XIV в., а также современное диалектное в значении 'скала, утес'), если не принимать во внимание словен. *krȅp* 'крутая скала', которое заимствовано позднее из фриул. *crep* 'скала' (в топонимах; как аппелятив — в значении 'черенок, обломок') < дороман. **krippo-*. Сюда же относятся ц.-ладин. *krepa* 'вершина скалы' и родственные слова, которые распространяются на юге до сев. Апулии, а на западе вплоть до зап. Альп и местами до самой Гасконии: ит. *grẹppo* 'каменная стена между террасовыми полями, скала, скалистый холм', а также 'полевая гряда, гребень борозды' (также марк. *grepp*; ср. ит. *mágolo* в сходном значении); в кантоне Валлис *krəpo* 'rocher', беарн. *crép* 'grès, rochers de l'espèce du grès'. Очевидно, к тому же гнезду относятся албанские слова: мирдит. *krep-i* 'склон' и тоск. *shkrep* 'precipizio, rupe; pietra focaia', так же как и с.-хорв. (Бока Котороска) *škrip* 'greben', словен. *škripa* (Безлай) [36]. В то время как итальянские исследователи видят здесь доиндоевропейское языковое наследие, я вместе с Н. Иоклем предпочитаю привлечь для сопоставления лексическое гнездо, связанное с лит. *kerpù* 'режу, стригу' и норв. *skarv* 'обнаженная скала' [37]. Если эта последняя точка зрения правильна (а против нее не выдвигалось никаких убедительных аргументов), тогда в словен. *krīpa* и чеш. *křipa* можно видеть

---

[35] F. Bezlaj. Slovenska vodna imena, I. Ljubljana, 1956, стр. 87—88, со ссылкой на: J. Hubschmid. — ZRPh 66, 1950, стр. 17—19. Ср. также: V. Machek. — LP 2, 1950, стр. 155 и J. Hubschmid. Mediterrane Substrate. Bern, 1960, стр. 61.

[36] J. Hubschmid. — ZRPh 66, 1950, стр. 44—45; Он же. Pyrenäenwörter. Salamanca, 1954, стр. 28; F. Bezlaj. — RS 21, 1960, стр. 155; E. Çabej. — ZBalk 2, 1963—1964, стр. 11.

[37] N. Jokl. — VRom 8, 1945—1946, 199—200; так же — M. Camaj. Albanische Wortbildung. Wiesbaden, 1966, стр. 44.

дославянские элементы иллирийского или венетского происхождения.

Значительно более многочисленными и более легко установимыми являются дославянские слова, которые засвидетельствованы исключительно в южнославянских языках или в некоторых из них.

Прежде всего здесь следует назвать макед., болг. *karpa* 'утес, скала', родство которого с алб. *karpë* 'скала' давно известно. Сюда же, по всей вероятности, относятся как субстратные слова предположительно др.-рум. *scărpă* 'скала', дакорум. (Raşinariu) 'склон дороги', с.-хорв. *škrȁpa* 'трещина в карстовой горной породе', с.-хорв. (диал.) *škrápa* 'мелкие камни', а также, по всей вероятности, салент. *kárparu* 'род туфа' [38] и, возможно, также название Карпат, дак. Κάρποι, греч. Καρπάτης ὄρος. Нежелательно, однако, отрывать эту семью слов от типа **krippo-* во фриул. *krep*. Названия мест, народов и личные имена с созвучным началом слова встречаются по всей территории Средиземноморья. Так как мы не знаем исходного значения, по-видимому, было бы рискованно предполагать, что алб. *karpë* является по происхождению доиндоевропейским [39]. По-видимому, дославянским является также словен. *kâr* 'скала' с неясными вариантами *kêr*, *kȋr* наряду с *čer* (все они муж. рода), *čer* и *čar* (оба жен. рода), словен. *čerȅn* 'скалистое место' [40]. Пожалуй, здесь скорее нужно исходить из доиндоевр. **karr-* 'камень' [41], нежели из и.-е. **(s)qer-* 'резать'. Неясность звуковых отношений не дает, однако, возможности прийти к определенному решению.

Далее в этой связи можно упомянуть отнесенное П. Скоком к иллирийскому далмат. *carsum* 'каменистая область' (Задар, 1279 г.), откуда — с метатезой плавных — истрочак. *krâsa* 'terra lapidosa', словен. *krâs* 'твердая почва' [42]. В романской Истрии живет еще полуапеллятив в топонимах *in Carso* (с 1125 г.), *el carso de Parenzan* (1567 г.) [43]. Предположение Скока о род-

---

[38] ZRPh 77, стр. 431—432.

[39] За индоевропейское происхождение высказываются: N. Jokl. Studien zur albanesischen Etymologie und Wortbildung. Wien, 1911, стр. 34—35; Он же. — VRom 8, 1945—1946, стр. 199; Он же. — «Die Sprache» 9, 1963, стр. 129; M. Camaj. Albanische Wortbildung, стр. 44; за доиндоевропейское: J. Pokorny. — «Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien», 66, 1936, стр. 79, итальянские ученые, а также: V. Polák — ZBalk 1, 1962, стр. 88. Относительно диалектного материала ср.: IJb 19, 1935, стр. 140, 156; ZONF 4, 1928, стр. 208; ZRPh 54, стр. 465; J. Schütz. Указ. соч., стр. 97.

[40] F. Bezlaj. — RS 21, 1960, стр. 154.

[41] J. Hubschmid. Mediterrane Substrate, стр. 36.

[42] P. Skok. — ZRPh 54, стр. 461; G. Alessio. — «Ce fastu?» 13, стр. 1.

[43] «Codex Dialectorum Istricum», I; «Atti e Memorie della Societa istriana» 2, стр. 145.

стве этого гнезда слов с нем. *harsch* 'замерзший слой снега', др.-болг. *krasta* 'чесотка' (и.-е. **sker-* 'коробиться, сморщиваться') едва ли убедительно. Дж. Алессио напоминает поэтому также о доиндоевр. **karr-* [44].

Словен. *mul* 'безрогий' с различными производными граничит с созвучной формой романско-баварской языковой зоны, фриул. *mul* 'безрогая коза', ц.-ладин. *mul*, *mül*, зульцберг. (в зап. Трентино) *müll* 'безрогая корова'; каринт. *mulle* 'безрогая коза' и т. д. Позднее заимствование в словенский язык сло́ва, очень скудно засвидетельствованного во фриульском, мало вероятно, а предположение о том, что в романско-немецких диалектах это слово является заимствованием из словенского, — практически исключается. Следующее соответствие представлено в зап.-астур. *mulo* 'mocho, sin cuernos'. Романские слова могут быть только дороманского происхождения. Как свидетельствуют баварские формы типа *mulle* (донемецкого происхождения), рассматриваемая форма должна исходить из одной дороманской основной формы **mūllo-*, которая, очевидно, была распространена на востоке вплоть до территории современной Словении. Таким образом, лит. *mùlas* 'безрогий' и лтш. *mũls* то же, вместе со словен. *mul*, едва ли свидетельствуют о существовании первоначальной балто-славянской семьи слов, но, скорее всего, — о существовании древней балто-венетской изоглоссы [45].

В словенском языке есть еще целый ряд слов, которые внутри славянской среды кажутся изолированными и которые находят соответствия во фриульском; фриульские слова часто имеют дороманское происхождение. Необходимо всякий раз проверять, имеем ли мы дело с поздними культурными заимствованиями в словенский, которые, собственно, не являются дославянскими, или скорее речь идет об общих для фриульского и словенского субстратных словах.

Так соотносятся, например, словен. (Койско) *brę́ncelj* 'корзина для ношения на спине сена, зелени' и (горицкое, Средний Карст) *žbrinca* то же, ср.-лат. *brincia* (Collalto, 1589 г.), фриул. *sbrìnzie*, истр. *sbrizia*, беллун. *brętnvia*, которое хотелось бы связать с трент. *brenz* 'колодезное корыто из досок' [46]; однако неясно, почему во фриул. *sbrìnzie* сохраняется *i* во втором слоге.

Затем нельзя отделять словен. (Коборид) *želj* 'корзина' от фриул. *zèj* то же [47]. Я неоднократно высказывал мысль о том, что западносредиземноморский субстрат имел связи с досла-

---

44 G. Alessio. — «Ce fastu?», 13, стр. 1.
45 J. Hubschmid. — ZRPh 66, 1950, стр. 40—42; EnsHisp 1, стр. 133.
46 J. Hubschmid. — ZRPh 66, 1950, стр. 37.
47 K. Štrekelj. — AfslPh 12, 1889—1890, стр. 474.

вянским субстратом. В сербохорватском мы находим несколько слов, явно неславянского происхождения, которые, вне всяких сомнений, связаны с западно-средиземноморским субстратом и имеют связи с баскским. Сюда относятся:

штокав. *màroka* 'большой камень', Прчањ *marȍka*[48], соотносимое с истр. *Marόco*, место в (каменистом) Carso di Salvore, трент. *maròc* 'sasso, roccia', лангедок. *marròc* 'bloc de pierre', баск. *marra* 'пограничный камень, граница' и т. п.[49] Н.-греч. μαρόκο 'большой неотесанный камень' (на ионийских островах и в южном Пелопоннесе) было заимствовано, по мнению Кагана, из венецианского (где, между прочим, это слово больше не засвидетельствовано)[50]. Заимствование могло идти также из Далмации;

с.-хорв. (на далматинском побережье) *màginja* 'дикая земляника', (о. Црес) *magȕnja* 'плод земляничного дерева' и т. д. неотделимы от дороман. **magiusta* 'земляника' > фриул. *majòstre*, др.-ломб. *magiostra*, ст.-прованс. *maiossa*, **magiotta* > исп. *mayueta* и баск. *maguri* 'земляника', где снова отчетливо выступает корень **mag-*[51];

с.-хорв. (Далмация, Черногория) *tȉmor* 'скала, каменная глыба; скалистые горы, цепь скал' явно заключает в себе дославянский корень **tim-*, который, присоединяя суффикс *-pa-*, предстает в виде широко распространенного **timpa*: рум. *tîmpă* 'крутой и скалистый склон', калабр. *timpa* 'крутая скала, пропасть', (о. Майорка) *tìmba* 'каменная глыба, скала' и т. п. В баскском языке соответствий нет[52].

О том, что между балканским и западно-средиземноморским языковыми субстратами действительно существовали доисторические связи, свидетельствует еще одна новая албанско-пиренейская лексическая параллель: (Мати) *kaçorri* 'маленький заяц'[53] — катал. *catxap* 'молодой кролик', алент. *cachapo*, исп. *gazapo*, порт. *caçapo*[54].

---

[48] M. Rešetar. Der štokavische Dialekt. Wien, 1907, стр. 250; A. Maver. — ARom 6 стр., 250.

[49] J. Hubschmid. Sardische Studien. Bern, 1953, стр. 52—57; Он же. Mediterrane Substrate, стр. 30; Он же. Thesaurus Praeromanicus, 2. Bern, 1965, стр. 101.

[50] Kahane. Italienische Ortsnamen in Griechenland. Athen, 1940, стр. 146.

[51] J. Hubschmid. Mediterrane Substrate, стр. 27; Он же. Thesaurus Praeromanicus 2, стр. 59—60; Он же. В кн.: W. v. Wartburg 6, стр. 19—22.

[52] J. Hubschmid. Mediterrane Substrate, стр. 51—53.

[53] Отмечено Б. Беци только в курдари (B. Beci. Hulumtime gjuhësore në Mat. — «Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës», seria shkencat shoqerore 17/3, 1963, стр. 262).

[54] J. Hubschmid. Thesaurus Praeromanicus, 1. Bern, 1963, стр. 16. Абруцц. *cacciune* 'cucciolo', которое я там приводил, скорее является родственным ит. *cucciolo*, так как в абруццких диалектах предударные *o* и *u* могли давать *a*.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что при решении славянских лексических проблем, особенно если это касается южнославянских слов, кажущихся изолированными, иногда очень важно принимать во внимание дороманский лексический фонд. При этом, однако, нельзя, как это нередко делают, опираться только на созвучия, а необходимо основательно исследовать как романские, так и славянские слова и тщательно взвесить различные возможности их толкования. Лингвогеографический метод исследования позволяет во многих случаях более надежно осветить историю слов. Несмотря на это многие вопросы остаются нерешенными и о многом мы не можем утверждать с уверенностью. Не достает еще многих необходимых разработок, особенно этимологических словарей отдельных славянских языков, где был бы учтен и диалектный лексический фонд, как, например, во французском этимологическим словаре В. Вартбурга. И все же есть основания полагать, что некоторые составители этимологических словарей, находящихся в процессе подготовки, непременно учтут результаты исследований в области романской этимологии.

Перевела с немецкого

М. В. Ляпон

И. Г. Добродомов

ИЗ БУЛГАРСКОГО ВКЛАДА В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ, I

При изучении истории формирования лексики славянских языков нельзя обойти стороной пополнение словаря за счет заимствований из соседних языков. Особый интерес представляют древние заимствования, которые нашли отражение во всех славянских языках, как, например, древнейшие германизмы в славянских языках, которым посвящена довольно большая литература [1]. В комбинировании с историческими данными этот слой лексики весьма интересен для вопроса о прародине славян, а также для вопроса о хронологии распада славянского единства.

В этом отношении весьма важно изучение древнейших лексических тюркизмов в славянских языках. Ведь с тюрками славяне познакомились уже в конце IV в. (гунны), и это знакомство продолжалось вплоть до распада славянского единства и после его распада. Правда, наши сведения о тюркских языках Восточной Европы IV—XI вв. чрезвычайно скудны, хотя есть основания подозревать, что до самого X в. в Восточную Европу проникали тюркские языки типа чувашского — булгарские тюркские языки: гуннский, аварский, булгарский (здесь намеренно употребляется этимологическое написание булгарский, чтобы не смешивать этот тюркский язык средневековья со славянским болгарским языком).

Пока нет убедительных данных для разграничения этих трех языков. Можно лишь предполагать, что для всех трех славянских групп языков общие заимствования давали гуннский и аварский языки, булгарский же язык в собственном смысле давал материал для строславянского и болгарского языков и для древнерусского языка. Вероятно, что тюркские по происхождению слова, которые встречаются в восточно- и западнославянских языках (причем, если они не являются новыми заимствованиями), могут также считаться наследием аваров: имя последних, кажется, не было отражено в языке южных славян.

---

[1] См. одну из последних работ: В. В. Мартынов. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры (к проблеме прародины славян). Минск, 1963 (рец. О. Н. Трубачева в сб. «Этимология. 1964». М., 1965, стр. 357—359).

При изучении этого рода древнейших тюркизмов славянского словаря необходимо также обращать внимание на то, что в конечном счете эти слова могут оказаться не тюркскими, а заимствованными в языки тюрков во время их длительного движения из степей Центральной Азии в Восточную Европу из языков тех народов, с которыми тюрки имели контакты по пути на запад. Кроме того, в состав как гуннских, так и аварских кочевых объединений, вероятно, входили и представители многих нетюркских народов, которые также обогащали тюркские языки основной массы кочевников новыми словами.

Отсутствие письменных памятников гуннского и аварского языков и крайняя их скудость для булгарского языка заставляют при объяснении древнейших тюркизмов в славянской лексике прибегать к данным всех тюркских языков [2], и в первую очередь к фактам чувашского языка, который восходит к древнему тюркскому языку Волжско-Камской Булгарии. Опираясь на данные сравнительной грамматики славянских языков и факты исторической грамматики отдельных славянских языков, исследователь должен восстанавливать прежде всего фонетическую эволюцию анализируемого слова, показать его более древнюю форму. Параллельное восстановление более древних звучаний для тюркского слова вплоть до совпадения тюркской и славянской праформ позволит установить относительное (лингвистическое) время заимствования тюркского слова славянами. Для установления более точного, абсолютного времени заимствования следует прибегать уже к историческим данным.

Относительно длительные контакты славян с тюрками и обогащение славянского словаря за счет тюркских языков позволят в результате изучения тюркизмов в славянской лексике по-новому осветить некоторые вопросы исторической фонетики славянских языков.

РУССК. *батог* И Т. П.

История и этимология русского слова *батог* и близких к нему слов представляет большой интерес с точки зрения булгарско-славянских языковых связей, ибо показывает важность привлечения для анализа как можно большего материала, который демонстрирует, как опасно решать этимологические проблемы на весьма ограниченном материале.

Русские этимологические словари, начиная со словаря Ф. Рейфа, производят существительное *батог* от известного почти во всех славянских языках и в русских говорах слова *бат* 'дубинка, шест', а также приводят как родственные слова *ботать*

---

[2] В некоторых случаях приходится привлекать также данные других алтайских языков (монгольских и тунгусо-маньчжурских), которые имеют родственные связи с языками тюркскими.

'пугать рыбу ударами палки по воде; стучать, тарахтеть' и *бот* 'шест для ботанья рыбы, ботало' [3]. Эта этимология восходит к первому изданию «Словаря Академии Российской», где слово *батог* помещено в гнездо, во главе которого находится слово *бот*, *ботик* 1) 'Палка. В сем знаменовании речение сие у нас вышло из употребления, а осталось у других некоторых славянских народов', 2) 'Орудие рыбацкое, состоящее из шеста с приделанною на конце шишкою, коим в реке рыбу загоняют в сети' [4]. Повторяется эта этимология и в ряде статей [5] и этимологических словарей славянских языков Э. Бернекера, А. Брюкнера, Ст. Младенова (под словом *бáткам*), И. Голуба и Ф. Копечного, В. Махека, Ф. Славского [6], несмотря на проблематичность существования славянского суффикса *-огъ*, в славянском происхождении которого справедливо сомневался Ф. Е. Корш еще в 1908 г.[6а]

Однако многих лингвистов эта этимология существительного *батог* на славянской почве не удовлетворяла, поэтому отмечаются поиски соответствий этому слову за пределами славянских языков.

Широко известна этимология А. О. Мухлинского, который объясняет польск. *bat*, *batog*, чеш. *bat*, *batoh* и русск. *батог*, *ботог* вместе с загадочными формами *botot*, *botozi* («в других славянских наречиях») как заимствования из турецкого названия ветки بوداق *budak*, *botag* [7].

Эта этимология была поддержана Ф. Миклошичем в его дополнениях к своей работе о тюркских элементах в восточноевропейских языках [8], а также Н. В. Горяевым во втором издании его словаря [8а], несмотря на явное несоответствие в вокализме.

Известна также тюркская этимология А. К. Казембека, высказанная по поводу русских диалектных форм *бáйтик* и *бáтик* 'палочка, тросточка': «от глагола باتماق [*батмак* — *И. Д.*]

---

[3] Ф. Рейф. Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению, или Этимологический лексикон русского языка, I. СПб., 1835, стр. 44; Н. В. Горяев. Опыт сравнительного этимологического словаря литературного русского языка. Тифлис, 1892, стр. 4; Преображенский I, стр. 19; М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, I. М., 1964, стр. 134; «Этимологический словарь русского языка», т. I, вып. 2. Автор-составитель Н. М. Шанский. М., 1965, стр. 56—57.

[4] «Словарь Академии Российской», I. СПб., 1789, стр. 300—301.

[5] П. М. Мелиоранский. Заимствованные восточные слова в русской письменности домонгольского времени. — ИОРЯС, X, 4. СПб., 1905, стр. 113; G. Il'jinskij. Etymologie słowiańskie. — PF XIII, стр. 498.

[6] Berneker I, 46; Brückner, стр. 18; Младенов, стр. 18 (под словом *бáткам*); Holub—Kopečný, стр. 66; Machek, стр. 26; Sławski I, стр. 28.

[6а] «Jagić-Festschrift». Berlin, 1908, стр. 254 сл.

[7] A. Muchlinski. Zródłosłownik wyrazów które przesły do naszej mowy z języków wschodnich. Petersburg, 1858, стр. 9.

[8] Цит. по словарю М. Фасмера.

[8а] «Сравнительно-этимологический словарь русского языка». Тифлис, 1896.

значит: воткнутый в землю кол, острая палка»[9]. Однако производное от этого глагола *батык*, по словарю В. В. Радлова, встречается в турецком, татарском и казахском языках, но значит 'впалый, подавленный, разрушенный'. Не очень надежная этимология Казембека совершенно не получила распространения.

Известна этимология, возводящая *батог* к ит. *batacchio*, *batocchio* 'палка', против которой возражали Э. Бернекер и М. Фасмер.

Наконец, еще в середине прошлого века была сделана попытка сравнить русское *батог* и подобные с чуваш. *патак* (*падак*), а также с коми-зыр. и коми-перм. *бед*, удм. *боды* и морд. *байтек*[10]. Но эти сопоставления в дальнейшем учтены не были, и этимологические разыскания в этом направлении никто не проводил. Интересно, что в этих наблюдениях была сделана попытка рассмотреть не только литературную форму *батог*, но и диалектные формы *падог*, *падожок*, *подожье* и *байтик*.

Основные недостатки рассмотренных этимологий заключаются в том, что, во-первых, этимологизируется обычно одно лишь слово *батог* и игнорируются, как правило, его фонетические варианты и, во-вторых, совершенно не учитывается география распространения слова. Между тем учет этих двух факторов является само собой разумеющейся аксиомой любого этимологического исследования. Наличие большого количества фонетических вариантов слова обычно свидетельствует в пользу неисконности такого слова и заставляет искать источник заимствования в зависимости от истории и географии его распространения в прошлом и настоящем.

Прежде всего желательно установить все фонетические видоизменения этого слова в славянских языках, а также границы его распространения. Наибольшее число вариантов дают восточнославянские языки, и прежде всего русский язык, примеры из которых приводим по второму изданию словаря В. И. Даля, 1955 г., по «Опыту областного великорусского словаря» (сокр. — Оп.) и «Дополнениям» к нему (сокр. — Доп.). В словаре Даля многие слова этого типа помещены под корнем *бадаг*: *бада́г*, *ба́дег*, *бадажо́к* (в первом издании *бадожо́к*. — *И. Д.*), м., ряз. тмб. *бати́к*, ряз. тул. тмб. *бади́к*, *бадичо́к*, *байди́к*, *бадо́к* влд. кстр. и др. 'бато́г стар., падо́г, падожок, палка, посох, трость, хворостина'; *батог* стар. 'длинник, хлысты, коими наказывали'; сиб. нвг. ол. прм. 'тросточка, посох, хворостина';||влд. 'цепник, било, киец, билень,

---

[9] А. К. Казембек. Объяснение русских слов, сходных со словами восточных языков. — «Материалы для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики», I, СПб., 1854, стр. 30.

[10] И. Н. Березин. Замечания о восточных словах в областном великорусском языке. — «Материалы для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики», I, стр. 328; А. М. Шёгрен. Материалы для сравнения областных великорусских слов со словами языков северных и восточных. — Там же, стр. 145.

типок';||юж. 'бич, плеть, долгий кнут на длинном кнутовище, для погонки волов';||прм. сиб. 'мера дров: полсажени погонной; в *батоге* дров или уголья 14 четвертей длинику и 8 вышины (а поперек? [примеч. Даля]); скирды также обмеряют на батоги, || *батоги*, *петровы-батоги* 'голубой цикорий, раст. Cychorium Intybus' || *батожок* у живописцев 'тонкая палочка, для поддержания пишущей руки, муштабель [далее поясняются производные от слова *батог*: *батóжный*, *батóжить*, *батожьё*, *батóжник*. Заключается статья словом:] *бадовя́к* м. арх. 'старый межевой пень, усохшее дерево, сохраняемое в виде межевого знака' (I, 36). Ср. гнезда: *падог*, *падожек* м. сев. вост. 'батог, бадиг, байдиг; палка, трость, посох, дубинка'. *Надо на дорогу падог вырезать. Падожьé* ср. собрт. 'палочье, для битья'. *На долгом веку накланяешься и падогу*, неволей (III, 8); *подóг*, *подожóк* 'падог, падожок, бадиг, батог, хлыст, палочка, трость подручная, для ходьбы' (III, 192). Картина получается достаточно сложная, если даже не учитывать приведенное выше *бадовяк*, а также *бóтик* м. умал. прм. 'поршень в насосе, на варницах, для подъема рассола' (I, 120), сомнительный для самого Даля глагол *пáточить*? кого влд. 'бить колотить' (III, 24; если не от *пáтока*, а образование типа *батожить*, *дубасить*) и *пóткнище* ср. пск. твр. 'гвоздь, вешалка' (III, 356, если не от *ткнуть*).

«Опыт областного великорусского словаря» и «Дополнения» к нему частично уточняют данные словаря Даля. В частности, в этих изданиях указывается, что формы *бадáг*, *бадажóк* были распространены в Новгородской (Белозерский у.) и Саратовской губ. (Доп.), а форма *бадóк* была отмечена также в Вологодской губ. (Даль отмечает влд. кстр. и др.) (Доп.). Формы *бáдик* (ворон. ряз. сарат. тамб. тул.) и *бáйдик* [11] (ряз.) (Доп.) зафиксированы с начальным ударением (у Даля ударение на конечном слоге — *бади́к*, *байди́к* и без локализации). У воронежского *бáдик* М. Фасмер отмечает также значение 'ярмо' (Фасмер I, 103 со ссылкой на Ж. ст., 15, вып. 1, стр. 126). Существительное *бáтик* (пенз. ряз. сарат. тамб. тул.) 'палочка, тросточка' (Оп. 8) отличается от помещенного у Даля *бати́к* (ряз. тул. тмб.) местом ударения. Разное место ударения в словах *бадик*, *байдик* и *батик* у составителей «Опыта» и «Дополнений», с одной стороны, и у Даля, с другой стороны, возможно, вызваны стремлением Даля нормализовать колебание ударения по образцу других слов, входящих в это же гнездо, если здесь нет опечатки. Формы *падóг*, *падожóк*, имеющие у Даля помету сев. и вост., в «Опыте» получают более определенную локализацию: каз., нижегор., сибм., тамб. Помещенное в «Опыте» с пометой *ряз.*

[11] Вероятно, с этим существительным связан топоним *Байдики* (село, деревня) в Рязанской обл. («Уч. зап. Рязанск. пед. ин-та», XXI, 1958, стр. 32—33). Ср.: Д. К. Зеленин. Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации. СПб. 1913.

слово *байтик* в словаре Даля отсутствует [12]. Весьма важны диалектные формы *потожок*, отмеченная в севском говоре А. Г. Преображенским (под словом *батог*), и *потóг*, отмечаемая Н. В. Горяевым и М. Фасмером под словом *батог* без указания на территорию и источник. В архангельских говорах наряду с формой *батóг* встречается форма *бадóг* 'палка' [13]. Этот перечень разных фонетических вариаций слова *батог* можно дополнить отмеченным Фасмером [14] в «Северных сказках» Ончукова существительным *ботóк* (стр. 20 и др.) со значением 'батог'. Весь перечень великорусских форм (вариантов) слова *батог* можно завершить формой *ботог*, отмеченной в первом издании «Словаря Академии Российской» и словаря Ф. Рейфа. Если это не простой орфографический вариант орфограммы *батог* с передачей безударного *а* как *о*, обусловленный принятой в этих изданиях этимологией (от *ботать*), то и этот вариант важно учесть при этимологии слова [15].

В приведенном здесь перечне великорусских диалектных видоизменений слова *батог* учтен лишь материал старых словарей, которые были в распоряжении всех составителей этимологических словарей и которыми эти составители могли бы воспользоваться в своей работе. Если же воспользоваться вторым выпуском сводного русского диалектного словаря, вышедшего в 1966 г.[16], то многообразие диалектных варьирований слова *батог* станет еще большим. Добавлю только слова, не обнаруженные мною в цитированных выше источниках: *бадáк* (новг. приангар.) 'палка, дубина, рычаг' (стр. 37), *бáдек* (сарат.) 'палка, посох, трость' (стр. 39); *бадиг* (самар.) то же, это слово отмечено также в словаре Даля (III, 8) при пояснении слова *падóг*, без ударения (стр. 39); с колебанием ударения *бáдог* и *бадóг* (арх. киров.) 'било у цепа'

---

[12] Возможно, к этому гнезду следует отнести отмеченное «Дополнениями» псковское *пóтик*, *пóтка* 'мужской детородный уд' (ср. этимологию слав. — **chujь*), если последнее не связано с существительным *птица*: **pъtъka*, **pъtikъ* (корень **pъt-*).

[13] Подвысоцкий, стр. 5. Изоглоссы распространения обоих вариантов в говорах Архангельской обл. см. в кандидатской диссертации: В. Я. Дерягин. О развитии диалектов Архангельской области по данным истории и географии слов. М., 1966.

[14] M. Vasmer. Kritisches und Antikritisches zur neueren slavischen Etymologie. — RS III, стр. 261—262 (в словаре не учтено). Следует также упомянуть форму *batoch* в «Русско-английском словаре-дневнике Ричарда Джемса», которую издатель этого памятника Б. А. Ларин транскрибирует как *батóк*, со значением 'посох' (Б. А. Ларин. «Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618—1619 гг.)». ЛГУ, 1959, стр. 67). Эта же форма представлена в вологодских говорах как название части цепа (см. «Диалектологический сборник», I. Под ред. А. С. Ягодинского. Волóгда, 1941, стр. 62).

[15] Вариант *байдиг*, встретившийся в «Словаре» Даля в пояснительном тексте словарной статьи *падог* (III, 8) и не подтвержденный другими источниками, я не решаюсь включить в число достоверных модификаций слова *батог*.

[16] Филин 2, стр. 144.

(стр. 40, здесь же в иллюстративном примере *бадо́к* 'то же', не выделенное в словарную статью, но отмеченное у Даля); *бадушо́к* (иссык-кульск.) 'посошок, тросточка' (стр. 41); возможно, относятся сюда же пермск. *бадыжник* 'ольховник' (стр. 41), *бадяга* (арх.) 'длинный, неуклюжий по виду предмет' (стр. 42); *батога́* (пск. арх., перм. сиб.) 'палка; единица измерения скирд' (последнее значение имеет пометы *перм. сиб.* со ссылкой на Даля, но у последнего формы *батога́* не обнаружено, есть лишь форма *бато́г* — пример см. выше, при цитировании гнезда *бадаг* из словаря Даля); *бато́жка* (челяб.) 'палка, которой гоняют деревянный шарик в детской игре'; *бато́ж*, *бато́жжа* (калуж.) 'стебель щавеля' (стр. 145); *батюжок* (новг.) 'палка?' (стр. 149); *батиз* (курск.) 'кнут' (стр. 142); *бато́к* (яросл. новг.) 'часть цепа, бьющая по снопам, било; толстая, короткая палка для околачивания льна'; *бато́зьки* (ряз.) 'молодые побеги сосны, выросшие за один год' (стр. 146).

Даже ограничившись приведенным здесь материалом, можно думать, что слово *батог* со всеми его модификациями не может считаться исконным словом для русского языка: слишком уж необычны звуковые чередования звонких и глухих согласных, чтобы считать это слово незаимствованным.

Несомненно, является преобразованием слова *батог* отмеченное Далем во множественном числе и без ударения *бутуги*? (*батоги*?) м. мн. сар. 'гнетки, гнетины, переметины; ветреницы, прижимные хворостины на скирдах' (I, 145). Такое сближение возможно при конечном ударении и контаминации с *тугой*, *туго* (ср. *гнёт*); *у* первого слога относится за счет редукции гласного *а* и последующей его лабиализации и веляризации за счет губного согласного.

Большое число вариантов представлено и в украинском языке, хотя в значительно меньшем количестве, чем в русском. В «Словаре украинского языка» Б. Д. Гринченко мною обнаружены следующие слова, соответствующие русск. *батог* и его вариантам: *батіг* (род. п. *батога́*) 'кнут, плеть; рычаг в ступе для толчения зерна, на который надавливают ногой'; *батоги́* 'стелющиеся стебли растений' (I, 32); *бату́га*, *батю́га*, *бату́ра*, *батурме́н* 'большой кнут, кнутище, плеть' (I, 33); *пати́к* (род. п. *патика́*) 'палка, кол', *пати́ка* (род. п. *пати́ки*) 'палка; кляча; нерасторопный'; *па́тер*, *патери́ця* 'посох' (III, 101). В этимологических словарях Ф. Миклошича, Э. Бернекера и Н. В. Горяева приводится также украинская форма *batúch* — *батухъ* 'кнут' без указания на место распространения. В закарпатских украинских говорах отмечена форма *бату́г* (род. п. *батуга́*) [17], которую Фасмер приводит в словаре без определенной локализации.

---

[17] И. А. Дзендзелевский. Лингвогеографические свидетельства о расселении подолян и волынян Ф. Корятовича в Закарпатье. — «Вопросы теории и истории языка. Сборник в честь профессора Б. А. Ларина». ЛГУ, 1963.

Особый интерес представляет украинская диалектная форма *батій*, изредка употребляющаяся в некоторых говорах правобережной Черкасчины [18].

Связано с этими словами укр. *бендю́га́* 'толстая палка, дубина; бревно, посредством которого ветряная мельница поворачивается; каждая из жердей, которые кладут на воз для укладки на них снопов: две вдоль, а две поперег', *бендю́жина* то же. Но с этими словами тесно переплелись слова *бендю́ги* [19] 'род простой повозки, ломовые роспуски' и *бендюхи́* 'двухколесный передок плуга' (Гринченко I, 49). Из украинского языка был заимствован термин *бендю́га* (новорос., [из] малороссийск.) 'рычаг, бревно, вставленное в основание крестьянской мельницы, для поворота ее, хвост, хобот' (Даль I, 81). Вероятно, связано с украинским имеющее у Даля помету *юж.* существительное *бендю́ги* 'простые сани, для возки соломы, навозу и пр.' Что касается смоленского термина *би́ндюх*, *би́ньдюх* [20] 'рыдван, большая или троичная извозная телега, на которую валят до ста пудов' (Даль I, 87), то ударение указывает на первоначальную форму, связанную с нем. *Bindwagen* [20a] или ср.-в.-нем. *bindinge* 'узел, завязка, связь' (см. словарь Фасмера под словами *бендю́г*, *бендю́га* и *биндю́г*, *биндю́га*, где приводится также форма *binду́га*). Фасмер выделяет особо значение 'рычаг' как невыводимое из немецкого. Вероятно, конечное ударение было именно у формы со значением 'рычаг', впоследствии же произошла контаминация разных слов: *би́ндиг*, *би́ндюг*, *биндю́г* [21].

Вероятно, примыкает к этому слову отмеченное у Даля (I, 87) *бильдюга* ж. ряз. кур. 'суковатая палка, дубинка с комлем или корневищем; булдыга, палица, шелепуга, суховатка, закомлейка'. К пометам Даля составители «Словаря русских народных говоров» добавили помету *орл.*, а также отмеченный

---

[18] П. С. Лисенко. Словник специфічної лексики правобережної Черкащини. — «Лексикографічний бюлетень», вип. VI. Київ, 1958, стр. 9.

[19] Известно и в форме *биндюги́*, произносится, впрочем, так же, как и *бендюги́*.

[20] Сводный областной словарь приводит смоленскую форму лишь в виде *би́ндюг*, вероятно, по «Опыту».

[20a] О. Н. Трубачев обратил мое внимание на то, что превращение нем. *Bindwagen* в *биндюги* связано с посредством диалектов идишского (новоеврейского) языка.

[21] Что касается собственно русского происхождения слова *биндю́жник* (см. «Этимологический словарь русского языка», т. I, вып. 2. Автор-составитель Н. М. Шанский. М., 1965, стр. 120), то это объяснение основано на недоразумении. Как форма *биндю́ги*, так и слово *биндю́жник* являются украинизмами. См. *бендю́жник* в украинском словаре Б. Д. Гринченко. «Словарь русских народных говоров» фиксирует слово *бендю́жник* в Орловской губ. (Карач. у.) 1905—1921 гг. со значением 'хозяин ломовых извозчиков при железнодорожной станции' и слово *биндю́жник* (Одесса, астрах. и др. южные города!) 'носильщик, грузчик', что не совпадает с местом распространения слова *биндю́г*, *биндю́га*, *би́ндюг* в русских говорах. Характерно, что слово отмечено впервые в местах, пограничных с украинским языком.

во Владимирской губ. (Переяславский у.) фразеологизм *бильдюгу согнуть* 'сказать нелепость'. Сближено с *бить, било.*

В русск. *булдыга* ж. кур. 'мосол, кость' || влд. 'шишковатая дубина, долбня, палица, булава'; || об. 'волдыга, гуляка, пьяница, буян, забулдыга' (Даль I, 140) можно предполагать результат контаминации слов *булавá, балдá, батáг* (в каком-либо одном из многочисленных вариантов) и *волды́га, забулды́га*, чему способствовало, безусловно, экспрессивное употребление слова.

Украинская лексикография (Б. Д. Гринченко) отметила, что конечный заднеязычный согласный рассматриваемого слова (*г* или *к*) мог чередоваться с плавным *р* в формах *батýра, батурмéн, пáтер, патерúця.* Аналогичные формы с исходом на *-р* известны и русским диалектам. Даль I, 54: *батáрчина*? ж. в.-сиб. *поторчина*? 'дубина, кол, россоха'; *батéр* м. 'раст. Spiraea Ulmaria таволга, таволжник, идущий на кнутовища' и ряд других значений под вопросом; III, 358 под гнездом *поторчать*: *потóрчина, потóрча* вост., *потóрчевина* пск. 'кол, шест, палка, рожон, воткнутый торчком, торчмя; надолба, тумба, кáба, кобá, столбик, торчок, копыл, пенек, тычок'; *поторчины дубовые* 'сваи, палисады, частокол'. Кирша. В сводном диалектном словаре (выпуск второй) отмечены формы *батарчúна* и *батáрчина* 'палка, рычаг, дубина' (стр. 141) и *баторчúна* 'длинная палка, жердь' (стр. 146). Возможно, сюда же относится русск. диал. (Даль I, 54) *батýра*? ж. ряз. тул. 'каланча, вышка, башня, крепость, городок', которое в сводном словаре подверглось весьма произвольной обработке. Гнездо *батура*? обл. ряз. 'абатур'; *обáтур* влгд. 'упрямец, непослушный, упорный', прм. 'урос'; *батýрить* ряз. 'упрямиться, кобениться, ломаться'; || смб. 'тарáнить, тащить что громоздкое или тяжелое' (Даль I, 54) у Фасмера под словом *батурá* связывается с гнездом *бат*: *батурá* (< *бат* 'дубинка') дало значение 'упрямец', сюда же Фасмер относит и укр. *батýра* 'кнут', считая это слово исконно славянским[22]. Возможно, сюда же относится и сохранившееся в пермских говорах во фразеологизме *бéндыря поддать* 'ударить' (Филин 2, 241) слово *бéндырь.* Связаны с предыдущими диалектные *бадары́жина* (вят.) 'палка, хворостина, воткнутая в землю, тычина' и *бадарыжиться* (смол.) 'упрямиться, ершиться' (Словарь говоров II, 38). Дальнейшие видоизменения представлены в не локализованных у Даля словах *будорáжина* ж, *будоры́жина* 'кол, тычок, торчок, тычинка' (I, 136).

Белорусские словари указывают на отсутствие слова *батог* на территории распространения белорусского языка, однако П. Скарджюс в своем исследовании о славянских элементах в старолитовском языке отмечает, что лит. *botãgas, batogas* 'бич,

---

[22] Помета *пермск.* у Фасмера ошибочно отнесена к *батурá*: она характеризует поясняющее слово *ýрос.*

кнут' заимствовано из блр. *батóгъ* (без ссылки на источник)[23]. В «Словаре белорусского наречия» И. И. Носовича отмечено лишь «старинное» слово *байда* 'свая', по-видимому, в составе фразеологизма *байды биць* 'заниматься не делом, а пустяками; быть праздным, праздно шататься; баклуши бить'. Вероятно, с этим существительным связаны также приводимые Носовичем глаголы *байдóсиць* 'бить, колотить' и *байдóсоваць* 'баклуши бить'. Ср. русский глагол *дубасить* (от *дуб*).

Тесно связаны с блр. *байда* 'свая' русск. диал. *бáйдыбить*, *байды бить*, *бáйдать* (курск., орл.), *бить бáйдики* (дон.), *бить бáйдаки* (южн.) 'слоняться без дела' (см. второй выпуск «Словаря русских народных говоров») и укр. (по словарю Гринченко) *байдакú гонити*, *байдакú бити*, *бáйди бити*, *бáйдики бити*, *байдикувати* 'бездельничать', ср. *бáйдиґи плестú* (с *г* взрывным) 'говорить вздор'[24].

Представляет интерес сохранившееся в украинской рыболовной терминологии Нижнего Поднестровья *байдажóк* 'один з двох кілків, на яких розправляється підкрилок ятера'[24а]. Это несомненный реликт значения 'палка, кол' у первой части рассмотренных выше восточнославянских фразеологизмов.

И. А. Дзендзелевский отмечает на территории Украины топонимы *Батіг* (Винницкая об.) и *Батоги* (в Львовской и Станиславской обл. два села)[25].

В древнерусском языке слово *батог* представлено в памятниках XI в., правда, дошедших в более поздних списках («Русской правде» и «Повести временных лет»), в форме *батогъ*, причем в ряде списков вместо него употребляется слово *бичь*. Встречается также и форма *батóкъ* в рукописи XVII в. «Беседы на евангелия

---

[23] P. Skardžius. Die slawischen Wörter im Altlitauischen. Kaunas, 1931, стр. 45. Это же объяснение повторяется у Э. Френкеля (Fraenkel, стр. 53)

[24] Другое объяснение укр. *байдики бити* см.: В. С. Парасунько. До питания про проходження виразу *байдики бити*. — «Наукові записки Київського державного педаґогичного інституту ім. О. М. Горького», т. XXXIII, 1963, стр. 105—109. Ср.: Р. В. Кравчук. З історії української лексики. — «Українська мова в школі», 1960, № 6, стр. 60.

Вероятно, сюда же следует отнести и русск. диал. *байдáк* 'толстая доска (для пола или потолка)', а также названия судов *бáйда*, *байдáк*, *байдáра* (> *байдáрка*), *будáра*, если видеть в последних результат семантического развития, подобный тому, который имеем в словах для названия судов *дубок*, *дубас*, *однодеревка*. Правда, здесь эти слова контаминировались с монголизмом *байдара* 'вид миски, большой горшок' (монг. *бадир* 'жертвенная чаша') и тюркизмом *бáйдáк*, *байдáка*, 'озорник, буян; дурак; нетель' (ср. казах. *бойдак* 'холостой, ягненок, валух, яловый'). Ср. укр. *байдáк*, *байдáра* 'род судна'; *будáра* 'фургон, крытая повозка'. (Ср. русск. диал. в Ростовской обл. *бедарка* 'двухколесная повозка, вмещающая 1—2 человека'?).

[24а] Й. О. Дзендзелівський. Словник специфічної лексики говірок Нижнього Подністров'я. — «Лексикографичний бюлетень», вип. VI. Київ, 1958, стр. 38.

[25] И. А. Дзендзелевский. Указ. соч., стр. 99.

св. Григория Двоеслова»: *батокъ ременный сплете* = flagellum de funiculis, т. е. бич от вервии [26].

Кроме восточных славян, слово *батог* представлено только в некоторых западнославянских языках. В польском языке известна форма *batog*, а также уже вышедшие из употребления формы *patog*, *patok* 'большой кнут'. Высказано мнение о том, что польские формы зависят от восточнославянских: «Учитывая возраст слова в восточнославянских языках и польском, а также фонетику польской формы (отсутствие перехода *o* > *ó*; ср. в других аналогичных случаях *stóg*, *pieróg* и др.), очевидно, следует считать, что польск. *batog* стоит в зависимости от восточнославянского названия» [27]. Вероятно, сюда же следует отнести также и польск. *patyk* 'палка, прут' и ст.-польск. и диал. *patołęcz* 'длинная палка'. Правда, по поводу этих слов А. Брюкнер в «Этимологическом словаре польского языка» (под словом *patyk*) замечает, что они образованы от того же корня *pa*, который содержится в общеславянском *палец*, причем производящей основой он считает первую часть сложения *patołęcz* — *pat-*, произведенную в свою очередь от корня *pa-*. Брюкнер считает это слово известным только польскому языку, хотя оно известно также украинскому, чешскому и словацкому языкам. В. Махек связывает *patyk* с корнем *ткнуть—тыкать* [28]. Можно думать, что эти этимологии отражают результат ассимиляции старого заимствования и его сближения с исконными славянскими словами (ср. разнообразие словацких форм).

В кашубских диалектах это слово известно в разновидностях *batog*, *batòg*, *batüg*, как указывает Н. М. Шанский во втором выпуске «Этимологического словаря русского языка», издаваемого Московским университетом.

Известное в старочешском языке *batoh* 'кнут' в современном чешском языке не употребляется. Что касается соврем. чеш. *batoh* 'рюкзак, узел', то оно имеет совершенно другое происхождение (из нем. *Weidtasche* и венг. *batyu* 'ранец', по указанию В. Махека и В. Шмилауэра). В ляшских говорах чешского языка известно существительное *patyk* 'палка, посох' (В. Махек).

В восточнословацких говорах известно *batuch* 'кнут', которое М. Калал считал полонизмом [29]. Махек в своем словаре отмечает большое количество словацких форм, близких к укр. *патик*,

---

[26] А. Горский и К. Невоструев. Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки, II, ч. 1, стр. 239.

[27] И. А. Дзендзелевский. Указ. соч., стр. 99. — Здесь Э. Бернекеру и П. М. Мелиоранскому ошибочно приписаны чужие мнения, против которых они высказывались.

[28] Machek, стр. 357.

[29] M. Kálal. Slovenský slovník z literatúry aj nárečí. Banská Bystrica, 1924, стр. 18 (цит. по указанной статье И. А. Дзендзелевского, стр. 99). Скорее это украинизм.

польск. и чеш. *patyk*: *patýk*, *patyč*, *patyča* 'чурбан', *patyčie* 'мелкие жерди, *drobné tyčky*' *patík* 'прут, ветка', *pateka* 'кнутовище'.

Уже А. Брюкнер и вслед за ним Ф. Славский специально подчеркивали отсутствие слова *батог* у южных славян, однако, несмотря на это, некоторые авторы этимологических словарей (Н. В. Горяев, А. Г. Преображенский, Н. М. Шанский, С. Младенов) приводят старославянскую форму *батогъ*, основываясь на устаревшем понятии «старославянский язык», какое представлено у Ф. Миклошича [30]. В «Словаре старославянского языка» Ф. Миклошича примеры на слово *батогъ* даны как из памятников древнерусского языка, так и из памятников сербского церковнославянского языка [31]. Этот материал «Словаря» Миклошича, с другой стороны, позволяет думать, что слово *батогъ* хоть в малой степени было известно и южнославянским языкам (сербскому церковнославянскому) в значении 'бич'. Вероятно, сюда же относится также с.-хорв. *бȁток* 'треска, вяленая рыба' (со старым ударением на первом слоге), а также приводимые Миклошичем румынские название трески *батог* и *баток* [32]. Современные словари переводят рум. *batóg* также 'балык'. Ср. также молдавск. *батог* 'балык, треска'.

В значении 'бич, кнут' славянское *батог* представлено как заимствование в балтийских языках: лтш. *pātaga*, *patęga* [33] и лит. *botāgas*, архаич. *batogas* [34].

Представляет интерес также лит. композита *botagotis*, *botkotis* 'кнутовище' (по А. Скарджюсу, из **botag-kotis*), где можно предположить также форму **бот*(*а*).

---

[30] На отсутствие слова *батогъ* в памятниках старославянского языка еще в 1814 г. обратил внимание К. Ф. Калайдович («Записки важные и мелочные К. Ф. Калайдовича» (1814). — «Летописи русской литературы и древности», III. М., 1861, отд. II, стр. 82). «Слово *батогъ*, находящееся у Нестора по древнейшему Лаврентьевскому списку», он относил к числу слов, которые «встречаются в древних сочинениях», хотя они и «совершенно похожие на новые».

[31] Miklosich, LP, стр. 12. Составители большого старославянского словаря включили в него слово *батогъ* на основании одного памятника русской редакции XII в. См. «Slovník jazyka staroslovenského», 3. Praha, 1960, стр. 70.

[32] Fr. Miklosich. Die slavischen Elemente im Rumänischen. Wien, 1861 (XII. Band der Denkschriften der Wiener Akademie der Wissenschaften. Philos.-hist. Klasse), стр. 14. Относительно семантических параллелей ср. русск. *треска* и др.-русск. *трѣска* 'кол, жердь'; нем. *Stockfisch* 'треска' (*Stock* 'палка'+*Fisch* 'рыба') > русск. *штóкфиш* 'сухая треска'. На церковнославянское происхождение румынских форм указывает и Tiktin I, стр. 170 (*batóc*, *batóg*).

[33] Начальное *p*- вместо *b*- Я. Эндзелин объясняет возможным влиянием произношения латышизированных ливов или эстонцев. См.: K. Mühlenbach. Lettisch-deutsches Wörterbuch, III, Riga, 1927—1929, стр. 190. Однако можно объяснить и заимствованием из русских говоров, где слово представлено с начальным *п*-.

[34] P. Skardžius. Указ. соч., стр. 45. Ф. Миклошич (Miklosich, стр. 8) приводит также лит. *votagas* наряду с *botagas*.

Как русское заимствование XIX в. это слово известно и в финском языке — *patukka* 'плеть, кнут, розга, батог' [35].

Итак, обзор всех встречающихся в разных славянских языках и их говорах соответствий русск. *батог* позволяет сделать вывод о том, что слишком большое многообразие фонетических вариантов этого слова может свидетельствовать в пользу неисконности этого слова, о его заимствованном характере для славянских языков. О заимствовании говорит и отсутствие соответствий в других индоевропейских языках. Конечный элемент *-огъ*, несколько напоминающий суффикс, вероятно, не является славянским словообразовательным аффиксом. Он обычно выделяется лишь в словах, недостаточно ясных этимологически (*пирог*, *творог*, *сапог* и др.); высказывались мнения о восточном происхождении этих слов. В слове *острог* элемент *-ог*, действительно, может быть принят за суффикс, но это слово стоит изолированно. К тому же этот элемент в словах типа *батог*, подобно всему слову в целом, проявляет неустойчивость своего звукового облика, а в ряде случаев даже исчезает.

Характер фонетической неустойчивости слова, направление колебаний его звукового состава помогают установить возможный источник заимствования, поэтому обобщение этих колебаний представляется весьма важным для истории и этимологии рассматриваемых слов.

Начальный согласный колеблется между звонким и глухим губно-губным согласным (*б* ∼ *п*).

Гласный начального слога, непосредственно следующий за *б* ∼ *п*, проявляет некоторую неустойчивость, но с явной тягой к звучанию в виде *а*: *а* ∼ *о* ∼ *у* ∼ *е* ∼ *и*, причем четыре последних огласовки встречаются редко и как правило могут быть объяснены как результат каких-то сближений.

Согласный, начинающий второй слог, обнаруживает неустойчивость, особенно на восточнославянской территории. Чередование глухого *т* со звонким *д* представлено во многих русских говорах (*т* ∼ *д*), особенно формы с *д* распространены на севере и северо-востоке, как показывают территориальные пометы словарей. Во многих формах этому звуку соответствует сочетание согласных *-йт-*, *-йд-*, *-нд-*, *-лд-*, *-льд-*. Можно думать, что смягчение согласного *-т-* или *-д-* в некоторых формах обязано позднему воздействию исчезнувшего *-й-*. Ср. диал. *бадяга* при литер. *бадья*, диал. *байна* и *байня* при литер. *баня*.

Гласный второго слога наиболее неустойчив, здесь возможны все гласные: *а* ∼ *о* ∼ *и* ∼ *ы* ∼ *у* ∼ *е*.

Конечный согласный слова реализуется то как заднеязычный, то как *й*, то совсем исчезает: *г* ∼ *к* ∼ *х* ∼ *й* ∼ Ø. Возможно, что в некоторых словах он представлен как *в*: ср. арх. *бадовяк*.

---

[35] Л. Хакулинен. Развитие и структура финского языка, II. М., 1955, стр. 50—51.

Если же учесть также закономерные чередования заднеязычных перед некоторыми суффиксами и окончаниями, то число реализаций конечного согласного еще увеличится: *з* ~ *ж* ~ *ч* ~ *ш*. Причем *з* возник, вероятно, в результате обобщения форм, в которых *г* чередовался с *з* перед *и*, *ѣ* (*батиз*). Однако результаты чередований возникли закономерно уже на славянской почве и не представляют большого интереса с точки зрения этимологической.

Место ударения в анализируемых словах тоже не является единым: оно засвидетельствовано как на первом (постоянное), так и на втором слоге слова в именительном падеже с переходом его на окончание в косвенных падежах [36], что, по мнению известного тюрколога Н. К. Дмитриева, изучавшего тюркизмы русского словаря, свидетельствует о большом возрасте заимствования [37]. Впрочем, вопрос о первоначальной акцентуации этого слова пока не может быть решен без дополнительных разысканий, хотя для большинства случаев легко устанавливается конечное ударение.

Характер звуковых изменений в словах рассматриваемой группы (чередование глухих и звонких согласных, тенденция к сингармонизму гласных) позволяет думать, что мы имеем дело с древним заимствованием из тюркских языков. Действительно, для древнейших булгаризмов венгерского языка характерно начальное звонкое *б*-[38], для современного же чувашского языка — единственного живого булгарского языка — характерно отсутствие звонких согласных, особенно в начале слова.

Действительно, в современном чувашском языке имеется точное соответствие русскому *батог* и близким к нему формам — это чувашское название палки *патак*, на которое в 1854 г. обратили внимание А. М. Шёгрен и И. Н. Березин и которое до сих пор не имеет убедительной этимологии. На связь русск. *батог* и чуваш. *патак* указывает и некоторая общность развития значений: как у русск. *батог*, *бадог*, так и у чуваш. *патак* имеется также значение 'определенная мера длины и объема' ('мера объема' только в русском) [38а].

В. Г. Егоров в «Этимологическом словаре чувашского языка» сопоставляет чуваш. *патак* 'палка' с киргизским, казахским, ногайским, карачаевским, башкирским (последнее по «Башкирско-русскому словарю» В. В. Катаринского, 1899) *бутак*, а также

---

[36] Здесь не имеются в виду западнославянские языки с фиксированным ударением.

[37] Н. К. Дмитриев. Ударение в русских словах тюркского происхождения. — «Сборник статей по языкознанию памяти заслуженного деятеля науки профессора Максима Владимировича Сергиевского». М., 1961, стр. 101.

[38] Z. Gombocz. Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache (=Mémoire de la Société Finno-Ougrienne, 30). Helsingfors, 1912.

[38а] См. «Словарь русских народных говоров» и Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка, вып. IX. Чебоксары, 1935, стр. 128—129.

уйгурским и каракалпакским *путак*, узбекским *буток*, алтайским (по «Словарю алтайского и аладагского наречий» В. Вербицкого. Казань, 1884), туркменским *пудак*, башкирским, татарским *ботак*, тувинским *будук*, ойротским (алтайским. — *И. Д.*), турецким *будак* 'ветвь, сук'. Но в дальнейшем отказывается от этого, хотя и делает попытку объяснить столь необычное сопоставление: «В чувашском наличие необычного *а* в начальном слоге хотя и можно объяснить ассимилятивным влиянием звука *а* второго слога, но, вероятнее всего, слово это восходит к русск. *батог*; для обозначения палки в чувашском имеется *туя*, соответствующее тюрк. *таяк*, а для обозначения ветви — *турат*» [39]. Однако А. Е. Горшков, который специально рассматривал русские заимствования в чувашск. языке, не приводит слова *патак* в числе русских заимствований и даже относит его к числу «природных слов чувашского языка» [40].

Вокализм чуваш. *патак* позволяет думать, что это или, действительно, недавнее заимствование из русского языка (однако из *батог* мы должны были бы скорее ожидать нечто в роде **патук*), или слово, восходящее к более древней форме с гласными переднего ряда типа **пäтäк*: ср. чуваш. *ар* 'мужчина'—казах. *ер* 'мужчина'; чуваш. *ас* 'память'—казах. *ес* 'память' и т. п.

Но и форма *патак*, вероятно, не является «природной» для чувашского языка, а заимствована в своей основе из языков финно-угорских. Источником для чуваш. *патак* могли послужить пермские формы с гласными переднего ряда типа коми-зырян. *бедь* (*беддь*), диал. *bed'*, *bedj* 'палка, посох, трость', удм. *боды* (из общепермск. **bedi* 'палка'); мар. *пондо* 'трость посох, дорожная палочка', *панды* 'палка'. Для всех этих форм В. И. Лыткин реконструирует форму **pʌntʌ* 'палка', при этом он считает невозможным сопоставлять эти финно-угорские формы с тюркскими и славянскими словами, так как они «фонетически далеки от финно-угорских слов» [41]. Ср. морд.-эрз. *монда* 'палка', мокш. *мандоня* 'палка' с уменьшительным суффиксом *-ня*.

Уже на чувашско-булгарской почве заимствованное общепермск. **bedi* было распространено весьма продуктивным в алтайских языках суффиксом -(*а*)*к*, который во многих случаях имеет уменьшительное значение, но в некоторых случаях его значение не вполне определенно [42].

---

[39] В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964, стр. 144.

[40] А. В. Горшков. Роль русского языка в развитии и обогащении чувашской лексики. Чебоксары, 1963, стр. 123.

[41] В. И. Лыткин. Краткий этимологический словарь восточно-финских языков (финно-угорский фонд). Проспект-макет. М., 1964, стр. 8—9.

[42] Г. И. Рамстедт. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, стр. 187—188. Впрочем, уменьшительный суффикс *-к-* есть и в уральских языках. См.: Л. Хакулинен. Структура и развитие финского языка, ч. I. М., 1953, стр. 110. Ср. морд. (мокш.) *бăйдек* 'палка'.

Впрочем, между перм. **bedi* 'палка', мар. *пондо*, *панды*, морд. *мандо* (мокш.), *монда* (эрз.), а также венг. *bot* 'палка' звуковые отношения не вполне выяснены [43]. Б. Мункачи считал, что все эти формы заимствованы из индо-иранского (ср. санскр. *mànthа-* 'мутовка', *manth-* 'мешать, перемешивать', но ему справедливо возражал Ю. Вихманн, объяснявший начальное *м-* мордовских слов чисто ассимилятивным воздействием носового *-н-*, закрывающего слог (еще до перехода начального **b > p*) [44]. Ср., впрочем, мокш. *байдек* 'палка' с начальным *б* и не вполне ясным *й*.

Что касается венг. *bot*, то Ю. Вихманн склонен объяснить его неполное соответствие или изменением **-nt-* > **-ntt-*, или же фонетическим влиянием (*-d* > *-t*) со стороны славянских слов (словен. *bât* 'булава', серб. *бȁт(а)* 'палка') [45]. О. Ашбот полагает, что «мадьяр. *bot* Stock следует, конечно, объяснить, если оно слав., не из *bat*, но из *бътъ*, срв. *moh* из *мъхъ*» [46].

Итак, финно-угорская форма **pʌntʌ* (с не вполне ясными гласными), прежде чем попасть к славянам в виде слова *батог*, подверглась ряду преобразований как на финно-угорской (исчезновение согласного *н* внутри слова), так и на булгарской почве (добавление уменьшительного, по-видимому, суффикса -(*а*)*к*). Изменение сочетания согласных *-нт-* в *-т-* с продлением предшествующего гласного (отсюда *а* на славянской почве) из истории тюркских языков неизвестно [47], но весьма обычно в языках финно-угорских (пермских) [48].

Озвончение конечного *к* в *г* могло произойти фонетически в тюркских булгарских притяжательных формах. Впрочем, известны и формы с *к*, а также со спирантизацией *к* в *х*. Формы с конечными *в* и *й* на месте заднеязычного согласного (арх. *бадовяк* [49], укр. диал. *батій*) тоже отражают тюркские явления, хотя, ввиду малой распространенности форм с конечными *в* и *й*, а также их неполной ясности, им не следует придавать большого значениия.

---

[43] См.: E. N. Setälä. Über Art, Umfang und Alter des Stufenwechsels im Finnisch-Ugrischen und Samojedischen. — FUF XII, 1912, Anzeiger, стр. 82.

[44] Y. Wichmann. Etymologisches aus den permischen Sprachen. — FUF XIV, 1914, стр. 82.

[45] Y. Wichmann. Указ. соч., стр. 82.

[46] О. Ашбот. Несколько замечаний на сочинение В. И. Ягича об истории происхождения церковно-славянского языка. СПб., 1903 (отд. оттиск из т. VII, кн. 4, ИОРЯС, 1902), стр. 61.

[47] М. Рясянен. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955, стр. 198.

[48] В. И. Лыткин. Историческая грамматика коми языка, ч. I. Сыктывкар, 1957, стр. 90—92; J. Szinnyei. Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. 2. Aufl. Berlin—Leipzig, 1922, стр. 34—35.

[49] Возможно, сюда же следует отнести блр. *бото́вье* 'Stengel von Küchenkräutern' (L. Sadnik, R. Aitzetmüller. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen, II. Leif. Wiesbaden, 1964, стр. 72), если это не от *ботва́*. Последнее более вероятно.

Конечное ударение большинства восточнославянских форм, по-видимому, также свидетельствует о тюркском посредстве.

Конечное *-р* в ряде русских и украинских форм можно объяснить заимствованием из говоров с глубоким заднеязычным *-ғ*, которое могло быть воспринято при заимствовании как увулярное *-р* [50].

Первоначальное значение 'палка' в ряде славянских языков изменилось в последующее 'бич, кнут', ибо для первоначального значения в языках были специализированы другие слова (ср. русск. *жердь*, *посох*, *слега*, *палка*, *кий*, *дубина*, *хворостина* и т. п.). Это значение проявилось уже в древнейших текстах, что дало основание Х. Шёльду считать значение 'бич, кнут' древнейшим, из которого якобы впоследствии получились значения 'палка' и т. п.[51] Едва ли второстепенная часть бича (деревянная палка) могла получить название всего орудия, а потом это название было перенесено на дорожный посох и т. п. Более логично предположить развитие значений: 'палка, хворостина' > 'бич' > 'кнут'.

Большое разнообразие фонетических вариантов слова в восточнославянских диалектах было вызвано воздействием как финского субстрата, так и воздействием живых соседних финских языков. Формы с *-д-* возникли под воздействием пермских и чувашского языков; формы с *-йт-*, *-йд-* обязаны воздействию как пермских языков (ср. формы с *-дй-* в коми-зярынских диалектах), так и языков типа мордовского (мокш. *байдек*) и т. д. Кроме того, следует учитывать и другой важный факт — сближение заимствования с исконными русскими словами и даже контаминации с ними.

Яркий пример контаминации старого русского заимствования *батог* с коми-зыр. *бедь* видим в производных архангельских *бедожнóй*, *бедожни́к* 'раненый, увечный, изуродованный; калека', которые помещены у Даля под гнездом *бѣ́дный* (с *ѣ*!). Вероятно, что основой для этих образований послужила диалектная форма **бедог*; первоначально эти слова, по-видимому, имели значение 'ходящий с палкой, батогом, **бедогом*'.

Присутствует контаминация и в диалектных терминах для обозначения короткой, бьющей части цепа: *батóг*, *бадóг*, *бáтик* и *битик*, *битéц*, *битóк*, *битýк*, *би́чик*, *бичýк* (см. вып. 2 «Словаря русских народных говоров»).

В названиях растений слово *батог* сближается часто со словом *ботва*. Ср. волог. *бáтвина*, 'палка'. Контаминированного происхождения калуж. *байбик* 'хворостина'.

---

[50] В качестве примера можно привести передачу арабского غ *ġ* как г во французском языке в отдельных словах: *razzia* < араб. غَزْوَة *ġазўа* 'набег' (ср. русск. *газúй*; *газавáт* — из мн. числа), при обычной передаче как *g*.

[51] H. Sköld. Lehnwörterstudien. Lund, 1923, стр. 5.

Вероятно, финскому влиянию обязано начальное ударение в целом ряде русских диалектных форм слова *батог*, хотя и не исключаются другие причины изменения места ударения.

Относительно времени заимствования слова *батог* славянскими языками можно целиком согласиться с мнением А. И. Соболевского, который считал, что «слово *батогъ* находится в разных славянских наречиях; если оно заимствовано у тюрков, то в глубокой древности» [52].

Ввиду почти полного отсутствия этого слова у южных славян (если не считать с.-хорв. *бȁток* 'треска') можно думать, что оно имело судьбу, одинаковую со словом *обры* 'авары', которое известно западнославянским языкам до сих пор, а также древнерусскому языку (знаменитый рассказ об обрах в «Повести временных лет»), но не известно южным славянам [53], поэтому можно предполагать, что оно проникло в славянские языки в период аварского господства в Паннонии.

В связи с историей слова *батог* следует упомянуть историю славянского названия Вены (польск. *Wiedeń*, чеш. *Vídeň*, укр. *Відень* < **Vědьńь*), которое, несомненно, связано с кельтским ее названием *Vindobona*. Славяне, очевидно, получили это название от кельтов через посредство какого-то языка, в котором сочетание *-nd-* превратилось в *-d-* [54]. Аналогичный процесс произошел в слове *батог*: *-nt-* > *-t-*. Возможно, что кельт. *Vindobona* попало к славянам через посредство какого-то финского народа, входившего в состав гуннских или аварских орд и в языке которого происходил процесс деназализации сочетаний *-nd-*, *-nt-* с продлением предыдущего гласного; отсюда *а* в *батог* и *ě* < *ē* в **Vědьńь*. Эти соображения тем более имеют вероятности, что историки уже давно считают, что гуннские и аварские орды в своем этническом составе были неоднородны, включая, наряду с тюркскими (и монгольскими?) элементами, также элементы финно-угорские и др.[55] Отсюда и возможность ранних заимствований из финноугорских языков в языки многих славян. Правда, следует учитывать также, что эти слова могли заимствоваться и в разные периоды, и от разных народов (особенно это касается вариантов), контаминируясь и сближаясь с другими словами.

В связи с историей и этимологией русск. *батог* представляется также возможность пересмотреть и этимологию слав. **batъ* 'дубина, колотушка', представленного в русском, польском, сербохорватском и словенском языках и чешских говорах и не имеющего удовлетворительных параллелей за пределами славян-

---

[52] «Записки Восточного отделения Русского археологического общества», 1906, т. XVII, вып. 1, стр. 8.

[53] А. Л. Погодин. Из истории славянских передвижений. СПб., 1901, стр. 58—61.

[54] См.: А. Л. Погодин. Указ. соч., стр. 28—29.

[55] А. Н. Бернштам. Очерк истории гуннов. Л., 1951, стр. 148, 178.

ских языков на индоевропейской почве [56]. Весьма вероятно, что и это слово относится к числу заимствований из финских языков (возможно, тоже через булгарское посредство), только оно заимствовано в неосложненной уменьшительным суффиксом форме *batъ < *bʌntʌ.

Не лишено интереса, что в финно-угорских языках наблюдается также другой вариант корня, который, по Ю. Вихманну, представляет другое слово: мар. *pàndə*, *pòndə* 'куст, ботва', удм. *пуд* 'ботва, рукоятка', а также коми-зыр. *под* (*подй-*) в составе выражений типа *капуста под* 'кочерыжка', т. е. 'ножка капусты', *тшак под* 'ножки гриба' [57]. Ср. также в некоторых коми-зырянских диалектах *пу* 'палка' при литер. *пу* 'дерево'.

Этому финно-угорскому корню соответствует болг. *бъm* 'жезл, палка' [58], с.-ц. слав. *бъmъ* 'жезл' (Miklosich LP, стр. 49), рум. *beț*, *bîtă*, *băt* 'палка, стебель' (Tiktin I, 179 указывает на связь со славянскими формами, сомневаясь в форме **bŭtŭ*). Сюда же относят обычно и словен. *bat*, *bet* (см. выше).

Об отношении этих финно-угорских, славянских и румынских форм между собой и к венг. *bot* 'палка' и к слав. **batъ* я пока судить не решаюсь.

---

[56] Фасмер I, стр. 133; L. Sadnik, R. Aitzetmüller. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen, 11. Lief, стр. 74. Близкие по значению русские диалектные формы типа *бáчегá* 'чурбан', *бáчúна* 'палка, кол', *бачеля́га* 'рычаг' и т. п. фонетически с трудом могут быть отнесены к этому гнезду (*нт* > *йт* > *тй* > *ч*?).

[57] Y. Wichmann. Указ. соч., стр. 82—83.

[58] Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов и Ст. Илчев («Български етимологичен речник», св. II. София, 1963, стр. 105) не приводят славянских параллелей и считают румынским заимствованием: из рум. *bîtă* 'дубина'.

А. И. Харсекин

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ЭТИМОЛОГИИ ФОРМ ЭТРУССКОГО VERBUM SUBSTANTIVUM

Вопрос о генетических связях этрусского языка, несмотря на большое число проведенных исследований, до сих пор остается спорным. Не раз высказывалось мнение о его возможной принадлежности к индоевропейским. Такая точка зрения получила довольно широкое распространение[1], хотя и не является общепризнанной[2]. Ее противники обычно указывают на то, что она основывается на разрозненных морфологических фактах и лексических параллелях, не всегда принадлежащих к наиболее устойчивым частям словаря, что, безусловно, снижает их доказательную силу. Пожалуй, только В. Георгиев попытался на место отдельных изолированных фактов поставить соответствия в ряде связанных между собой морфологических элементов и в основных группах лексики[3]. Но из-за сложности и недостаточной последовательности принимаемых им фонетических переходов его работа также была с недоверием встречена критикой.

Благоприятные условия для скептических высказываний создаются скудостью доступных нам этрусских языковых материалов, большими пробелами в знании тех форм, которые могли бы служить наиболее убедительными доводами при определении родственных связей. Важнейшими среди них, бесспорно, являются формы глагола 'быть', из которых, к сожалению, пока была известна только одна — 1 л. ед. ч. *ame* 'есмь'[4]. Такая изолиро-

[1] По вопросу индоевропейского характера этрусского языка накопилась уже обширная литература. Обзор основных работ, составленный в историческом плане, и дополнительную библиографию см. в кн.: E. Fiesel. Etruskisch (Die Erforschung der indogermanischen Sprachen, II). Berlin—Leipzig, 1931. Из недавних исследований можно указать: В. Георгиев. Вопросы родства средиземноморских языков. — ВЯ 1954, № 4, стр. 42—75; Он же. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. М., 1958, стр. 184—195; Он же. Hethitisch und Etruskisch. Sofia, 1962.

[2] Некоторые видные представители современной западноевропейской этрускологии — М. Паллоттино, К. Ольцша, А. Пфиффиг — выступают противниками этого взгляда.

[3] «Исследования по сравнительно-историческому языкознанию», стр. 187—193.

[4] См., например: M. Pallottino. Elementi di lingua etrusca. Firenze, 1936, стр. 57; A. Trombetti. La lingua etrusca. Firenze, 1928, стр. 212.

ванность затрудняла ее возведение к исходной индоевропейской основе. Поэтому было бы особенно важно выявить другие формы того же глагола. Анализ имеющихся в нашем распоряжении надписей позволяет сделать это, по крайней мере, применительно к двум из них, чему и посвящается настоящий доклад.

1. На дне фрагментированного краснолакового сосуда из Карнайо близ Ареццо[5] имеется граффито: *sez χuarϑe χartillas*. Как сообщает А. Фабретти, оно начертано в том месте, где на других обнаруженных там же обломках сосудов имеются гончарные клейма[6]. В сущности, оно также представляет собой распространенную фабричную надпись, аналогии которой известны, например, из оскской эпиграфики[7]. Его анализ удобнее начать с конца.

χartillas — видимо, гентилиций гончара в родительном падеже 'Хартилия', ср. лат. *Cartillius*, *Cartlia*[8]. Это имя представляет известный интерес. Среди других этрусских родовых имен, сохраненных погребальными надписями и принадлежавших представителям этрусского нобилитета, оно отсутствует. Само звучание (написание) его не вполне обычно для этрусского языка[9]. Небезынтересно поэтому его сопоставление с засвидетельствованным в Ликии, правда, в несколько более позднее время (I в. до н. э.), гентилицием Καρταλις[10]. Присутствие в Этрурии малоазийско-греческих ремесленников, в том числе и гончаров, предполагалось и ранее[11]. Теперь это предположение получает некоторую, хотя бы косвенную, опору в материалах надписей.

χuarϑe[12] — вероятно, местный падеж этрусского наименования

---

[5] A. Fabretti. Corpus inscriptionum Italicarum. Torino, 1867, № 466 bis.

[6] Там же.

[7] Чернолаковая тарелка из Суессулы: *minis* : *beriis* : *anei* : *upsatuh* : *sent* : *tiianei* «Миния Берия в гончарне изготовлены суть (т. е. изготовлены в гончарне Миния Берия) в Теано» (E. Vetter. Handbuch der italischen Dialekte. Heidelberg, 1953, [далее — HID], N 124a; M. Buffa. Nuova raccolta di iscrizioni etrusche. Firenze, 1935 [далее — NRIE], N 1017); тарелка из Теано: *vibieisen* : *beriieis* : *anei* : *upsatuh* : *sent* : *tiianei*: «Вибия Берия в гончарне изготовлены суть, в Теано» (HID, № 124b; NRIE, № 1036); другая тарелка из Теано: *beriiumen* : *anei* : *upsatuh* : *sent* : *tiianei* «В гончарне Бериев изготовлены суть, в Теано» (HID, № 124c; NRIE, № 1037).

[8] Corpus inscriptionum Etruscarum, № 848 и 1967. Оба имени представлены латинскими надписями, обнаруженными на территории Этрурии и относящимися к сравнительно позднему времени. Первое принадлежало гаруспику Луцию Картилию. Второе же, судя по размерам урны, было именем ребенка — Велии Карт(и)лии.

[9] Особенно удвоение согласного *l*.

[10] J. Sundwall. Die einheimischen Namen der Lykier nebst einem Verzeichnisse kleinasiatischen Namenstämme. — «Klio», 11. Beiheft. Leipzig, 1913, стр. 104; A. Trombetti. Saggio di antica onomastica Mediterranea. Firenze, 1942, стр. 34, 89.

[11] Например: M. Pallottino. The Etruscans. Harmondsworth, 1956, стр. 195.

[12] А. Фабретти в своей транскрипции этой надписи приводит чтение конечного *-e* лишь как возможное, но на основании им же опубликованного факсимиле (Указ. соч., табл. XXIX) оно не вызывает сомнений.

гончарни. Корень *χuar-* в конечном счете, видимо, восходит к и.-е. *$q^{u}er$-*, давшему ряд терминов, связанных с гончарным производством во многих индоевропейских языках. Например, др.-инд. *carú* 'котелок, горшок', др.-ирл. *coire* 'котелок', др.-исл. *hver-n-a* 'кухонный горшок'; возможно, также русск. *чара*, хотя последнее может быть заимствованием из тюрк. *čara* 'большая чаша'. Но этр. *χuar-* не может быть непосредственно выведено из указанного индоевропейского корня, который закономерно должен был бы дать **cer-*[13]. Поэтому приходится предполагать его заимствование из какого-то промежуточного источника. Это тем более вероятно, что данный «технический термин» и в других языках нередко представлен формами, которые, в силу их фонетических особенностей, не могут быть прямо выведены из индоевропейского языка-основы. Например, греч. κέρνος 'глиняная чаша для жертвенных плодов' и κέραμος 'глиняный сосуд, черепица, горшечная глина', являющиеся, по-видимому, старыми догреческими заимствованиями.

Корень *χuar-* в нашем случае распространен суффиксом *ϑ(e)*. Окончание *-e*, возникшее, вероятно, из более древнего *-ei* в соответствии с известными закономерностями этрусской фонетики[14], является показателем локатива[15].

Но наиболее интересным словом всей надписи для нас является *sez*, в котором, очевидно, сохранена форма 3-го лица мн. числа субстантивного глагола 'быть', т. е. 'суть'. Оно закономерно выводится из и.-е. *séṇti (t > z перед i с дальнейшей редукцией этой гласной и выпадением сонанта n)[16].

Другой несомненный случай употребления глагольной формы 3-го лица мн. числа имеем в *menaχzi*, представленном надписью на бронзовой статуэтке из Монтальчино[17]: *ϑa cencnei / ϑuplϑa/l cauzna / śuvluśi. lapiś menaχzi* «Тана Кенкне [богине] Туфулте, Ларт Каутсна [богу] Сувлу статую в дар приносят». Поскольку здесь говорится о принесении статуи двумя лицами, следует ожидать, что глагол-сказуемое должен стоять во множественном числе. И действительно, вместо известных по ряду других над-

---

13 См.: О. І. Харсекін. Про індоєвропейські компоненти етруської мови. — «Доповіді звітно-наукової конференції Кременецького педагогічного інституту». Кременец, 1965, стр. 72.

14 Например: M. Pallottino. Elementi di lingua etrusca, стр. 20.

15 См.: W. Deecke. Der Dativ *larϑiale* und die Stammerweiterung auf *-ali*. — «Etruskische Forschungen und Studien». II. Stuttgart, 1882, стр. 6; S. Bugge. Beiträge zur Erforschung der etruskischen Sprache. — «Etruskische Forschungen und Studien», IV. Stuttgart, 1884, стр. 102; F. Slotty. Beiträge zur Etruskologie. Heidelberg, 1952, стр. 115, 122.

16 О переходе t > z см.: О. І. Харсекін. Указ. соч., стр. 72. О выпадении сонантов перед смычными см.: E. Fiesel. Namen des griechischen Mythos im Etruskischen. Göttingen, 1928, стр. 58 сл.

17 M. Pallottino. Testimonia linguae Etruscae. Firenze, 1954, N 447 (далее — TLE).

писей[18] *menaχe*, *menece* 'дарует' находим здесь форму с окончанием *-zi*, фонетическая история которого (< и.-е. **-nti*) развивалась в том же направлении, как и в *sez*, и привела к аналогичному результату, но с сохранением конечного гласного *-i*[19].

В заключение можно сделать перевод всей надписи. Трудность точной передачи ее содержания по-русски заставляет сделать это средствами структурно более близкого этрусскому латинского языка: «Sunt [facta] in figlinā Cartilli», т. е.: «Суть в гончарне Картилия [эти изделия изготовлены]». Употребление глагола во множественном числе объясняется, видимо, тем, что здесь, как и в приведенных выше оскских надписях, речь идет об изготовлении не отдельных изделий, но целой партии товара.

2. Еще одна форма интересующего нас глагола, по-видимому, засвидетельствована в легенде на метательном снаряде из Клузия[20]. Эта краткая надпись гласит: *aśϑ tusnutnie*. Последнее слово является этрускизированным умбрским гентилицием, который в позднейшее время представлен как *Tussanius* в многочисленных латинских надписях, происходящих из Умбрии[21]. Для одного из представителей этого рода во время какого-то военного столкновения и предназначался, вероятно, этрусский метательный снаряд. Второе слово надписи *aśϑ* — несомненно, глагол в императиве, наиболее частым показателем которого в этрусском было окончание *-ϑ*[22]. Исходя из назначения надписи, в нем с достаточной вероятностью можно усматривать императив единственного числа глагола 'быть', также возводимый к и.-е. **ésdhi*. Вся надпись в таком случае переводится: «Будь для Туснутне!»

Теперь можно возвратиться к ранее известной форме 1-го лица ед. числа *ame* 'есмь'. Ее происхождение из и.-е. **ésmi* возможно в результате утраты согласного корня *s*. Впрочем, выпадение последнего в 1-м лице, при сохранении в остальных, не является редкостью и в других индоевропейских языках. В качестве примера можно указать на греч. εἰμί 'есмь', но ἐστί 'есть'; гот. *im* 'есмь', но *ist* 'есть'; алб. *jam* 'есмь', но *âsht* 'есть'; др.-ирл. *am* 'есмь', но *is* 'есть' и др.

Некоторое недоумение может при этом вызвать способ образования хорошо известного перфекта этого глагола *amce* 'был', поскольку очевидно, что перфектный суффикс *-ce* присоединяется здесь не к основе, но к форме, включающей согласный элемент окончания 1-го лица. Представляется возможным лишь следующее объяснение. Известно, что образования на *-mi* не были характерны для системы спряжения этрусского глагола. Представ-

---

[18] TLE 282, 370, 652.

[19] Различие это, возможно, чисто графическое.

[20] TLE 492.

[21] Corpus inscriptionum Latinarum, VI, 218, 1058, 1534, 2316, 27843; VIII, 10570; XI 6048 и др.

[22] Например: M. P a l l o t t i n o. Elementi di lingua etrusca, стр. 54.

ленное в данном случае, это окончание, безусловно, являлось архаизмом. Со временем оно потеряло свое исходное значение, чему в немалой степени способствовала также утрата корневого согласного. Таким образом, к моменту распространения перфектных образований на *-се ат-* стало восприниматься как настоящая основа данного глагола (в 1-м лице), от которой и был образован перфект *ат-се*.

Итак, рассмотренные формы субстантивного глагола являются, в дополнение к уже ранее приводившимся фактам, важным свидетельством индоевропейского происхождения основ этрусского языка. Надо полагать, что в массе имеющихся эпиграфических материалов скрываются и другие интересные и важные, но еще не идентифицированные индоевропейские элементы. Их выявление с помощью современных объективных научных методов должно составить ближайшую задачу этрусковедческих исследований.

М. Л. Воскресенский, А. А. Королев

О СОСТАВЛЕНИИ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ИТАЛИЙСКИХ ЯЗЫКОВ

Согласно традиционному взгляду италийская ветвь индоевропейских языков подразделяется на две группы: латино-фалискскую и оскско-умбрскую. Венетский язык не входит в состав италийских языков, хотя он и близок к ним, особенно к латинскому. В латино-фалискскую группу входят латинский язык с диалектами (пренестинским, тускуланским, ардеатским, норбанским и др.) и фалискский язык с диалектом города Капены. Язык сикулов по традиции относят к латино-фалискской группе [1]; однако автор одного из новейших исследований по языкам древней Сицилии У. Шмолль в своей книге [2] относит сикульский язык к иллирийской ветви индоевропейских языков. В то же время Э. Феттер считает, что этот язык составляет особую группу внутри италийских языков [3]. Но поскольку точное место языка сикулов в кругу индоевропейских языков не определено, мы не сочли возможным включить его в наш словарь.

Оскско-умбрская группа состоит из оскского языка и умбрского языка с близким к нему диалектом вольсков. Оскский язык в свою очередь подразделяется на следующие диалекты: собственно оскский, гирпинский, френтанский, бруттийский, луканский, сабинский, марруцинский, вестинский, марсийский и эквский.

Носители италийских языков были расселены в древней Италии следующим образом: латины занимали территорию к югу от Тибра, к северу от них обитали фалиски, на язык и письменность которых сильно повлияло соседство сначала этрусков, а затем латинов. Умбры заселяли небольшую область к северо-востоку от фалисков. Вольски занимали незначительную территорию к югу от Лациума. Собственно оски и носители различных оскских диалектов занимали всю южную часть Апеннинского полуострова, за исключением его юго-восточной части, занятой мессапами, восточных

---

[1] Ср., например: И. М. Тронский. Историческая грамматика латинского языка. М., 1960, стр. 26.

[2] U. Schmoll. Die vorgriechischen Sprachen Siziliens. Wiesbaden, 1958.

[3] E. Vetter. War das Sikulische eine italische Sprache? — «Glotta» 40, 1962, стр. 73.

территорий пиценов, а также этрусских и греческих колоний в Кампании и южной Италии. Близость таких соседей, как этруски, греки и латины, оказала значительное влияние на письменность и языки оскско-умбрских племен (в частности, в оскском имеется большое количество заимствований и калек с греческого языка).

При этимологической разработке италийских языков основное внимание уделялось фактам латинского языка, что объясняется огромным объемом сохранившейся лексики и вековой традицией изучения. В то же время оскско-умбрским языкам отводилась роль дополнительного, иллюстративного материала. Учитывая то, что латинской этимологии посвящены такие капитальные и авторитетные труды, как этимологические словари Вальде—Гофмана и Эрну—Мейе, целесообразно при составлении этимологического словаря италийских языков ограничиться материалом оскско-умбрских языков. Фалискский язык не представляет особенного интереса в этимологическом плане ввиду его большой близости к латинскому языку и крайне незначительного количества дошедших до нас слов. В 1965 г. вышла обобщающая монография Г. Джакомелли «Фалискский язык» [4], где имеется тезаурус фалискского языка, снабженный краткими этимологическими примечаниями. Однако он не является этимологическим словарем; поэтому мы сочли возможным представить этимологический словарь фалискского языка в качестве дополнения к основной части.

От оскско-умбрских языков до нас дошла лишь незначительная часть их словарного запаса. В настоящее время известно около трехсот оскских надписей, из которых около десяти довольно значительны по объему. Умбрский и вольскский языки представлены приблизительно пятнадцатью надписями (языковая принадлежность нескольких надписей спорна), из которых наиболее значительны Игувинские таблицы (около 4000 слов).

Лексика дошедших до нас оскско-умбрских памятников весьма однообразна и относится к периферийным областям словарного фонда. Самую многочисленную группу оскских надписей, но в то же время в лексическом отношении наиболее бедную составляют надгробные надписи; имеется несколько заговоров с проклятиями (tabulae defixionum), строительных, посвятительных надписей, надписей сакрального содержания, а также несколько законов и договоров. Известны также многочисленные монетные легенды. Очень короткая вольскская надпись (Tabula Veliterna) представляет собой «священный закон» (lex sacralis). Игувинские таблицы представляют собой описание ритуалов, остальные умбрские памятники — надгробные надписи и краткие монетные легенды.

---

[4] G. Giacomelli. La lingua falisca. Firenze, 1965.

Найти точную этимологию многочисленных hapax legomena и слов, обозначающих неясные реалии (что особенно характерно для умбрской лексики), становится иногда невозможным (ср. совершенно иное положение с латинской лексикой). Приведем несколько примеров.

Умбрское EREÇLU: на основании контекста исследователи предполагают, что это некий культовый объект, но далее толкования расходятся. Феттер считает это изображением какого-то божества; Поултни переводит 'статуя'; Бак, фон Планта, Бюхелер считают, что это 'святилище, храм'; Девото — 'маленький алтарь, очаг'; Пизани — 'храм травы'; Пфиффиг — 'дополнительный алтарь (Nebenaltar)'.

Умбрское AMPEŘIA: Феттер переводит: 'то, что не приносится в жертву на земле'; Поултни — 'мясо'; Боттильони — 'внутренности'; Муллер считает это слово заимствованием из греческого ἄμπελος 'виноградная лоза' (с $\check{R} < d/l$), ср. греч. ἄλειφα 'мазь, масло' > умбр. AŘEPES 'жир, сало' (?).

Умбрское nepitu: Феттер переводит: 'уничтожать'; Пизани — 'ослаблять'; Бак, Поултни, Боттильони и др. — 'залить водой'.

Умбрское perso: Феттер считает это наречием со значением 'внизу, на земле'; Бак переводит 'канава для возлияний'; Поултни — 'холм, почва, алтарь из дерна'.

Для обоснования своего толкования каждый исследователь предлагает свою собственную этимологию.

На данном этапе мы вынуждены ограничиться сбором всех существующих толкований и этимологий с указанием на наиболее вероятные из них.

Имеется большое количество надписей, сохранившихся фрагментарно (это относится в большей степени к оскам), так что смысл даже хорошо сохранившихся слов установить бывает невозможно. Таковы, например, оскские Ϝολλωhομ (Vet. № 184), tecliam (Vet. № 120), andue (Vet. № 179 B), hb. (Vet. № 157). Мы считаем необходимым включать в этимологический словарь те слова, которые не поддаются толкованию и, соответственно, этимологизации в настоящее время, но, возможно, будут интерпретированы в будущем. Поэтому следует отделить случаи типа Ϝολλωhομ от совершенно безнадежных случаев типа hb. На правах отдельных статей в словарь войдут целые надписи, которые в настоящее время даже не поддаются делению на слова и, следовательно, толкованию, например оскская надпись (Vet. № 103) pepufripekkelledehtid.

Обломки слов, которые невозможно восстановить, в этимологический словарь включаться не будут. Примеры таких случаев весьма многочисленны: оскские: l. (Vet. № 88 A); обломанное с обеих сторон — ari — (Vet. № 91); e—a: mia: (Vet. № 68); aí. . .ns (Vet. № 32 B).

При составлении этимологического словаря италийских языков особую проблему составляет алфавитный порядок слов. Это объясняется тем, что оскские и умбрские памятники записаны различными алфавитами. Умбрские записаны национальным умбрским письмом и латинским алфавитом, приспособленным для умбрского языка. Оскские надписи записаны оскским национальным и греческим алфавитами (Сицилия, Бруттий, Лукания); в Кампании иногда встречаются надписи, составленные с помощью этрусского алфавита. Носители так называемых североокских диалектов, т. е. пелигны, марруцины, вестины, сабины и марсы, пользовались латинским алфавитом. Поэтому часто встречаются «алфавитные дублеты», т. е. одни и те же слова, записанные различными алфавитами. Например, умбрские: ahatripursatu — A(H)TREPUŘATU; disrtu—TEŘTU; persclo—PERSKLUM; anderuacose—ANTERVAKAZE; Grabouie—KRAPUVI; Sansie (Sanśie)—SAÇE. Оскские: национальным алфавитом DEDED—этрусским tetet—латинским dided; национальным IUVEÍ—греческим ΔιουFει — латинским Ioue; национальным PAKUVIIS — греческим ΠακFηις — латинским Pacuies; национальным PÚPIDIIS — латинским Popdis; национальным PÚNTIIS — греческим Πομπτιες — латинским Punties.

На основании того, что большинство умбрских слов являются «алфавитными дублетами», мы сочли целесообразным составить умбрский словник по порядку латинского алфавита, причем умбрская буква *Ř* приравнивается к лат. *rs*, а *Ç* — к *ś*. Слова, записанные исключительно национальным алфавитом, идут по общему порядку латинского алфавита. Таким образом, умбрское слово, записанное национальным алфавитом и начинающееся, например, с *T*, идет под лат. *t*, даже если оно отражает фонетическое *d* и, будучи записано латинским алфавитом, начиналось бы с *d*; например, умбр. TIÇEL 'день', ср. оск. DIÍKULUS, лат. dies.

К оскской же части этимологического словаря этот принцип неприложим, так как большинство оскских слов записано национальным алфавитом, а «алфавитных дублетов» весьма мало. Поэтому мы сочли необходимым дать оскский словник по порядку национального алфавита, другие же алфавиты приравниваются к нему согласно ниже помещенной таблице (см. стр. 282).

Фалискские памятники записаны национальным алфавитом, восходящим к этрусскому, и обычным латинским. Поэтому мы составили фалискский словник по порядку латинского алфавита в соответствии с принципами расположения слов в умбрской части словаря.

Во время работы над словарем мы убедились, что помещение оскских и умбрских слов в общем алфавитном порядке, как это сделано в глоссариях Э. Феттера [5] и Дж. Боттильони [6], чрезвы-

---

[5] E. Vetter. Handbuch der italischen Dialekte, I. Heidelberg, 1953.
[6] G. Bottiglioni. Manuale dei dialetti italici. Bologna, 1954.

чайно неудобно для пользования; поэтому мы представляем этимологический словарь италийских языков состоящим из двух частей: оскской и умбрской. Немаловажным аргументом в пользу такого разделения является вышеупомянутое различие в принципах расположения слов в алфавитном порядке в оскской и умбрской частях словаря.

Апеллативы, сохранившиеся в виде глосс в произведениях античных авторов, включаются в словарь и даются в общем алфавитном порядке в соответствующих частях словаря; однако дается только перевод глоссируемого слова, а вся цитата приводится на языке источника (обычно на латинском, реже на греческом).

Ономастика (которая составляет примерно половину лексики всех оскских памятников) не включается в основные части словаря и помещается соответственно после оскской и умбрской частей. В этом случае мы ограничились приведением мнений исследователей о возможных связях того или иного топонима или антропонима. Как известно, многочисленные антропонимы в италийских языках заимствованы из этрусского или имеют в нем соответствия; изложение материала в данном случае в основном совпадает с изложением у В. Шульце [7], который ограничивается сопоставлением латинского материала с этрусским, а также с фактами некоторых других языков древней Италии.

Этимологизируемые слова не снабжаются номерами надписей, в которых они встречаются, за исключением следующих случаев: 1) когда слово представляет собой hapax legomenon, 2) когда неясно словоделение, 3) когда неясно чтение самого слова. В этих случаях мы приводим номер надписи по корпусу Э. Феттера (см. прим. 5). В тех случаях, когда надпись отсутствует у Феттера, указывается ее первая публикация. Номера надписей по другим изданиям не приводятся вовсе, так как в корпусах всегда имеется таблица конкорданций.

При составлении этимологического словаря мы не считаем возможным ограничиться нахождением для оскских и умбрских слов лишь латинских соответствий; мы стремились привлечь возможно более широкий индоевропейский материал, относясь с особым вниманием к цельнолексемным и словообразовательным изоглоссам и параллелям.

Предполагаемый этимологический словарь италийских языков (кроме латинского) будет отличаться от работы Ф. Муллера «Праиталийский словарь» [8]. Основное внимание в ней уделено реконструкции праиталийского словарного фонда, главным образом на материале латинского языка. Оскско-умбрским языкам

---

[7] W. Schulze. Zur Geschichte lateinischer Eigennamen. Berlin, 1904.
[8] F. Muller Jzn. Altitalisches Wörterbuch. Göttingen, 1926.

отведена второстепенная роль, их лексический запас полностью не охвачен. Словарная статья в этой работе строится следующим образом: дается реконструированная италийская праформа, за которой следуют примеры из различных италийских языков и отдельные примеры родственных слов из других индоевропейских языков.

В предполагаемом этимологическом словаре дается слово (оскское, убмрское, вольскское или фалискское) во всех засвидетельствованных формах, после чего следует перевод на русский язык; если слово представляет собой неясный термин, дается его традиционный латинский перевод согласно communis opinio; далее следует предполагаемая праформа этого слова, затем идет наиболее вероятная этимология, иллюстрируемая многочисленными примерами, и индоевропейский корень по словарю Ю. Покорного. В конце статьи приводятся маловероятные и ошибочные толкования и этимологии. (Примеры пробных статей см. ниже.)

За последние годы италийское языкознание обогатилось весьма важными работами, исследующими италийские языки в различных аспектах, в том числе и в этимологическом плане. Работа Э. Феттера содержит ценный эпиграфический анализ материала и является наиболее полным корпусом оскско-умбрских надписей; книга Дж. Боттильони ценна этимологическими заметками в глоссарии (мы не касаемся здесь грамматики оскско-умбрских языков, которой в основном посвящена эта работа, так как она не имеет прямого отношения к собственно этимологии); работа В. Пизани (V. P i s a n i. Le lingue dell'Italia antica oltre il latino. Torino, 1952; изд. 2 — 1964) содержит многочисленные оригинальные толкования и этимологии.

В то время как по оскскому языку не существует каких-либо работ обобщающего характера, по умбрскому имеются такие монументальные монографии, как: J. P o u l t n e y. The bronze tables of Iguvium. New York, 1959; G. D e v o t o. Tabulae Iguvinae. Roma (последнее издание 1962 г. — всестороннее исследование Игувинских таблиц); особенно выделяется работа: A. E r n o u t. Le dialecte ombrien. Paris, 1961, которая представляет собой наиболее полную сводку толкований умбрских слов с подробным филологическим комментарием, не являясь, к сожалению, этимологическим словарем. А. Эрну обычно ограничивается приведением родственного латинского слова и иногда приводит индоевропейский корень по словарю Ю. Покорного. Новейшая работа А. Пфиффига (A. P f i f f i g. Religio Iguvina. Wien, 1965) посвящена в основном толкованию различных реалий и ритуалов, в области же этимологии он лишь использует выводы своих предшественников.

Таблица алфавитов

Оскские алфавиты				Умбрские алфавиты	
национальный	латинский	этрусский	греческий	латинский	национальный
A	a	a	α	a	A
B	b	p	β	b	B, P
D	d	t	δ	c, q	K
E	e	e	ε, η	d	D, T
F	f	f, φ	φ, f	e	E
G	g	c, k	γ	f	F
H	h	h, χ	χ, h	g	K
I	i	i	ι	h	H
Í	i, e	i	ι	i	I
K	c, q	c, k	κ	l	L
L	l	l	λ	m	M
M	m	m	μ	n	N
N	n	n	ν	o	U
P	p	p	π	p	P
R	r	r	ρ	r	R
S	s	s	σ	(rs	Ř)
T	t	t	τ	s	S
U	u	u	ου, υ	ś	Ç
Ú	o	u	ο, ω	t	T
V	u (=v)	v	Ϝ	(ts	Z)
Z	s	s	ζ	u	U, V

ПРОБНЫЕ СТАТЬИ

Фалискский язык

DUPES, nom. sg. m. (№ 241) = лат. dupondius 'монета в два асса'; (т. е. dupe(n)s < *dupends; в фал. ступень *o* отсутствует; ср. лат. lībripens 'армейский казначей', умбр. NUŘPENER (abl. pl.) = *novo-dupondiīs 'новый дупондий', Vet. s. v.). DU-, ср. лат. duo 'два', умбр. dur (nom.), TUVA (nom.-acc. n.), греч. δύο, ст.-слав. дъва, др.-инд. dvā́u. -PES (*pends), ср. лат. pendeō 'висеть', pondus 'фунт, вес', умбр. AMPENTU (= лат. impenditō 'нависать'), греч. πόνος 'труд', πενία 'бедность'. Ср. сложные слова: лат. assi-, inter-pondium, мессап. argorapandes. См. EM 187—188, 494—495; WH II 278—280. Хербиг: dupes = лат. homo (т. е. du + pes 'двуногий', ср. умбр. композит. dupursus (abl. pl.) = лат. bipedibus 'двуногий') (Gl. 12, 233). Штольте читает: idu (где i от предшествующего слова fitai), т. е. i(n)du = лат. endo 'внутри' и res, лат. то же, т. е. 'во внутреннем владении' (Gl. 17, 106). Буонамичи

относит d к предшествующему слову (см. fitai) и читает: ures = лат. *urnata 'в виде урны' (?) (Il dial. fal. 37 и сл.). Рибеццо читает: dures 'длиться, продолжаться' (2 sg. pr. conj.), ср. лат. duro то же (RIGI 2, 245—251; 11, 151—152). Близко к Штольте мнение Джакомелли: idupes, т. е. i(n)dupe(n)s < *indu-pends, где indu = лат. endo. (Ср. LF 248; EM 312; WH I 694; Pok. 181 и сл., 988).

TULOM, 1 sg. aor. II (№ 329 B) = лат. tuli 'я принес'; tulom < *te-tulom, редупл. аорист, ср. лат. tuli, tetuli (перфект) (Vet. s. v.). Ср. лат. tuli, tollo 'поднимаю', греч. ἔτλην 'я перенес', др.-ирл. tlenaid 'он поднимает', гот. þulan 'переносить', др.-инд. tulayāti 'он весит', и.-е. корень *telə-. См. EM 694; WH II 688; Pok. 1060. Маловероятны остальные толкования: 1) антропоним этрусского происхождения; ср. этр. надпись: tulate tulas urate (Buffa № 986); м. б., = лат. Tullum (acc. sg. m.); 2) название сосуда или нечто подобное; тогда из *tl̥-óm 'дар', ср. лат. tuli (Herbig, Gl. 5, 238, прим. 1).

Умбрский язык

Dia (VIa 21), 3 или 2 (Vet.) sg. pr. conj. 'давать' < *du̯īi̯a- < *du̯i-/dou̯i- (ср. purdouitu); в данном контексте скорее 'причинять', ср. лат. dare morsus, ruinas, по смыслу = facere; ср. лат. duim, duam (1 sg. pr. conj.) к do, dare 'давать'; ср. фал. DOVIAD (3 sg. pr. conj.) См. Vet. 236; Pt. 239; Er. 113; Mul. 140; Gusmani IF 71, 64—80. Менее вероятны следующие толкования: Dev. 176: = лат. bis 'дважды'; Pis. 143: переводится лат. videatur 'кажется' и сравнивается с греч. δέατο то же; Bott. 298: = лат. dures 'длиться, продолжаться'; ср. лат. dudum 'прежде'. См. также dirsa, purdouitu.

Dira (Vet. 366) 'зло': Sabini et Umbri quae nos mala dira appellant. Serv. Avet. Aen. 2, 235. Из *du̯ei-ra-; ср. лат. dirus 'плохой' (заимствовано из какого-либо италийского языка, иначе начальное du̯- > b-). Ср. др.-инд. dvēṣṭi 'он ненавидит'; авест. dvaēš 'враждебно относиться'; арм. erknčim 'боюсь'; греч. δέδ(F)οικα, δείδω 'боюсь'; δεινός 'ужасный'; ср.-ирл. dōel (< *du̯oi-lo-) 'испуг'; и.-е. корень *du̯ei- 'бояться'. См. Frisk. I, 354—355; 357—358; Boisacq 169; EM 176; WH I, 353—354; Mul. 143; Pok. 227—228; Er. Elem. dial. 153 и сл. Далее, возможно, следует отнести к dur (см.).

Nesimei (VIa 9), loc. sg. n., adv. superlat. 'в ближайшем месте', из *ned-so-mo-, см. Pt. 312 (который считает возможным также nedh-tm̥mēd), Bott. 462, Er. 90. Ср. оск. NESSIMAS (nom. pl. f.) 'ближайший', NISTRUS (acc. pl. compar: *ned-tĕro-) 'ближе'. Далее ср. лат. nodus 'узел' (которое сопоставляют с лат. necto 'связывать' < *nedh-, EM 435, 443), др.-ирл. nessa 'ближе', nascim 'связываю' (< *nₔdskō-), гот. nati 'сеть'; и.-е. корень *ned-, *nₔd- 'связывать'. Если же nesimei < *ne-zd-is-sm̥o- (ср. др.-инд. nédiṣṭhas, авест. nazdišta- 'ближайший', то к и.-е. *ne- 'наверху, рядом' + *sed- 'сидеть' (см. sersitu). Pis. 138: предлагается сопоставить с гот. nehwa- 'соседний' (тогда умбр. слово из *neku̯-sm̥ō-). См. WH II 144—145; 171—173; Pok. 758—759; Mul. 385.

NUŘPENER (Va 13), abl. pl. = лат. *nọvo-dupondiīs (Vet. 224, Bott. 403, Pt. 213) 'новый дупондий' (dupondius, -ium 'римская монета в два асса') < *nou̯o-du-pend-ii̯o-; ср. также лат. assipondium 'весом в один фунт' (Bréal. 241 и сл.), фал. DUPES (см.); NU- — см. NUVIME; -Ř- — см. dur; -PENER — см. AMPENTU. Менее вероятно: vBlum. 44, Dev. 405: = лат. *nudipondiīs, т. е. assibus librariīs 'асс весом в один фунт', где nudus 'голый' семантически = итальян. netto 'чистый' (что невозможно, так как nudus < *nogu̯e-dho-; ср. ту же этимологию у Бругманна, который переводит лат. 'ea' (pl. n.) = 'нечто (чистое)'). Büch. (ad loc.): = *nullipondiīs, т. е. 'не весящий ничего' — очень сомнительно. Пизани предполагает корень *n̥eud-, ср. лтш. nāuda 'монета', лит. naudà 'владение, собственность', др.-в.-нем. niozzan 'владеть, пользоваться', т. е. в данном случае NUŘPENER = лат. *pecuni-pendiīs, и переводит лат. pars 'доля, часть' (Pis. 215). См. Pt. 221, Er. 123, WH II 185.

RANU (IIb 19), abl. sg., название сосуда (Vet. 206; Dev. 363: vas triplex 'тройной сосуд'); или некая местность (Büch. ad loc., v. Pl. s. v., Pis. 205): ср. греч. ῥαίνω 'поливать, окроплять', и.-е. корень *u̯ren- 'окроплять' и т. п. (Pok. 1182). Неверно vBlum. 73: к лат. granum 'зерно' (та же этимология для randem-e), где gr-/r- (ср. 'Ραικός· Ἕλλην· Ῥωμαῖοι δὲ τὸ προσθέντες Γραικόν φασι. Hes.). Вряд ли след. сопоставлять с этр. ranem, ranis = лат. libum 'род пирога' (?; Ribezzo, RIGI 20, 192). См. Pt. 197, 321; Er. 128; Bott. 423; Pfiffig 79; Goldmann, SE 12, 407; WH II 619.

Сокращения

vBlum.	A. von Blumenthal. Die Iguvinischen Tafeln. Stuttgart, 1931.
Boisacq	E. Boisacq. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. 2e éd. Heidelberg—Paris, 1916.
Bott.	G. Bottiglioni. Manuale dei dialetti italici. Bologna, 1954.
Bréal	M. Bréal. Les Tables Eugubines. Paris, 1875.
Büch.	F. Bücheler. Umbrica. Bonnae, 1873.
Buffa	M. Buffa. Nuova raccolta di iscrizioni etrusche. Firenze, 1935.
Buonamici. Il dial. fal.	G. Buonamici. Il dialetto falisco, parte I. Imola, 1913.
Dev.	G. Devoto. Tabulae Iguvinae. Romae, 1940.
EM	A. Ernout, A. Meillet. Dictionnaire étymologique de la langue latine. 4e éd. Paris, 1959.
Er.	A. Ernout. Le dialecte ombrien. Paris, 1961.
Er. Elem. dial.	A. Ernout. Les éléments dialectaux du vocabulaire latin. 2e éd. Paris, 1929.
Frisk	H. J. Frisk. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1954 —
Hes.	Hesychius Alexandrinus. Lexicon. Editio minor, hrsg. M. Schmidt. Jena, 1867.
LF	G. Giacomelli. La lingua falisca. Firenze, 1965.
Mul.	F. Muller Jzn. Altitalisches Wörterbuch. Göttingen, 1926.

Pfiffig	A. Pfiffig. Religio Iguvina. Wien, 1965.
Pis.	V. Pisani. Le lingue dell'Italia antica oltre il latino. Torino, 1964.
vPl.	R. von Planta. Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte, Bd 1, 2. Straßburg, 1892—1897.
Pok.	J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949—1959.
Pt.	J. Poultney. The bronze tables of Iguvium. New York, 1959.
Vet.	E. Vetter. Handbuch der italischen Dialekte, I. Heidelberg, 1953.
WH	A. Walde. Lateinisches etumologisches Wörterbuch. 3. Aufl. von J. B. Hofmann. Heidelberg, 1938—1954.
Gl.	Glotta. Göttingen.
IF	Indogermanische Forschungen. Berlin.
RIGI	Rivista indo-greco-italica di filologia, lingua, antichità. Napoli.
SE	Studi etruschi. Firenze.

Г. А. Климов

АБХАЗОАДЫГСКО-КАРТВЕЛЬСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

В ходе сравнительно-исторического изучения отдельных групп кавказских языков, а также сравнительно-типологического исследования последних между ними к настоящему времени проведен ряд интересных структурных аналогий. При преимущественно промежуточном положении картвельского языкового типа между абхазско-адыгским, с одной стороны, и нахско-дагестанским, с другой, особенное внимание обращают на себя довольно далеко идущие структурные схождения абхазско-адыгских и картвельских языков, впервые замеченные еще пионерами отечественного кавказоведения. Так, например, между обоими языковыми группами уже давно были установлены сходства в древней структуре глагола (ср. состав и аранжировку его грамматических морфем) и производных от него имен [1], был отмечен большой, особенно в историческом плане, удельный вес префиксального строя в словоизменении и словообразовании [2], с осно-

[1] См.: П. Чарая. Об отношении абхазского языка к яфетическим. — МЯЯ, IV. СПб., 1912, стр. 63—70 (далее — Чарая); Н. Марр. К вопросу о положении абхазского языка среди яфетических. — МЯЯ, V. СПб., 1912, стр. 24—27 (далее — Марр. К вопросу); А. Г. Шанидзе. Показатель лица у склоняемых слов в картвельских языках. — «Труды ТГУ» I, 1936 (на груз. яз.); И. А. Джавахишвили. Первоначальный строй и родство грузинского и кавказских языков. — «Введение в историю грузинского народа», II. Тбилиси, 1937, стр. 586—591 (на груз. яз.); К. Д. Дондуа. К генезису формы сравнительно-превосходной степени в картвельских языках. — «Язык и мышление», IX. М.—Л., 1940, стр. 37; А. С. Чикобава. Морфологические встречи абхазского языка с картвельскими языками. — «Изв. ИЯИМК», XII. Тбилиси, 1942 (на груз. яз.); К. В. Ломтатидзе. О категории «версии» в абхазском глаголе. — «Труды ТГУ», вып. XXX—XXXI, 1947; Она же. К вопросу о категории залога в абхазском языке. — ИКЯ, VIII. Тбилиси, 1956 (на груз. яз.); Она же. К вопросу о категории взаимности в картвельских языках. — «Вопросы структуры картвельских языков», II. Тбилиси, 1961 (на груз. яз.); Г. И. Мачавариани. К генезису форм сравнительной степени в картвельских языках. — «Труды ТГУ» 71, 1958, стр. 122—125 (на груз. яз.); Г. В. Рогава. К вопросу об истории полиперсонализма в иберийско-кавказских языках. — ИКЯ, XIII. Тбилиси, 1962 (на груз. яз.).

[2] См.: А. С. Чикобава. Иберийско-кавказское языкознание, его общелингвистические установки и основные достижения. — «Изв. ОЛЯ АН СССР», т. XVII, 2, 1958, стр. 126—127; Г. А. Климов. К типологической характеристике картвельских языков (в сопоставлении с другими

ванием предполагается определенная близость древнейшей общекартвельской («протокартвельской») фонологической системы (состав и пути преобразования вокализма, использование вокалических чередований в грамматической функции, наличие так называемых «гармоничных» групп согласных, рядов свистяще-шипящих и, возможно, лабиализованных согласных и т. п.) к абхазско-адыгской [3]. Хотя историко-типологические критерии, даже будучи дополнены материальными сопоставлениями, нерелевантны в решении проблем языкового родства, входящих исключительно в компетенцию сравнительно-исторического исследования, естественно допустить, что устанавливаемые параллелизмы структурно-типологического характера могут послужить некоторым ориентиром и для историко-генетического исследования в рамках иберийско-кавказской гипотезы, предполагающей существование отдаленного родства между всеми тремя группами автохтонных языков Кавказа. Естественной базой этого исследования, позволяющей так или иначе решить вопрос о наличии межгрупповых закономерностей соотношения в исконном материале, должно служить определение качественной и количественной стороны лексических взаимосвязей абхазско-адыгских, картвельских и нахско-дагестанских языков.

Выявление исконных абхазскоадыгско-картвельских лексических параллелей наталкивается, однако, на весьма существенную объективную трудность, заключающуюся в большой материальной гетерогенности абхазско-абазинской и адыгской подгрупп внутри самих абхазско-адыгских языков, долгое время мешавшую даже последовательной демонстрации их генетического родства. И хотя степень этой гетерогенности, по-видимому, несколько преувеличена вследствие совершенно недостаточной изученности звуковых соответствий между обеими подгруппами, в настоящее время в абхазско-адыгскую праязыковую плоскость удается проецировать довольно ограниченное число основ — всего около трехсот (восстановлению здесь материальной непрерывности в некоторой мере способствуют факты убыхского языка, по существу лишь недавно вовлеченного в орбиту сравнительно-исторического исследования). Вместе с тем наиболее важным методическим недостатком проводившихся в этом направлении работ явилась опора

иберийско-кавказскими языками). — «XXV Международный конгресс востоковедов (доклады делегации СССР)». М., 1960, стр. 4—5.

[3] См.: С. М. Жгенти. К вопросу о лабиализованных согласных в картвельских языках. — «Изв. ИЯИМК», X. Тбилиси, 1941 (на груз. яз.); Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани. Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Типология общекартвельской структуры. Тбилиси, 1965, стр. 373; Г. И. Мачавариани. Консонантизм картвельских языков. Тбилиси, 1965, стр. 101—108 (на груз. яз.); Г. А. Климов. Кавказские языки. М., 1965, стр. 37; Г. И. Мачавариани. К типологической характеристике общекартвельского языка-основы. — ВЯ 1966, № 1, стр. 8.

на сравнение не групповых архетипов, стоящих, по крайней мере в хронологическом отношении, значительно ближе друг к другу, а отдельных фактов современных представителей обеих языковых групп.

Если устранить из рассмотрения целый ряд основ очевидного дескриптивного (звукоподражательного или звукосимволического) характера, вообще очень широко распространенных во всех группах кавказских языков, но непоказательных в плане определения генетических взаимосвязей языков [4], то можно привести (почти всегда на уровне групповых архетипов) около сорока абхазско-адыгско-картвельских материальных сопоположений. Поскольку предлагаемый ниже список регистрирует, по-видимому, наиболее достоверные сближения, отвлекаясь от в общем довольно многочисленных, однако либо малодостоверных, либо вообще ошибочных сопоставлений, известных из литературы, он в той или иной мере заслуживает внимания гипотезы внутреннего родства кавказских языков [5].

1. Картв. *mz_1e*- 'солнце' ~ абхаз.-адыг. **m(a)za*- 'луна' (ср. Чарая, стр. 29). В обеих основах можно усматривать исторический словообразовательный префикс **m(a)*- (см. ниже, № 37). Картвельская форма допускает трактовку в качестве былого атрибутива от глагольного корня с семантикой 'светить', 'блестеть'. Отнесение сюда нах.-дагест. **bаӡ*- 'луна', реконструированного Н. С. Трубецким [6], очень сомнительно не только ввиду начального согласного, но и вследствие того, что в нахско-дагестанских языках словообразовательный префикс **m(a)*- пока не прослеживается.

---

[4] Об этой категории основ в картвельских языках см.: Fr. N e i s s e r. Studien zur georgischen Wortbildung. — «Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes» XXXI, 2, 1953, стр. 51—74.

[5] Абхазскоадыгско-картвельские лексические сопоставления (впрочем, почти исключительно на уровне отдельных языковых фактов, а не праязыковых архетипов) предлагались преимущественно в следующих работах: П. Ч а р а я. Указ. соч., стр. 18—54; Н. М а р р. Указ. соч.; И. А. Д ж а в а х и ш в и л и. Указ. соч., стр. 415—424 и 611—621; Х. С. Б г а ж б а. Общие корни и основы в абхазском и картвельских языках. — ИКЯ, II. Тбилиси, 1948; К. В. Л о м т а т и д з е. Некоторые вопросы звуковых процессов и звуковых соответствий в иберийско-кавказских языках. — «Сообщения АН Груз.ССР», XVI, 10. Тбилиси, 1955 (далее — Ломтатидзе. Некоторые вопросы); О н а ж е. К истории основы числительного «один» в картвельских и абхазско-адыгских языках. — ИКЯ, XIII. Тбилиси, 1962 (на груз. яз.); Г. В. Р о г а в а. К вопросу о структуре именных основ и категориях грамматических классов в адыгских (черкесских) языках. Тбилиси, 1956 (далее — Рогава); Г. А. К л и м о в. Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964 (далее — ЭСКЯ); K. B o u d a. Beiträge zur etymologichen Erforschung des Georgischen. — «Lingua» II, N 3, 1950; О н ж е. Südkaukasisch-nordkaukasischen Etymologien. — «Die Welt des Orients» II, 1955 и др.

[6] N. T r o u b e t z k o y. Notes sur les désinences du verbe dans les langues tchétchénolesghiennes (caucasiques orientales). — BSL XXIX, 1, 1928, стр. 165.

2. Картв. **dγe-* 'день' ~ абхаз.-адыг. **ṯəγa-* 'солнце' (ср. Чарая, стр. 29). Аналогичное семантическое чередование хорошо известно из материала целого ряда языковых семей.

3. Картв. **g^wl̥-* 'сердце' ~ абхаз.-адыг. **g^w(a)-* то же. Одно из наиболее рано выдвинутых в кавказоведении сближений, подтверждающих, по мнению П. К. Услара, родство кавказских языков. Значительно более проблематичное сопоставление обеих основ с нах.-дагест. **rak̞w-* 'сердце' допустимо, если предположить исторически префиксальный характер начального *ra* [7].

4. Картв. **$s_1$ul-* 'душа' ~ абхаз.-адыг. **ps(a)-* то же (ср. Чарая, стр. 34). Согласно мнению Н. Я. Марра, абхазско-адыгская форма восходит в свою очередь к **s^wə-* [8]. Вследствие недостаточной разработки исторической фонетики нахско-дагестанских языков со значительным риском связана попытка реконструкции на основании нах. *sa* 'душа' 'свет' (ср. также авар.-андийск. **ssun-ṭ-* 'нюхать' [9]) нахско-дагестанского архетипа **sswa(n)-* 'душа'.

5. Картв. **pxa-* (или **pqa-*) 'остов' 'скелет' ~ абхаз.-адыг. **pq(a)-* то же (ср. K. Bouda, стр. 292; ЭСКЯ, стр. 194).

6. Картв. **daqw-* 'локоть' ~ абхаз.-адыг. **ṯăγ^w-* то же (Рогава, стр. 8). Абхазско-адыгская основа вычленяется из композита **qa-ṯăγ^w-* 'локоть', где *q(a)-* 'рука'. В обеих языковых группах основа могла иметь более общую семантику: в древнегрузинском *daqw-* значило еще 'свод'. Возможно сближение обеих праформ с нах.-дагест. **dal̰w-* 'локоть' (?): ср. авар. *ruṭ'*-, чечен. *dal-* : *duol-* 'локоть' [10].

7. Картв. **qel-* 'рука' ~ абхаз.-адыг. **q(a)-* то же (ср. K. Bouda, стр. 294).

8. Картв. **ʒ$_1$wal-* 'кость' ~ абхаз.-адыг. **ǯ^w(a)-* 'ребро', 'бок' [11].

9. Картв. **muql̥-* 'колено' ~ абхаз.-адыг. **m(a)qa-* 'бедро' (ср. Чарая, стр. 52).

10. Картв. **baqw-* 'бедро' ~ абхаз.-адыг. **baqw-* то же [12].

11. Картв. **leγw-* 'мясо' ~ абхаз.-адыг. **l̰(a)* то же (ЭСКЯ, стр. 119).

---

[7] П. К. Услар. — «Этнография Кавказа». Языкознание, II. Тифлис, 1888, стр. 7; Н. Я. Марр. Непочатый источник истории кавказского мира.— «Изв. Академии Наук». VI серия. Пг., 1917, стр. 312—313.

[8] См.: Марр. К вопросу, стр. 6.

[9] Ср.: Т. Е. Гудава. Сравнительный анализ глагольных основ в аварском и андийских языках. Махачкала, 1959, стр. 147—148.

[10] Ср.: Г. А. Климов. Об этимологической методике Карла Боуды (на материале кавказских языков). — «Этимология», М., 1963, стр. 270.

[11] См.: К. В. Ломтатидзе. Тапантский диалект абхазского языка. Тбилиси, 1944, стр. 34 (на груз. яз.); R. Lafon [рец. на кн.:] К. В. Ломтатидзе. Ашхарский диалект и его место среди других абхазско-абазинских диалектов с текстами. Тбилиси, 1954. — BSL 55, 2, 1960, стр. 261.

[12] Иное сопоставление груз. *baqw-* с абхазско-адыгским материалом см.: А. С. Чикобава. Занский эквивалент грузинского слова *ʒwal-i* 'кость'. — «Сообщения груз. филиала АН СССР» I, № 1, 1940, стр. 96.

12. Картв. *$qam\d{l}_{\circ}$- 'шкура (овцы, козы)' ~ абхаз.-адыг. *(t)xam- 'шкура' (ср. ЭСКЯ, стр. 263).

13. Картв. *ciqw- 'белка' ~ абхаз.-адыг. *$\underline{c}ə$-γ^w(a)- 'мышь', 'куница' (адыг. $сə\gamma^w a$- 'мышь', абхаз. $сə\gamma$- 'куница'), букв. 'зубом грызущий'[13]. В прошлом адыгские формы ошибочно сопоставлялись с груз. *tagw*-, чечен. *daxka*- 'мышь'[14]. В нахско-дагестанских языках сходная основа засвидетельствована пока лишь аварским *ciṭ''u*- 'куница'[15].

14. Картв. *katam- 'курица' ~ абхаз.-адыг. *kata- то же (ср. И. А. Джавахишвили. Указ. соч., стр. 613—615).

15. Картв. *mgel- 'волк' ~ абхаз.-адыг. *b(a)ga- 'волк' 'шакал' 'лиса' (ср. Чарая, стр. 20). Сопоставление очень проблематично в виду неоднократно отмечавшейся возможной связи картвельских форм с арм. *gajl*- 'волк'[16].

16. Картв. *$ma\d{t}\d{l}_{\circ}$- 'червь' ~ абхаз.-адыг. *m(a)ṭa- 'змея'[17]. Значительно менее вероятна связь абхазско-адыгской основы с нахско-дагестанскими формами (гунз. *bəṭi*-, табас. *beṭ*- 'змея', лакск., арчинск. *jaṭi*- 'червь', 'змея')[18].

17. Картв. *$m\d{c}_1er$- 'насекомое' ~ абхаз.-адыг. *m(a)ça- то же (ср. Чарая, стр. 28; Рогава, стр. 26—27). Абхаз. *maç(a)*- 'саранча', по-видимому, позднее усвоение адыгского *māça*- то же; последнему закономерно отвечает абхаз. *mça*- 'муха'.

18. Картв. *$an\d{c}_1\d{l}_{\circ}$- 'бузина' ~ абхаз.-адыг. *mçə- то же (ср. Чарая, стр. 29). Последняя основа реконструируется из абхаз. $m\d{c}ə(r)b\gamma ə$ 'бузина' букв. 'бузина + лист'.

19. Картв. *m-s_1xwil- 'крупный' 'толстый' ~ абхаз.-адыг. *$mcx^w(a)$- 'большой'[19] (ср. адыг. $\check{s}x^w a$- 'большой', абхаз. $mcx^w ə$- 'больше'). Сопоставлению основ сопутствуют некоторые трудности семантического порядка.

20. Картв. *ʒ_1wel- 'старый' ~ абхаз.-адыг. *$\hat{z}^w$- то же (ср. Чарая, стр. 24).

21. Картв. *px- 'теплый' ~ абхаз.-адыг. *px(a)- то же (ср. Чарая, стр. 35—37; ЭСКЯ, стр. 194). Имеется интересная нахско-

---

[13] K. B o u d a. Baskisch-Kaukasische Etymologien. Heidelberg, 1949, стр. 51. Иную интерпретацию этого сложения ('шерсть+серая') предлагает А. К. Шагиров.

[14] Fr. B o r k. Beiträge zur kaukasischen Sprachwissenschaft. Teil I. Kaukasische Miscellen. Königsberg, 1907, стр. 27; ср.: N. T r u b e t z k o y. Nordkaukasische Wortgleichungen. — WZKM 37, 1930, стр. 85.

[15] Ср.: Т. Е. Г у д а в а. К вопросу о генезисе латерального звука ṭ'' в языках аварско-андийско-дидойской группы и его фонетическом соответствии в картвельских языках. — ИКЯ, VI. Тбилиси, 1954, стр. 58 (на груз. яз.).

[16] Ср.: H. H ü b s c h m a n n. Armenische Grammatik, I. Leipzig, 1897.

[17] A. T r o m b e t t i. Saggi di glottologia, III. Firenze, 1920, стр. 17.

[18] Ср., однако: N. T r u b e t z k o y. Указ. соч., стр. 85.

[19] Ср.: Ч а р а я, стр. 54.

дагестанская параллель в виде *px-(xx-) 'теплый': ср. бацб. *dapxe-*, чечен. *do-wxu-*, хварш. *le-xxu-*, авар. *xxin-* и т. п.[20]

22. Картв. **qw(i)-* 'желтый' 'печень' ~ абхаз.-адыг. **γʷ(a)-* 'желтый' 'сухой'. Допустимо сопоставление обоих основ с нах.-дагест. **qu(r)-* 'сухой'.

23. Картв. **ttxel-* 'жидкий' 'редкий' ~ абхаз.-адыг. **tx(a)-* то же.

24. Картв. **ca(l)-* 'штука' ~ абхаз.-адыг. **c(a)-* 'штука' 'зуб' (Х. Бгажба. Указ. соч., стр. 42). В целом более надежны связи абхазско-адыгской основы с нах.-дагест. **cel-* 'зуб' (ср. чечен. *cer-ig-*, авар. *cer-* и т. п.)[21].

25. Картв. **zo-* 'один' ~ абхаз.-адыг. **z(a)-* то же. Реконструкция картвельского архетипа возможна на основе груз. *zog-* 'некоторый', мегр. *zo-x-o-* 'отдельно'[22].

26. Картв. **ṭqu-* 'два' ~ абхаз.-адыг. **ṭqʷ(a)-* то же[23]. Первая основа гипотетически предполагается в картв. **ṭqu-b-* 'двойня', имея в виду груз. *ṭqu-č̣-* 'пара сросшихся плодов'[24]. В силу семантического расхождения менее достоверно сближение этих форм с нах.-дагест. **ṭqwa-* 'двадцать' (ср. чечен. *ṭqa-*, авар. *q̣qwa-* и т. п.).

27. Картв. **xu(s₁)t-* 'пять' ~ абхаз.-адыг. **txʷ(a)-* то же (ср. Чарая, стр. 40). Возможно сопоставление с нах.-дагест. **xw-* 'пять' (ср. чечен. *pxi-*, хиналуг. *pxu-*, авар. *šu-* и т. п.), предложенное еще Ф. Борком и Н. С. Трубецким[25].

28. Картв. **ma-* — местоименная основа 3-го лица ~ абхаз.-адыг. **m(a)-* то же[26]. Напрашивается сопоставление с соответствующей местоименной основой нахско-дагестанских языков. Впрочем, весь этот материал в значительной степени обесценивается вследствие очень широкого распространения аналогичной основы во всем «ностратическом» ареале.

29. Картв. **c₁wil-* (|| *c₁wid-*) 'воск' ~ абхаз.-адыг. **cʷ(a)-* то же (ср. Чарая, стр. 46; Рогава, стр. 87).

---

[20] Ср.: А. С. Чикобава. Чанско-мегрельско-грузинский сравнительный словарь. Тбилиси, 1938, стр. 189 (на груз. яз.); Э. А. Ломтадзе. Некоторые общие корневые элементы в иберийско-кавказских языках. — ИКЯ, VII. Тбилиси, 1955, стр. 417—421 (на груз. яз.).

[21] См.: N. Trubetzkoy. Указ. соч., стр. 85.

[22] См.: А. С. Чикобава. К этимологии слова *zog-i*. — «Изв. ИЯИМК». I. Тбилиси, 1937 (на груз. яз.); К. В. Ломтатидзе. К истории основы числительного «один» в картвельских и абхазско-адыгских языках. — ИКЯ, XIII. Тбилиси, 1962 (на груз. яз.).

[23] Ср.: A. Trombetti. Elementi di glottologia. Milano, 1922, стр. 363; A. Dirr. Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen. Leipzig, 1928, стр. 156, прим. 1.

[24] И. А. Джавахишвили. Указ. соч., стр. 397—400.

[25] F. Bork. Указ. соч., стр. 25; N. Trubetzkoy. Указ. соч., стр. 81.

[26] См.: К. В. Ломтатидзе, А. С. Чикобава. Иберийско-кавказские языки. — БСЭ, изд. 2, т. XVII, стр. 253.

30. Картв. *$ʒ_1m̥$- 'соль' ~ абхаз.-адыг. *ǯə- то же (ср. Чарая, стр. 23).

31. Картв. *s- 'сеять' ~ абхаз.-адыг. *s- 'сажать', 'сеять'. Первая основа усматривается некоторыми в картв. *tes- 'сеять': таким образом, сопоставление возможно только при допущении здесь исторически префиксального характера начального te[27].

32. Картв. *$ʒ_1$- 'доить' ~ абхаз.-адыг. *z(a)- 'цедить'[28]. Первый архетип гипотетически выводится из картвельского названия молока: ср. сван. ləǯe 'молоко', формально совпадающее с причастиями страдательного залога (lə-b-e 'привязанное', lə-bēl-e 'надутое'). Еще ранее абхазско-адыгская основа сопоставлялась с нах.-дагест. *ʒ- 'доить'[29].

33. Картв. *xw- 'попадать, -ся' ~ абхаз.-адыг. *x^w(a)- то же.

34. Картв. *g- 'стоять' 'вставать' ~ абхаз.-адыг. *g- 'вставать' (ср. Чарая, стр. 22). Картвельская форма гипотетически усматривается в основе *dg- : deg- при условии допущения исторически префиксального характера начального элемента de-.

35. Картв. *$c̣_1$w- 'жечь' 'болеть' ~ абхаз.-адыг. *ĉ̣w- 'жечь'. Последняя основа усматривается в составе адыг. ma-ṣ̂w-a 'огонь', где ma-, по-видимому, былой словообразовательный префикс. Более проблематично сопоставление обеих основ с нах.-дагест. *$c̣_γ$w- 'болеть'.

36. Картв. *γw- 'иметь' ~ абхаз.-адыг. *γ- 'держать', 'иметь' (ср. Рогава. — ИКЯ, т. VIII, стр. 466).

37. Картв. *m(V)- — словообразовательный префикс ~ абхаз.-адыг. *m(a)- то же. Если продолжение первого по сей день широко функционирует в картвельских языках, то в абхазско-адыгских языках префикс прослеживается в ряде основ лишь исторически[30].

В меньшей мере надежны пять заключительных сопоположений, представляющих собой основы с более или менее выраженной звукосимволической или звукоподражательной характеристикой.

38. Картв. *qorq- 'глотка' 'зев' ~ абхаз.-адыг. *qərq- то же (ср. Чарая, стр. 37).

39. Картв. *ḳaḳa- 'косточка плода' ~ абхаз.-адыг. *ḳaḳa- 'твердый', 'яйцо'.

40. Картв. *gor- 'кататься' 'валяться' ~ абхаз.-адыг. *$ḳ^w$ar- то же. Близкие параллели встречаются и в нахско-дагестанских

---

[27] Ср.: Г. В. Рогава. К вопросу о строении грузинской основы tes- (tesavs 'сеет'). — ИКЯ, VI. Тбилиси, 1954 (на груз. яз.).

[28] Ср.: K. Bouda. Eine jüngst ermittelte archaische Sprachgruppe in Asien und Europa. — «Germanisch-romanische Monatsschrift», Bd I, N. F., 1951, стр. 135.

[29] N. Trubetzkoy. Указ. соч., стр. 88—89.

[30] См.: Н. Ф. Яковлев. Грамматика литературного кабардино-черкесского языка. М.—Л., 1948, стр. 273; Марр. К вопросу, стр. 31.

языках (ср. авар. *gir-*, андийск. *gir-d-*[31]). Впрочем, эта основа, носящая определенный отпечаток звуковой символики, широко представлена и в других языках «ностратического» ареала.

41. Картв. **lok̦-* 'лизать' ~ абхаз.-адыг. **(t)lak̦-* то же (ср. абхаз. *lak̦a-*, убых. *lak̦wa-* 'лакать', адыг. *thak̦-* 'стирать'). Основа несет в себе элемент звукоподражания (ЭСКЯ, стр. 122).

42. Картв. **cc-* 'смеяться' ~ абхаз.-адыг. **čč-* то же (ср. Чарая, стр. 48).

* * *

Представленный здесь материал содержит целый ряд довольно эффектных параллелизмов, относящихся к фундаментальному слою словаря, показательному с точки зрения решения задач генетического плана (он охватывает, в частности, редко заимствуемые названия космических явлений, частей тела, некоторых животных, элементарных качеств и действий и некоторые другие важные категории слов). Вне сомнения стоит и близость общего звукового облика и семантики сопоставляемых величин. В то же время уже самый общий комментарий к приводимым сопоставлениям показывает ограниченную степень их эффективности.

Во-первых, совершенно очевидно, что предпринимаемое сравнение остается здесь на уровне так называемой «дальней» и, следовательно, почти исключительно корневой этимологии, что автоматически устраняет столь важную (в частности, по своим верифицирующим возможностям) составную часть современного этимологического исследования, какой является словообразовательный анализ. Возможность случайности рассмотренных параллелизмов при этом еще больше возрастает за счет исключительно консонантного сравнения, обусловленного моновокалическим характером общеабхазско-адыгского состояния, а также вследствие малоконсонантного состава абхазско-адыгских корней (их «стертости», как исторически интерпретировал последнее обстоятельство Н. Я. Марр[32]). Во-вторых, предлагаемые сопоставления в целом ряде случаев (см. № 1, 11, 21, 25, 26, 31, 32, 34, 35) становятся возможными только в результате очень глубокой внутренней реконструкции в рамках отдельной языковой группы, вследствие чего используемые при этом этимоны хронологически соотносимы не с поздним общекартвельским (и, соответственно, — общеабхазско-адыгским) состоянием, под которым обычно понимается относительно позднее и непосредственно предшествовавшее распаду праязыкового единства на отдельные языки состояние, а со значительно более отдаленным протоязыковым периодом. В третьих, нельзя не считаться

---

[31] Т. Е. Гудава. Сравнительный анализ глагольных основ в аварском и андийских языках, стр. 59—60.

[32] Марр. К вопросу, стр. 33—36. — Еще А. Мейе справедливо полагал, что «языки с короткими, зачастую односложными словами. . .» серьезно затрудняют этимологические доказательства («Сравнительный метод в историческом языкознании». М., 1954, стр. 39).

с тем фактом, что некоторые сопоставленные лексемы имеют очень ограниченную ареальную соотнесенность в рамках языковой группы (так, картв. *baqw-, *ciqw- и, возможно, *ca(l)- и *leγw- постулируются на основании свидетельства только одного из картвельских языков; аналогичным образом фактами лишь одного-двух языков поддерживаются абхазско-адыгские праформы *baqw-, *mçə-, *px(a)-, *tx(a)-). Не исключено, что в сопоставлениях под № 13, 14 и 31 налицо общие изоглоссы культурного характера. Вместе с тем картв. *ca(l)- и *ṭqu- могут быть обязанными абхазско-адыгскому субстрату[33]. Наконец, необходимо помнить, что выполняемая реконструкция абхазско-адыгских архетипов почти во всех случаях носит весьма условный характер в виду совершенно недостаточной разработанности сравнительно-исторической фонетики этих языков[34].

В итоге предпринятого рассмотрения приходится констатировать ограниченность сопоставимого на данном этапе исследования материала, служащую свидетельством слабого вероятностного подкрепления гипотезы родства абхазско-адыгских и картвельских языков. Объем материала и значительная условность принимаемых абхазско-адыгских архетипов обусловливают то обстоятельство, что сейчас трудно говорить о закономерностях представленных в нем фонетических соотношений. Это обстоятельство подчеркивается и теми немногими кавказоведами, которые занимаются поисками межгрупповых звукосоответствий. Так, например, попытка Г. В. Рогава установить адыгско-картвельские корреспонденции в области свистящих и шипящих спирантов и аффрикат привела его к выводу, что в этой области регулярных соотношений не наблюдается[35]. С другой стороны, о некоторых спорадических абхазско-картвельских и адыгско-картвельских звукосоответствиях говорит в своих работах К. В. Ломтатидзе. В представленном материале в этом отношении обращают на себя внимание преимущественно две корреспонденции: картв. *l (или *l̥) ~ абхаз.-адыг. *Ø (нуль звука) в исходе основы, интересное в плане предположения Г. В. Рогава об историческом наличии в составе абхазско-адыгских основ суффиксов-детерминантов[36] (ср. № 3, 4,

---

[33] Ср.: G. Deeters. Die kaukasischen Sprachen.— «Handbuch der Orientalistik», VII. Leiden—Köln, 1963, стр. 41.

[34] Ср.: A. H. Kuipers. Proto-Circassian phonology: an essay in reconstruction. — «Studia Caucasica», I. The Hague, 1963, стр. 56—62.

[35] Г. В. Рогава. Некоторые вопросы звуковых соотношений между картвельскими и адыгскими языками. «VI (XII) Научная сессия Ин-та языкознания АН Груз. ССР. План работы и тезисы докладов». Тбилиси, 1955, стр. 37. — Вместе с тем трудно назвать регулярными и соответствия грузинских смычно-гортанных согласных историческим преруптивам адыгских языков, постулируемые здесь автором.

[36] Ср.: Г. В. Рогава. К вопросу о структуре именных основ и категориях грамматических классов в адыгских (черкесских) языках. Тбилиси, 1956, стр. 72 сл.

7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 23 и 29; если учесть, что это наиболее регулярное межгрупповое для кавказских языков звукосоответствие до сих пор не было отмечено, то данное обстоятельство может послужить яркой иллюстрацией современного состояния сравнительно-генетического изучения кавказских языков); а также — соотношение «идентичности» *т* в разных положениях (ср. № 1, 9, 12, 16, 17, 19, 28 и 37).

Значительно более скромные итоги дает сопоставление соответствующего картвельского и нахско-дагестанского материала. По-видимому, оно охватывает и более периферийные лексические группы. Например, за счет привлечения нахско-дагестанского материала из области названий частей тела удается распространить всего лишь три-четыре из предложенных выше соположений. Вместе с тем непосредственное сопоставление абхазско-адыгского и нахско-дагестанского материала оказывается очень рискованным вследствие того, что и для последнего реконструкция архетипов остается довольно проблематичной (не случаен тот факт, что из ста общих севернокавказских лексических изоглосс, намеченных около сорока лет назад Н. С. Трубецким, половина ныне вообще отвергнута, в то время как сближения, рассматривающиеся в качестве приемлемых, далеко не равноценны по своей значимости[37]).

Из сказанного выше напрашивается вывод, что дальнейшее накопление абхазоадыгско-картвельских материальных параллелизмов представляется наиболее перспективным направлением в разработке гипотезы внутреннего родства кавказских языков. Можно надеяться, что дальнейшее исследование расширит и объем соответствующего материала. Однако в настоящее время едва ли имеются основания переоценивать открывающиеся в этом отношении перспективы. Очевидная малочисленность приемлемых соположений и их вероятное ограничение наиболее элементарными ингредиентами словаря приводит к мысли, что apriori допустимое родство кавказских языков может восходить к настолько отдаленной эпохе, когда самый лексический фонд языка должен был быть относительно узким. Не исключено поэтому, что такое родство в будущем удастся продемонстрировать только на уровне так называемого «ностратического» единства, иногда предполагающегося для объяснения черт сходства между несколькими большими и малыми языковыми семьями Старого Света.

---

[37] Ср., например: G. Deeters (Рец. на кн.:) K. Bouda. Baskisch-kaukasische Etymologien. Heidelberg. 1949. — «Deutsche Literaturzeitung» 73, 4, 1952, кол. 209; A. H. Kuipers. Phoneme and morpheme in Kabardian (Eastern Adyghe). 's-Gravenhage, 1960, стр. 111—112.

А. Б. Долгопольский

НОСТРАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ С СОЧЕТАНИЕМ ШУМНЫХ СОГЛАСНЫХ

В. М. Иллич-Свитыч в своих работах по сравнительной фонетике и этимологии ностратической семьи языков, включающей индоевропейские, уральские, алтайские, картвельские, семитохамитские и дравидские языки (Иллич-Свитыч МС, Иллич-Свитыч СС), показал, что ностратический корень имел структуру СГ(С)СГ, т. е. между гласными были возможны сочетания согласных.

Какие согласные могут выступать в таких сочетаниях? В реконструированных корнях мы часто наблюдаем сочетания сонорного с последующим смычным[1]: **mälgə̈* 'грудь' (Иллич-Свитыч МС 'грудь'), **kampə* 'губа' (Иллич-Свитыч МС 'губа' 1), **qanṭə* 'перед' (Иллич-Свитыч МС 'перед' 1), **lewdə* 'найти' (Иллич-Свитыч МС 'разыскать'), **purgə* 'блоха' (Иллич-Свитыч МС 'блоха'). Наблюдаются сочетания сонорного с ларингалом: **wojh̄ə* 'сила' (Иллич-Свитыч МС 'сила'), **bilγə* (скорее, чем **bilʿə*) 'глотка' (Иллич-Свитыч 'глотка' 2). Есть примеры сочетаний ларингала с последующим сонорным: **nahra* 'день' (Иллич-Свитыч МС 'день'),

[1] Система обозначений в настоящей работе в основном сходна с той, которая принята В. М. Илличем-Свитычем (Иллич-Свитыч МС). Отличия сводятся к следующему. Посредством ностратич.*ˁ обозначаем фонему, дающую в семитохамитских языках *ˁ, в индоевропейских — ларингал (*ĥ, *h или *h^w), в картвельском — нуль звука, а посредством *γ — фонему, отражающуюся в семитохамит.*ˁ, индоевропейских ларингалах и в картвельском *γ (а также, возможно, в тунгус. *g); в прочих языках *ˁ и *γ дают нуль звука. Посредством *x* и *ḥ* обозначаем две фонемы, соответствующие фонеме *ḥ у В. М. Иллича-Свитыча (МС); эти две фонемы различаются по своим рефлексам в картвельском в соседстве со смычными. Знак *ə* применяется для обозначения гласного неизвестного качества (у В. М. Иллич-Свитыча — *ʌ*); посредством ə̈ обозначаем неизвестный гласный переднего ряда, посредством *ə̊* — неизвестный огубленный гласный. Знак *ʌ* мы применяем к языкам, имеющим апофонию, для обозначения чередующегося гласного. Прописные согласные буквы (**K*, **T*, **Q*, **P*) обозначают архифонему, в которой нейтрализовалось противопоставление глухости и звонкости, глоттализованности и неглоттализованности. Посредством подчеркнутого согласного (*t̲*, *k̲*) обозначаем согласный с неизвестным значением признака «звонкость—глухость—глоттализация» (т. е. *k̲* значит: «*k*, либо *ḳ*, либо *g*»). Посредством *h̄*, *s̄*, *c̄* обозначаем ларингал, сибилянт, аффрикат неизвестного места артикуляции (*s̄* — это *s*, или *š*, или *ś*). Сомнения в надежности реконструкции фонемы обозначаем посредством квадратных скобок.

*ń[o]γrə 'молодой' (Иллич-Свитыч МС 'молодой'), *ćohrə 'светлый' (Иллич-Свитыч МС 'светлый' 1).

В настоящей работе рассматривается вопрос о сочетании шумных согласных в середине слова (основы) и о закономерностях фонетического развития таких сочетаний.

В существующей литературе (Иллич-Свитыч МС, Иллич-Свитыч СС, Долгопольский ГД) описаны три основы со срединным сочетанием двух шумных согласных:

1. *gupsə 'гаснуть' или 'гасить' > урал. *kupsa-, (?) *kopsa- 'гасить', и.-е. *gʷes- 'гаснуть'.

Урал. *kupsa- > саам. (кольск.) gop'se- 'гасить', эст. kustu 'гаснуть' (< *kupstu-, см. Collinder CG 100), где -tu, по мнению Б. Коллиндера, является суффиксом. Коми kus- 'гаснуть' и удм. kus- 'гаснуть, гасить' могут восходить, по мнению В. М. Иллича-Свитыча, к урал. *kopsa- (Иллич-Свитыч МС 'гаснуть') (ср. о соответствии общепермского *u удм., коми u, уральскому *o Лыткин 218—220). К тому же корню восходят самодийские слова: нен. xabta- 'гасить', сельк. kapta- id. и т. д.

И.-е. *gʷes- дает лит. gèsti 'гаснуть', ст.-слав. гасити, тохар. A käs, B kes 'гаснуть, погибать', др.-инд. jasatē 'ist erschöpft', jāsayati 'гасит, лишает сил', греч. σβέννῡμι < *s-gʷes-neu-mi с обобщением β из формы с вокализмом *o, а также, возможно, хет. kištari 'wird ausgelöscht' (см. Иллич-Свитыч МС 'гаснуть', Иллич-Свитыч СС № 5.12, Долгопольский ГД № 140).

К индоевропейскому и уральскому отражениям ностратического корня *gupsa можно добавить семитское отражение *kʌš̠- 'гаснуть, быть усталым, слабым' > геэз kasaja 'быть усталым, медлительным', евр. корень khj или khw: глагол 2 породы kihā (перфект) 'гаснуть', kēhǣ 'гаснущий (о светильнике), теряющий зрение (о глазах)' и т. д. (Dillmann 10, Gesenius-Buhl 332); семит. *š̠, возникающее на месте *š (< ностратич. *s, *ś, *š) при некоторых условиях (по-видимому, акцентных: безударный слог?), регулярно дает аккад. š, др.-ю.-аравийск. s ~ h (по диалектам), евр., арамейск. h (см. Leslau Rap., Дьяконов 19)[2].

2. *laPṭə (скорее, чем *laPtə) 'плоский, лист' > урал. *lapta- 'плоский', монг. *labta 'плоский' и *labty > *labti 'лист', тунгус. *lapta 'гладкий, плоский' и, возможно, тюрк. *jat- 'лежать, (?) плоский, быть плоским', сем.-хам. *lʌṭ- 'плоский', *lʌt- 'лист'.

---

[2] Рядом с основой *gupsə (производной?) находим основу *gupə 'гасить' или 'гаснуть' (непроизводную, корневую?), представленную в тунгус. *gupə (> нан. gūpuv- 'гасить', gūp-či 'гаснуть', орок. gupu- 'гасить' и пр.) и в семит. *kʌbʌw- 'гаснуть' > евр. kbj/w 'гаснуть', араб. kbw 'тлеть (об огне под золой), бледнеть (о растении)'. Аномальная глухость начального семит. *k может объясняться комбинаторными изменениями (например, метатезой глухости: *kbw из *gpw < *gupə). В и.-е. *gʷ вместо ожидаемого *gʷh, что объясняется действием протоиндоевропейского закона несовместимости глоттализованного и звонкого смычных в одном корне.

Урал. **lapta* 'плоский' представлено в фин. *lattea* 'плоский, ровный', мар. *laptə* 'плоский', *laptəra* 'приземистый', *laptərtaš* 'сплющенный', хант. (ваховск., васюган.) *lawtə̂k* 'гладкий, ровный', (казым.) *лорtə̂х* 'плоский, мелкий', нен. *lapta* 'плоский, ровный, мелкий', энец. *lota* 'ровное место', мотор., карагас. *lapta* 'мелкий' (Collinder FUV 31; SKES 2.230).

Монг. **labta* 'плоский' отражено в монг. письм. *nabtaji* 'делать плоским', *nabtagar* 'низкий'. Монг. **labti* (< **labty*) 'лист' дает монгор. *laBśDźi* 'лист, ушная раковина', широнгольск. *lapči* 'лист', шира-югурск. *lapči* 'лист', дунсян. *lačyn* 'лист', 'листва', баоаньск. *labčoŋ* 'листва', ср.-монг. («Хуа-и и-юй») *nabčin* 'лист', монг. письм. *nabči(n)* то же (Smedt-Mostaert 218, Тодаева ДЯ 127, Тодаева БЯ 142, Haenisch SMG 11).

Тунгус. **lapta* 'гладкий, плоский' отражается в эвенк. (илимпийск.) *laptakta* 'гладкий, плоский', (подкаменно-тунгус.) *naptama* 'плоский, ровный', (нерчинск.) *naptar* 'плоский, ровный', удейск. *näptäligi* 'плоский' и т. д. (Василевич 235, 277, Цинциус 314).

Заслуживает внимания также тюрк. **jat-* 'лежать, (?) быть плоским' > др.-тюрк., тат., туркм., азерб. и т. д. *jat-* 'лежать', тув. *čyd-* то же; значение 'быть плоским' представлено, например, в тур. *yatkın* 'плоская (о женской груди)'; влияние корня **jat-* в этом значении проявляется, возможно, в метатезе тур. *yatsı* 'плоский, широкий, сплющённый (о носе)' < **jasty* (Радлов 3.192, 3.204, 3.223).

В семитохамитском представлен корень **lʌṭ-* > араб. *laṭaʔa* 'был широким, плоским (о печати), распластался на земле, полз', егип. *ỉdȝ* 'выглаживание (?) (гончарный термин)' (Dozy 2.530, Lane 2660, Erman-Grapow 1.152). Вариант сем.-хам. корня с утраченной глоттализацией (обычный процесс, связанный, видимо, с акцентными условиями) — **lʌt-* > бедауйе *lāt* ~ *rāt* 'лист' (Reinisch Bed. 160).

В. М. Иллич-Свитыч, сопоставляя уральские, монгольские и тунгусские отражения, реконструирует основу **laptə* (Иллич-Свитыч МС 'плоский' 1); однако в положении после согласного уральский, монгольский и тунгусский не позволяют отличить **t* от **ṭ*; привлеченный же нами семитохамитский материал указывает на исходное **ṭ*[3].

---

[3] Наряду с основой **laPṭə* (видимо, производной) обнаруживается и основа **lapə* с тем же значением. Она представлена в урал. **lapa* 'плоский предмет (лопата, лопасть весла, лопатка)', в монг. **laba* 'плоский предмет', тунгус. **lapə* то же, сем.-хам. **lʌp* или **lʌp̣-* 'плоский', и.-е. **leȟp-* 'быть плоским' (с ларингалом неизвестного происхождения — метатеза ларингального суффикса?). Подробнее об этом корне см.: Иллич-Свитыч МС 'плоский'.

3. **m[o]Čkə* или **m[o]śkə* 'мыть' > и.-е. **mesg-* 'мыть', 'погружать(ся)', урал. **mośke-*, **muśke* 'мыть' (Иллич-Свитыч МС 'мыть' 1, Долгопольский ГД № 9).

И.-е. **mesg-*, как известно, представлено в др.-инд. *majjati* 'погружается, ныряет', лит. *mazgóti* 'мыть, полоскать', лтш. *mazgāt* 'мыть', лат. *mergo* 'окунаю' и т. д.

Урал. **mośke-*, **muśke-* представлено в эст. *mõske-* 'мыть', эрз. *muśke-* 'стирать (белье)', мокш. *muškə-* то же, мар. *muška-* 'мыть, стирать', коми, удм. *mysky-* 'мыть', венг. *mos-*, нен. *māsa-* то же, энец. *masua*, сельк. *musa-* и, возможно, камас. *båzå*, *buzə-* то же (Collinder FUV 35, Collinder CG 98)[4].

К этим примерам основ с сочетанием шумных согласных можно прибавить новые:

4. Ностратич. **gaKtə* или **gaKdə* 'пара, один из пары' > урал. **kakta*, **käkta* 'два'[5], тунгус. **gagda* 'один из пары, напарник' (→ 'товарищ'), тюрк. **k'ata* или **kata* 'вместе, раз' (и **k'aбaš* или **kaбaš* 'товарищ'?), (?) сем.-хам. **gʌwt-* 'пара, два'.

Урал. **kakta*, **käkta* 'два' представлено во всех уральских языках: фин. *kaksi*, *kahte-* 'два', саам. (норвежск.) *guokˈtĕ* то же, эрз. *kavto*, мокш. *kaftă* то же, мар. *kok*, *koktət*, удм., коми *kyk*, манс. *kit́*, *kit*, хант. (южн.) *kət*, венг. *két*, *kettő*, нен. *siбe*, *ṣite*, нган. *siti*, энец. *side*, *sire*, сельк. *sede*, *šite*, камас. *šiбe*, мотор. *kydy*, *kiddä*, тайгийск. *kidde*, карагас. *side* (Collinder FUV 21, Collinder CG 406, SKES 1.146).

Тунгус. **gagda* 'один из пары' (→ 'товарищ') представлено в эвенк. *gagda* 'один из пары, парный предмет', негидал. *gagda* 'один из пары, товарищ', эвенк. *gad* 'один из пары', удейск. *gagda* то же, маньчж. *gakda* то же и т. д. (Цинциус 299, Василевич 80).

Тюрк. **kata* или **k'ata* 'вместе' представлено в др.-уйгур. *qada* 'вместе' (Радлов 2.305), хакас. *xada* то же, тув., алтайск. *kataj* то же и т. д.; сюда же, возможно, относится тюрк. **k(')at* 'раз, ряд, слой' (← 'элемент счета при складывании, наслоении' ← 'один из пары'), 'сторона' (← 'одна из двух') > др.-тюрк. *qat* 'раз, крат' (Gabain 327), 'сторона, ряд, слой, этаж' (Малов 412), ср.-тюрк. (среднеазиатский тефсир XII—XIII в.) *qat* 'слой, ряд, раз, крат' (Боровков Тефс. 203), чуваш. *xut* 'раз, слой' (Ашмарин 16.250—51), тур. *kat* 'раз, слой, этаж' и т. д. Наиболее архаичное значение сохранил, видимо, якутский язык: *xat* 'вторично, в другой раз, двойной' (Пекарский 3393—3394). Тюрк. **k(')ata*

---

4 Наряду с основой **mə̆Čkə* 'мыть' (производной?) находим **moçə* 'мыть', представленную в драв. **mač-* 'чистить голову (землей, водой)', в сем.-хам. **mʌwʌç-* 'мыть' > семит. **mʌwʌṣ-* (араб. *māṣa* 'мыл'), куш. **mʌjç-* (> сомал. *majd-* 'мыть'), галла *mīč-*, камбатта *meččeˀ* то же, кабенна *mečči-yoˀ* то же, воламо *meč-*, каффа *māč* то же. См.: Иллич-Свитыч МС 'мыть'.

5 В уральском гласном второго слога не отмечаем нефонологические отличия гласных переднего и заднего ряда.

сохраняет значение 'раз, много раз' в др.-тюрк. (сутра «Золотого блеска») *üčünč qata* 'в третий раз' (Малов 412), в ср.-тюрк. (Махмуд Кашгарский): *qač qata* 'сколько раз', *qata* 'много раз' (Brockelmann MTW 150). Неясно, связано ли с этим корнем тюрк. **kaбaš* или **k'aбaš* 'товарищ', представленное в др.-уйгур. *qadaš* 'товарищ, родной', чагатайск. *qajaš* 'родственник' (Малов 409, Радлов 2.315).

Сем.-хам. **gʌwt-* 'пара, два' отражено в егип. *d̲wt* 'двадцать' (где *d̲* < **g* перед некоторыми переднерядными гласными), откуда копт. саид. *ǯuōt* 'двадцать', бохейр. *ǯōt* то же, в зап.-кушит. языках: каффа *gut-* 'быть двумя', *guttō* 'два', анфилла *guttō* 'два', моча *gŭtto* 'два', шинаша *gittā* 'два', и, видимо, также в некоторых чадских: кусри *kitio* 'два', музгум *hudju* 'два'. С этим корнем может быть связано и бербер. **gʌṭʌm-* > туарег. (Ахаггар) *egḍem* 'разделить на две части' (Foucauld 1.403); происхождение эмфатичности в берберском неясно. Устранение ностратического срединного **K* в семитохамитском может быть связано с семитохамитским законом несовместимости двух смычных одного места образования (здесь — двух гуттуральных) в качестве первого и второго согласного в корне.

5. Ностратич. **ʔə̂Xdə* (или **ʔə̂Qdə*?) 'один, только' > фин.-уг. **ükte* 'один', сем.-хам. **ʔuH̱də* 'один', картв. **ode* 'лишь, пока', возможно, также драв. **ut-* 'тот, кто составляет пару к этому' и тунгус. суффикс **-r-agda* 'только' (и **-r-agda* 'в одном месте'?).

Фин.-уг. **ükte* 'один' представлен в фин. *yksi*, *yhte-* 'один', эст. *üks*, саам. (норв.) *oktâ* то же, эрз. *vejke*, *väĺkä*, мокш. *iḱkɛ*, *ḱkɛ*, мар. *ik*, *iktə*, удм. *odik*, *odig*, *ok* 'один', коми *e̮t* 'один, один из двух', *e̮ti* 'один' и т. д. Переднерядное **ü* в уральском возникает, видимо, из более древнего **u* или **o* в результате сингармонистического выравнивания с переднерядным гласным второго слога.

Сем.-хам. **ʔuH̱d-* 'один' представлен в семитском корнями **ʔḥd* 'один' и **wḥd* 'один, одинокий'. Семит. **ʔḥd* находим в аккад. *ēdu* 'individual, solitary, single' (AD 4.36—37), угарит. $\overset{a}{ʔ}$*ḥd* 'один', евр. *ʔeḥād* 'один', финикийск. *ʔḥd* то же, арамейск. *ḥad* то же, др.-ю.-аравийск. *ʔḥd*, геэзск. *ʔaḥadū*, араб. *ʔaḥad-* то же и т. д. Корень **wḥd* 'один, одинокий' представлен в араб. *waḥīd* 'одинокий', геэзск. *waḥada* 'быть одним', аккад. *wēdum* 'один', угарит. *jḥd* 'одинокий', евр. *jāḥīd* то же, сирийск. *īḥīdā* 'единственный'. Раздвоение семитохамитского корня **ʔuH̱d-* в семитском связано с апофонией: апофония позволяет вычленить гласный *u* в качестве сонанта, а начальный **ʔ*, оказываясь перед неслоговым сонантом, закономерно исчезает. К семитохамитскому **ʔuH̱d-* (скорее всего, к его апофоническому варианту **wʌH̱d-*) восходит, видимо, и егип. *wʕ* 'один', *wʕ.t* 'одна'. Исходной здесь могла быть форма жен. рода *wəʕtə* < **wəʕd-tə* < **wəH̱d-tə* (где **-tə* — показатель

жен. рода). Ср. аналогичное развитие в евр. форме жен. рода *ʔaḥaṯ* < *ʔaḥad-t*. Егип. форма муж. рода *wʕ* возникает вторично на основе формы *wʕt* путем отбрасывания показателя жен. рода *t*. Сем.-хам. архифонема **Ḫ* (результат нейтрализации **ḥ* и **ʕ* перед смычным) может при апофонических чередованиях проясниться, оказавшись перед гласным; при этом мы находим в одних языках **ḥ* (семитские), в других — **ʕ* (египетский).

Картв. **ode* 'лишь, пока' присутствует в др.-груз. *oden* 'когда', *ode-s* 'когда', *es-oden* 'столько', в грузинской постпозитивной морфеме *-ode* 'лишь' (*oriode* 'лишь два', *samiode* 'лишь три'), в мегр. *odo-* 'пока', сван. *wode* 'лишь, пока' (Климов 150). Развитие **Xd* (или **Qd*) > картв. **d*, видимо, является закономерным.

Тунг. аффикс **-ragda* 'лишь' представлен в нанайском суффиксе *-ragda* ~ *-rägdä* 'только': *ogdadiragda* 'только на лодках' (Оненко 234); неясно, следует ли относить сюда вариант **-rykta*, представленный в эвенк. *-rykta* ~ *-riktä* 'только': *bäjeriktäl* 'только мужчины' (*bäje* 'мужчина', *-l* — суффикс множественного числа) (Василевич 787). Возможно, к тому же корню восходит тунгус. **-ragda* 'в одном месте' > эвенк. (непск., урмийск., сахалин.) *-ragda* ~ *-rägdä* (суффикс собирательных имен числительных, обозначающих предметы, находящиеся на одном месте: *ilaragda* 'три предмета, находящиеся в одном месте'), удейск. *-ragda* то же (Василевич 785). В суффиксе **ragda* 'в одном месте' начальный **r* восходит, видимо, к тунгусскому суффиксу количественных числительных **-r* (ср. тунгус. **ǯū-r* 'два' и т. п.). Ностратический корень, став тунгусским суффиксом, утратил огубление первого гласного, что можно объяснять по-разному (аффиксальный характер морфемы, обедненный вокализм непервого слога, слияние с конечным гласным суффикса на **r-*).

Драв. **ut-* 'то, что составляет пару к данному предмету, другой (соответствующий данному)' представлено в телугу *uddi* 'a match, an equal, a rival; equal', тулу *udri* 'a match, pair' и т. п. (Burrow-Emeneau 47).

В индоевропейском бесспорных следов корня **ʔåXdə* нет. Заслуживает внимания в этой связи и.-е. **edh-* (или **ed-*), дающее в сложении с **in-*, **ein-* славянское **edьn-* ~ **edinъ* 'один' (ст.-слав. **ѥдинъ**, **ѥдино** ~ **ѥдьно**, рус. *один, одно*, болг. *едѝн* ~ *едéн, еднó*, серб. *jѐдан*, чеш. *jeden* и т. д.) (Berneker 263, Мейе ОСЯ 93, ZVSZ 118). Х. Педерсен усматривал в этом **edh-* (в его трактовке — **i̯ed-*) значение 'только' (Pedersen PD 231). Тот же **edh-*, возможно, отражен и в слав. **ede* > ст.-слав **ѥдє**: **ѥдє кои** 'некоторый', болг. *еде-кой* 'некто' и т. д.

6. Ностратич. **ʕiPṭə* 'запах' > урал. **ipte-* 'пахнуть, плохо пахнуть', и.-е. **ȟed-* 'запах', сем.-хам. **ʕʌṭ-* 'запах', тюрк. **jyt* 'запах', возможно, также монг. **ide* 'гной (← плохо пахнущее)'. Семитохамитское отражение указывает на древнее **ṭ*; наоборот, индоевропейские и монгольские рефлексы указывают на неглотта-

лизованное *ṭ; возможно, что утрата глоттализации в тех ностратических диалектах, к которым восходят индоевропейский и монгольский, следует объяснять специфическим развитием согласного в сочетании (*Pṭ) — ср. закономерности утраты геминации (рефлекса глоттализации) в сочетаниях согласных в уральском.

Урал. *ipte- 'пахнуть, плохо пахнуть' > саам. (норв.) hâvse ~ hâkse 'нюхать, пахнуть', мар. üpš 'запах', хант. (южн.) epə̑t 'запах', венг. íz 'вкус', ű̄z 'запах', манс. ā̈t 'запах, вкус', нен. ŋabtie 'пахнуть, плохо пахнуть', сельк. abtea то же (Collinder FUV 16, Collinder CG 406).

И.-е. *ḫed > *od- 'запах' представлен в греч. ὄζω (перфект ὄδωδα) 'пахнуть', ὀδμή 'запах', лат. odor 'запах', лит. úodžiu, uosti 'нюхать', ст.-чеш. jadati 'исследовать', арм. hot 'запах, благоухание'. В свете ностратических данных и.-е. *od- следует рассматривать как ступень чередования корня *ḫed- (а не как *h^wed-).

Сем.-хам. *ˁʌṭ- 'запах' представлено в егип. ˁḏ 'плохо пахнуть' (где ḏ из d перед i, а d — закономерное развитие *ṭ), в семитских корнях *ˁṭr и *ˁṭn. Семит. *ˁṭr > араб. ˁaṭira 'хорошо пахнул, умащал себя благовониями' (Lane 2077—2078), евр.-арамейск. ˁăṭar 'дымил', сирийск. ˁeṭar 'дышал, благоухал, дымил', ˁeṭir 'пар, запах', угарит. ˁṭrṭr 'благоухающее растение (?)' (Brockelmann LS 521, Aistleitner 230). Сем. *ˁṭn запах > геэз. ˁṭn 'курить благовониями', араб. ˁṭn 'начать плохо пахнуть, портиться (о вымачиваемой коже, стоячей воде)' (Lane 2083, Dozy 2.140, Dillmann 1018). Заслуживает внимания также егип. id.t 'благоухание' (Erman-Grapow 1.152) с аномальным i на месте ожидаемого ˁ.

Тюрк. *jyt- 'запах' представлено в др.-уйгур. jyd ~ jyt 'запах', чагатайск. jydlan 'пахнуть', тув. čyt 'запах', якут. syt 'запах', киргиз. žyt 'запах' и т. д. (Радлов 3.493, 3.523, 3.526, Малов 391—392, Юдахин 284).

Монг. *ide 'гной' представлен в монг. письм. idege 'гной', халха-монг. idē то же, ордосск. iDē то же, монгор. iDiē то же (Smedt-Mostaert 189).

7. Наряду с основой *ˁiPṭe в том же значении 'запах, пахнуть' наблюдается основа *ˁipšə > картв. *pš(w)- 'пахнуть', тюрк. *yjys (из *yjs) 'запах' (и, возможно, также семит. *ˁpš 'гнить, плесневеть').

Картв. *pš(w)- представлено в др.-груз. pšwa 'благовоние', 'благоухание', груз. pšv- 'пахнуть'.

Тюрк., *yjs (или *yjys) представлено в др.-уйгур. is 'запах', туркм. ȳs 'запах', караим. ijis то же, каракалпак. ijis то же, узб. is, узб. (хорезм.) īs то же, н.-уйгур. is 'запах' (Радлов I.1435, 1523, Биишев 46). В части тюркских языков этот корень, видимо, слился или контаминировал с корнем *īs 'дым' (> туркм. īs 'коптильный дым', тур. is 'сажа, копоть', тув. yš 'дым' и т. д. —

Биишев 46), приобретая иногда контаминационное значение 'запах дыма' (например, тув. *is* 'запах дыма').

Семит. *ˁ*pš*, представленное в еврейском корне *ˁpš* 'гнить, плесневеть' (←'иметь плохой запах'), возможно, не относится к данной ностратической основе, а представляет собственно семитское суффиксальное распространение корня *ˁ*ʌp̱-* (< ностратич. *ˁ*ip̣ə* 'запах')[6].

8. Ностратич. **diTg[u]* 'рыба' > урал. **t[o]tka* 'рыба' (или 'какой-то вид рыбы'), сем.-хам. **dig*, **dʌjʌg-* 'рыба', и.-е. **dhghuh̄* 'рыба'[7], монг. **diga* (из **dyga*) 'рыба'.

Урал. **totka* 'рыба (или вид рыбы)' представлено в эст. *tõtkes* 'линь', эрз. *tutka* 'налим', мокш. *tutka* 'линь', манс. *tåht* 'линь', венг. *tat-hal* 'линь' (сложное слово со вторым компонентом *hal* 'рыба'), сельк. *tutto*, *toto*, *tod* 'карп, карась' (Collinder FUV 63, Collinder CG 409).

Неясным остается урал. **o* в первом слоге, его можно пытаться объяснить как результат ассимиляции заднерядному (огубленному?) гласному второго слога; утрата огубленности в уральском гласном второго слога фонетически закономерна.

Сем.-хам. **dʌjʌg* (т. е. **dig-*, **dʌjʌg*) 'рыба' представлено семитским корнем *djg* > угарит. *dg* 'рыба' (собирательное), евр. *dåg* 'рыба' (собирательное); здесь срединный **j* обнаруживается в производном *dajjågīm* 'рыбаки'.

В индоевропейском языке корень **diTg[u]* морфологически преобразован: начальное **di* воспринимается как элемент редупликации (продуктивной морфологической модели), и собственно корнем становится сочетание **Tgu* (т. е. **dgu*), дающее и.-е. **dhĝhū* (палатализация вызвана влиянием предшествующего **i*); конечное **u* сохраняется как сонант (который, в соответствии с индоевропейским стандартом формы корня, выводится за пределы корня и приобретает статус суффиксального элемента). И.-е. **dhĝhū* представлено в греч. ἰχϑῦς 'рыба', лит. *žuvìs* то же, арм. *ǰukn* то же. Неизвестно, имеет ли греческое начальное ι какое-либо отношение к реконструируемому ностратич. **i* первого слога.

Монг. **diga* (> **ǯiga*) 'рыба' представлено в монг. письм. *ǯiga-sun* 'рыба', халха-монг. *zagas* то же, монгор. *ǯiägase̱* то же (Smedt-Mostaert 78), ср.-монг *ǯiγasun* то же (Поппе МА 205, Haenisch SMG 13, Haenisch MNT 89).

9. Ностратич. **ṭuKṭə* 'строить, рубить' > урал. **tuktə* 'строить, построенное', тунг. **toktə* 'рубить, топор', и.-е. **tetk̂-* 'строить, рубить', драв. **toṭṭi* 'ограда, огороженный участок, постройка'.

---

6 Ностратич. *ˁ*ip̣ə* или *ˁ*ip̣ə* 'запах' прослеживается, видимо, в семитских языках (семит. *ˁ*ʌp-* > араб. *ˁfn* 'гнить, гной' и упомянутое евр. *ˁ*pš* 'гнить, плесневеть'). Ностратич. основы *ˁ*iPṭə* и *ˁ*ip̣še* можно интерпретировать как производные от корня *ˁ*ip̣ə*.

7 Посредством **h̄* обозначаем ларингал неизвестного качества.

Урал. *_tuktə_ 'строить, построенное' > саам. (южн.) _totko_ 'шпангоут лодки', мар. _təktə_ то же, манс. _toht_ 'поперечная перекладина в лодке', хант. _tŏhət_ то же, венг. _tat_ 'поперечная перекладина в лодке; корма', нен. _tadô_, _taty_ то же (Collinder FUV 62, Collinder CG 409).

Тунгус. *_toktə_- 'рубить, топор' представлено в эвенк. _tokto_- 'рубить топором', негидал., ороч., удейск. _tokto_- 'рубить, долбить' и т. д. (Василевич 392).

И.-е *_tetk̂_- (в традиционной нотации — *_tek̂þ_-) представлено в др.-инд. _takṣati_ 'обтесывает, плотничает, изготовляет', _takṣan_- 'плотник', авест. _taša_- 'топор', греч. τέκτων 'плотник, строитель', лит. _tašaũ_, _tašýti_ 'обтесывать', ст.-слав. **тесла** 'топор', **тесати** 'тесать'. Как показывают исследования В. Бранденштейна и др.[8], сочетание, дающее др.-инд. _kṣ_, греч. κτ и т. д. (сочетания с так называемым «спирантом Бругманна»), в действительности представляло собой в индоевропейском сочетание _tk_. Ностратич. *_Kṭ_, видимо, давало в индоевропейском регулярную метатезу: *_Kṭ_ > *_tk_.

Драв. *_toṭṭi_ 'ограда, постройка' представлено в тамил. _toṭṭi_ 'ограда, двор, загон для скота', малаялам _toṭṭi_ 'сад длинной узкой формы, чердак', каннада _toṭṭi_ 'здание с квадратным двором посредине', _doḍḍi_ 'загон для скота, хлев', кодагу _toḍia_ 'маленький сад при доме', телугу _doḍḍi_ 'загон для скота, хлев' (Burrow-Emeneau 230).

10. Ностратич. *_paQdə_ 'стопа' или 'нога' > сем.-хам. *_pʌq(ʌ)d_- 'нога', тунгус. *_pagdy_ 'ступня, стопа', тюрк. *_aδ-ak_ 'нога, ступня', кор. _padak_ 'ступня, ладонь', и.-е. *_ped_- 'ступня, нога', драв. *_paṭ_- 'ступня, шаг'.

Сем.-хам. *_pʌq(ʌ)d_- 'нога' представлено в сем. *_pʌḫd_- 'бедро, ляжка' > мехри _fáḫed_ 'бедро', шахри _fúḫud_ то же, евр. _paḥad_ 'testiculus' (засвидетельствовано только в двойственном числе: _paḥădā̆w_ 'testiculi sui' — Иов 40.17), сирийск. _pūḥdā_ 'бедро, ягодица'[9]. В египетском языке находим _ḫpd_ 'ягодицы' с метатезой _ḫ_ и _p_; заслуживает внимания также егип. _pꜣd_, засвидетельствованное в значении 'колено' (Erman-Grapow 1.500), но, воз-

---

[8] Подробнее см., например: Вяч. Вс. Иванов. Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы. М., 1965, стр. 24—35.

[9] Араб. _faḫiδ_ 'бедро' с аномальным фрикативным δ вместо *_d_, возможно, следует объяснять заимствованием из иного семитского языка (такого, в котором фрикативный δ — это аллофон _d_). Считать араб. δ рефлексом семит. *δ невозможно, ибо этому противоречат показания мехри, шахри (где *δ дало бы δ) и еврейского (где *δ дало бы _z_). Ср. иначе: Иллич-Свитыч ЧК 26. Между прочим, арабские диалекты сохранили корень _fḫd_ с регулярным _d_: فخدة 'gigot (бедро животного)' — см.: Dozy 2.244 со ссылкой на словарь Э. Боктора: Ellious Bocthor. Dictionnaire français-arabe, 3ᵉ éd. Paris, 1864. Впрочем, данные арабских диалектов могут быть непоказательны, ибо в некоторых диалектах прошел процесс δ > _d_.

можно, имевшее и значение 'нога', на которое указывают копт. саид. *pat* 'нога, колено', фаюм., бохейр. *phat*, ахим. *pet* 'нога (Fuß), колено' (Crum 273, Spiegelberg 95).

В кушитских языках сем.-хам. **pʌq(ʌ)d-* представлено сомалийским *ba'udo* ~ *bawdo* ~ *bodo* 'бедро' (Reinisch Som. 69), *bawdo* то же (Bell 162) (ср. Долгопольский ГДСКЯ 65). В чадских языках находим корень **pʌdʌ* 'бедро' > муби *fūdí* 'бедро' и, видимо, музгу *bul*, маса *bala* то же (Иллич-Светыч ЧК 24).

Тунгус. **pagdy* 'ступня, стопа' представлено в орок. *pagdy-ga*, ороч. *pagdy*, эвенк. *hagdy-kӯ* 'стопа, ступня, подошва', эвенк. (непск., ергобочёнск,) *hagdy-kӯ* 'лапа медведя', эвенк. (сымск.) *hagdy* 'пятка, след' (Василевич 464).

Тюрк. **aδ-ak* 'нога (ступня)' сохраняется в др.-уйгур. *adaq* 'нога (ступня)', чуваш. *ura*, якут. *atax*, сары-уйгур., шорск. *azaq*, хакас. (качин.) *azax*, тур. *ayak*, туркм., азерб., татар., башк., казах., киргиз, ног., кумык. *ajaq* 'нога', узб. *ojoq* и т. д.

Обращает на себя внимание совпадение суффиксального оформления в тюрк. **aδak* и кор. *padak* 'нога'.

И.-е. **ped-* 'ступня, стопа' представлено, как известно, в огласовке **ŏ* в др.-инд. *pāt* (род. п. *padáḥ*) 'ступня', греч. ποῦς (род. п. ποδός), гот. *fōtus*, др.-в.-нем. *fuoz*, арм. *otn*, в огласовке **e* лат. *pēs* (род. п. *pedis*). В огласовке **e* тот же корень представлен, например, в производном **pedom* 'след ноги, шаг' > др.-инд. *padam* то же, хет. *pedan* 'место', арм. *het* 'след ноги, след', греч. πέδον 'земля (solum)', умбр. *peřum* то же и т. д. И.-е. **d* на месте **dh* (нормального рефлекса ностратич. **d*) объясняется протоиндоевропейским фонетическим законом, запрещавшим сочетание в одном корне глоттализованного и звонкого шумных согласных; отсюда можно предполагать следующий путь фонетического развития: **p̣aQd-* > **p̣ad-* > *p̣. . .t-* > и.-е. **ped-*/**pod-*.

Драв. **paṭ-* 'ступня, шаг' представлено в тамил. *paṭi* 'шаг, ступенька', малаялам *paṭi* 'шаг, ступенька, порог', кота *paṛykaṭ* 'ступеньки', каннада *paḍi* 'стремя', телугу *paḍi-kaṭṭu* 'ступенька, шаг' (Burrow—Emeneau 260); тамил. *paṭam* 'подъем (ноги)', малаялам *paṭam* 'flat part of the hand ar foot' (Burrow—Emeneau 259).

Из уральских фактов заслуживает внимания хант. ваховск. *pit́* 'ляжка, холка, бедро' (Терешкин ОДХЯ 175), хант. *petta* 'подошва' (Дунин-Горкавич 12).

11. Ностратич. **p̣ə̆[Q]tə* 'бежать' > урал. **pokta-* 'бежать, убегать', тунгус. **pökti-* 'убегать', сем.-хам. **p̣ʌQt-* 'уходить, выходить, бежать', (?) драв. **poṭ-* 'взойти, возникнуть' (←'выйти').

Урал. **pokta-* 'бежать' > мар. *pokt-* 'гнать', венг. *fut-* 'бежать', сельк. *paktak-* 'бежать' и т. д. (Collinder FUV 12, Collinder CG 406).

Тунгус. **pökti-* 'бежать' > нан., орок. *pukči-*, ульч. *pukti-*, удейск. *xukti-*, эвенк. *hukti-*, солон. *ŭktäli-*, эвен. *hut-* то же (Цинциус 329, Василевич 491).

Сем.-хам. **pʌ[Q]t-* прослеживается в егип. *pȝd ~ pd* 'бежать, убегать, идти' (Erman-Grapow 1. 501, 1. 566) (где переход **Q* в гортанную смычку является, видимо, регулярным развитием в позиции конца слога перед смычным, а *d* — из **ṭ*, полученного в результате глоттализации **t* рядом с гортанной смычкой) и в копт. (саид., ахмим., фаюм.) *pôt* 'бежать, убегать', бохейр. *phôt* (Spiegelberg 95—96, Crum 274), в куш. **pʌt-* > хамир, хамта *fit-* 'уходить', авия *fat-* то же, билин *fär-* 'идти, уходить', кемант *fē* (< **fay* < **fat*) 'уйти, уходить, выходить', иракв *purūç* 'уходить далеко' (где *-r-* < **t*) и т. д. (Долгопольский ГДСКЯ 67), в чад. **pʌtʌ* > хауса *fita* 'выходить', ангас *pūt* 'выходить, ходить', сура *put* 'выходить', болева *pētē* (Иллич-Свитыч ЧК 25, Долгопольский ГДСКЯ 67). В семитском развитие, аналогичное египетскому (*-*Qt-* > *-*ʼt-* > *-ṭ-*), можно усматривать в корне **pʌṭʌr-* 'уходить' (с **r* суффиксального происхождения) > аккад. *paṭāru* 'уйти, убежать', евр. *pṭr* 'удалить(ся)', евр.-арамейск. *pṭr* 'покинуть, удалить', сирийск. *pṭr* 'уйти, удалиться'; в результате контаминации с корнем **pʌṭʌr-* 'делить, раскалывать' (> араб. *fṭr* то же и т. д.) возникает значение 'освобождать(ся)' (евр. *pṭr* 'освобождать, отпускать на свободу', сирийск. *pṭr* 'быть выпущенным' и пр.) (ср. Gesenius—Buhl 634, Brockelmann LS 565). К тому же сем.-хам. корню, возможно, восходит сем. **pʌd(d)-*, представленное в араб. *fadda* 'он бежал, убегал' (Lane 2350), сирийск. *pad* 'evanuit, discessit, defecit' desiiti' (Brockelmann LS 557); здесь вызывает затруднение аномальное звонкое **d*.

К ностратич. корню **pə̊[Q]tə* можно с некоторым сомнением отнести и драв. **poṭ-* '(выйти →) подняться, взойти, возникнуть' > телугу *poḍuču* 'подниматься (о солнце)', *poḍupu* 'rising (as of the sun)', тода *pïṛy-* 'to break forth, (water) spings from ground, (boil) breaks', тамил. *poṭi* (*-pp-*, *-tt-*) 'to spring up, shoot, rise, appear, produce, ooze out' и т. д. (Burrow—Emeneau 296).

12. Ностратич. **b[o]ksë* или **b[o]qsë* (либо **b[o]Xçə*, **b[o]Qçə* или **b[o]Kçə*) 'связывать' или 'то, чем связывают' > урал. **pükse-* 'то, чем связывают', монг. **büči* 'то, чем связывают', и.-е. **bhas-ko-* 'связка', драв. **počč-* 'увязывать', картв. **baç-* или **baç₁-* 'то, чем связывают'.

Урал. **pükse-* 'то, чем связывают' представлено в морд. (эрз. и мокш.) *piks* 'веревка', хант. (южн.) *pigə̂t* 'веревка, канат', нен. *pūd* 'веревка из коры', *püt* 'веревка' и т. д. (Collinder FUV 49, Collinder CG 408).

Монг. **büči* 'то, чем связывают', 'пояс' представлено в ср.-монг. (сино-монгольский глоссарий «Хуа-и и-юй») *büǯi* 'пояс, набедренная повязка' (Haenisch SMG 18), монг. письм. *büči* ~ *büče* 'тесьма, тканый шнурок, пояс' (Голстунский 2. 331, Lessing

143), халха-монг. *büč* 'тесьма, пояс'. Возможно, с тем же ностратическим корнем связано монг. **büse* 'пояс', представленное в ср.-монг. (глоссарий «Хуа-и и-юй») *büse*, (китайская транскрипция в сино-монгольских документах XIV в., в «Хуа-и и-юй» и в записанном китайской транскрипцией тексте «Сокровенного сказания») *buse* 'пояс' (Haenisch SMD 50, SMG 18, MNT 23), ср.-монг. в арабской транскрипции (словарь «Мукаддимат аль-Адаб») *büse* то же (Поппе МА 128), монг. письм. *büse* 'пояс'.

И.-е. **bhas-ko-* 'связка' прослеживается в лат. *fascis* 'связка', *fascia* 'повязка, шнуровка', ср.-ирл. *basc* 'повязка на шее', др.-бриттск. *bascauda* (наименование сосуда — первоначально плетеного?) > англ. *basket*, макед. βάσκιοι 'связка хвороста' (известно из греческих глоссариев) (ср. Walde 273).

Драв. **pocč-* > куи *poǯa* 'паковать, делать связки' и т. п., куви *pōǯali* 'to tie up in a cloth', *poẓinai* 'заворачивать', курух *poǯǯna* 'обвертывать вокруг чего-л. или кого-л.', малто *poǯe* 'заворачивать, скручивать, сплетать', (?) брахуи *puč* 'одежда' (Burrow—Emeneau 296).

Картв. **baç-* или **baç₁-* представлено грузинским *baçari* 'веревка, бечевка'.

В семито-хамитских языках заслуживает внимания сем. **ḥʌbʌš-* 'связывать' (метатеза из сем.-хам. **bʌḥʌš-* < ностратич. **bəXčə?*), представленное в аккад. *apšān* 'узда', евр. *ḥbš* 'связывать, перевязывать, обвязывать, седлать', евр.-арамейск. *ḥbš* 'связать (fesseln)' (Brockelmann LS 213, Gesenius—Buhl 210).

13. Во многом проблематичным является следующее сближение: ностратич. **bugśə* 'плохой' (с нефонологической звонкостью **ś*) > картв. **bγez₁-* 'злой' (с закономерной метатезой γ и гласного и с образованием гармонического комплекса), сем.-хам. **b[u]Qš-* 'плохой' и **bʌgʌǯ-* 'ненавистный, ненавидеть' (два варианта апофонического происхождения), и.-е. **bhous* (или **bhaus-?*) 'плохой', тюрк. **boš-* 'пустой, лишенный чего-л.', монг. **busa* 'плохой'.

Картв. **bγez₁-* сохранилось в груз. (гурийск.) *bγezi* 'злой' (Шарашидзе 11).

Сем.-хам. **b[u]Qš-* отражается в сем. **bʌʔʌš-* 'быть плохим, злым', куш. **b[u]s-* 'быть плохим', чад. **ḅʌs-* 'быть плохим'. Эти отражения объяснимы, если предположить переход **b[u]Qš-* > **buʔš-*, т. е. превращение поствелярного смычного в гортанную смычку в конце слога перед шумным согласным (регулярное фонетическое изменение?). Сем. **bʌʔʌš-* представлено аккадским *biʔišu*, *bîšu* 'плохой', араб. *biʔsa* 'wie widerlich!', *baʔisa* 'страдал, был бедным', евр. *bāʔaš* 'плохо пахнул', евр.-арамейск. *bĕʔēš* 'был плохим, злым', эпиграфич. арамейск. *bʔjš* 'дурное, плохое, непристойное; зло, вред', сирийск. *biʔšā* 'плохой', эфиоп. *baʔasa* 'был противным, вредным' (Dillmann 518, Gesenius—Buhl 81, Винников 4. 201). Куш. **bus* 'быть плохим' отражено в сидамо

bušā, *buššo* 'плохой', хадия, камбатта *buš* 'быть дешевым', галла *bosa* 'ленивый', квара *bis* 'быть плохим, убогим' (Долгопольский ГДСКЯ 53). Чад. *ḅʌsʌ > ангас *bə̀s* 'плохой', шип *bís* 'плохой', сура *bíš* 'плохой', макари (группа логоне) *abasē* 'плохой' (Иллич-Свитыч ЧК 27, Greenberg LC 295—302). Язык макари указывает на чадское глоттализованное *ḅ (ибо чад. *ḅ дает макари *b*, а чад. *b дает макари *f*). Чад. *ḅ регулярно восходит к сочетанию сем.-хам. *b + ларингал (в частности, *b+*ʔ) (см. Иллич-Свитыч ЧК 26—28).

Сем.-хам. **bʌgʌʒ́-* дает закономерно семит. **bɣʌḏ-* > араб. *baɣīḏ-* 'ненавистный', *baɣuḏa* ~ *baɣaḏa* (имперфект *-bɣuḏ-*) и *baɣiḏa* (имперфект *-bɣaḏ-*) 'был (стал) ненавистен' (Lane 229—230); проблематично сопоставление с егип. *bṯw* 'злодей' (?), 'неизлечимая болезнь', 'ядовитая змея' (Erman—Grapow 1.485) (аффрикат *ṯ* из глоттализованного *č̣, возникшего в результате заместительной глотталлизации звонкого аффриката при утрате ларингала?).

Семитохамитские корни **b[u]Qš-* и **bʌgʌʒ́-*, видимо, должны объясняться как результат регулярного фонетического развития двух ступеней апофонии одного и того же древнего корня: **b[u]Qš-* (< **bugśə*) с последующим позиционным ослаблением поствелярного смычного, дающего гортанную смычку, и **bʌgʌʒ́-* с сохранением древнего **g* перед гласным. При этом замена ностратического **ś* на **ʒ́* может объясняться следующим образом: в системе сибилянтов ностратического языка (**s*, **š*, **ś*) не было фонологического противопоставления по глухости и звонкости; сибилянты могли приобретать позиционную звонкость в некоторых положениях, в частности после звонких смычных; при возникновении апофонии звонкие аллофоны сибилянтов, утрачивая свою позицию после звонких смычных, могли сохранять звонкость, которая при этом становилась фонологической; однако пока в языке не возникли звонкие сибилянты как особые фонемы, сохранение и фонологизация звонкости могли осуществляться только путем превращения сибилянта в соответствующий аффрикат (здесь **ź*, т. е. звонкий аллофон **ś*, превращался в **ʒ́*).

И.-е. **bhous-* сохраняется только в германском **baus-* > др.-в.-нем. *bôsi* 'жестокосердный, злой', др.-фриз. *bâs-feng* 'unzüchtiger Griff', др.-в.-нем. *bôsôn* 'клеветать'; герм. **baus-* сохраняется также в качестве заимствований в романских языках: прованс. *bauzar* 'обманывать', ст.-франц. *boisier* 'обманывать, изменять, предавать' и т. д.

Тюрк. **boš* > туркм., киргиз., горноалтайск. и т. д. *boš* 'пустой, свободный, без дела', тур. *boş* то же, чуваш. *pušă* 'пустой', татар. *bušan* 'слабый, легкий' и т. д.

Монг. **busa-* представлено в монг. письм. *busaki* 'плохой, дурной, негодный', халха-монг. *busxi* то же и т. п.

Это сопоставление проблематично в ряде отношений: сложность фонетического развития (регулярность которого доказана

не во всех деталях), изолированность германских фактов в индоевропейской семье и пр.

14. Ностратич. **cäPtə* (или **ćäPtə*) 'закрывать' > урал. **ćäptə-* 'закрывать', тунгус. **č[y]ptə-* 'прятать', драв. **čātt-* 'надевать, носить (одежду)', и.-е. **(s)ḱed-* 'закрывать', сем.-хам. **cʌt-* 'закрывать'.

Урал. **ćäptə-* > коми-зыр. *śipty-* 'закрывать, прикрывать', коми-язьвин. *śiptөsa* 'закрытый', манс. *śäpt-* 'хоронить' и, возможно, камас. *šäbdə* 'прятать' (Collinder FUV 57, Collinder CG 408, Лыткин КЯД 182).

В тунгусской семье этот корень обнаружен только в эвенк. *čypča-* 'прятать, скрывать'. Одних эвенкийских фактов недостаточно для надежной реконструкции пратунгусского состояния. Не исключено, что эвенк. *y* первого слога восходит здесь к более древнему широкому гласному (< **ä* ?), изменившемуся под влиянием палатального *č*. Заслуживает внимания также маньчж. *čada-* 'обвязывать, обматывать' (Захаров 923) (где, возможно, *a* из *ä* под влиянием вокализма второго слога).

Драв. **čātt-* 'надевать, носить (одежду)' > тамил. *čāttu* 'надевать (украшения, знаки кастовой принадлежности и пр.)', телугу *čātu* 'носить (одежду, украшения, знаки кастовой принадлежности и пр.)' и т. д. (Burrow—Emeneau 159).

И.-е. **(s)ḱed-* 'закрывать, покрывать' представлено в др.-инд. *chādáyati* 'покрывает, укутывает', (?) *chadíṣ-* 'крышка, крыша', авест. *sādayantī* — название предмета одежды, афг. *psōləl* 'надевать, носить (одежду)' (< **pati-sad-* или **upa-sad*), др.-в.-нем. *hāz* — название предмета одежды, др.-англ. *hǣteru* (pl. n.) 'одежда' (Pokorny 919, Mayrhofer 403, Morgenstierne 60).

Сем.-хам. **cʌt-* 'закрывать' представлено в семитских корнях **sʌtʌm-*, **sʌtʌr-* и **sʌd(d)-*. Семит. **sʌtʌm-* > евр.-арамейск. *stm* 'закрыть, заткнуть', сирийск. *stm* 'закрыть (дверь)', евр. *stm* 'заткнуть, закрыть, прятать', араб. *sṭm* и *sdm* 'закрыть (дверь)' (с аномальными *ṭ* и *d* вместо ожидаемого *t*) (Gesenius—Buhl 547, Brockelmann LS 468, 502). Сем. **sʌtʌr-* > араб. *str* 'прикрыть, спрятать', геэз *str* то же, сокотри *mistor* 'прятать', сирийск. *str* 'спрятать, защитить, похоронить', *setārā* 'tegumentum, protectio', евр. *nistǫr* 'скрывался, был скрытым', *histīr* 'скрывал' (Brockelmann LS 502—503, Gesenius—Buhl 548, Leslau LS 291—292). Корень **sʌd(d)-* представлен арабским *sadda* 'закрыл (бутылку, дыру, брешь)', сокотри *sed* 'поставил на огонь' (← 'закрыл отверстие для огня') (Leslau AS 282). Аномальное *d* объяснимо ассимиляцией (например, **sʌdd-* < **sʌt-d-*).

Рассмотренные корни позволяют проследить некоторые закономерности фонетического развития групп шумных согласных. Видимо, в ностратическом языке в положении перед смычными нейтрализовалось противопоставление глухих и звонких, глоттализованных и неглоттализованных согласных. В уральском языке

сочетания согласных сохраняются. При этом оба согласных выступают в качестве негеминированных глухих (см. примеры 1—6, 8, 9, 11, 12, 14), а поствелярные переходят в велярный *k (пример 11). Если правильно интерпретирован пример 5, то и гуттуральные спиранты (*x) также переходят в *k. В тунгусском сочетания смычных также сохраняются (примеры 2, 4, 5, 9, 10, 11, 14). При этом поствелярные обращаются в велярные *k, *g (примеры 10 и 11). В монгольском в сочетании шумных первый регулярно исчезает; условия сохранения первого шумного (пример 2) неясны. Возможно, что в случае с основой *laPṭə сохранение сочетания в монгольском *labta-, *labty- поддерживалось морфологической членимостью этой основы в монгольском (см. прим. 3). В тюркском сочетания регулярно упрощаются путем утраты первого согласного (примеры 2, 4, 6, 7, 10, 13). Так же упрощаются сочетания в дравидском (примеры 5, 10, 11, 12, 14). Возможно, что сочетание *Q + дентальный регулярно дает дравидский ретрофлексный *-ṭ (ṭ)- (примеры 10 и 11). В индоевропейском сочетания смычного с последующим шумным регулярно упрощаются путем утраты первого смычного (примеры 1, 5, 6, 10, 12, 13, 14). Исключение составляют сочетания дентального с велярным или велярного с дентальным, дающие в индоеропейском группу «дентальный + гуттуральный» (типа *tk, *tk̂, *dhĝh и пр.) (примеры 8 и 9). Это единственный тип сочетаний смычных, допустимый в индоевропейском. Сочетания сибилянтов с последующим смычным сохраняются (пример 3). В картвельском закономерности фонетического развития сочетаний шумных пока неясны. В семитохамитском в сочетаниях утрачивается первый губной (примеры 2, 6 и 14). Утрата дентального (пример 8: *diTg[u]) и велярного (пример 4: *gaKtə) не показательны для решения вопроса о судьбе сочетаний с первым дентальным или велярным, ибо здесь упрощение сочетания объяснимо действием семитохамитского закона о несовместимости двух смычных одного места образования в пределах одного корня (в качестве первого и второго согласного корня). Поствелярный смычный в сочетаниях еще сохраняется, видимо, в эпоху возникновения семитохамитской апофонии. В дальнейшем поствелярный, находившийся перед другим шумным согласным, обращался в гортанную смычку (примеры 10, 11 и 13); но поствелярный, который вследствие апофонии оказывался перед гласным, сохранялся и давал обычный рефлекс (*q > семит. *ḫ, *g > семит. *γ) (см. примеры 10 и 13).

Источники

Ашмарин	Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка, т. I—XVII. Казань—Чебоксары, 1928—1950.
Биишев	А. Биишев. «Первичные» долгие гласные в тюркских языках. Уфа, 1963.

Боровков Тефс. — А. К. Боровков. Лексика среднеазиатского тефсира XII—XIII вв. М., 1963.

Василевич — Г. М. Василевич. Эвенкийско-русский словарь. М., 1958.

Винников — И. Н. Винников. Словарь арамейских надписей. — «Палестинский сборник» 3 (66), 1958, стр. 171—216; 4 (67), 1959, стр. 196—240; 7 (70), 1962, стр. 192—237; 9 (72), 1962, стр. 141—158; 11 (74), 1964, стр. 189—232; 13 (76), 1965, стр. 217—262.

Голстунский — К. Ф. Голстунский. Монгольско-русский словарь, т. I—III. М., 1938.

Долгопольский ГД — А. Б. Долгопольский. Гипотеза древнейшего родства языков Северной Евразии (проблемы фонетических соответствий). М., 1964 (VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук).

Долгопольский ГДСКЯ — А. Б. Долгопольский. Материалы по сравнительно-исторической фонетике кушитских языков: губные и дентальные смычные в начальном положении. — «Языки Африки». М., 1966, стр. 35—88.

Дунин-Горкавич — А. А. Дунин-Горкавич. Русско-остяцко-самоедский практический словарь наиболее употребительных слов. Тобольск, 1910.

Дьяконов — И. М. Дьяконов. Семитохамитские языки. М., 1965.

Захаров — И. Захаров. Полный маньчжурско-русский словарь. СПб., 1875.

Иллич-Свитыч МС — В. М. Иллич-Свитыч. Материалы к словарю ностратических языков. — «Этимология. 1965». М., 1967.

Иллич-Свитыч СС — В. М. Иллич-Свитыч. Соответствия смычных в ностратических языках. — «Этимология. 1966». М., 1968.

Иллич-Свитыч ЧК — В. М. Иллич-Свитыч. Из истории чадского консонантизма: лабиальные смычные. — «Языки Африки». М., 1966, стр. 9—34.

Климов — Г. А. Климов. Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.

Лыткин — В. И. Лыткин. Исторический вокализм пермских языков. М., 1964.

Лыткин КЯД — В. И. Лыткин. Коми-язьвинский диалект. М., 1961.

Малов — С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. М.—Л., 1951.

Мейе ОСЯ — А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951.

Оненко — С. Н. Оненко. Русско-нанайский словарь. Л., 1959.

Пекарский — Э. К. Пекарский. Словарь якутского языка, т. I—III. М., 1958—1959.

Поппе МА — Н. Н. Поппе. Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб, т. I—II. М.—Л., 1938.

Радлов — В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, т. I—IV. СПб., 1893—1911.

Терешкин ОДХЯ — Н. И. Терешкин. Очерки диалектов хантыйского языка, часть 1. М.—Л., 1961.

Тодаева БЯ — Б. Х. Тодаева. Баоаньский язык. М., 1964.

Тодаева ДЯ — Б. Х. Тодаева. Дунсянский язык. М., 1961.

Шарашидзе	გ. შარაშიძე. გურული ლექსიკონი. — «ქართველურ ენათა ლექსიკა», I. თბილისი, 1938, გვ. 1—96.
Цинциус	В. И. Цинциус. Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1949.
Юдахин	К. К. Юдахин. Киргизско-русский словарь. М., 1965.
AD	The Assyrian dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago, vol. I —. Chicago—Glückstadt, 1956 —.
Aistleitner	J. Aistleitner. Wörterbuch der ugaritischen Sprache. Berlin, 1963.
Bell	C. R. Bell. The Somali language. London, 1953.
Berneker	E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch, Lief. 2—9. Heidelberg, 1913.
Brockelmann LS	C. Brockelmann. Lexicon Syriacum. Halis Saxonum, 1928.
Brockelmann MTW	C. Brockelmann. Mitteltürkischer Wortschatz nach Maḥmūd al-Kāšγarīs Dīvān luγāt at-turk. Budapest—Leipzig, 1928.
Burrow—Emeneau	T. Burrow, M. B. Emeneau. A Dravidian etymological dictionary. Oxford, 1960.
Castrén SSM	M. A. Castrén. Castréns ostjaksamojedische Aufzeichungen. — M. A. Castrén, T. Lehtisalo. Samojedische Sprachmaterialien. Helsinki, 1960, стр. 3—316.
Collinder CG	B. Collinder. Comparative grammar of the Uralic anguages. Stockholm, 1960.
Collinder FUV	B. Collinder. Fenno-Ugric vocabulary. Stockholm, 1955.
Crum	W. E. Crum. A Coptic dictionary. Oxford, 1939.
Dillmann	Chr. Fr. Dillmann. Lexicon linguae ethiopicae cum indice latino. New York, 1955.
Dozy	R. Dozy. Supplément aux dictionnaires arabes, 2me éd., t. I—II. Paris, 1927.
Erman—Grapow	Wörterbuch der ägyptischen Sprache. Im Auftrage der Deutschen Akademien hrsg. von A. Erman und H. Grapow, Bd I—VI. Berlin, 1957.
Foucauld	Ch. de Foucauld. Dictionnaire touareg-français, t. I—IV. Paris, 1951—1952.
Gabain	A. von Gabain. Alttürkische Grammatik. Leipzig, 1950.
Gesenius — Buhl	W. Gesenius. Hebräisches und aramäisches Wörterbuch über das Alte Testament, bearb. von F. Buhl. 15. Aufl. Leipzig, 1910.
Greenberg LC	J. Greenberg. The labial consonants of Proto-Afro-Asiatic. — «Word» 14, 1958, № 2—3, стр. 295—302.
Haenisch MNT	E. Haenisch. Wörterbuch zu Manghol un Niuca Tobca'an. Wiesbaden, 1962.
Haenisch SMD	E. Haenisch. Sino-mongolische Dokumente vom Ende des 14. Jahrhunderts. Berlin, 1952.
Haenisch SMG	E. Haenisch. Sinomongolische Glossare. Berlin, 1955.
Lane	E. W. Lane. Arabic-English dictionary, book I, part I—VIII. London—Edinburgh, 1863—1893.
Lehtisalo SSM	T. Lehtisalo. Ostjaksamojedisches Sprachmaterial vom Turuhan-Fluß. — M. A. Castrén, T. Lehtisalo. Samojedische Sprachmaterialien. Helsinki, 1960, стр. 317—334.

Leslau LS	W. L e s l a u. Lexique soqotri. Paris, 1938.
Leslau Rap.	W. L e s l a u. Le rapport entre *š* et *h* en sémitique. — «Annuaire de L'Institut de philologie et d'histoire orientale et slave» 7, 1944.
Lessing	F. L e s s i n g. Mongolian-English dictionary. Berkeley-Los Angeles, 1960.
Mayrhofer	M. M a y r h o f e r. Kurzgefaβtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1953—.
Morgenstierne	G. M o r g e n s t i e r n e. An etymological vocabulary of Pashto. Oslo, 1927.
Pedersen PD	H. P e d e r s e n. Les pronoms démonstratifs de l'ancien arménien. Kobenhavn, 1905.
Reinisch Bed.	L. R e i n i s c h. Wörterbuch der Beḍauye-Sprache. Wien, 1895.
Reinisch Som.	L. R e i n i s c h. Die Somali-Sprache, Bd 2. Wörterbuch. Wien, 1902.
SKES	Y.H. T o i v o n e n, Suomen kielen etymologinen sanakirja, nidos 1. Helsinki, 1955; Y. H. T o i v o n e n, E. I t k o n e n, A. J o k i. Suomen kielen etymologinen sanakirja, nidos 2. Helsinki, 1958; E. I t k o n e n, A. J o k i. Suomen kielen etymologinen sanakirja, nidos 3. Helsinki, 1962.
Smedt—Mostaert	A. de S m e d t, A. M o s t a e r t. Le dialecte monguor parlé par les mongols du Kansou occidentale, 3me partie. Pei-p'ing, 1933.
Spiegelberg	W. S p i e g e l b e r g. Koptisches Handwörterbuch. Heidelberg, 1921.
Walde	A. W a l d e. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 2. Aufl. Heidelberg, 1910.
ZVSZ	Základní všeslovanská slovni zásoba. Brno, 1964.

КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

В. Георгиев, И. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев Български етимологичен речник. Свезка *V* (*дармадаана—доам*). София, 1966

Читатели с интересом следят за продвижением публикации нового болгарского этимологического словаря, пятый выпуск которого кратко рецензируется здесь нами, подобно тому как в предшествующих томах ежегодника «Этимология» был отмечен выход в свет предыдущих четырех выпусков.

Здесь нет возможности давать подробную характеристику этого труда, тем более что при этом пришлось бы повторить то, что уже было сказано нами об этом словаре в целом на материале опубликованных его выпусков. Бесспорно, мы получаем в руки с выходом этого нового словаря ценный источник и справочник по лексике и этимологии болгарского языка, если иметь в виду богатство представленной в словаре народной болгарской лексики, словообразования. Пожалуй, эти особенности постепенно обозначаются все более явственно как сильные стороны данного труда, базирующегося, как мы уже имели случай отметить бегло раньше, на очень полных и систематических знаниях болгарского народного лексического богатства. Что касается определенных слабостей и недостатков, то в них не всегда можно прямо винить самих авторов. Так, например, складывается впечатление, что историческая часть словарных статей нового болгарского этимологического словаря разработана неравномерно или, вернее сказать, недостаточно, но при этом необходимо иметь в виду в первую очередь отсутствие исторического словаря болгарского языка, — словаря, который бы охватывал историю болгарского словарного состава на протяжении длительного времени: от древнеболгарской (старославянской) эпохи, через среднеболгарский, до эпохи болгарского Возрождения (XIX в.). Собственные разыскания четырех авторов нового болгарского этимологического словаря могли восполнить это отсутствие, естественно, лишь в малой степени. Второй и, быть может, более существенный упрек, который можно адресовать авторам теперь, после ознакомления с пятью выпусками их словаря, — это чрезмерный лаконизм или даже неполнота этимологизации и этимологического аппарата, включая библиографию работ по этимологии. Последняя носит более или менее случайный характер, хотя авторы сознательно не преследовали здесь исчерпывающей полноты. Что же касается этимологической разработки, то отдельные статьи имеют скорее вид материалов для этимологического словаря.

Попутно отметим отдельные неточности и небрежности. Вместо лит. *dù-burys* на стр. 329 должно было бы стоять *dubur̃ys*; германский претерит (др.-исл.) *dalidun* 'совершили' попадает, как можно понять на стр. 338 настоящего пятого выпуска, в число литовских форм и толкуется при этом значением в ином времени и лице.

Поскольку речь зашла о литовских соответствиях, кажется уместной еще одна поправка иного рода. Болг. диал. (зап.) *да̂шен*, *да̂шна* 'щедрый', сербохорв. (редкое) *дашан* целесообразно объяснять из **dasьnъ*, **dasnъ*, которое представляет собой удивительно точное соответствие литовскому слову *dosnùs* 'щедрый' и в форме и в значении. Во всяком случае это сближение

можно предпочесть, как кажется, проблематичному толкованию из формы причастия будущего времени, предлагаемому авторами для болгарского слова (стр. 322).

Форму *дзи́вгам* (Прилеп) '(за любовник) обичам' авторы понимают как метатезу **сдвиг-* > *дзивг*, ср. болг. *дви́гам*, русск. *двигать* и т. д. (стр. 376). Не совсем ясно, насколько реально предполагаемое здесь звуковое изменение. Речь, по-видимому, должна идти здесь о македонско-западноболгарской аффрикате *дз*, которой в других славянских языках обычно соответствует *з*, *z*. Далее, поскольку очевидно, что перед нами достаточно экспрессивный термин (ср. значение: 'любить, о любовнике'), вполне приемлемым и прозрачным кажется произведение слова *дзи́вгам* в указанном значении из подходящей греческой технической лексики, объединяемой корнем ζευγ-/ζυγ- 'соединять, спаривать'. Ср. макед., болг. *дзевгар*, *зевгар* 'пара волов' того же происхождения.

Жаль, что точка зрения Младенова о том, что болг. *ди́ря* ж. 'след', *ди́ря* (глагол) 'следить' родственно лит. *dyrėti* 'высматривать', никак не отражена и не использована авторами нового словаря, где мы находим лишь толкование от *дера́* 'деру' (стр. 396), по ряду соображений менее привлекательное.

Случайной ошибкой лишь можно объяснить этимологию болг. *дла́га* 'шина, которую налагают на переломленную кость' из *дла́бка*, **дла́бъка* (стр. 399). Сравнение с чеш. *dláha* с тем же значением, сербохорв. диал. *dlaga* то же, далее — польск. *podłoga* '(досчатый) пол' убеждает нас в том известном факте, что перед нами довольно широко распространенное слово с праславянской формой **dolga* и особыми индоевропейскими соответствиями, о которых мы здесь говорить не будем.

Вышеизложенные беглые замечания говорят главным образом о том, насколько славянская этимология заинтересована в правильной разработке болгарской этимологии, а также в еще большей степени — о том, насколько успехи болгарской этимологии зависят от всей славянской и индоевропейской этимологии в целом. Этим объясняется и пристальное внимание, которым пользуется среди лингвистов-этимологов каждый очередной выпуск рецензируемого болгарского этимологического словаря*.

О. Н. Трубачев

F. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego, t. III, zesz. 1(11): *kotar — krobia*. Kraków, 1966

Новый выпуск — 1-й выпуск т. III польского этимологического словаря Ф. Славского — охватывает следующую часть польского словника на на букву К-. По всей вероятности, эта буква займет еще, по крайней мере, несколько выпусков. Материал обрабатывается автором с той же основательностью, которая характеризует ряд предыдущих выпусков словаря Славского, во всяком случае — его II том. Здесь опять может оказаться наглядным сравнение со словарем А. Брюкнера: так, если у последнего в рамках идентичного словарного отрезка (*kotar—krobia*) текст умещается на пяти с небольшим страницах, то Славский посвящает этому же отрезку свыше ста страниц словарного текста. Разумеется, известно, что это совершенно разные словари, различные по своим задачам. Полнота последних словарных этимологических статей Славского проистекает от современной трактовки предмета, оснащенной данными словарной истории, географии, библиографической информации

---

*Автор этих строк имел возможность во время своего пребывания в Софии в январе—феврале 1965 г. неоднократно принимать участие в заседаниях коллектива составителей этого словаря, на которых тогда обсуждалась как раз рукопись настоящего пятого выпуска. — *О. Т.*

(ср. в последнем случае обширный дополнительный перечень литературы и источников, см. стр. 1—6 наст. выпуска). В этом смысле мы всецело отдаем предпочтение Славскому, а не Брюкнеру. Словарь Славского выгодно отличается от словаря Брюкнера в рамках рецензируемого здесь выпуска также и значительно большей лексикографической подробностью. Примеров лакун у Брюкнера мы здесь приводить не будем, что касается пропусков у Славского, сравнительно со словарем Брюкнера, то в данном выпуске мы заметили только один: *Kraków*. Название важнейшего польского города опущено, очевидно, по принципиальным соображениям, словарь ограничивается польской апелативной лексикой. Впрочем, о слишком строгом соблюдении принципов отбора здесь можно, пожалуй, пожалеть.

Свои немногочисленные замечания на полях словаря Славского по данному выпуску мы предлагаем ниже в алфавитном порядке. Польское слово *kozub* 'корзиночка, коробка из коры, кузов', с XVI в., наряду с вариантом *kazub* в тех же значениях, засвидетельствованным с того же времени (в словарях Мончинского и Фолькмара), ср. также диалектные варианты *kozub* : *kazub* 'берестяной кузовок; долбленый сосуд; живот; выеденный внутри гриб, плод; прогнившее дерево', 'презрительное название старой коровы, лошади' Славский объясняет (вслед за Брюкнером) как образование от *koza*. Польское слово вместе с чешскими, словацкими и украинскими соответствиями Славский объединяет вокруг севернославянского диалектного **kozubъ*/**kazubъ*. Несмотря на то, что и эта статья у Славского разработана детальнее, чем у Брюкнера, основные моменты этой этимологии продолжают оставаться неудовлетворительно выясненными: словообразование, фонетика, семантика. В словообразовательном отношении внушает сомнение мысль о производном на суффикс *-ubъ*, поскольку достоверных примеров такой суффиксации у нас нет, а единственный пример Славского — *kostrub-* более убедительно этимологизируется совсем иначе, без допущения суффиксального *-ub-*. С точки зрения фонетики продолжают оставаться необъяснимыми дублеты *o* : *a* (*kazub*!), если мы вместе с Брюкнером и Славским примем происхождение от *koza* 'коза'. В семантическом плане примеры других производных от *koza* 'коза' у Славского обладают прежде всего значениями 'кожа, кожаный мешочек' ср. русск. диал. *козйца*, *кóзевка*, *козйна*. Начав с семантики, мы видим, что для польск. *kozub* и родственных форм как раз не свойственны значения 'кожа, кожаный', но с удивительной последовательностью выступают значения 'коробка, корзинка из коры', 'выдолбленное, выеденное изнутри'. В этом мы усматриваем, наряду с вышесказанным, серьезный довод против родства слов *kozub* и *koza*. Более естественной нам представляется этимология, согласно которой польск. *kozub* и родственные (включая отклонившееся русск. *кýзов*!) продолжают праслав. **kozobъ*, именное образование от глагола **zobati* 'есть, клевать' с префиксом *ko-*. Семантически (и реально) это объяснение отражает различные виды хозяйственного применения обозначаемого ('корзинка для съестного') и не противоречит таким значениям, как 'выеденное изнутри'. В словообразовательном отношении такая этимология не нуждается в особом доказательстве, так как речь идет об известном типе славянских именных сложений с префиксом местоименного происхождения. С принятием этой этимологии устраняются и фонетические трудности, поскольку известны варианты этого префикса с огласовкой *a* и *o*.

Очень сомнительно по формально-фонетическим соображениям сближение слова *krasa* с лит. *kárštas* 'горячий'; отсылка к отношениям **korkъ* : *krak* здесь мало помогает. Минуя здесь объяснение В. Пизани («Paideia» VIII, 1953, стр. 312) из **krōsā*, якобы родственного греч. χρῶμα < **krōsmn̥*, оставшееся, по-видимому, неизвестным Славскому, мы предпочли бы выделить другую этимологию, предложенную для близкой формы Вайяном и тоже, к сожалению, оставшуюся вне поля зрения автора нового польского этимологического словаря. Речь идет о статье А. Вайяна «Russe *kráše* 'plus beau'», опубликованной в сборнике в честь С. Младенова (София, 1957, стр. 283 и сл.), где русск. *краше* связывается с глаголом на *ē* долгое (*ě*) в корне — **krěsiti*, русск. *воскресить*.

Напротив, хочется выделить истолкование автором слова *krężel* 'деревянная конусообразная насадка на прялке' как производного от **krǫžiti*, при наличии слов типа укр. *кýжіль*, форма и значение которых говорят не об особом праслав. **kǫželь*, а о вторичном влиянии праслав. **kǫdelь* на **krǫželь*.

О. Н. Трубачев

Etymologický slovník slovankých jazyků. Ukázkové číslo. ČSAV. Ústav jazyků a literatur. Brno, 1966

Аннотируемый пробный выпуск «Этимологического словаря славянских языков» является новым важным этапом в работе брененского этимологического коллектива, поставившего своей целью осуществить замысел покойного профессора Махека. Пять лет назад, в 1964 г., этот коллектив, возглавляемый доктором филологических наук Фр. Копечным, выпустил в свет очень интересное издание — «Základní všeslovanská slovní zásoba», которое хотя и не было по замыслу связано с работой над «Этимологическим словарем», стало своего рода подготовкой к нему. Теперь перед нами 27 пробных статей будущего «Этимологического словаря славянских языков», снабженных кратким введением, знакомящим читателя с целями и методикой составителей словаря. Составители выпуска — Е. Гавлова, Ф. Копечный, А. Матл, Г. Плевачева и В. Чапкова; редактор выпуска и автор введения — Е. Гавлова.

Для суждения о современном этимологическом словаре большое значение имеет его словник: он отражает представление составителей словаря об объекте исследования, степень их проникновения в лексику языка, в его диалекты и историю. Иными словами, словник этимологического словаря в значительной степени является итогом работы над словарем. Судя по представленным в брненском пробном выпуске словарным статьям, а также по введению к нему, цели составителей нового этимологического словаря славянских языков близки направлению Бернекера: предполагается этимологическое объяснение лексики отдельных славянских языков, включая сюда равно и общие им всем слова, восходящие к праславянскому языку, и заимствования периода самостоятельного развития отдельных славянских языков (*čiček*), и праславянские диалектизмы отдельных языков (*golmę* 2), и единичные образования отдельных славянских языков — современных и древних (луж. *da*, др.-чеш. *pravěkъ*). Соответственно этому в словнике соседствуют праславянские реконструкции и формы современных славянских языков. Набор пробных статей и их обработка обнаруживают стремление составителей максимально использовать данные диалектологии и истории славянских языков (см. Введение, стр. II).

Разработка пробных статей выпуска отражает направление современной этимологической теории, требующей гибкого анализа морфологии, морфонологии и семантики отдельной лексемы в ее истории и лингвогеографии, в кругу всех ее производных, на фоне той части лексики, которая могла семантически или фонетически оказать влияние на формирование и изменение данного слова (см. работы Гиро, Трира, Якобссона, Малкиля). В связи с этим следует отметить прежде всего внимание брненского коллектива к семантической стороне этимологии начиная с обозрения круга значений не только живых лексем, но и реконструируемых праславянских и кончая серьезными требованиями к семантической обоснованности тех или иных этимологических решений.

Решению вопросов структурного и семантического порядка служат производные образования, перечень которых, с большей или меньшей степенью тщательности, приводится по возможности в каждой статье. Подобное размещение их может несколько затруднить впоследствии поиск материала в словаре, но опыт «Этимологического словаря» Махека служит наглядным свидетельством возможности успешного сочетания гнездового принципа с пословным анализом, а о существенности производных для этимологического изучения отдельных слов спорить не приходится.

Наконец, очень привлекает стремление составителей четко очертить границы, допускаемые для каждого этимологического гнезда: этой цели служит перечисление и даже специальный анализ омонимов во многих пробных статьях (хотя это также может несколько усложнить план словника).

Со всей серьезностью относясь к истории анализируемых лексем в праславянском языке и в истории отдельных славянских языков, составители выпуска одновременно не отрекаются и от индоевропейских реконструкций как в форме слов, так и в форме корней. Их опыт показывает, что аргументированная апелляция к индоевропейским корням нисколько не противоречит современному уровню этимологического исследования.

Структура отдельных статей выпуска, как признают и составители (стр. III), довольно разнообразна. Ее варьирование, бесспорно, в значительной мере объясняется характером материала, однако в некоторых случаях различия явно произвольны, и от некоторой унификации, например, в подаче производных, а также этимологической литературы, словарь, как кажется, только выиграл бы. Кстати, полный перечень этимологической литературы, принятый составителями, как правило существенно и очень выгодно отличает данный выпуск от большинства статей словаря Махека. Представляется, что несколько меньшее внимание составители уделили вопросам подачи материала: были бы полезны более регулярные указания на источники материалов по славянским языкам, особенно диалектных.

Статьи выпуска в целом разработаны с большой тщательностью и щедростью в привлечении материала, семантических аналогий, лингвистической литературы. Дополнения к этим статьям будут, вероятно, очень немногочисленны. К их числу можно отнести следующие: предлагаемому этимологическому решению относительно *glota* (к и.-е. **gal-* или **ghel-* 'звучать, кричать', стр. 26—29) семантически аналогично родство *огромный* с *гром*, *греметь*; среди рефлексов праслав. **višь* (стр. 96) следует указать укр. житом. *виш* 'стара, перестояна трава, яку використовують для угноєння'[1]; к числу опытов этимологизации слав. *nagъ* (стр. 44—46) можно добавить предпринятую Стертевантом попытку установления его родства с и.-е. **nokt(i)-* (ср. хетт. *neku-* 'undress, go to bed')[2].

Ж. Ж. Варбот

A. Sabaliauskas. Lietuvių kalbos leksikos raida. — «Lietuvių kalbos leksikos raida». Vilnius, 1966

Под таким названием — «Развитие лексики литовского языка» — вышел сборник статей, опубликованный Академией наук Литовской ССР. Мы остановимся здесь на наиболее значительной по объему и теме работе, которая носит то же название и открывает книгу. Автор, А. Сабаляускас, опубликовал ряд исследований по происхождению слов, главным образом — названий культурных растений в литовском и родственных балтийских языках. В этой своей новой обширной статье он предпринимает попытку суммарно, в сжатой форме осветить связи литовского словарного состава, его компоненты в смысловом и генетическом плане, вклад других языков в литовскую лексику, а также вклад литовского языка в словарь общавшихся с ним языков, благодаря чему контакты литовского языка с другими окружающими языками характеризуются весьма полно.

Разумеется, подробное оригинальное исследование на эту тему не являлось задачей данной статьи, что вполне естественно: речь практически идет

---

[1] А. С. Лысенко. Словарь диалектной лексики северной Житомирщины. — «Славянская лексикография и лексикология». М., 1966, стр. 13—14.

[2] E. H. Sturtevant. Hittite Evidence against Full-Grade O.— «Language» 14, № 2, 1938, стр. 106—107.

о задачах этимологического словаря литовского языка, а также литовской исторической лексикологии, не говоря о совершенно особой проблеме литовских (и балтийских) заимствований в целом ряде родственных и неродственных языков. А. Сабаляускас пишет: «Сколько-нибудь систематического обзора развития лексики нашего языка, написанного по-литовски, до сих пор еще нет. Цель этой работы — попытаться хотя бы частично заполнить этот пробел. Поэтому мы не стараемся в ней дать новые этимологии слов литовского языка, а стремимся, используя существующие исследования, ознакомить нашего читателя с эволюцией лексики литовского языка, историей его основных слов» (стр. 6).

Таким образом, информационный и в известном смысле популяризаторский характер работы ясен. Следует отметить, что, независимо от этого характера, постановка данной проблемы во всей ее широте своевременна. Недавно завершена — посмертно — публикация литовского этимологического словаря Э. Френкеля, видного немецкого языковеда. Этот по сути дела первый этимологический словарь литовского языка — капитальный и вместе с тем вполне современный труд, сразу же занявший место в одном ряду с латинским этимологическим словарем Вальде—Гофмана, русским этимологическим словарем Фасмера и другими. В немалой степени именно выходу словаря Френкеля мы обязаны намечающимся расширением исследований по литовской этимологии. Но настоящей гарантией прогресса в литовской этимологии являются систематические работы по истории и диалектологии литовского языка, ведущиеся в самой Литве, серьезный рост нового поколения литовских лингвистов.

Работа Сабаляускаса по своему характеру легкообозрима, снабжена алфавитным указателем толкуемых слов. Несколько замечаний о концепции работы. Хотя статья называется «Развитие лексики. . .», а различные разделы посвящены разным пластам слов, имеющим отношение к вопросам хронологии [1] (Древняя индоевропейская лексика. Заимствования литовского языка и литовские слова в других языках), тем не менее было бы правильнее определить работу А. Сабаляускаса как обзор с о с т а в а литовской лексики. Характеристика этого последнего (ср. понятийные группировки материала: Человек, названия частей и органов его тела. Термины родства. Животный мир. Растительный мир. . .) составляет основное содержание работы. Можно выразить опасение, что такое построение — не самый удобный способ ответить на вопрос о развитии, эволюции лексики языка, поскольку на долю эволюции здесь приходятся лишь некоторые внешние моменты (з а и м с т в о в а н и я), внутри же таких главнейших разделов, как глава об индоевропейских компонентах словаря (и тем более — внутри понятийных групп), идея эволюции практически отсутствует. Последнее едва ли справедливо, так как именно в этой—основной также по мнению автора — массе литовской лексики (ср. на стр. 126, в «Общих выводах», его указание на «необычайно малый процент заимствований» как характерную черту литовского словаря) должны крыться решающие импульсы роста всего словарного богатства литовского языка на протяжении его истории. Мы далеки от мысли винить самого автора, тем более что перед нами — информационный обзор, а не новое исследование проблемы, но важность самой проблемы слишком очевидна, и в поисках правильного ее решения заинтересованы специалисты по разным языкам. Проблема состава и проблема эволюции состава лексики практически любого языка нуждаются прежде всего в рассмотрении изнутри.

Работа А. Сабаляускаса составлена в общем весьма тщательно. К числу наиболее ценных ее страниц можно отнести длинный перечень литовских (и древнепрусских) слов, извлеченных автором из известного немецкого диалектного словаря Фришбира (см. стр. 96—101).

Поскольку автор намеренно ограничивается реферированием существующих этимологий, критика их сейчас, в нашей краткой рецензии, едва ли

---

[1] Более того, в одном месте речь идет также о глоттохронологии (лексикостатистике), см. стр. 114.

была бы уместна. В связи с этим мы дадим в заключение только несколько мелких поправок: на стр. 5 (сноска 2) читаем Princepton, должно быть Princeton. Форма βρένδον — не греческая, как характеризует ее автор на стр. 17, а иллирийская (мессапская).

О. Н. Трубачев

«Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawnieiszych do schyłku wieku XII». Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy i T. Lehra-Spławińskiego, tom II, część 2 (I—K). Wrocław — Warszawa — Kraków, 1965

Настоящая краткая рецензия продолжает по своему характеру уже опубликованные нами ранее в «Этимологии» отклики на это полезное издание. Соответственно этому, отзываясь здесь на данный последний выпуск II тома этого энциклопедического издания — «Словаря славянских древностей», мы выделяем, как и в предыдущих своих аннотациях такого рода, по понятным соображениям только материалы, имеющие отношение к славянской этимологии, к изучению лексики (и в отдельных случаях — ономастики) славянских и других языков. Знакомство с настоящей частью этого издания польских славистов убеждает в бесспорной ценности и высоком научном уровне соответствующих статей и материалов.

Круг авторов-лингвистов, привлеченных для сотрудничества в рецензируемом выпуске, довольно ограничен (это прежде всего один из редакторов издания — покойный Т. Лер-Сплавинский, далее — Т. Милевский, также покойный; затем — Е. Курилович, В. Цимоховский, Ф. Славский, В. Курашкевич). Следует отметить, что отдельные весьма квалифицированные лингвистические и этимологические комментарии принадлежат историкам, в частности — таким известным специалистам по древнепольской и раннеславянской истории, как Г. Лябуда и Г. Ловмянский.

В данной аннотации не лишним будет дать примерный перечень проблем или сюжетов из области сравнительного языкознания, лексики и этимологии, получивших отражение в данном выпуске. Таковы статьи: «Иллирийцы» (лингвистическая часть — Лер-Сплавинский, Милевский), «Иллирийско-славянские языковые отношения» (Цимоховский), «Иранско-славянские языковые отношения» (Курилович), «Корчма» (название в славянских языках, его образование и этимология — Славский), «Карпаты» (этимология имени — Лер-Сплавинский), «Каринтия» (этимология — Курилович), «Король» (названия в славянских языках, их связи и происхождение — Лябуда), «Князь» (и родственные социально-политические титулы, формы в славянских языках, их генезис — Курашкевич).

О комплексном содержании многих статей, распадающихся при этом на лингвистическую часть (название, его происхождение и этимология) и собственно историческую часть, каждая из которых написана специалистом, мы могли бы повторить то, что уже говорилось в наших предыдущих рецензиях на более ранние выпуски этой энциклопедии раннего славянства. Содержание лингвистических и этимологических материалов данного выпуска, несмотря на лаконическую манеру изложения (в общем присущую этим материалам также и других частей этого издания), а также несмотря на то, что такие материалы занимают сравнительно небольшую часть книги, способно серьезно заинтересовать читателя, занимающегося проблематикой, и в целом заслуживает весьма положительной оценки. Известный польский албанист и балкановед Цимоховский предлагает целый очерк на очень актуальную в индоевропеистике тему (см. выше). Рассматривая иллирийско-славянские отношения, он выделяет общности в фонетике, словообразовании (ср. активность модели на *-nt-* в славянском и в иллирийской топонимии), в лексике,

причем называются пары ст.-слав. грабръ—γράβιον, ст.-слав. веселъ—*Veselia*, ст.-слав. тръгъ—*Tergeste*, *Opi-tergium*. Автора можно упрекнуть в определенной неполноте информации. Так, приводя пару веселъ—иллир. *Veselia*, он, конечно, имеет в виду знаменитую этимологию, основанную на истолковании эпиграфического контекста *Veselia felicetas* и восходящую еще к Будимиру. Но нельзя упускать из виду, что другой югославский ученый — Катичич в недавнее время подверг серьезной критике иллирийскую принадлежность имени *Veselia*, убедительно представив его как один из вариантов имени бесспорно латинского происхождения. Учитывая наше слишком одностороннее и крайне неполное знание иллирийского языка, почти ограничивающееся ономастикой (топонимия, антропонимия), можно, тем не менее, выразить надежду, что как раз ономастический аспект иллирийско-славянских соприкосновений и взаимодействий (причем, возможно, не только на территории Югославии) имеет определенные перспективы развития в науке. Возможно, это принесет новые данные о древнем ареале иллирийского языка через его отражения в славянской топонимии.

Курилович суммарно излагает сведения об иранско-славянских языковых отношениях, однако он сообщает при этом отдельные новые наблюдения, представляющие высокий интерес в этимологическом отношении. Например, славянскую основу *kostjun-* 'мирской, связанный с профанацией' (ср. *кощунство*) он понимает оригинально как кальку иранского слова *astvant-* 'бренный, преходящий, материальный', производного от ир. *ast-* 'кость'.

Исследователей проблем праславянской лексической реконструкции заинтересуют наблюдения Курашкевича (стр. 536—537), который полагает, что, помимо **kъnęzь*, праславянскими можно считать его производные **kъnęžę*, **kъnęžitjь*, **kъnęgyni*, **kъnęžьna*, до сих пор представленные в польских словах *ksiądz*, *książę*, *księżyc*, *księgini*, *księżna*.

В порядке критики можно было бы заметить, что, например, в статье о Киеве (стр. 406) не дается, в отличие от других подобных статей, обзор этимологий этого древнего названия. Сближение одного из древних названий Киева — *Sambatas* — с армянским именем собственным личным *Smbat*, приводимое Ловмянским (стр. 407), ошибочно, так как еще Ильинский правильно понял, что форма Σαμβατάς у Константина Багрянородного отражает слав. **sǫ-vodь/ъ* 'слияние воды'. В дополнение к тому, что было сказано в свое время Ильинским, укажу гидроним *Сувид* (**sǫ-vodъ*), при впадении Десны в Днепр, т. е. вблизи Киева.

О. Н. Трубачев

I. Vahros. Zur Geschichte und Folklore der grossrussischen Sauna (= «Folklore Fellows Communications», vol. LXXXII, № 197). Helsinki, 1966

В наши задачи не входит анализ всей этой обширной монографии, посвященной русской парной бане и ее отражениям в истории и в русском устном народном творчестве. В поле зрения автора находятся и материальная история самой бани, и сведения о бане в древнерусской письменности, и обычаи, обряды, связанные с баней, но имеющие важнейшее значение в быту и нравственном укладе, системе понятий русского народа, в его «модели мира», как сейчас иногда принято говорить. Обширные разделы книги И. Вахроса адресованы к этнографам, фольклористам, литературоведам, поэтому мы не считаем себя вправе судить об их содержании. Однако, чтобы сказать очень коротко в целом обо всей книге, которая, бесспорно, заслуживает внимательного и целостного рассмотрения, отметим богатство привлеченного материала и очевидную тщательность его обработки. Отдельно следует отметить культуру оформления и издания книги, к которой приложены алфавитный перечень слов (стр. 341—346) и предметный указатель (стр. 347—360), облегчающие пользование работой.

Книга Вахроса о великорусской парной бане носит на себе отпечаток традиции финской школы этнографии и этнологии, и она не случайно опубликована в знаменитой серии «Сообщений любителей народного творчества», где в разное время выходили важные труды по этнографии и этнологии различных народов Восточной Европы. С разных точек зрения следует положительно расценивать тот факт, что именно финский ученый взялся за анализ всего комплекса истории, обрядности и терминологии великорусской парной бани, если принять во внимание достижения и широкий сравнительный метод финской школы исследования народной культуры, а также родство соответствующей реалии у великоруссов и, например, у финнов в рамках единого культурного ареала парной бани у народов северной Прибалтики.

И. С. Вахрос — русист-филолог широкого профиля. Однако среди наших читателей он получил известность главным образом как специалист по русской исторической лексикологии. Среди его трудов в этой области, бесспорно, первое место принадлежит книге о названиях обуви в русском языке допетровской эпохи (1959). За короткое время в советской лингвистической печати появились три рецензии на эту работу. Настоящая работа, интересующая нас в этой рецензии в первую очередь, восходит к исследованию автора по этимологии славянских названий парной бани, которое было предложено в качестве доклада на V Международном съезде славистов в Софии и опубликовано в журнале «Scando-Slavica» (т. IX, 1963). В своем предисловии к книге 1966 г. Вахрос рассказывает, что обращение к фольклору, к изучению великорусской свадебной и погребальной обрядности было для него неизбежным средством углубления в проблематику, средством лучшего понимания истории и самой этимологии терминологии бани. Что касается этимологии в собственном смысле слова, ей посвящена в рецензуемой ныне книге сравнительно небольшая, компактная глава III: «Этимологии названий парной бани» (стр. 50—79).

Здесь автор анализирует один за другим соответствующие славянские обозначения, давая широкий этимологический комментарий к великорусской банной лексике. Русск. диал. *ла́зня* (и родственные восточно- и западнославянское обозначения парильни) Вахрос связывает с *ла́зить* только в порядке народной этимологии. По его мнению, первоначально так обозначался не помост, как в более поздних банях, а яма, углубление в земле. Что касается древних источников слова, Вахрос видит их в утраченных формах, родственных лат. *lavare* 'мыть', напоминая читателям, что эта этимология восходит еще к Добровскому. Далее следует всестороннее рассмотрение слова *перть* 'карельский крестьянский дом', др.-русск. *пьрть* 'баня', русск. *паперть* — как название части церковного помещения. Своеобразие этого случая состоит в том, что слав. **pьrtь*, в отличие от предыдущего слова, имеет надежные балтийские соответствия. Кстати, отметим здесь опечатку: в качестве 1 л. ед. ч. верхнелужицкого глагола *prać* дается литовская форма 1 л. ед. ч. *periù* (стр. 55). Прочие балто-славянские сближения автора изложены здесь попутно и довольно бегло. Во всяком случае сомнительно, чтобы близость лит. *klḗtis* 'кладовая' и слав. **klětь* могла быть охарактеризована как балто-славянская изоглосса (стр. 58).

После весьма подробного разбора балто-славянских соприкосновений в области обозначений дома, жилища, крытого помещения автор обращается к слову *баня*. Изучение географии форм и значений праслав. **ban'a* в славянских языках приводит, как мы думаем, к постановке вопроса о западнославянском происхождении вторичных значений 'купол', 'пузатый сосуд' в украинском и юго-западных великорусских диалектах, что у Вахроса не получило выражения. Что касается непосредственного источника славянской формы **ban'a*, то мне приятно отметить совпадение взглядов между Вахросом и мной. В своей книге о славянской ремесленной терминологии я также искал источник славянского слова в народнолатинской форме множественного числа **banea*. Маленький методический штрих: Вахрос подает *bāneum*, *bānea* как засвидетельствованную форму, без звездочки, причем основания, которыми автор для этого располагает, он не разъясняет читателю. Что касается

русской диалектной формы *байна*, можно было бы, в отличие от автора, принять здесь мысль об эпентезе *j*, т. е. схематически: *бајна* < *банја*.

Суммарному, но разностороннему рассмотрению подвергает Вахрос и слово *изба*. Он, очевидно, прав, солидаризируясь с традиционным объяснением праслав. **jьstъba* как германского заимствования. Некоторые новые работы, имеющие отношение к проблеме (например, публикации Мартынова), Вахросом, однако, здесь не учтены. Еще более кратко автор характеризует собственно русские лексемы *мовня*, *мыльня*, др.-русск. *хвостъ*, *веник*.

О. Н. Трубачев

«Славянская лексикография и лексикология». М., изд-во «Наука», 1966

Сборник включает пять словарей, представляющих диалектную лексику некоторых восточно- и южнославянских языков, материалы словаря старославянского языка и два небольших исследования лексикологического характера. В аннотации, предпосланной сборнику, и в предисловиях к словарям определяются характер лексикографических работ, задачи, принципы отбора материала, круг использованных источников и т. д.

Обширные лексикографические материалы, содержащиеся в сборнике, заслуживают самого серьезного внимания, поскольку они расширяют и углубляют наши представления о словарном составе отдельных диалектов. Всестороннее и тщательное обследование диалектной лексики позволит представить во всей полноте словарный состав славянских языков, возможные семантические изменения и ареалы распространения лексем по славянской территории.

Словари построены по разным принципам. Словари северной Житомирщины, одного из говоров юго-восточной Болгарии, некоторых архангельских говоров являются словарями дифференциального типа. За основу дифференциации в них принимается литературный язык (украинский, болгарский) или список слов, зафиксированный в свое время А. И. Подвысоцким на территории Архангельской губ. В эти словари вошли слова, отсутствующие в указанных источниках, различные фонетические, морфологические варианты литературных слов, а также слова с другими значениями.

Бойковский и резьянский словари — словари полного типа. В предисловии к своему словарю М. О. Онышкевич отмечает, что лексика отбиралась сравнительно с литературным языком, но слов, тождественных в бойковских говорах и украинском литературном языке, очень мало, поэтому словарь бойковского диалекта приближается к словарям полного типа. Резьянский словарь построен по принципу полного охвата лексики, представленной в материалах диалектных записей И. А. Бодуэна де Куртенэ. Опубликована лишь небольшая часть этих двух интересных словарей.

Украинскую диалектную лексику содержат словари северной Житомирщины и бойковского диалекта.

Словарь А. С. Лысенко включает довольно большой лексический материал (более 1500 словарных статей), специфически характеризующий территорию северной Житомирщины. Очень небольшие по объему словарные статьи объединяют слова-синонимы, их фонетические и морфологические варианты с указанием районов их распространения. Автор не называет словаря литературного языка, который положен в основу сравнения при отборе диалектной лексики. Если слова отбирались с учетом представленности их в словаре Б. Гринченко, то нельзя не обратить внимание на большое своеобразие лексики северной Житомирщины. По сравнению со словарем Гринченко здесь можно отметить много новых слов. Среди них такие, как *виш*, *вблок*, *вереница*, *кóпоть*, *креж*, *купнúк*, *лéтось*, *овин*, *оратáй*, *парасля́*, *пáсьба*,

перемо́т, *поклі͡ет*, *слюта́*, некоторые, видимо, старые термины текстильного производства типа *зева́*, *клубе́ць*, *лю́ток*, *навоі͡е* и мн. др. Список их можно было бы продолжить. В ином значении, чем у Гринченко, выступают слова *копи́л*, *креса́ть*, *пеля́*, *по́плав*, *пота́пци*, *пра́чка*, *скри́ня*, *смола́*, *наса́д* и др. В словарь вошли также слова, имеющие на такой небольшой территории лишь одно из значений, фиксируемых Гринченко. Таковы *отӧчини*, *перва́к*, *пала́т*, *почі́нок* и др. Единичны случаи, когда слова по форме и значению совершенно идентичны в обоих словарях, ср. *при́пек*, *розли́ва*, *сосна́*. Некоторые лексемы можно отнести к числу поздних заимствований. Хотя они и выступают в несколько искаженной фонетической форме, но едва ли могут специфически характеризовать данный диалект, ср. *квит* 'квитанция', *ко́хвія* 'кава', *фруктови(й) квас* див. *звар*.

Поскольку отбор лексики производился дифференцированно, было бы полезно ввести в словарь систему помет, позволяющую провести различие между приводимой диалектной лексикой и лексикой литературного украинского языка.

Очень квалифицированно сделан словарь бойковского диалекта. Напечатанная небольшая часть этого словаря (буква *Б*) представляет очень интересный лексический материал одного из архаичных карпатских диалектов. Словарные статьи в очень сжатой форме дают полную информацию о каждом фиксируемом слове. Для заглавного слова отмечаются все засвидетельствованные фонетические и акцентные варианты, возможные значения, с помощью особых помет обозначается ареал их распространения. Для слов неисконных приводятся параллели из польского, румынского, словацкого, венгерского языков. Словарь снабжен развернутым списком обследованных населенных пунктов и использованных лексикографических источников.

Давно уже в славянской лексикологии назрела необходимость в публикации этого интереснейшего словаря в полном объеме.

Дополнения к словарю А. И. Подвысоцкого даются в работе В. В. Усачевой. Автор выделяет две основные части: 1) слова, отсутствующие в «Словаре» Подвысоцкого; 2) слова, имеющие другое, чем в «Словаре» Подвысоцкого, значение. В одной словарной статье помещаются простые и производные образования. Некоторые словарные статьи имеют примечания, в которых кратко характеризуются определенные грамматические явления, составляющие особенность обследованных говоров (ср. суффиксы *-ина*, *-йо*, приставки *вы-*, *по-*, *при*).

Лексика с. Девисилово, одного из юго-восточных болгарских говоров, представлена в словаре Г. П. Клепиковой. Особенность данного словаря составляет то, что для каждого слова приводятся параллели из других болгарских диалектов. Случаи семантического расхождения по диалектам специально оговариваются в сносках. Словарные статьи содержат сведения о географическом распространении слов и о тех источниках, из которых сделаны извлечения материала. Подавляющее большинство приводимых в словаре слов — тюркского происхождения.

Резьянский словарь (редактор Н. И. Толстой) создан на основе архивных материалов Бодуэна де Куртенэ. Этот интересный лексикографический труд остался незавершенным и сохранился в виде черновых предварительных набросков. Подготовка словаря к печати потребовала большой редакторской работы. Во-первых, собранный воедино весь материал упорядочен и размещен в алфавитном порядке. Во-вторых, изменен принцип подачи материала. Редактор справедливо отказался от подачи разных грамматических форм в виде отдельных словарных статей. При обработке материала использован традиционный принцип: под одним заглавным словом объединяются все его формы. В словарной статье, насколько позволяют материалы Бодуэна де Куртенэ, приводятся основные падежные и глагольные формы, примеры, иллюстрирующие их употребление, определяется территория их распространения. И, наконец, устранена непоследовательность при переводе значений. Все слова при редактировании получили русский перевод.

Заглавные слова даются в фонологической транскрипции, формы внутри статьи — в фонетической транскрипции, близкой к транскрипции И. А. Бодуэна де Куртенэ.

Словарь полно охватывает лексику букв *А—D* диалектных записей Бодуэна де Куртенэ. Почти все слова диалектных записей находят отражение в словаре. Пропуски незначительны и касаются в основном сомнительных случаев или единичных употреблений. Так, в словаре Бодуэна де Куртенэ отсутствуют два глагола, очень часто употребляющиеся в диалектных записях. Это — [b i t i] 'быть': *bét* (БдК 569, 600, 618), *bôdь* (БдК 577), *bila* (БдК 574), *bëše* (БдК 623) и др., [d e t i] 'говорить': *dí* (БдК 7), *díjo* (БдК 567, 574, 582) и др., в словаре отмечена лишь причастная форма от этого глагола [d e t o] 'названный, по прозванию'. К числу лексем, содержащихся в диалектных текстах Бодуэна, но не введенных им в словарь, можно отнести следующие: 1) *dekla*, *díklo* 'девушка' (БдК 28, 1321), *diųják* 'дикий кабан' (БдК 108), *baųče*, *báųkųət*, являющиеся, видимо, разными формами глагола со значением 'ворчать, бурчать' (БдК 1219, 1231); 2) уменьшительные образования: *dülýnyco* (БдК 570) < [d o l i n a]'долина', *bűkina* (БдК 777) < [b u k] 'бук', *cr̥kwýca*, *cyrkwýca* (БдК 1312, 1340) < [c e r k o v] 'церковь', *bilética* (?) 'белочка' (БдК 789); 3) образования с носовым суффиксом: *drücknol* (БдК 1124) — [d r u k a t] 'пихать, совать', *dénejo* (БдК 44) — [d i v a t] 'девать, ставить, класть', прилагательное *bábjə* (*právicə*) (БдК 629) — [b a b a], *búlə* 'тряпки' (БдК 1247) — [b u l a r] 'тряпичник'.

Хотелось, чтобы словарь включал также сведения о всех возможных грамматических формах приводимых слов с указанием той части материала диалектных записей, в которой они засвидетельствованы.

Полное представление о лексическом составе одного из архаичных словенских диалектов читатель получит по выходе в свет резьянского словаря в полном объеме.

В сборник входит часть словаря старославянского языка (буква *Р*), составленного Р. М. Цейтлин. В предисловии автор определяет характер этого словаря, принципы составления, круг использованных источников, обосновывает структуру словарных статей.

Кроме того, в сборнике помещены две статьи. Одна из них посвящена терминам родства и семейного свойства в истории польского языка и его диалектов (автор — М. Шимчак), другая — особенностям диалектной лексики в связи с устной формой ее существования (автор — Т. С. Коготкова).

Сборник вводит в научный обиход новый диалектный материал. Он вызывает несомненный интерес всех славистов, занимающихся разработкой вопросов лексикографии и лексикологии.

Л. В. Куркина

В. О. Винник. Назви одиниць виміру і ваги в українській мові. Видавництво «Наукова думка». Київ, 1966, 152 стр.

Исследование истории лексики по тематическим группам представляется весьма перспективным, особенно плодотворно изучение терминологической лексики, которая образует более или менее легко обозримую систему. Книга В. А. Винника «Названия единиц измерения и веса в украинском языке» посвящена изучению истории метрологической лексики украинского языка в сопоставлении с другими славянскими и неславянскими языками. В небольшом введении (стр. 3—11) автор дает обзор литературы, посвященной изучению славянских названий единиц измерения и указывает на задачи, решаемые в книге: «проследить процесс становления метрологической лексики украинского языка, выяснить семантико-стилистические функции, словообразовательные и фразеологические возможности ее элементов, определить их

место в лексико-семантической системе современного украинского языка» (стр. 9—10).

Книга В. А. Винника состоит из четырех разделов, которые разбиты на более мелкие главки. Первый раздел содержит анализ названий линейных и путевых мер, во втором дается аналогичное исследование названий мер площади (земельной), третий раздел касается названий мер объема и вместимости, четвертый — названий единиц веса. Другие метрологические термины (названия единиц времени, денежных единиц, названия единиц продукции в разных народных промыслах и т. п.) в книге не рассматриваются; автор ограничился лишь «рассмотрением основных групп метрологической лексики» (стр. 11), хотя очень часто при анализе многих терминов ему приходилось выходить за рамки основных групп, привлекая для анализа, например, терминологию единиц измерения времени.

На основании данных разного рода словарей (исторических, диалектных, толковых, двуязычных и др.), существующих картотек и материалов, собранных самим автором, в книге прослеживается история отдельных метрологических наименований, при этом привлекаются производные от этих названий и фразеологизмы, в состав которых входят эти термины или производные от них слова. К сожалению, автор рассматривает названия не в системе метрологической терминологии, а изолированно. Правда, такой метод исследования истории метрологических названий сопряжен с недостаточной разработанностью истории древнерусской и украинской метрологии. Системное рассмотрение метрологической лексики способствовало бы отграничению метрологических терминов от слов, которые функционируют как названия каких-то единиц измерения, употребляющихся в отдельных ситуациях (*стакан*, *кружка*, *пляшка*, *голова* (сахару), *шматок*, *чувал*, *віз* и т. п.). Изучение этого рода лексики в системе позволило бы уяснить причины изменения значения одной и той же единицы измерения, что, вероятно, связано с пережиточным сохранением отдельных названий при смене метрологических систем. Сохранившиеся остатки старой системы получают иное содержание в новой системе, хотя отдельные элементы старых метрологических систем остаются весьма устойчивыми длительное время. Даже внутри анализируемой лексики не все названия единиц измерения рассмотрены в рецензируемой книге, особенно это касается названий окказиональных единиц измерения, часть которых названа выше. На стр. 32 упоминается *вказівна п'ядь*, но пояснения к этой единице измерения длины отсутствуют. То же можно сказать и о термине *куфа* (стр. 113), *кухва́* (стр. 135), *куха* (стр. 137).

Довольно случайный принцип классификации метрологической лексики — по первоначальному значению слова — едва ли может быть распространен на заимствованные термины, у которых внутренняя форма с самого начала их употребления в древнерусском и украинском языках оказывалась в значительной степени стертой. Характерна в этом отношении ошибка В. А. Винника, который относит диалектное название *шух*, *чух*, *шуп*, *шук* (различные фонетические виды этого термина, очевидно, говорят о разных путях заимствования нем. *Schuh* 'башмак') к названиям антропометрического происхождения (от названий частей человеческого тела), хотя в основе его лежит название определенного предмета, который служит единицей измерения (стр. 32). Ср. русск. диал. *лапоть* с ясной внутренней формой, которое Винником правильно зачисляется в другую группу — «Названия линейных мер, в основе которых лежат предметы, служащие мерилом» (стр. 35). Вероятно, не относится к антропометрическим названиям и слово *дрібо́к* 'крупинка' (стр. 83); ср. также форму *дрі́бка* с тем же значением (от прилагательного *дрібни́й* 'мелкий'; ср. русск. *дробь*).

Вообще выделение заимствованных терминов в отдельный раздел с особой наглядностью может показать процесс культурного взаимодействия различных народов. Заимствование метрологических терминов свидетельствует об интенсивных торговых и культурных связях разных народов, причем важно проследить не только конечный источник заимствования, но и пути заимствования. В этих целях придется привлекать материал многих соседних языков,

благодаря чему выяснятся ареалы распространения отдельных культурных терминов.

Представляется весьма желательным также детальное изучение истории метрологической лексики русского и белорусского языков, начиная от древнерусской эпохи, а также метрологических терминов в других славянских языках. Но особый интерес представляет изучение восточнославянских метрологических терминов, древнейший общий пласт которых засвидетельствован в древнерусских памятниках, а дальнейшее расхождение связано с различными историческими судьбами русского, белорусского и украинского языков. Правда, в такого рода разысканиях следует смелее использовать данные исторической метрологии, что необходимо для всякого историко-лингвистического анализа подобного рода лексики, но в работе В. А. Винника данные исторической метрологии занимают скромное место.

Собранный В. А. Винником интересный материал трудно использовать из-за отсутствия алфавитного указателя, необходимого в каждой лексикологической работе. Тем не менее книга В. А. Винника интересна как одна из первых попыток дать лингвистический анализ метрологических терминов.

И. Г. Добродомов

K. Polański and J. A. Sehnert. Polabian-English dictionary (= «Slavistic printings and reprintings», edited by C. H. van Schooneveld, LXI). The Hague—Paris, 1967

Польский славист К. Полянский, получивший известность и признание как специалист по филологии остатков языка полабских древян, подготовил в сотрудничестве с американским лингвистом Дж. А. Сенертом полабско-английский словарь — первый двуязычный словарь этого славянского языка. Для Полянского работе над полабско-английским словарем предшествуют другие многочисленные исследования — по морфологии немецких заимствований в полабском языке, по полабской филологии, текстологии, диалектологии (ср. также публикуемый в настоящем томе «Этимологии» доклад Полянского, содержащий важные конкретные сведения по диалектной принадлежности различных текстов на полабском языке). Особенно же важны и интересны для нас работы Полянского по полабской этимологии. Здесь, помимо целого ряда статей и заметок (одна из них напечатана у нас в томе «Этимология. 1964»), по праву первое место занимает «Этимологический словарь языка полабских древян», первая часть которого была выпущена еще в 1962 г. совместно с покойным Т. Лер-Сплавинским и над продолжением которого Полянский работает в настоящее время (первый выпуск этого словаря рецензировался в книге «Этимология. 1964»).

Новое издание словаря полабских текстов необходимо приветствовать как своевременное и исключительно важное событие в славянской лексикографии и вообще в славистике. На протяжении шестидесяти лет исследователи пользовались при издании полабских текстов словарем П. Роста (1907 г.). Справедливость требует отметить высокие научные качества Роста, что признают и авторы нового полабско-английского словаря (стр. 20). Вместе с тем они указывают на наличие пропусков в словаре Роста, а также на то важное обстоятельство, что «Die Sprachreste der Draväno-Polaben im Hannöverschen», изданные Ростом, начинают сейчас постепенно утрачивать свое прежнее значение по мере выхода в свет изданий немецкого слависта Р. Олеша. Таким образом, становится ясным, что пришло время создать новый, более полный словарь письменных остатков полабского языка. Все эти сведения по полабской филологии, по истории изучения полабских текстов изложены Полянским и Сенертом в сжатой форме в специальной вступительной части («The Polabian Texts»). Для оценки степени полноты нового словаря Полянского—

Сенерта важно учесть, что они использовали материал всей публикуемой Олешем трехтомной серии.

После кратких вступительных разъяснений по полабской фонетике («Polabian phonology») и правил пользования словарем следует основная часть книги — полабско-английский словарь (стр. 32—186). Было бы, конечно, ошибкой думать, что это двуязычный словарь обычного типа. Перед нами, бесспорно, оригинальный и даже единственный в своем роде труд. Это отчасти вызвано ограниченным характером полабских текстов, что побудило составителей трактовать как самостоятельные словарные статьи парадигматические формы (лица глаголов, падежи имен, причастия). Историко-культурные условия фиксации полабских текстов вызывают необходимость подачи при полабских формах немецких слов-эквивалентов, которые практически все указываются авторами в скобках после английского перевода. Важным и оригинальным новшеством является регулярное помещение в этом двуязычном словаре после всех исконно славянских форм их праславянских реконструкций и ремарк этимологического характера. Работу, проделанную авторами в этом отношении, трудно переоценить, хотя, разумеется, отдельные праславянские реконструкции могут вызвать споры. При этом иногда собственно полабская реконструкция не отграничивается достаточно четко от праславянской, ср. на стр. 37 *bet* inf. (**běti* from **bojěti*) to be afraid (Furcht). Иногда также создается впечатление, что праславянская реконструкция применяется авторами как формальная операция, что особенно видно в тех случаях, когда реконструированная таким образом форма малореальна для праславянской древности, например **kъtomu* как dat. sg. от **kъto* 'кто'. Сплошное чтение, изучение этого нового словаря чрезвычайно интересно и поучительно для тех, кто интересуется словообразованием, этимологией и географией славянской лексики в целом, поскольку, несмотря на скудость дошедших до нас свидетельств, этот оригинальный западнославянский язык представляет целый ряд весьма ценных или даже уникальных свидетельств. Авторы сделали немало для того, чтобы свидетельства полабского языка, подчас весьма завуалированные, стали максимально доступными для читателя и исследователя.

За собственно полабско-английским словарем следуют в книге списки неясных выражений, перечень полабских фразеологических оборотов и особенно ценный раздел — обратный словарь («Backwards dictionary», стр. 221—239), подразделенный на морфологические категории.

Новый труд Полянского и Сенерта, безусловно, принесет большую пользу в деле исследования словарного состава славянских языков.

О. Н. Трубачев

СОКРАЩЕНИЯ

Абаев	В. И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка, I (А—К.). М.—Л., 1958.
БТР	Български тълковен речник. Съст. Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. Леков, Ст. Стойков, Цв. Тодоров. София, 1955.
Геров	Н. Геров. Рѣчникъ на българскый языкъ съ тълкувание рѣчи-ты на българскы и на русскы, I—III. Пловдивъ, 1895—1899.
Г-ры Прибалтики	В. Н. Немченко, А. И. Синица, Т. Р. Мурникова. Материалы для словаря русских старожильческих говоров Прибалтики. Рига, 1963.
Гринченко	Б. Д. Гринченко. Словарь украинского языка, I—IV. Киев, 1907—1909.
Даль²	В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, I—IV. Изд. 2. М., 1880—1882.
Даль³	В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, I—IV, Изд. 3. М., 1903—1909.
Караџић	Вук Стеф. Караџић. Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, Изд. 3. Биоград, 1898.
Климов	Г. А. Климов. Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.
Куликовский	Г. Куликовский. Словарь областного олонецкого наречия. СПб., 1898.
Мельниченко	Г. Г. Мельниченко. Краткий ярославский областной словарь, объединяющий материалы ранее составленных словарей (1820—1956). Ярославль, 1961.
Младенов	Ст. Младенов. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941.
Младенов Т. Р.	Ст. Младенов. Български тълковен речник, I (А—К). София, 1951.
Мука	Э. Мука. Словарь нижнелужицкого языка. I—II. Пг., 1921—1928.
Носович	И. И. Носович. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.
Опыт	Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852.

Подвысоцкий	А. И. Подвысоцкий. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.
Преображенский	А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка, I—II. М., 1910—1914; окончание — «Труды ИРЯ», I. М., 1949.
Радлов	В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, I—IV. СПб., 1893—1911.
Сл. сред. Урала	Словарь говоров среднего Урала. Свердловск, 1964.
Срезневский	И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка, I—III. СПб., 1893—1903.
Фасмер	Этимологический словарь русского языка, I. М., 1964.
Филин	Словарь русских народных говоров, I—II. Под редакцией Ф. П. Филина. М.—Л., 1966.
Berneker	E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1907—1913.
Boisacq	E. Boisacq. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Heidelberg—Paris, 1916.
Brükner	A. Brükner. Słownik etymologiczny języka polskiego. Wyd. 2. Kraków, 1957.
Burrow—Emeneau	T. Burrow, M. B. Emeneau. A Dravidian etymological dictionary. Oxford, 1960.
Collinder CG	B. Collinder. Comparative Grammar of the Uralic languages. Stockholm, 1960.
Collinder FUV	B. Collinder. Fenno-Ugric vocabulary. Stockholm, 1955.
Fraenkel	E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg—Göttingen, 1955.
Frisk	H. J. Frisk. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelber, 1954.
Holub-Kopečný	J. Holub, F. Kopečný. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1952.
Iveković-Broz	J. Iveković, J. Broz. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb, 1901.
Kott	F. Št. Kott. Česko-německý slovník, I—VII. Praha, 1878—1893.
Machek	V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého a slovenskéno. Praha, 1957.
Mayrhofer	M. Mayrhofer. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1953.
Miklosich	F. Miklosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
Miklosich LP	F. Miklosich. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862—1865.
Morgenstierne	G. Morgenstierne. An etymological Vocabulary of Pashto. Oslo, 1927.
Pfuhl	Dr. Pfuhl. Łužiski serbski słownik. Budyšin. 1866.
Pleteršnik	M. Pleteršnik. Slovensko-nemški slovar, I—II. Ljubljana, 1894—1895.
Pokorny	J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949—1959.
RJA	Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I—XVIII. Zagreb, 1880—1963.

Rudnyćkyj	J. B. Rudnyćkyj. An etymological dictionary of the Ukrainian language, pt. 1. Winnipeg, 1962; pt. 2 — 1963; pt. 3 — 1964 (A — bará).
Sadnik-Aitzetmüller	L. Sadnik, R. Aitzetmüller. Vergleichendes Wörterbuch der Slavischen Sprachen 1—2. Wiesbaden, 1963—1964.
Sławski	F. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego, z. 1—11. Kraków, 1952—1963.
Tiktin	H. Tiktin. Rumänisch-deutsches Wörterbuch, I—III. Bukarest, 1903—1914.
Trávníček	Fr. Trávníček. Slovník jazyka českého. Praha, 1952.
Walde	A. Walde. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 2. Aufl. Heidelberg, 1910.
Walde-Hoffmann	A. Walde. Lateinisches etymologisches Wörterburch. 3. Aufl. von J. B. Hoffmann. Heidelberg, 1938.
W. v. Wartburg	W. v. Wartburg. Französisches etymologisches Wörterbuch, Bd 1—21. Bonn und Leipzig, 1922—1966.
Vasmer	M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch, I—III. Heidelberg, 1953—1958.
МЯЯ	Материалы по яфетическому языкознанию.
ИКЯ	Иберийско-кавказское языкознание. Тбилиси.
AfslPh	Archiv für slavische Philologie
ARom	Archivum Romanicum
BPT	Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego
BSL	Bulletin de la société de linguistique de Paris
Enc. Hisp	Encyclopedia Hispanica
FUF	Finnisch-ugrische Forschungen
IF	Indogermanische Forschungen
IJb	Indogermanisches Jahrbuch
IJSLp	International journal of Slavic linguistics and poetics. s-Gravenhage
JP	Język polski
KZ	Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen
LP	Lingua Posnaniensis
PF	Prace filologiczne
Rad JAZU	Rad Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti
RES	Revue des études slaves
RAIE]	Revue des études indo-européennes
RHA	Revue Hittite et Asianique
RIGI	Rivista indo-greco-italica di filologia, lingua, antichità
RLiR	Revue de linguistique romane
RS	Rocznik sławistyczny
SBPAW	Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften
SR	Slavistična revija
St Etr	Studi etruschi
VRom	Vox Romanica
WZKM	Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes
ZBalk	Zeitschrift für Balkanologie
ZfS(l)	Zeitschrift für Slawistik

ZfslPh	Zeitschrift für slavische Philologie
ZONF	Zeitschrift für Ortsnamenforschung
ZRPh	Zeitschrift für romanische Philologie

абхаз.	абхазский
авар.	аварский
авейр.	авейронский
авест.	авестийский
адыг.	адыгский
азерб.	азербайджанский
аккад.	аккадский
алано-осет.	алано-осетинский
алб.	албанский
алент.	алентский
алтайск.	алтайский
анат.	анатолийский
англ.	английский
англосакс.	англосаксонский
андийск.	андийский
аост.	аостийский
араб.	арабский
арм.	армянский
аромун.	аромунский
арчин.	арчинский
атт.	аттический
афг.	афганский
ахмим.	ахмимский
баоаньск.	баоаньский
баск.	баскский
бацб.	бацбийский
башк.	башкирский
беарн.	беарнский
беллун.	беллунский
беот.	беотийский
бербер.	берберский
блр.	белорусский
болг.	болгарский
бохейр.	бохейрский
васюган.	васюганский
вахов.	ваховский
вед.	ведийский
венг.	венгерский
вепс.	вепсский
в.-луж.	верхнелужицкий
гагауз.	гагаузский
гаск.	гасконский
генуэз.	генуэзский
герм.	германский
гот.	готский
греч.	греческий
груз.	грузинский
гунз.	гунзибский
гурийск.	гурийский
дагест.	дагестанский
дак.	дакийский
дако-рум.	дакорумынский
далмат.	далматинский
догреч.	догреческий
дор.	дорийский
доф.	диалект Дофине
драв.	дравидский
др.-англ.	древнеанглийский
др.-болг.	девнеболгарский
др.-булг.	древнебулгарский
др.-в.-нем.	древневерхненемецкий
др.-греч.	древнегреческий
др.-груз.	древнегрузинский
др.-инд.	древнеиндийский
др.-иран.	древнеиранский
др.-ирл.	древнеирландский
др.-исл.	древнеисландский
др.-ломб.	древнеломбардский
др.-н.-нем.	древненижненемецкий
др.-польск.	древнепольский
др.-прусск.	древнепрусский
др.-рум.	древнерумынский
др.-русск.	древнерусский
др.-сканд.	древнескандинавский
др.-тюрк.	древнетюрский
др.-уйгур.	древнеуйгурский
др.-фриз.	древнефризский
др.-чеш.	древнечешский
дунсян.	дунсянский
евр.	еврейский
егип.	египетский
ергобычёнск.	ергобыченский
зап.-астур.	западноастурийский
зап.-слав.	западнославянский
зульцберг.	зульцбергский
и.-е.	индоевропейский
илимпийск.	илимпийский
иллир.	иллирийский
ион.	ионийский
ир.	иранский
ирл.	ирландский
исл.	исландский
исп.	испанский
истр.	истрийский
ит.	итальянский
казах.	казахский
казым.	казымский
калабр.	калабрийский
камас.	камасинский
кап.	каппадокийский
кар.	карийский
карагас.	карагасский
караим.	караимский
каракалпак.	каракалпакский
карел.	карельский
каринт.	каринтийский
картв.	картвельский
каталон.	каталонский

качин.	качинский
кашгар.	кашгарский
кашуб.	кашубский
кельт.	кельтский
килик.	киликийский
кимр.	кимрский
кирг.	киргизский
коми-язьвин.	коми-язьвинский
коми-зыр.	коми-зырянский
копт.	коптский
кор.	корейский
крит.	критский
крым.-тат.	крымскотатарский
кумык.	кумыкский
кучан.	кучанский
куш.	кушанский
лакск.	лакский
лангедок.	лангедокский
лангоб.	лангобардский
лат.	латинский
лид.	лидийский
лик.	ликийский
лит.	литовский
ломб.	ломбардский
лтш	латышский
лув.	лувийский
луж.	лужицкий
м.-аз.	малоазийский
мадьяр.	мадьярский
макед.	македонский
мазов.	мазовецкий
манс.	мансийский
маньчж.	маньчжурский
мар.	марийский
марк.	диалект Марке
мегр.	мегрельский
мессап.	мессапский
мирдит.	мирдитский
мокш.	мокшанский
молд.	молдавский
монг.	монгольский
монгор.	монгорский
морав.	моравский
морд.	мордовский
мотор.	моторский
нан.	нанайский
нахск.	нахский
нган.	нганасанский
н.-греч.	новогреческий
негидал.	негидальский
нем.	немецкий
нен.	ненецкий
неп.	непский
н.-луж.	нижнелужицкий
н.-нем.	нижненемецкий
ногайск.	ногайский
норв.	норвежский
н.-перс.	новоперсидский
н.-прованс.	новопровансальский
н.-уйгур.	новоуйгурский
н.-фр.	новофранцузский
общеслав.	общеславянский
орок.	орокский
ороч.	ороченский
оск.	оскский
пеласг.	пеласгский
перм.-урал.	пермско-уральский
перс.	персидский
полаб.	полабский
польск.	польский
порт.	португальский
прагерм.	прагерманский
праслав.	праславянский
прованс.	провансальский
прусск.	прусский
прибалт.-фин.	прибалтийско-финский
пьемон.	пьемонтский
роман.	романский
рум.	румынский
русск.	русский
саам.	саамский
саид.	саидский
салент.	салентский
санскр.	санскрит
сард.	сардинский
сахалин.	сахалинский
сван.	сванский
сельк.	селькупский
семит.	семитский
сем.-хам.	семитохамитский
серб.	сербский
сир.	сирийский
слав.	славянский
слвц.	словацкий
словен.	словенский
сомал.	сомалийский
ср.-в.-нем.	средневерхненемецкий
ср.-греч.	среднегреческий
ср.-лат.	средневековая латынь
ср.-монг.	среднемонгольский
ср.-н.-нем.	средненижненемецкий
ср.-тюрк.	среднетюркский
ст.-польск.	старопольский
ст.-прованс.	старопровансальский
ст.-слав.	старославянский
ст.-франц.	старофранцузский
ст.-чеш.	старочешский
с.-хорв.	сербохорватский
сымск.	сымский
табас.	табасаранский
тайгийск.	тайгийский
тамил.	тамильский
татар.	татарский
тессин.	тессинский

тоск.	тосканский
тох.	тохарский
трансильв.	трансильванский
трент.	трентинский
туарег.	туарегский
тув.	тувинский
тунгус.	тунгусский
тур.	турецкий
туркм.	туркменский
тюрк.	тюркский
убых.	убыхский
угарит.	угаритский
удейск.	удейский
удм.	удмуртский
узб.	узбекский
уйгур.	уйгурский
укр.	украинский
ульч.	ульчский
умбр.	умбрский
урарт.	урартский
урмийск.	урмийский
фал.	фалискский
фаюм.	фаюмский
фесс.	фессалийский
фин.	финский
фин.-уг.	финно-угорский
финикийск.	финикийский
франц.	французский
фриул.	фриульский

хакас.	хакасский
халха-монг.	халха-монгольский
хант.	хантыйский
хварш.	хваршинский
хет.	хеттский
хиналуг.	хиналугский
ц.-ладин.	центральноладинский
ц.-слав.	церковнославянский
чагатайск.	чагатайский
чад.	чадский
чакав.	чакавский
чечен.	чеченский
чеш.	чешский
чуваш.	чувашский
швед.	шведский
шира-югурск.	шира-югурский
широнгольск.	широнгольский
шор.	шорский
штокав	штокавский
эвенк.	эвенкийский
энец.	энецкий
эол.	эолийский
эрз.	эрзянский
эст.	эстонский
этр.	этрусский
эфиоп.	эфиопский
ю.-балк.	южнобалканский

СОДЕРЖАНИЕ

Этимология, 1967

Материалы Международного симпозиума
«Проблемы славянских этимологических исследований
в связи с общей проблематикой современной этимологии»
24—31 января 1967 г.

Утверждено к печати Институтом русского языка Академии наук СССР

Редактор издательства *М. С. Кожухова*
Технические редакторы *Н. Д. Новичкова, Н. Ф. Егорова*

Сдано в набор 12/IX 1968 г. Подп. к печати 24/XI 1969 г. Формат 60×90$^1/_{16}$. Бумага № 2.
Усл. печ. л. 21. Уч.-изд. л. 22,1. Тираж 2400 экз. Тип. зак. 1307. Цена 1 р. 43 к.

Издательство «Наука». Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

1-я типография изд-ва «Наука». Ленинград, В-34, 9-я линия, д. 12.